

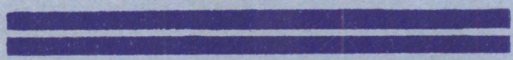
|| 7 ||

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

|| 1978 ||

7



1978



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1978 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА — Владимир Сапронов, Лада Одишцова, Валерий Кап- ралов, Виктор Широков, Людия Григорьева, Николай Арсеньев, Сергей Бобков, Ольга Чугай, Алексей Прийма, Юрий Голицы, Владимир Неж- данов, Зоя Велихова, Игорь Селезнев, Аркадий Пресмав, Лариса Суш- кова, Алексей Смирнов, Анатолий Иванушкин, Людия Гундорова, Лев Котюков, Ия Сотникова, А. Файнберг	3
ВИКТОР СТЕПАНОВ — Серп Земли. Предисловия Юрия Бондарева и Вла- димира Шаталова	25
БОРИС РЯХОВСКИЙ — Отрочество архитектора Найденова, повесть. Пре- дисловие Чингиза Айтматова	95
НИКОЛАЙ СТУДЕНИКИН — Меж высоких хлебов, рассказ. Предисловие Юрия Трифонова	143
ДМИТРИЙ ЖУКОВ — Владимир Иванович, повесть	173
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ЮРИЙ ЖУКОВ — Нящие духом	242
<b>150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО</b>	
ВЕЧНО ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ. Листая новомирские страницы	254
УРАН ГУРАЛЬНИК — Художник революционной демократии. Литератур- ное наследие Н. Г. Чернышевского и современность	262
С. МАШИНСКИЙ — В традициях политического романа	277

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Виталий Семи н.</span> — Геннадий Скобликов.	
Наша старая хата, Повести. ✦ Л. Фризм а н.— А. А. Дельви г. Стихо- творения. ✦ Сергей Львов.— Г. Мунблит. Рассказы о писа- телях. ✦ Е. Баглай.— В. К. Кузаков. Очерки развития естествен- научных и технических представлений на Руси в X—XVII вв. ✦ А. Старков.— Дм. Молдавский. Михаил Зоценко. Очерк творчества. ✦ Л. Василевский.— Шандор Радо. Под псевдонимом Дора. Воспо- минания советского разведчика	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

---

---

## МОЛОДЫЕ ГОЛОСА



ВЛАДИМИР САПРОНОВ

### *Коммунист*

За все заплачено с лихвою.  
Не легок к счастью путь земной.  
Века шел пахарь за сохою,  
Почти сливаясь с бороздой.

Земля плыла в глазах кругами.  
Он ей всю силу отдавал.  
Он осязал ее ногами.  
Он к ней душою прикипал...

Теперь в полях ревут машины.  
Их мощь стальная велика!  
И пахарь смотрит из кабины  
На землю как бы свысока.

Его желаниям послушный,  
Без понукания кнутом  
Идет — могучий,  
Многоплужный!  
Мечтал ли пращур о таком?

Но, впрочем, ведь не в этом дело,  
А в том, что пашня — хороша,  
Что в век машин не очерствела  
К земле  
Народная душа.

### *После ливня*

Умчался вдаль на крыльях ветра  
Внезапный ливень-грозовик!  
От большака в полсотни метрах  
Застрял в кювете грузовик.  
Ревет мотор! Дымятся шины!  
А грузовик — как в землю врос!  
Лишь вылетают комья глины  
Из-под буксующих колес!

Шофер, под кузов взгляд бросаю,  
 Поди, весь свет в душе клянет...  
 Его попутчица — босая —  
 Цветы по краю поля рвет.  
 А рядом в лужицах без счета  
 Вниз колосками зреет рожь,  
 И в небе след от самолета  
 С неяркой радугою схож...

---

ЛАДА ОДИНЦОВА

### *Родина*

...Но подрастал товарищ по желанию  
 Побегов дальних по степям горячим,  
 Стремился он весь мир переиначить  
 И тем определить свое призванье.  
 То был мой брат. На дедово крыльцо  
 Садился он считать со мною звезды,  
 И небосвод безоблачный и грозный  
 Дышал в его славянское лицо.  
 Да, много рек мы переплыли с ним!  
 И много кладов разных отыскали!  
 Мы были счастливы и это сознавали,  
 Живя под отчим небом дорогим.  
 Так береги же, небо, наш союз,  
 Как мы верны упорно детским клятвам.  
 Ведь путь наш общий смел и незапятнан.  
 Лишь Родина дороже наших уз.

---

ВАЛЕРИЙ КАПРАЛОВ

### *На буровой*

Запах темной смолы,  
 поднимаясь над кромкою леса,  
 обволакивал нас,  
 и пунктирами — вышки в снегу.  
 Лес гудел, рокотал.  
 Сквозь его дымовую завесу  
 пробивались пласты,  
 о которых забыть не могу.  
 Здесь я жил и работал...  
 В едином и смешанном хоре,  
 выделяясь струной,  
 позолоченной ветрами с гор,

пела песню сосна,  
штабги стьли на мерзлой опоре,  
чтобы вновь погрузиться  
в свой глинистый теплый раствор.  
Метр за метром... Прошли.  
И вот у меня на ладони  
свежий керн. Он дымит  
и дышит подземным теплом.  
Вот и все. Мы приехали.  
Скоро под снегом утонет  
темный лес в тишине,  
чтобы в памяти вспыхнуть потом.  
Лес, забывший себя,  
прорастая стволами, корнями,  
как стальная рука,  
удивляя своей прямою,  
ранит память мою,  
возникая перед глазами.  
И пунктиры становятся  
твердой и четкой чертой.

---

ВИКТОР ШИРОКОВ

### *Под флагом*

Я не завидовал линкорам,  
большим линейным кораблям,  
в броню закованным, которым  
легко промчатся по волнам.

Они, казалось, так надежно  
защищены от всяких бед;  
в батальных сценах непреложно  
царил их гордый силуэт.

И все же на киноэкране  
встречал я сцену не одну,  
когда, торпедою таранен,  
стальной красавец шел ко дну.

И в книжках эти же картинки...  
С банальной истиной знаком,  
я чаще бегал, сняв ботинки,  
по летним лужам босиком.

Дитя поры послевоенной,  
я бредил формой в якорях  
и полюбил обыкновенный  
с командой маленькой корабль.

Его никак не брали мины,  
и, волоча тяжелый трал,

он был таким незаменимым,  
что даже мальчик понимал.

С тех пор воды поутекало.  
Морской не выпало судьбы.  
Но мне еще понятней стала  
поэзия большой борьбы.

Мне не забыть,  
как, с красным флагом  
в боях отстаивая мир,  
отважный тральщик-работяга  
берет линкоры на буксир.

---

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

### *Нотная тетрадь*

Открыть тетрадь, в которой нет начала...  
Когда-то здесь мелодия звучала,  
а я не знала. Что я знать могла?  
О, многое тогда скрывала мгла,—  
ночь южная, тревожная, большая  
мелодию и боль перемешала.  
Я плакала, как в дождь — небесный свод...  
Теперь уже никто не разберет  
опавших листьев огненные ноты.  
Но чудное, неслышанное что-то  
сегодня вновь как будто прозвучало —  
а все тетрадь, в которой нет начала.

---

НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВ

### *Подмосковные зарисовки*

\* \* \*

Утром двери открыты с террасы.  
Синь небесная так глубока...  
В ней легко, как рыбачьи баркасы,  
Удаляясь, идут облака.  
Хорошо, ни о чем не жалея,  
Слушать вечную песню берез,  
Что грядущее станет светлее,  
Без усилий поверить всерьез.

Столько в мире покоя и света,  
Столько счастья сулит этот день,  
Что почти позабудешь, что это  
Лишь его мимолетная тень.

### ЛАСТОЧКИ

В этом мире таинственном, смутном,  
Отрешаясь от стольких утрат,  
Утопая в покое минутном,  
Ты стрекающим ласточкам рад.  
Ничего не случилось, а просто,  
Где под крышей сошлись провода,  
Обозначился купол нароста  
Возводимого ими гнезда.  
Как же птички тщедушной творенье,  
Глинобитный убогий мирок,  
Сообщает душе примиренье,  
Поднимает над миром тревог?  
Лучше, сидя на камне нагретом,  
Вслед гляди им опять и опять,  
Освещенный скудеющим светом,  
Ничего не пытаясь понять.

\* \* \*

Сколь счастлив тот, кто имя дал цветку.  
Стократ счастливее назвавший человека...  
И ощущаю я и берегу  
Чужих имен осмысленное эхо.  
Дадут ростки тугие семена,  
Забвенье уходящего минует,  
В краю ином, в иные времена  
Мой тайный друг меня поименует.  
Или, быть может, в срок и без труда  
Вспоминанье хрупкое истает...  
Но что звезде, угасшей навсегда,  
До этих бездн, где свет ее блуждает.

\* \* \*

О, как догорает неспешно  
Закат твоего сентября,  
И теплится словно надежда  
Вечерняя эта заря.  
А небо холодною кровью  
По капле уже истекло,  
И пахнет утратой и скорбью  
Сухое степное тепло.  
И слышится голос, и мнится:  
Тебя он зовет издали.  
Но это какая-то птица  
Кричит за пределом земли.

---



СЕРГЕЙ БОБКОВ

*Хождение за три времени*

Негромкими шагами  
 К минувшему идешь,  
 Прикидывая издали,  
 Взаправду ли  
                                 давно прошедшее перед тобой ветвится,  
 Кошнется и форму изменяет  
 В простейшем состоянии своем?  
 Но, видимо, ошибки нет: оно,  
 Искомое,  
 Ждет не дождется  
 Внедренья мысли,  
 Чуждой  
                                 и чужой  
 Ему, как древним грекам футуризм,  
 Ждет, чтоб затем — окаменеть случайной жертвой  
 Горгоны времени,  
                                 чтобы возникнуть мифу  
 И потрясти воображение наше  
 На звучном,  
                                 сильном,  
   новом языке  
                                 ветвистой давности,  
                                 астральности прозрачной...  
 И в этом зеркале  
                                 чуть-чуть иначе  
 Мы будем выглядеть —  
 Отличие такое,  
                                 как левизны  
 И правизны в пространстве.  
 А там —  
                                 под действием стихий нерукотворных  
 Из глубины в петроглифах  
 Пылинкой  
 Довольно долго становясь,  
 Исчезнет  
 Желание продолжить радость встречи.

\*.\*.\*

Света первого сестра...  
Гёте.

Все хорошо как будто ненароком,  
 И в городе — живая тишина.  
 Вбери меня слоистым рыбьим оком,  
 Взойдя румяной — к ветру ли? — луна!  
 Кому-то, верно, спать твой взор мешает  
 И, точно сглаз, привычки нарушает,  
 Кого-то посвящает в жуткий сон,  
 И где-нибудь лунатик совершает  
 Для моциона выход за балкон.  
                                 Он не смешон...  
 И как пить дать, страдальчески возвышен,  
 Под в черепной коробке перезвон  
 Маэстро Хламов гладью нынче вышьет  
 Про весь его судьбы микрорайон.

А я далек от мысли забубенной,  
 Видавшей виды в толчее времен,—  
 Пройтись дорожкой, многими торенной,  
 Приняв на грудь Селены медальон.  
 Другая крайность тоже ни к чему —  
 Как на радении, в неукротимом раже  
 Звездой индустриального пейзажа  
 Проще простого выставить луну.  
 Все хорошо как будто ненароком,  
 И в городе — дыханье тишины,  
 И отдается в сердце слабым током  
 Весеннее

скольжение

луны,

Не худо бы историйку лихую  
 Да с элементом детективных игр  
 Протиснуть мелким бесом в этот мир!..  
 Но без меня узнаете такую.

Не забываю Армстронга полет,  
 И, современник Бредбери и Лема,  
 Я — агитатор за один исход  
 Стихотворенья в рамках древней темы.

В двадцатом, нашем,

или в двадцать первом,

Или в сто первом веке, например,  
 Гуляет нервный луч острее керна  
 По страждущим во храме НТР.

## *Город и май месяц*

Хрупкая тонкая тень  
 стеблистой, похоже, травы  
 на крыше кирпичного храма  
 напротив окна моего —  
 травинок, срифмованных кем-то  
 и нервно, и гордо  
 с именем мастера, с именем —  
 Игорь Стравинский;  
 а может, нечистая сила  
 спешит улетучиться, но  
 приостановлен отлет —  
 и зависла на время мгновенья  
 длиннее, а взгляда короче  
 (и думаешь странно о розе  
 ветров — почему не сирень?..).  
 Но, впрочем, не важно, каков  
 поэтический признак предмета  
 в прозрачную, с прожелтью окон  
 двух-трех, с фонарями над улицей  
 бледно-чернильными, и ароматом,  
 сладким и нежным, густейшего  
 тополя-облачка

**КОНЬ.**

ОЛЬГА ЧУГАЙ

## *Судьба глины*

1

Здравствуй,  
 Глиняный сосуд  
 В форме чаши,  
 В форме блюда,—  
 Здравствуй, маленькое чудо,  
 Чьи-то слезы, чей-то труд!  
 Вдохновенья горький пот...  
 Снова глина глину мнет  
 И поет гончарный круг:  
 Здравствуй, солнце,  
 Здравствуй, друг,  
 Обжигай в своей печи  
 Чашки, плошки, кирпичи,  
 А потом, на склоне дня,  
 Что ты слепишь из меня?

2

Это пламя так долго и ровно горело,  
 И казалось порой, что сгорит мое тело,  
 Мое бедное тело, гончар!  
 Просто глина хотела  
 Глиной всегда пребывать,  
 В покое.  
 Оставаться обрывом над сонной рекою.  
 Ты заставил ее  
 Застонать и запеть  
 На гончарном кругу  
 Под рукою!  
 О, как плакала глина и пела,  
 Обретая подобие тела,  
 И в огонь не хотела —  
 Не хотела довериться истине древней:  
 Чтобы выстроить дом,  
 Чтобы сделать сосуд,  
 Убивают деревья,  
 И свирепствует хищный пожар,  
 А потом  
 Посылает в огонь  
 Мягкую глину  
 Гончар.

## *Закат*

Какой закат!  
 Смотри!  
 Не посмотрелся?  
 И вдруг огромный город загорелся!

Сначала вспыхнул крайний слева дом,  
Потом деревья, лестница, потом  
Витрины, тротуары, облака,  
И мост, и чайка, и Москва-река,  
И ты... и я...  
Так вот оно! —  
Смотри!  
Гори, любимый, я шепчу, гори!  
Пока пылает город и закат,  
Секунды драгоценные горят.  
Сгораю!  
Только вспомнить не могу,  
Откуда это:  
Город на снегу  
И, словно след обугленной ступни,  
Дымящееся тело головни!

---

АЛЕКСЕЙ ПРИЙМА

### *Штормовой вальс*

Феодосийцы сигналият тревогу —  
в море ныряет смерч,  
а наши яхты ходят по кругу  
и не дают течь.

Парус поставим, кливер старинный,  
штопаный и косой —  
будет плавник на волне аварийной  
или платок носовой.

Под парусами, в пятки каюте,  
вовсе не нужен винт  
крепкому шлюпу, наглому шлюпу,  
идущему бейдевинд.

Лысый спасатель мой у причала,  
с лодкою не возись —  
белые яхты будто перчатки  
сами швырнем на пирс!

Время такое — у, штормовое! —  
сам выгребай к маяку,  
ты — парусиновое каноэ  
с дыркою на боку.

В кордебалетной ночи межпланетной,  
круто ложась на борт,  
наши корветы — наши билеты  
с этого света на тот.

Только, наверно, непотопляемы  
парусники души,  
даже если их мачты повалены —  
в небо карандаши...

И на причале любимые а-а-ахнут.  
лишь проплывут вдали  
красные яхты! синие яхты!  
пьяные яхты любви!

### *Белый как снег*

Приелся образ «белый как снег».  
Он примелькался, как зимою — снег.  
В затюканное «белые как снег»  
летят дубинки.

Но снова раненые, белые как снег,  
идут в атаку, белую как снег,  
и марлей белую их белый снег  
бингует,

и перелистывает осень белый снег,  
как я листаю белые как снег  
листки блокнотные — там белые как снег  
стихи.

Сдувает альпинистов словно снег!  
Они канаты вяжут, белые как снег.  
И вертолеты, белые как снег,  
спешат на помощь.

Аэропорт закрыт? Наверно, снег.  
Срывается война? Наверно, снег!  
Мой белый снег, как белый снег,  
мальчишка...

Да разве ж примелькается такое?

---

ЮРИЙ ГОЛИЦИН

### *Бумажный змей*

Переплетением ветвей  
Рассвет туманный проявился  
На пленке воздуха, где вился  
Бумажный одиночный змей.  
В полночном городе пустом

Он чудом вырвался на волю  
 И плыл по воздуху пластом —  
 К воображаемому полю!  
 Но крючья, трубы, провода  
 Его хватали, как воришку,  
 И чуть не вздернули на вышку  
 За то, что он летел туда,  
 Где не бывать им — никогда!  
 А змей кусался, бил хвостом,  
 И вырывался вновь на волю,  
 И плыл по воздуху пластом —  
 К воображаемому полю!  
 В него ползучий паровоз  
 Дохнул угаром ядовитым,  
 Змей чувствовал себя убитым,  
 Но целой голову унес!  
 Его хотел туман сдавить  
 И ветер скомкать, как бумажку,  
 Но змей и тут не дал промашку  
 И взвился, не теряя нить!  
 Он ловит побелевшим ртом  
 Холодный воздух! Он с трудом,  
 В надежде собирая волю,  
 Плывет по воздуху пластом —  
 К воображаемому полю!  
 Там, если приземлишься в тишь,  
 Там все равно потом взлетишь.  
 Конечно, можно все отдать,  
 Стерпеть за эту благодать —  
 Взлетать, и падать, и взлетать!

\*.\*

Сильнейшее влияние небес  
 Я испытал на родине земной,  
 Где наблюдался явный перевес  
 Духовной жизни над любой иной.  
 Хотя ограмотевший мракобес,  
 Услышав это, ринется за мной —  
 Сильнейшее влияние небес  
 Я испытал на родине земной.  
 С неимоверным опытом вразрез,  
 Но в лад всему, что скрыто глубиной.  
 Сильнейшее влияние небес  
 Я испытал на родине земной.  
 И более того скажу: прогресс  
 Меня заставил, как отец родной,  
 Сильнейшее влияние небес  
 Испытывать на родине земной.  
 Когда б не это, я б на стенку лез  
 От благ, растущих прямо предо мной,  
 Чтоб сокрупить влияние небес  
 И помыслы унижить в час ночной.  
 Но ход времен на родине земной  
 Наглядно превращает в перегнутой  
 Все то, что представляет интерес  
 В противовес влиянию небес.

Об этом, этом скрипка за стеной  
 Поет всю ночь под ливень проливной,  
 Поет все утро, и весь день, и вечно,  
 И вряд ли этот звук рожден струной!

\* \* \*

Я хотел отразить, как зеркальная гладь,  
 Этот мир, эту снегом покрытую гладь,  
 Эту арку и этот бездомный фонарь,  
 Эту нежность и этот суровый январь.  
 Но зеркальная гладь не смогла ничего,  
 Все, что в ней отразилось,— настолько мертво,  
 Что хотелось немедленно взять и разбить:  
 Отраженное в ней невозможно любить!  
 И я понял всем сердцем, что только мотив,  
 Подхватив, до предела сгустив, воплотив,  
 Может вечную жизнь, без сомнения, дать  
 Всем, кого умерщвляет зеркальная гладь!

—————

**ВЛАДИМИР НЕЖДАНОВ**

### *Апрель*

Снег оттаял до первого снега,  
 до озимых, грядущих лесов,  
 до воды, отраженного неба,  
 до некошенных трав и цветов.  
 Это осень в апреле вернулась  
 и, казалось, подходит к концу.  
 «Неужели зима?»— обернулась —  
 время года прочел по лицу.  
 Это мы. Наш бульвар. Переулок.  
 Место встречи в пустом декабре.  
 И следы наших вечных прогулок  
 нам навстречу плывут по воде.

—————

**ЗОЯ ВЕЛИХОВА**

### *Две записи в блокноте*

*Стихи о Германии*

**БАБОЧКА БУХЕНВАЛЬДА**

Бабочка села к тебе на плечо...  
 В воздухе душном на грани дремоты,  
 Долгого не завершив перелета,  
 Бабочка села к тебе на плечо.

Тянутся вдаль облака над равниной,  
 Не убыстря замедленный бег.  
 Путь их пустынный, бесцельный и дминый...  
 Мы на высоком холме Эттерсберг.

Холм и равнина. И дух замирает.  
 Гулко пространство, и время звенит.  
 Бабочка без остановки порхает,  
 Вьется над бездной, беспечно парит.

Может быть, это душа, что забыла,  
 Так высоко, так свободно летя,  
 Все то, что с нею здесь некогда было.  
 Обморок не превозмочь забытья.

Вот он — внезапно прервавший дыханье  
 Свет без предела, полет без конца.  
 Все, что осталось от воспоминанья,—  
 Пепел,— на радужных крыльях пыльца.

\* \* \*

В том городе меня никто не знал.  
 Там в щупальцах конструкции вокзала  
 Пространство незнакомое дышало,  
 Искрясь, дробился воздуха кристалл.  
 Сквозь этот шум и этот свет скорей —  
 На волшебство вечерних фонарей!..  
 По улицам, в хрустальный сон витрин,  
 На площадях гончарное круженье,  
 К фонтану, к ратуше!  
 В моем распоряженье —  
 Свеченье сумерек и шелестенье шин.  
 Дождем осенним Лейпциг весь пропах.  
 Ему сквозь ночь не умолкая длиться.  
 Как знаки нот, прохожих вереницы,  
 И — слушает токкату старый Бах.  
 Огней цветных приливы и отливы —  
 Пунктирная мерцающая нить.  
 О, только бы походкой торопливой  
 Ночной хрусталь случайно не разбить!  
 Сберечь дождя серебряную ртуть,  
 Замкнуть в душе как в тайную шкатулку  
 Поспешную осеннюю прогулку.  
 И вспомнить невзначай когда-нибудь...

---

ИГОРЬ СЕЛЕЗНЕВ

### *Заготовки*

Все в округе, кого ни возьми,  
 видят: мальчик у окон маячит,  
 за спиною тетрадочку прячет,



за которую ляжет костью.  
 Мальчик тот — мой знакомый по школе,  
 отличается силою воли.  
 А тетрадка такому под стать.  
 Приходилось ее мне листать.  
 Знаки, меты, обеты, словечки,  
 ситуации, много еще...  
 так что можно всегда, если что,  
 от нее танцевать как от печки.  
 Про тетрадь ту — различные толки.  
 На хозяина должно пенять.  
 Сам он так говорит: «Заготовки».  
 Никому ничего не понять.  
 Мол, попробуй разведай поди  
 то, что будет со мною. А то ведь  
 знать нельзя, что нас ждет впереди.  
 Приготовиться. Все приготовить.  
 Преспокойно, у всех на виду,  
 своему потакая понятью,  
 всюду ходит с одною тетрадью,  
 заготовками дразнит судьбу.

---

АРКАДИЙ ПРЕСМАН

### *Бубен*

Остался в доме от деда бубен.  
 Он сувениром висит над койкой.  
 Когда-то бубен был грозно буен.  
 Теперь он вроде игрушки краткой.  
 Теперь штукovina он чудная.  
 Но помнит смутно дубленой кожей,  
 как выдавал он не умолкая  
 мотив таинственный и тревожный.  
 За ветхим чумом, под старым кедром  
 не для забавы, не на пирушке  
 о злых обидах, о близких бедах  
 вещала глухо дробь колотушки.  
 А люди ждали — помогут духи.  
 И застывали как изваянья.  
 Но были духи враждебно глухи,  
 и были новые заклинанья.  
 К огню поближе теснилось племя.  
 Хозяин корчился, будто ранен...  
 Теперь настало другое время,  
 теперь у бубна другой хозяин.  
 Он ватник носит, он курит «Феникс»;  
 читает Горького и Роллана,  
 он любит Грига, играет в теннис,  
 он — сын учителя, внук шамана.  
 Он чуть вразвалку проходит стройкой.

Лицо под кепкой в цементной крошке...  
 А бубен тихо висит над койкой,  
 и колотушкой толкут картошку.

### *Айгыл*

Айгыл по-русски плохо говорил  
 и каждый раз краснел от напряженья,  
 ерошил чуб, губами шевелил,  
 когда писали в классе изложение.  
 Смешно сопел в раскрытую тетрадь,  
 где каждый лист был в клеточку косую.  
 Потом вздыхал и предлагал опять:  
 — Давайте я вам лучше нарисую.—  
 Ну а когда заговорил звонок,  
 как будто бы от холода охрипший,  
 передо мной ночной поселок лег —  
 сунтарские заснеженные крыши.  
 И над поселком, словно великан,  
 улыбкой озаряясь белозубой,  
 оленевод склонился, чтоб в буран  
 укрыть дома своей медвежьей шубой.  
 Метель, как видно, разошлась вконец,  
 А он стоял в унтах своих лосиных...  
 Гласила подпись: «Это мой отец.—  
 А чуть пониже: — Он большой и сильный».  
 И вспомнил я бровей лихой изгиб,  
 обветренные скулы сахаляра.  
 Я знал его и знал, что он погиб,  
 спасая лес таежный от пожара.  
 Воронеж.

---

### ЛАРИСА СУШКОВА

\* \* \*

Лесной колокольчик капризно  
 рванулся от ровных осин,  
 и стебель сломал, и приблизил  
 к прибою звенящую синь.  
 Объят чужеродною силой —  
 нырнул в горьковатую жуть.  
 И соль, что по листьям скользила,  
 еще не мешала ничуть.  
 Вот солнце садится на воду,  
 бескрайна вечерняя гладь.  
 Покой опекает природу,  
 живого цветка — не узнать.  
 «В воде лепестки не обявнут» —  
 мелькнуло тогда под волной...  
 И лист уцелевший протянут  
 туда, где пригорок родной.



Наплескала горячей отравы  
 на промерзлые комья земли.  
 По разлуке, по следу — купавы,  
 лепестками лучась, пролегли.  
 Заплутала, теряя доверье  
 ко всему, — хоть кричи не кричи.  
 И посыпались черные перья —  
 птицы-нежити или грачи?  
 Его голоса сильные звуки  
 запеклись — золотые лгуны.  
 И повисли бессильные руки  
 при злорадной улыбке луны.  
 Сквозь мои простудившие вены  
 распуститься, невиданный, мог  
 цвет беспамятства — жаром мгновенным,  
 если только проклюнет росток.

---

**АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ**

### *Август*

Минует день. В тени уснет река.  
 Пройдет беда, и возвратится радость.  
 Пускай плывет над нами добрый август,  
 издалека плывет, издалека.  
 Мы чтим его. Мы ветвь ему зажжем.  
 Не часто нам случается встречаться.  
 Мы не гадаем, что такое счастье,  
 мы просто полночь нашу бережем.  
 Взлетают искры, кружится зола.  
 Наверно, каждым это пережито,  
 когда полей серебряное жито  
 пересекает, падая, звезда.  
 И над равниной, светом залитой,  
 она как неба первое причастье...  
 Мы не гадаем, что такое счастье,  
 мы просто след уловим за рекой...  
 Шумит огонь, и птицей темнота  
 взмывает вверх потоки алой пыли.  
 И все ж сказать отважимся: «Мы были  
 с тобою, август, счастливы всегда.  
 И пусть над нами вечная парит  
 твоя душа, ведь это в нашей власти...  
 Мы не гадаем, что такое счастье,  
 мы просто смотрим, как огонь горит...»



Меня учили думать так:  
 когда в саду клубится мрак,  
 что может отодвинуть тьму?

Конечно, яркий свет в дому.  
И только через много дней  
я понял: это не ответ.  
В саду становится светлей,  
когда погаснет в доме свет.  
Я не искал противоречий,  
а просто шел, убавил шаг  
и вдруг увидел майский вечер,  
случайный свет, внезапный мрак.

---

**АНАТОЛИЙ ИВАНУШКИН**

### *Современный мотив*

Как Черное море без пены,  
Сгорающей на берегу,  
Армейскую ночь без сирены  
Представить, увы, не могу.  
Воспеть ее, громкую, надо  
За то, что с ума не свела,  
За то, что страшнее снаряда  
И смерти страшнее была.  
Всегда, по тревоге вставая,  
Одевшись уже на ходу,—  
Учебная иль боевая? —  
Я думал в холодном поту.  
Сирена пронзительно выла,  
Подобно юле заводной,  
И не до усталости было,  
А только до мысли одной,  
Что мучила не затихая,  
Лишь разве с ума не свела,—  
Учебная иль боевая  
Объявлена ночью была?

---

**ЛИДИЯ ГУНДОРОВА**

### *Сказка*

Тихий голос, тихий взгляд очей,  
Зверь колюч, в шерсти лохматой, сед.  
А в саду цветок алее, чем  
Солнце и рука моя на свет.

Я прошу: ко мне не подходи  
Близко, чтоб тебя не увидеть.  
Ветер прилетает на груди  
**Песенной теплеть и отдыхать.**

У меня цветы и терема,  
Серебро и сарафан с каймой.  
У меня то лето, то зима,  
Только ты не можешь быть со мной.

Подойду и отражусь в пруду  
И воды холодной отопью.  
А к тебе ни разу не приду,  
Никогда тебя не полюблю.

Но в ночи — печальнее, чем смерть! —  
Ты приходишь, чтоб не разбудить,  
На меня на спящую смотреть  
И меня заснувшую любить.

\*.\*.\*

Как ловко я себя всегда спасаю,  
Верчусь под самым носом у судьбы.  
А как спасти любимого — не знаю,  
В раскрытом рту ни крика, ни мольбы.

Он над обрывом, над ручьем, над кручей,  
Тот, для кого в терпении живу.  
А мне с моей душою невезучей  
Не верится, что это наяву.

---

### ЛЕВ КОТЮКОВ

\*.\*.\*

Взлетаю под купол непрочный,  
Над цирком притихшим лечу,  
Работаю чисто и точно  
И сальто двойное кручу.

Мне вовсе вводить неохота  
В убыток себя и других,  
Работаю чисто, но хохст  
Высот достигает моих.

То, верно, скучающий клоун,  
Аж пыль на арене подняв,  
Нарочно смешно и неловко  
Внизу повторяет меня.

Он руки ко мне простирает,  
Ерошит свой рыжий парик,  
Но, может, не он повторяет,  
А я его бедный двойник.

А впрочем, какое мне дело —  
Пусть смотрят дыша, не дыша,  
Как в небе парит мое тело,  
Внизу веселится душа.

Пока не случилось крушение,  
Пока что я жив и здоров —  
Лечу в золотое скрещенье  
Пылающих прожекторов.

И в том я не вижу плохого,  
Что публику клоун смешит,  
Так много огня золотого,  
Что кажется — купол сторит.

Пусть клоун гримасы мне корчит  
И люди смеются во мгле,  
Мой номер смертельный окончен —  
Я твердо стою на земле.

\* \* \*

Горючая слеза,  
Падучая звезда,  
Холодные, тревожные зарницы...  
И, канув в бесконечность без следа,  
Звезда в слезе полночной отразится,

И этот горький,  
Одинокий свет  
Неведомых глубин души коснется,  
И будущее время отзовется,  
И словно эхо прошлое в ответ.

И кажется — вот-вот спадет покров  
С грядущего  
И дали отворятся,  
Но ты всю жизнь  
На грани двух миров,  
Что без тебя потом соединятся.

Но миг пройдет,  
И радостно вздохнешь,  
Что все осталось  
За семью замками,  
И словно незначай  
Глаза утрешь  
Сухими и горячими руками.

А время бьет в свои колокола,  
И никакой соблазн души не мучит,  
И слава богу —  
Эта ночь прошла  
Звездой падучей  
И слезой горючей.

Орел.

---

## ИЯ СОТНИКОВА

\* \* \*

А я знаю, что это — конец,  
 пусть любимый ликует по-царски,  
 прав он, ибо законы сердец  
 не нуждаются в чьей-то огласке.

Это к лучшему — то, что решил,  
 пусть болезненней, но справедливей,  
 в крайнем случае пара морщин —  
 тех нечаянно нажитых линий.

Он и сам, где-то оборотясь,  
 испытает не меньшую рану.  
 Есть взаимообратная связь  
 человеческих духовных страданий.

Это позже придет, а пока —  
 опьяненье, грядущие планы,  
 пусть же будет легка и кратка  
 обо мне у любимого память.

Мне останется лучшая часть  
 из всего — быть свободной, и только.  
 Да еще — беспокойно прощать,  
 очень трудно прощать, очень долго.

\* \* \*

Когда бы все, что я постичь смогла  
 или хотя бы часть предать огласке  
 созвучьем нот, гармонией в словах  
 и совершенством пластики и краски,  
 я б положила и труда и сил  
 огромный кладезь — с чувством и стараньем,  
 когда бы можно было научить  
 как ремеслу — любви и состраданию.  
 И я б смогла, наверное, спасти  
 и новь, и явь, и все свое бывшее,  
 когда бы можно было объяснить  
 искусством безыскусность боли.

---

 А. ФАЙНБЕРГ
*Оркестр*

Голубая мостовая.  
 Генка-свист, бросай лапту!  
 В синем небе застывает  
 черный мячик на лету.

Это звуки бьют литые.  
Вторит звукам гул оград.  
Марша трубы золотые  
раздувают листопад.  
Вспышки звонкие медалей.  
Барабана четкий гром.  
И мечта из дальней дали  
машет нам своим крылом.  
По окраинам окрестным  
огневой проходит строй.

Два названья у оркестра —  
духовой и полковой.

Под асфальтом скрыт булыжник.  
Чуб у Генки поредел.  
Навсегда за чьи-то крыши  
черный мячик улетел.  
Но опять поют ограды.  
К сапогам слетает лист.  
На закат со мною рядом  
шаг чеканит Генка-свист.  
Молдаванка молодая  
смотрит в душу напролом.  
И мечта из дальней дали  
машет нам своим крылом.  
А привал за красным лесом,  
возле кухни полевой.

Два названья у оркестра —  
духовой и полковой.

Возмужав однажды сразу,  
стали прежним не чета.  
Рассудительнее разум.  
Закаленнее мечта.  
До свиданья, строевая.  
Мы сердечные поем.  
Но притом не забываем —  
между маршами живем.  
Ты кому играешь, флейта?  
Ты кому звучишь, хорал?  
На галерочке — ефрейтор.  
В ложе — знатный генерал.  
Вскинул палочку маэстро,  
Старец с птичьей головой.

Два названья у оркестра —  
духовой и полковой.

Тянет шею из трамвая  
облысевший Генка-свист.  
Снова щеки раздувает  
золотой геликонист.  
Снова улица прогвулась



под напором молодым.  
Шар земной вращает юность  
четким шагом строевым.  
И над новым музыкантом  
свищет песня веселó.  
И летит, летит к закату  
марша медное крыло.  
Глянет синю поднебесной  
неизвестный рядовой..

Два названья у оркестра —  
духовой и полковой.



---

---

ВИКТОР СТЕПАНОВ



## СЕРП ЗЕМЛИ

Там солнечный гуляет ветер,  
И в той немыслимой дали  
С небес не месяц ясный светит  
А бирюзовый серп Земли.

*Несколько лет назад Виктор Степанов обратил на себя внимание книгами «Венок на волне», «У Бранденбургских ворот», «Рота почетного караула» — в них чувствовался молодой талант, виделась решимость писателя говорить о людях армии по-своему, опираясь на собственный жизненный и душевный опыт.*

*Новые рассказы, как бы составляющие своеобразную повесть о космонавтах, с разными персонажами, разными сюжетами, отличаются углубленностью мысли, серьезной попыткой философски осмыслить интереснейшую современную проблему космоса и человека.*

**Юрий БОНДАРЕВ.**

*Космические старты всегда впечатляющи. Даже мы, непосредственные их участники, все еще не можем привыкнуть к ракетному грому над Байконуром, к сдержанно-радостным голосам летчиков-космонавтов, доносящимся к нам на Землю с борта корабля — маленькой рукотворной звездочки, стремительно плывущей в заоблачной выси...*

*Виктор Степанов в своих новеллах рассказывает о космосе не понаслышке, он много раз бывал на космодроме, в Звездном городке, лично знает космонавтов. Помоему, и как писатель он заявил о себе своими первыми очерками о космонавтах. А сейчас Виктор Степанов успешно начинает осваивать космос художественными рассказами. Я от всей души желаю им счастливой читательской орбиты!*

**Владимир ШАТАЛОВ,**  
летчик-космонавт СССР,  
дважды Герой Советского Союза.

### Звездный свет

**Л**ететь в Байконур — это всегда лететь в голубой, пронизанный солнечным светом апрель, осень ли, зима, лето ли плывет под крылом самолета. Лететь в Байконур — это лететь в утро новой эпохи, наполненное вселенской музыкой воспламененных дюз, громовыми раскатами старта, сквозь которые на всю планету еще слышится, еще отдается перекликающийся со звездами восхищенный гагаринский голос.

Впервые я летел в Байконур осенью. Далеко внизу трепетал, разливался багряной рябью подмосковный лес, зеленые ковры озими, разбросанные тут и там по полям, кое-где уже присыпало метелями,

но чем ближе подступали к нам казахстанские степи, тем щедрее вливалось в иллюминаторы солнце, тем все больше любопытных приникало к круглым окошкам, словно самолет и впрямь, превратясь в машину времени, возвращал нас в прекрасный тот день.

Рассматривать, собственно, было нечего: бескрайняя пустыня расстилалась всюду, куда только доставал с такой высоты взгляд. Сверху она чем-то напоминала песочную площадку, заброшенную когда-то игравшими здесь детьми: какие-то ямки, бугорки, глиняные домики. Но когда и эти зыбкие, мимолетные приметы человеческого присутствия исчезали, сразу же навязчиво напрашивалось другое сравнение — сравнение с уныло-однообразными и все же таящими загадку пейзажами Луны или Марса. Но разве и вправду не летели мы в мир, так близко стоящий к иным планетам?

Так и не увиденный нами с самолета Байконур возник неожиданно и словно бы ниоткуда. Земля приникла к шасси, как бы взвешивая нас на бетонной своей ладони, и замерла, мелькнув в последний раз взлохмаченными от реактивного вихря пирамидальными тополями. В распахнутую самолетную дверцу ворвались теплые запахи степи, и еще на ступеньках трапа, да-да, еще наверху, до того, как нога коснулась как будто другой планеты, оглушила мысль о сопричастности: «Вот этого солоноватого горячего ветерка глотнул и Он. И вот по такому же трапу Он спускался и шел вот по этой дорожке».

И теперь уже все, все, что двинулось нам навстречу, едва мы ступили на байконурскую землю, рассматривалось словно Его глазами. Вот здесь Его обнял Королев. Нет, они увиделись позже. Но то, что Королев встречал самолет, это точно. И вот по этому прямому, как будто высланному по линейке шоссе вереница автомобилей ринулась в звездоград.

Что Он видел в окошко автомобиля? Что больше всего поразило? Покачивание за стеклом равнины, пологой как застывшее бурое море, или колючий шар перекасти-поля, перебежавший шоссе так испуганно, словно был он живым? Нет-нет, тогда в степи цвели маки, как будто заря разлилась по земле до самого горизонта... «Какое жизнерадостное солнце!» — воскликнул Он. Сейчас все словно чуть-чуть приржавело, но тот же ветер бил в лобовое стекло, закручивал позади вихри, а вдалеке, на острие шоссе, как мираж проступал на бледнеющем небе город. Вот здесь, возле трехэтажного кирпичного дома, они тоже повернули направо. Интересно, какими были тогда вот эти в две шеренги расступившиеся по сторонам тополя?

Они еще сопротивлялись осени, шелестели жесткими, но зелеными, не желающими опадать листьями, и вместе с ними, смело пустившими в сухой, безжизненный песок корни, жадно ищущими, вбирающими по капле скупую влагу, росла, набирала силу и распускала звенящую крону легенда о первом деревце, привезенном Королевым из Москвы на самолете и посаженном здесь наперекор всем стужам и суховеям. Сейчас весь город был в тополях.

И на нем, таком еще молодом, на его улицах, просматривавшихся насквозь и удивительно похожих на взлетные полосы, потому что и начинались и кончались они небом, тоже лежал розоватый отблеск той байконурской зари, неземные краски которой не смоет никакое время. Праздных прохожих совсем не было видно, и даже невнимательный взгляд мог подметить несвойственную обычному людскому потоку сосредоточенность в движении, в самой походке людей; ребята и те со своими рюкзаками и портфелями держались как-то особенно, словно старались подражать своим родителям — знаменитым, увенчанным самыми высшими наградами, но известным только немногим. Не это ли — космическая масштабность будничного дела

и в то же время скромность, желание оставаться как бы в тени — отличало, как мне на первый взгляд казалось, замкнутых и не очень словоохотливых жителей звездограда? Несколько позже ко мне вернулась та же мысль, когда на официальном вечере, куда полагалось прийти во всех регалиях, я увидел на пиджаках людей, с которыми две недели ел, спал, разговаривал, золотые звезды — при всей доверительности и откровенности они и словом ни разу не обмолвились о том, что давно уже герои. И я преувеличу лишь немного, если добавлю, что в тот вечер просторный, чуть-чуть холодноватый зал освещали и словно бы согревали не люстры, а именно золотые звезды, звезды, составившие как бы земную галактику. Я никогда в жизни не видел так много собравшихся вместе Героев Социалистического Труда. Утром я вновь встречал их на космодроме — в застиранных куртках, потертых комбинезонах, регланах и свитерах. Они продолжали свое великое дело, и новая ракета словно дышала морозным паром, ожидая старта.

Но это было позже, значительно позже. А тогда, в день приезда на Байконур, мы жаждали одного — поскорей повидать космонавтов.

Серый двухэтажный особняк под названием «Космонавт», ничем не примечательный, казалось, излучал стеклами своих окон и дверей звездный свет. Приученные видеть космонавтов в фантастическом одеянии у подножья ракет или в кабине корабля на орбите, а еще чаще идущими по ковровой дорожке от трапа самолета к гремящим маршем трибунам, мы не сразу привыкли к той обыденности, с какой они встретили нас в своем доме. Когда мы переступили порог особняка, двое из них — в синих тренировочных костюмах — играли в бильярд, остальные прыгали, били по звонкому мячу в спортзале, готовясь к волейбольным состязаниям. Семерым из них назначено было стартовать в космос, и наши глаза придирчиво искали на их лицах приметы волнения. Но нет, внешне они ничем не отличались от своих сотоварищей, среди которых еще семеро были дублерами. Шары впечатывались в лузу, мяч бешено метался над сеткой... Неужели эти ловкие, как бы сдерживающие силу парни не думали о том, что послезавтра о них узнает весь мир? Нет, наверное, и здесь витала тень Гагарина — живого, азартного в игре и невозмутимо спокойного за сутки перед всечеловеческим подвигом. И новая догадка пришла как открытие: мы не просто смотрели на них, а все время сравнивали, соизмеряли их с Ним.

Да, и в тот вечер, и на другой день, и каждый час, и каждый миг. Мы искали, ловили в их взглядах, улыбках, жестах похужесть на Него и находили, да, находили роднящие с Ним черты.

В чем они проявлялись?

В простосердечии и общительности, желании принизить значение в предстоящем полете собственной персоны, в сметливости ума, понимании малейших намеков на шутку и быстрой ответной реакции на нее. Почти незнакомые до этого, мы через полчаса беседы становились друзьями.

Мне даже показалось, что их улыбки, честное слово, их улыбки тоже чем-то напоминали гагаринскую.

Это чувство родственности, словно все они были детьми одних родителей, особенно проявилось в тот вечер, когда вместе с космонавтами мы отправились на далекую окраину звездограда, чтобы, теперь уже по традиции, постоять перед стартом возле домиков, от которых началась тропа к звездам. Два побеленных известью домика с наличниками на окнах и с крылечками об один порожек дремали под сенью тополей, когда-то посаженных их недолгими, остававшимися здесь только переночевать жильцами. В одном из домиков возле

окна, выходящего на закат,— наверное, для того, чтобы раньше времени не потревожило солнце,— спали перед полетом два звездных брата — Гагарин и Титов, в другом, соседнем, провел не одну бессонную ночь Королев.

Космонавты переступали порог в молчании, останавливались, обнажив головы, и с чувством внезапного узнавания смотрели на розоватые обои, на невысокий потолок, на две заправленные серыми казенными одеялами кровати, на столик между ними, на телефон, который тогда вряд ли кому пригодился. Несвойственное этим мужественным людям выражение растерянности и детского удивления отражали на лицах вещи, еще хранящие тепло рук Гагарина и Королева: книги, журналы, шахматы... Так смотрят выросшие и вернувшиеся из дальних странствий дети на родительский очаг, на уже ветхие свидетельства детства, юности, еще как бы живущих в остывающих стенах. Конечно, все они теперь были космическими братьями, все чем-то походило и на Него и один на другого..

Я думал об этом ночью, когда в своих словно отключенных и изолированных от мира сего комнатах названные первыми в списке стартующих космонавты спали крепким гагаринским сном. Я спрашивал себя об этом утром, когда вулканический столб огня вытолкнул в небо корабль с космонавтами на борту. Тот же вопрос задавал я себе при каждом очередном сеансе связи, пытливо всматриваясь в словно бы размытые дождем их лица на экране телевизора.

Ответ пришел сам собой через несколько дней, когда из распахнутой дверцы вертолета выглянули космонавты, приземлившиеся в казахстанской степи. Они были одеты не так, каким мы запомнили Юрия. Теплые, наброшенные на плечи куртки, летные шлемы, унты... Но странно — внешняя непохожесть заставила застыть нас в изумлении: стало очевидным необыкновенное, почти близнецовское их сходство. С небритых и как бы чуть-чуть одутловатых лиц на нас смотрели живые гагаринские глаза. Их взгляд исходил из глубины и выражал нечто такое, что было трудно передаваемо словами. Да-да, у них теперь были совершенно иные, чем до полета, глаза. Звездный свет отражался в них. И еще что-то такое совершенно необъяснимое, неведомое тем, кому никогда не приходилось смотреть на Землю оттуда. Но и на эту землю, блестящую у них под ногами белизной первого снега, они тоже смотрели другими глазами.

Что же это такое — звездный свет в глазах совсем, совсем земных людей?

### Крылья Икара

Королев мельком взглянул на часы, и глаза примагнитились к стрелкам — до старта «Востока» оставалось двенадцать часов. Двенадцать? Неужели только двенадцать? Он знал, что время приобретет теперь не объяснимое никакими законами физики свойство. С одной стороны, оно будет неимоверно тягостно тянуться, с другой — неумолимо быстро устремится к предельной черте. Неумолимо и неотвратно. Медленно и молниеносно. Если бы можно было за оставшихся полсутки проверить, прощупать собственными руками каждый проводок, каждый винтик, каждую заклепку... И в нем опять вскипело укрощенное им же самим еще вчера раздражение. Когда ракета находилась в монтажном корпусе, за несколько часов до вывоза ее на старт был обнаружен дефект в одном из клапанов системы ориентации корабля. Злополучный клапан, конечно, тут же заменили, и испытания пошли дальше. Ну а если бы не заметили? И если бы этот клапан дал о себе знать на орбите? Не хотелось допускать и мысли, чтобы кто-нибудь

из готовивших «Восток» к старту относился к своим обязанностям формально — понятно, бессонные ночи, устают и глаза и руки, — но и простить малейшей оплошности он не мог. Даже самому черствому, влюбленному только в свои «винтики» слесарю должно быть ясно, что в этой ракете, в этом корабле каждую деталь нужно почувствовать, как собственный нерв, как собственный палец на руке, — только так. Одно дело манекен или собачка, пусть милая, лопоухая, но все же собачка, а другое — человек.

И Королев представил, как завтра по ступенькам мостика, ведущего к лифту, поднимется космонавт в оранжевом скафандре и гермошлеме, поднимется неуклюже, валко, но сам! И тут же перед глазами возникло лицо этого человека, чуть худощавое, еще сохранившее мальчишеские черты, с челкой, оставленной стрижкой под полубокс, с веселыми глазами, с ямочками в уголках губ, как бы таящими улыбку. Да ведь и правда — парнишка, не бог весть какой богатырь, и ростом не вышел, и плечи не косая сажень, а крепкий, жилистый. Руки у таких по-девичьи тонки в запястьях, зато ладони — наждаки. Вот этой какой-то крепкой рабочей ухватистостью, жадным нескрываемым любопытством ко всему новому и привлекал внимание летчик. Да, он выделялся среди других именно своей незаметностью. Бывают такие — человек старается держаться в сторонке, а виден всем. Собственно, при подобных обстоятельствах они и познакомились. Когда это было? Летом? Да, кажется, летом. Молодым летчикам, новобранцам космонавтики, впервые показали корабль «Восток». Корабль этот не предназначался для полетов человека, но был изготовлен по чертежам чисто «человеческого» варианта. Будущие его капитаны (как близнецы — удивительно одинакового роста, в одинаковой летной форме) с настороженным любопытством присматривались к диковинному круглому шару, похожему скорее на батискаф, чем на корабль, и уж совсем не напоминавшему самолет. Эта настороженность чувствовалась даже в вопросах, которые задавались Королеву. Техника техникой, надежность — понятно, а все же интересно: какую жару выдержит теплозащита? Неужели при тысячеградусных температурах в кабине останутся комнатные условия? А как будет сориентирован корабль при посадке?

Он догадывался, почему так чутко ощупывали их руки слой теплозащиты, скользили по патрубкам системы жизнеобеспечения, трогали болты, которыми завинчивался люк катапульты. Они понимали, какая ответственность ложилась на эти узлы. Им нетрудно было вообразить, как этот шар тяжелым, раскаленным ядром начнет после торможения падать по рассчитанной траектории на Землю. Высота двадцать километров... пятнадцать... десять...

Или система ориентации... Важнейшая система! Хотя, будь менее учтивыми и сдержанными, они могли бы, вполне могли как летчики конструктора спросить его, Королева, не случится ли с «Востоком» то, что случилось с первым кораблем-спутником. А что он мог ответить?

Если на сердце остаются незаживающие и вроде бы даже перестающие болеть, но однажды вдруг обозначенные тревожным всплеском на ленте кардиограммы раны, тонкой, неровной линией записавшей невидимую для посторонних боль, то такой раной и такой болью оставался для Королева — что там скрывать — последний участок орбиты того корабля.

Трое суток кружил первый корабль-спутник над планетой, вызывая восторг и восхищение землян. Да, он был первым в мире, и чувство праздника владело человечеством.

Орбитальный полет заканчивался, и близился завершающий этап — снижение с орбиты по дороге к Земле. Королеву запомнился

не только день. Он мог назвать часы и минуты. 19 мая в 2 часа 52 минуты Земля подала команду на включение программы спуска. Получив эту команду, система ориентации должна была развернуть корабль так, чтобы сопло тормозной установки смотрело вперед под точно рассчитанным углом,— только тогда корабль мог благополучно «скатиться» с орбиты.

Включение тормозной установки прошло четко. Оставалось получить известие о прекращении сигнала и сообщение наземных станций о том, что пеленгуется спускающийся корабль. И вдруг выяснилось, что он не спускается, а проходит над ними и что наземные измерительные пункты замеряют параметры его новой орбиты. Корабль не послушался команды, не пожелал перейти в режим спуска!

В причинах неудачи разобрались быстро. Подвела система ориентации. Подробный анализ телеметрических данных показал: неисправность возникла в одном из приборов системы ориентации. Механизм, многократно работавший в барокамере, отказал в космосе. Корабль не был правильно сориентирован, двигательная установка хоть и сработала, но произошло не торможение, а разгон, и, вместо того чтобы снизиться, корабль перешел на новую, более высокую орбиту.

О неудаче и ее причинах, конечно, узнали и те, кто готовился к первым полетам. Да, важно было не только нормально взлететь. Нужна была еще и гарантия благополучной посадки... Почему-то именно сейчас Королев вспомнил замерцавшую полированным металлом над люком «Востока» стенку пилотского кресла. Первое кресло! Сама эта еще непривычно выглядевшая конструкция уже подразумевала, как бы олицетворяла человека в корабле. И он почти в детском нетерпении поскорее увидеть кресло занятым не выдержал, спросил тут же, не найдутся ли желающие посидеть в нем.

Видимо, этот неожиданный вопрос смутил летчиков, и они вроде бы даже отпрянули. Королев не смел бы утверждать определенно, но, как и многим тогда там присутствовавшим, ему теперь казалось, что первым прервал неловкость Гагарин.

— Разрешите? — спросил он и, поднявшись на помост, приставленный к кораблю, начал разуваться.

Почему он решил снять ботинки? Королев и сейчас видел быстро мелькавшие шнуры, неловко дерминающиеся на железной площадке ноги в синих носках... Через несколько секунд, ловко подтянувшись за кромку люка, Гагарин опустился в кресло. Да, пожалуй, он очутился в корабле первым, но их, космических новобранцев, было тогда так мало, что вряд ли Королев кого-либо выделял...

Да, конечно, полетит Гагарин. Но ведь никто, нет, никто не гарантировал стопроцентного успеха «Востоку». «А я-то могу гарантировать?» — вдруг подумал Королев, еще отчетливо не понимая причину исподволь вползавшей в сознание тревоги. Он и сейчас как бы слышал собственный голос:

— Ракета-носитель и космический корабль «Восток» прошли полный цикл испытаний на заводе-изготовителе и на космодроме... Замечаний по работе отдельных систем как ракеты-носителя, так и корабля нет. Прошу Государственную комиссию разрешить вывоз ракеты-носителя с кораблем на стартовую позицию для продолжения подготовки и пуска двенадцатого апреля в девять часов семь минут по московскому времени...

Он сказал об этом два дня назад, а сейчас — вот она, в морозной дымке, как бы сберегая дыхание для мощного рывка, стоит на стальных стапелях. И время неумолимо рвется вперед, и уже не двенадцать, а **одиннадцать часов сорок минут** остается до запуска...

Королев попробовал представить себя в том состоянии, как если бы он сам ожидал сейчас старта. Собственно, это и было бы исполнением его мечты, мечты всей жизни — в далеком-далеком отсюда небе юности миражно покачал крыльями его планер, промчался самолет... Удивительно драматическое совпадение — он не мог полететь тогда на крыльях, им самим сконструированных, заболел и доверил это опытному планеристу... Сейчас повторяется то же самое — у Икара новые, могучие, поистине фантастические крылья, но в полет не пускает сердце. Не в этом ли странная логика жизни — человеку дается все, когда он уже не в силах взять даже малое. Но ведь исполнение мечты состоится! Просто крылья Икара он вручает другому, ставшему продолжением его самого...

...Космонавтов разместили точно в таком же домике, в каком жил Королев. И в этом совпадении было тоже что-то символическое, какая-то многозначительность случая. К тому же побеленные эти домики с наличниками на окнах, с деревянными фронтонами и крытыми шифером крышами очень напоминали ему тихую улочку детства не то в Житомире, не то в Одессе.

Гагарин и Титов играли в шахматы, Каманин сидел тут же, очевидно в роли судьбы, и, когда Королев вошел, все трое, оторвавшись от доски, привстали и вопрошающе на него поглядели.

— Продолжайте, продолжайте, я всего на минутку, — остановил их жестом Королев и встал над игравшими, пытаясь с ходу оценить расстановку сил.

Партия протекла в равновесии, обострения не предвиделось. Прикинув возможности белых и черных, Королев без труда догадался, что играющие просто-напросто коротают, убивают время. «Интересно, что они думают о полете? Конечно же думают что-то, не могут не думать».

Почувствовав на себе взгляд, Гагарин поднял глаза, и Королев заметил, как зеркально отразилось в них его собственное беспокойство. «Мое лицо сейчас предаст меня», — спохватился он, отводя глаза, и, чтобы хоть как-то замять неловкость, проговорил:

— Все идет нормально... Даже отлично идет...

Было непонятно, относились эти слова к шахматам или к предстоящему полету. И Гагарин, решивший положить конец двусмысленности, поднял на Королеву ясные успокаивающие глаза:

— А я, знаете, Сергей Павлович, какой-то ненормальный. Ну ни чуточки не волнуясь, честное слово...

«Ты, конечно, волнуешься, — усмехнулся Королев, — но спасибо тебе за эти слова». Так он подумал, а сказал другое.

— И не надо волноваться, — произнес он, смягчая взгляд, пряча тревогу. — Зачем волноваться? Это сейчас много процедур разных, условий. Но хочу предупредить: через пару-тройку лет в космос будем отправлять гораздо проще — по профсоюзным путевкам.

Гагарин засмеялся, мотнул головой, одобряя шутку, а Королев, словно затем только и пришел, чтобы рассмешить, погасил улыбку на супленными бровями, взглянул на часы и отступил к дверям.

— Всего доброго, спокойной ночи...

Про себя-то он знал, что всю ночь не сомкнет глаз и не найдет ни минуты покоя до самого заветного, и радующего, и пугающего своим приближением часа. Но вид Гагарина словно придал сил, и, сберегая в себе этот новый прилив энергии, Королев поехал на стартовую площадку.

Он вернулся в свой домик за полночь — окна соседнего были уже темны, только в комнате дежурного врача тускло светилась лампа.



«Вряд ли и они сейчас спят», — подумал Королев, но заставил себя остаться в домике. Он походил по комнате, уговаривая себя прилечь хотя бы на час, но не выдержал и вновь пошел к космонавтам. В коридорчике его встретил врач, бодрые и радостные глаза которого сами говорили обо всем. Приложив палец к губам и привстав на цыпочки, Королев бесшумно прошел дальше и открыл дверь в комнату. Полоска мутного света, метнувшаяся от двери, выхватила лицо Гагарина, такое безмятежно-спокойное и с тем выражением бесконечной доверчивости, какое бывает у совсем маленьких детей, видящих радостный сон. «А ведь он и впрямь сын мне... Конечно, сын», — подумал Королев. Показав врачу жестами, что все в порядке, он молчаливо удалился. В три часа ночи начиналась заключительная проверка ракеты-носителя и корабля. «Теперь я увижу его только перед стартом», — решил Королев, снова возвращаясь к заботам, которые не давали ему права расслабиться ни на минуту.

Ночь пронеслась чередой озабоченных людей, спешивших к Королеву с докладами по проверке систем ракеты-носителя и корабля. Электрики и радисты, управленцы и двигателисты входили и выходили такими озабоченными, так торопились к рабочим местам, что казалось, будто все они, в белых своих халатах похожие на врачей, обеспокоены самочувствием какого-то гигантского, но очень хрупкого и нежного существа. А время уже не шло, не бежало, летело к своему критическому пределу, и все сильнее сжималась пружина, которой надлежало распрямиться в грохоте дыма и огня.

Рассвет прояснил, вымыл досиня окна, впуская еще розовое, не смелое солнце, и Королев, опять поняв, что не выдержит, велел шферу как можно быстрее ехать к домику, где по распорядку уже должны были облачать космонавтов.

Титов, который по установленному правилу должен был как дублер одеваться первым, чтобы в скафандре меньше парился Юрий, сидел в своих доспехах, заполняя всю комнату апельсиновым светом. Гагарин, только что надевший тонкое белое шелковое белье, тянулся к другому, лазеревого цвета костюму, похожему на комбинезон. Как и тогда, вечером, все, кто находился в комнате, с ожиданием повернулись к Королеву, но он жестом показал, чтобы не обращали внимания, а сам осторожно начал наблюдать за Гагариным. Никакой тревоги в лице, никакого намека на волнение! Но опять, как вчера, едва взгляды их встретились, Королев словно увидел в его глазах собственное отражение и вспомнил о приказе, с проектом которого познакомили его еще вчера. Старшему лейтенанту Гагарину досрочно присваивали звание майора.

«...Старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич 12 апреля 1961 года отправляется на корабле-спутнике в космическое пространство с тем, чтобы первым проложить путь человеку в космос, совершить беспримерный героический подвиг и прославить навеки нашу Советскую Родину».

— Как настроение, Юрий Алексеевич? — спросил Королев, стараясь выдержать голос на самых бодрых тонах.

Но Гагарин, наверное, уловил фальшивинку, тень озабоченности на его лице тут же сменилась выражением лукавства. Подставляя руки для оранжевого костюма, Гагарин весело ответил:

— Отлично! А как у вас? — И не довольствуясь этой фразой, в которой Королеву могла послышаться неискренность, добавил, разминая ноги в высоких негнущихся ботинках: — Да вы не беспокойтесь, Сергей Павлович, все будет хорошо, все будет нормально.

«Да ведь это он меня успокаивает!» — подумал Королев.

Два часа сплюснулись в мгновения, но память зафиксировала каждую фразу, каждый пустяк. Главным во всем этом быстротечном движении, центром меняющейся ежеминутно картины был Гагарин — яркий, оранжевый, неуклюжий, как мальчишка, надевший что-то чужое, взрослое, вперевалку расхаживавший в огромного размера ботинках. Королеву запомнилось многозначительное успокаивающее пожатие удивительно маленькой, высунувшейся из обшлага скафандра руки. Он взял эту руку в свою правую и еще для крепости, размахнувшись, прихлопнул сверху левой, хотел поцеловать Юрия, но только ткнулся неловко шляпой в гермошлем и заторопился, заторопился, как отец сына на грустном, быть может последнем, прощании, когда затянувшаяся пауза грозит обернуться слезами.

— Ну, давай, давай, Юрий, пора...

И уже потом, когда Юрий на мостике, ведущем к лифту, обернулся, словно почувствовал просящий взгляд, Королеву опять стало не по себе, как в думке космонавтов, когда начиналось облачение в тонкое белое белье... Конечно же, он шел на подвиг, и подвиг этот начинался с первых оставленных позади ступенек. Он уже был героем, но только сейчас, когда за дверцей лифта мелькнуло оранжевое пятно, Королев с прихлынувшей к сердцу благодарностью осознал всю красоту беспредельного, оплачиваемого ценой жизни великодушного доверия, каким награждал его этот почти совсем еще мальчишка.

Теперь между ними оставалась только тонкая пульсирующая нить радиосвязи. Королев подошел к микрофону, назвал свой позывной и по ответному, словно его упредившему восклицанию, пробившемуся в дежурную фразу, произнесенную Гагариным, понял, что голос его узнал с радостью.

— Как чувствуете себя, Юрий Алексеевич? — спросил Королев как можно ровнее.

— Чувствую себя превосходно. Проверка телефонов и динамиков нормально. Перехожу сейчас на телефон...

«Все хорошо, Сергей Павлович, не волнуйтесь, не подведу», — расшифровал Королев.

Голоса с наземного пункта влетали в разговор, не оставляли пауз, чтобы все время держать в напряжении внимание Гагарина, не дать ему почувствовать себя замурованным в стальное ядро. Но когда в динамике звучали шутливые фразы, Королев понимал, что они обращены лично к нему.

— Как по данным медицины — сердце бьется? — спросил Гагарин с улыбкой в голосе.

Не сразу уловив юмор, Королев, взглянув на столбец телеметрии, успокаивающе ответил:

— Слышу вас отлично. Пульс у вас шестьдесят четыре, дыхание двадцать четыре. Все идет нормально!

— Понял. Значит, сердце бьется, — не замедлил отозваться Гагарин.

— Что происходит? — озадаченно кивнул на динамик уже слегка бледнеющий оператор. — Кто летит — Гагарин или мы? Это спокойствие...

— Все мы сейчас летим, — нахмурясь, сказал Королев, окончательно взбодренный гагаринскими донесениями. И в этот момент, соединяя прошлое и будущее, прозвучала команда о минутной готовности.

— По-е-ха-ли!..

Вибрация чуть-чуть искажала, дробила голос Гагарина, будто космонавт и впрямь устремлялся вдаль по каменистой тряской дороге.

— Желаю вам доброго полета! — как можно бодрее выкрикнул Королев в микрофон.

Орбита началась. Она не имела права оборваться, не имела! Все сущее жило сейчас для Королева только этим внешне бесстрастным голосом.

— Пять... пять... пять...

На языке телеметрии это означало, что все идет хорошо и следующий расположенный по трассе полета наземный измерительный пункт вышел на связь с ракетой, принимает с ее борта информацию.

— Пять... пять... пять...

«Все в порядке». Но что это? Уж не ослышался ли он?

— Три... три... три...

«Неужели отказ двигателя? Разгерметизация? Обморок от перегрузок?»

— «Кедр», отвечайте! На связь, «Кедр»! — громко позвал Королев, стиснув бессильный микрофон.

В ответ нечленораздельно шипели динамики, и солнце — невидимое из бункера солнце — падало, чернело на глазах, превращаясь в пепел.

Королев резко встал, с расширенными глазами приблизился к оператору, как будто от того зависело, что передаст телеметрия.

— Ну?!

— Пять! — не веря глазам, прошептал оператор. — Опять сплошные пятерки!..

И тут же словно в подтверждение его слов зазвучал родной долгожданный голос:

— Сброс головного обтекателя! Вижу Землю! Красота-то какая!

Королев мешковато опустился в кресло.

— Никаких троек не было, просто сбой на ленте связи, — сказал один из инженеров, выяснявший причину неполадок.

— Ничего себе просто, — устало усмехнулся Королев.

Дальше все происходило еще стремительнее, как будто время гналось теперь за кораблем, замыкающим легендарный свой виток. Верилось и не верилось, но надо было, черт побери, верить хотя бы следам тех, кто одновременно смеялся и кричал «ура». «Восток» благополучно сел возле какой-то деревни Смеловка, где-то юго-западнее города Энгельса... Неужели Гагарин был уже на Земле?

Нет, умом понимал, а сердцем все-таки не верил, когда уже на берегу Волги на гребне крутого откоса увидел спускаемый аппарат — обугленное, едва остывшее ядро, словно доброшенное сюда выстрелом из невидимой гигантской пушки.

— Жив! Жив! Здоров! И никаких повреждений!..

— Не верю, не верю, пока не увижу! — не то шутя, не то серьезно отмахивался Королев.

Они увиделись лишь через час — на другом конце освещенного зала Юрий выглянул из толпы и, расталкивая репортеров, кинулся, скользнув по паркету, прямо в объятия Королева.

А на другое утро, когда, оставшись наконец-то вдвоем, шли по берегу Волги, вдыхая запах весенней, тронутой первой пахотой земли, Королев поглядел в небо, набухшее тучкой, и сказал:

— А ведь я сам мечтал, Юра, честное слово...

— Вы еще полетите, — засмеялся Гагарин. — Сами же сказали, по профсоюзной путевке. Впрочем, вы уже летали..

И засмутившись отчего-то, будто хотел и не хотел открыть тайну, достал из нагрудного кармана новенькой шинели с майорскими погонами фотографию — маленькую, сделанную, очевидно, любителем.

— Это вы,— проговорил он, протягивая ее Королеву,— вы летали вместе со мной...

Король едва узнал себя в молодом еще человеке, похожем не то на летчика, не то на полярника, в кожаной доубенной фуражке. Фотокарточка гирдовских времен. Но как она попала к Гагарину и действительно ли он брал ее в космос?

— Ну уж, ну уж,— сказал Король то ли одобрительно, то ли недоверчиво, постеснявшись почему-то об этом спросить...

Спустя семь лет эту фотокарточку извлекли из гагаринского портмоне, найденного там, где теперь надobeliskом, похожим на винт самолета, склонились березы...

### Голос Лайки

Странное чувство испытывал Владимир Иванович, приходя в виварий. Порой ему казалось, будто собаки знают, для чего они здесь находятся. В этих приподнятых над землей, стоящих как бы на куриных ножках домиках протекала своя — не хотелось сказать собачья, но какая-то удивительная и недоступная пониманию людей жизнь, жизнь, очень похожая на зоопарковую и в то же время решительно от нее отличавшаяся.

Сейчас подошло время обеда, и собаки, еще десять минут назад резво носившиеся по газонам и асфальтовым дорожкам своего двора, без понуканья вернулись в домики. Голод не тетка, и стригущие уши и нетерпеливые глаза повернуты в одном направлении: к входу в виварий. Владимир Иванович пропущен почти равнодушно — знают, что он не по обеденной части,— а вот следующего за ним служителя в синем халате надо приветствовать стоя. И хвостом веселей, веселей, глядишь, и стукнется в миску что помясистей, хотя первое — пшенный суп — для всех одинаково.

Впрочем, не для всех. Старожилы и внимания не обратили, а новенькая Пальма сразу уши наострила, стрельнула ревнивым взглядом — от соседнего домика плеснул в нос наивкуснейший запах колбасы: мне похлебку, а Гильде колбасу? это по какому такому случаю, за какие такие заслуги?

Как объяснить ей, Пальме, что Гильда три дня и три ночи прожила в особой, совершенно темной конуре — сурдокамере. Владимир Иванович вспомнил сейчас то, отчего становилось не по себе: когда наконец дверцу сурдокамеры открыли и из нее после долгих просьб и уговоров высунулась помятая мордашка, собачьи глаза были полны обиды. Не надо бы Пальме удивляться и другому—почему вместо положенного всем пшенного супа куриный бульон был налит в миску Марсианки. Она лизнула и отвернулась — не до бульона: не так-то просто десять минут прокружиться на центрифуге. Это тебе не карусели на детской площадке, куда ради смеха усадят иной раз ребятишки... Наверное, Марсианка перехватила завистливый взгляд незнакомки. Ткнулась в сетку носом, вяло твякнула, как будто про себя. Что она ей сказала? «Посмотрим, как у тебя получится, милая»?

Да, своя, полная непонятного общения жизнь протекала в виварии. И направляясь сейчас к самому, можно сказать, главному на сей день домику, Владимир Иванович видел эту жизнь во всех вроде бы и привычных и каждый раз вновь открываемых подробностях.

Первое, что бросалось в глаза,— какая-то удивительная похожесть населения этого городка: почти все собаки были белыми, одинакового роста, чуть крупнее кошки, словно однажды их сняли с полки магазина и оживили. Цвет шерсти и «габариты» диктовались соображениями чисто техническими: оказывается, белое на фоне темного больше

устраивало киносъемку и телевидение, что касается размеров, то на первых кораблях-спутниках, впрочем, как и на последующих, на строгом счету был каждый килограмм веса. Владимир Иванович улыбнулся, вспомнив трагикомическую ситуацию, когда щенка, неотвратимо вдруг начавшего превращаться в большую, превысившую допустимый вес собаку, с огорчением пришлось забраковать, отчислить из кандидатов в «космонавты», несмотря на то, что Малыш подавал немалые надежды. Всякое бывало в этом городке.

Но за внешней похожестью собак скрывалось то общее, что и объединяло их в одну семью. Стоило только незнакомцу войти в виварий, как его встречал дружный залиvistый лай. Словно где-нибудь в деревне глухой ночью неосторожным стуком калитки ты испугнул чуткую, недремлющую свору, и теперь, в какую бы сторону ни кинулся, всюду — впереди, сзади, со всех сторон — тебя преследует и теснит безудержное тьяканье отводящих душу собак. Такое сравнение напряживалось не случайно, ибо все обитатели этого городка были дворняжками. Да, выбор пал на беспородных представителей, хотя по всем признакам — малому, почти игрушечному весу, внешней симпатичности — в космос могли бы годиться так называемые декоративные собаки. Но первые же экзамены на выносливость показали, что благородная порода комнатных обитателей, привыкших к жизни со всеми удобствами, для космоса неподходяща. Владимир Иванович и раньше почему-то терпеть не мог гладко шоколадных тойтерьеров с наголоватыми, чуть навькате от чувства собственного достоинства глазами, с их тонкими хрупкими лапками, похожими на крошечные человеческие руки с хищными коготками, а с тех пор, как однажды на испытаниях такой тойтерьер мгновенно испустил дух от разрыва сердца, потому что рядом хлопнула перегоревшая лампа, он не мог побороть в себе чувства отвращения, когда сталкивался с представителями этого фасонистого собачьего рода.

Теперь уже никто и не помнит, кому пришла мысль обратить взор на обыкновенную дворняжку и как звали голосистую и бойкую ту собачку, от которой ведется родословная Белки, Стрелки, Пушинки, Жемчужинки и всех обитателей этого шумного городка. Говорят, что какой-то молодой лаборант после множества неудач с испытанием благородных, увенчанных призами и наградами кандидатов вышел однажды во двор и увидел возле ворот приبلудную собачонку. Ее «габариты» соответствовали нормативам. На свой страх и риск поместил он пушистую незнакомку в центрифугу и включил предельную нагрузку. Через несколько минут вынув из кабинки неизвестную, он пожалел о своей беспечности: Пушинка — так назвал он ее мысленно — лежала, вытянув лапки, в полнейшей неподвижности. Лаборант уже было начал раскаиваться, как вдруг Пушинка зашевелилась, поднялась и, глянув на такого жестокого, но все-таки вновь обретенного хозяина, уважительно завяляла хвостом. Это было непостижимо! Ни одной собаке еще не удавалось столь безболезненно перенести тяжелейшую нагрузку. Правда, в следующем эксперименте, в кабине одиночества, Пушинка подвела — съела на стенах почти весь поролон и разгрызла датчик, — но находчивый лаборант выручил свою подопечную. «Надо было ее своевременно проинструктировать», — сказал он членам приемной комиссии.

Так единодушно для подготовки в космос была утверждена «порода» дворняжек, вот этих таких одинаковых, но все же таких разных собак, которые наперебой пытались сейчас о чем-то сообщить Владимиру Ивановичу. Нет, их лай не был похож на злобный лай гремящих цепями деревенских сородичей. Стоило подойти к домику, протянуть руку к решетке — и собака, склонив голову, сложив уши, замолкала.

Значит, она не отпугивала, а звала? Вот она уже сама тянется к руке мордашкой, смотрит добрыми, ласкающими глазами. Откуда такая привязанность к человеку вообще, а не просто к своему хозяину? Хотя собака остается собакой. Вот выбрала же Белка именно женщину, одну-единственную, и именно с ней, а не с кем другим особенно приветлива, на прогулках ходит за ней по пятам. И даже после триумфального полета осталась верна своей хозяйке.

Но это желание общения с человеком не от предчувствия ли близкой и опасной разлуки? Может быть, разлуки навсегда? В такую интуицию собак не хотелось верить, но и не думать об этом было невозможно. С этими мыслями и подошел Владимир Иванович к домику, хозяйке которого сегодня предстояло стать героиней дня.

Две темные блестящие вишенки глаз — вопрошающих, но уже с тем оттенком спокойного любопытства, какое было характерно для собак, прошедших все «огни, и воды, и медные трубы» предполетной подготовки, — глянули на него. Прядая темными, чуть обвислыми ушами, собака склонила набок голову, стараясь без слов, по одному только выражению лица понять, чего хочет от нее Владимир Иванович. Он открыл дверцу, и она, секунды две-три помешкав, еще раз подняв на него глаза-вишенки, соскочила по лесенке вниз, заюлила под ногами, ткнулась влажным холодноватым носом в подставленную ладонь.

— Ну, здравствуй, здравствуй... — проговорил Владимир Иванович, испытывая неловкость оттого, что не мог назвать собачку по имени.

Странная человеческая беспечность — это симпатичное, ласковое, не совсем, правда, белое, а какое-то дымчатое существо не имело имени. В списках вивария собачка значилась под лабораторным номером 238, но не будешь же звать ее по номеру! Потому-то симпатяпку звали всяк по-своему, как кому вздумается: Дымка, Тучка, Тиша и даже Точка. К чести 238-й, из сочувствия к представителям высшего земного разума она откликалась одинаково чутко на любое имя.

— Ну, пойдем, пойдем, — сказал Владимир Иванович, направляясь к выходу, и через секунду дымчатый клубок катился уже далеко впереди него.

Ослепляющий голубой свет марта заливал поляну. Судя по теплу, погода в этих краях давно уже обогнала календарь. Свежесть еще улавливалась дыханием, но ее сминал, прогоняя подступающей зной, и было приятно смотреть на редкую, доверчиво выглядывшую травку, которая в подмосковных краях решается показаться только в мае. К этим травинкам и кинулась собачка. И остановившись, не мешая этой игре одной природы с другой, Владимир Иванович подумал о том, что, наверное, очень сейчас похож на столичного жителя, вышедшего в воскресный день прогулять свою собачонку. Да и глядя на этот дымчатый клубочек, очутись он в московском дворе, кто бы мог подумать, что через каких-то три-четыре часа эта милая мордашка глянет с экранов всех телевизоров, какие есть на земле. «А может, она в последний раз бегаёт по планете и эта травинка, которую она так старается сорвать, может, эта травинка — последняя ниточка?..» Ему, конечно, было ее жаль, очень... Но от исхода ее полета зависела теперь не только ее собственная жизнь. Уж слишком много других «датчиков» было привязано к этой неказистой и такой милой собачонке.

Желтый огонек бабочки замелькал над поляной, дымчатый клубок покатился было за ней, но замешкался возле Владимира Ивановича, словно спрашивая разрешения порезвиться. Пожалуйста — разрешил глазами Владимир Иванович и уловил в ответном блеске со-

бачьих глаз нечто вроде даже иронии, как будто, перехватив его мысли, она хотела сказать: «Не волнуйся!» Не волнуйся, говорили ее глаза, все обойдется, ну смотри, какая я тренированная: вот прыгнула и почти достала до бабочки; но я ее не цапну, пусть живет и летает; вернусь — и тогда мы еще поиграем...

Вот так же успокоительно-доверчиво смотрели на него четыре года назад глаза Лайки. Он гулял с ней перед стартом на этой же лужайке, только тогда была осень, ветер завывал песок и Лайка все больше жалась к его ногам. У нее были чуткие, очень выразительные уши — словно два надломанных пальмовых листа, — по этим ушам сразу улавливалось любое движение собачьей души. Я верю тебе и твоей диковинной машине, на которой зачем-то надо лететь в небо, просемафорили тогда уши Лайки, ты не волнуйся, я вернусь, вот увидишь...

Чувство непростительной вины перед этой ее доверчивостью не проходило до сих пор. Он-то знал то, о чем даже не подозревала Лайка, — он знал, что завтра в удобной, сделанной на совесть кабинке, застеленной пробковым полом, напичканной хитроумными приспособлениями для кормления и очистки воздуха, — завтра в этом удобном ложе Лайка будет отправлена на верную гибель. Тогда еще не умели возвращать аппараты на Землю.

Сейчас он вспомнил все до подробностей: как, опутав проводками датчиков, Лайку усадили в кабину, как закрыли колаком, как на стальном крюке подъемного крана «собачий домик» укрепили в носовой части ракеты. Лайка подчинялась каждому приказанию, каждой дотрагивавшейся до нее руке... Она верила, она доверяла людям в белых халатах, и это как бы ею самой подчеркиваемое доверие, ее мордочка, спокойно поглядывавшая из иллюминатора там, на переезде, или уже когда готовили ракету к старту — Владимир Иванович сейчас точно не помнил, — настолько обострили чувство вины, что он пошел на поступок почти невероятный: попросил у Королева разрешения отвинтить на минутку в кабине пробку и дать Лайке напиток. В этом не было никакой необходимости, приготовленная в дорогу пища, упакованная в автоматическую кормушку, содержала нужную воду, но чистой воды в кабине не было. Все знали, как относился Королев к подобного рода просьбам, нарушающим стартовый регламент космодрома. А тут, можно сказать, прихоть, пустяк... Гром и молнии должны были обрушиться на Владимира Ивановича — в подобных прогнозах ошибок обычно не было. Но что-то произошло с Главным. Встал, заглянул в иллюминатор, отвел глаза.

— Дайте ей попить... Только быстренько. Ну!

И ушел к себе в бункер принимать командование стартом.

Какой радостью вспыхнули Лайкины глаза, когда через резиновую трубочку при помощи шприца Владимир Иванович капнул ей прямо на нос, на язык несколько капель...

На другой день, когда Лайка плыла уже высоко над Землей и перед ним лежал другой, телеметрический ее портрет в виде широкой бумажной ленты, на которой тонкие, чуткие перья вычерчивали биение собачьего сердца, он понял, что там, на старте, вода была нужна не ей, а ему. Для очищения совести. Семь суток ловил он со страхом и надеждой признаки жизни, рисуемые магическими перьями. Лайка жила, питалась, двигалась, насколько позволяла ей «упряжка» из проводов и кабина. На восьмые сутки перья остановились, словно поставили точку... Что там было, на медленно пересекающей невообразимую высоту звездочке? На этот вопрос теперь ответить не мог никто. Ждала ли Лайка увидеть в иллюминаторе знакомое человеческое лицо или, привыкнув к новой жизни, тихонько засыпала, чтобы уже

никогда не проснуться?.. Люди знали главное — сразу космос не убивает живое сердце.

Портрет Лайки висел теперь у него в кабинете. Впрочем, так же как и фотография Белки и Стрелки. Но тех провезать было легче, им предстояло вернуться. Потом Пчелка и Мушка, которые не долетели обратно. Потом Чернушка, ее радостный лай на Земле...

Сегодня было 25 марта, нужна была еще одна гарантия, и все надежды теперь возлагались на эту собачонку, вприпрыжку бегавшую за желтым огоньком бабочки.

— Ну, погуляли — и хватит, пора, — тихо сказал Владимир Иванович, и пушистый комок, как бы все время державший уши настороже, тут же откликнулся, подкатился.

Через час вымытая, высушенная рефлектором и тщательно расчесанная, в окружении возбужденных, но не подающих виду, что волнуются, людей она стояла на столе и помогала себя одевать. Да, помогала! И Владимир Иванович опять удивился этому словно бы осмыслению собакой важности наступившего момента. Девушка-лаборантка еще только подносила зеленую рубашку, а собачья мордочка уже сама просовывалась в ворот. Вот подняла лапку, которую надо продеть в рукав... А теперь замерла. Неужели понимает, что так удобнее закреплять на животе капроновые ленты?

Космическая путешественница была уже почти в полном облачении, когда в лабораторию вошли несколько совершенно не знакомых сотрудникам военных. Из-под накинутых на плечи халатов выглядывали голубые петлицы. С любопытством наблюдая за процедурой одевания, они улыбались, тихо переговаривались.

— Кажется, все, — утерев со лба пот, сказал лаборант. — Теперь в путь.

И тут молодой, стриженный под полубокс летчик, робко улыбувшись, шагнул к столу:

— Разрешите подержать на руках?

— Подержите, — сухо разрешил старший лаборант: вообще-то такие фамильярности с собаками не допускались.

Что-то мальчишеское, озорное и доброе одновременно мелькнуло в глазах молодого офицера, когда, потянувшись к путешественнице, он спросил, подмигнув:

— А как нас зовут?

Собачка повела в ответ влажным носом, и в наступившей неловой тишине старший лаборант смущенно признался:

— Номерная она у нас... Кто как хочет, так и зовет...

— Номерную в космос отправлять нельзя, — возразил молодой летчик. — Это же живая душа...

— Пусть будет Дымка, — подсказал кто-то. — Дымка или Шустрая.

— Ну что за Дымка, — не согласился парень. — Да и Шустрая — это не для космоса.

Он на минутку задумался, глянул в собачьи глаза, как будто в них искал подсказки, и твердо, как уже о решенном, сказал:

— Пусть будет Звездочка. За Звездочкой легче лететь...

Было 25 марта. До 12 апреля оставалось немногим более двух недель. Но почему до сих пор не забывалась, не выходила из сердца Лайка?

Спустя много лет, когда в космос летали уже люди, Владимир Иванович прочитал в дневнике Владислава Волкова такие строки:

«Внизу летела земная ночь. И вдруг из этой ночи сквозь толщу воздушного пространства, которое, как спичечные коробки, сжигает самые тугоплавкие материалы космических кораблей, — оттуда до-



несся лай собаки. Обыкновенной собаки, может, даже простой дворняжки. Псказалось? Напряг весь свой слух, вызвал к памяти земные голоса — точно: лаяла собака. Звук еле слышим, но такое неповторимое ощущение вечности времени и жизни... Не знаю, где проходят пути ассоциаций, но мне почудилось, что это голос нашей Лайки. Попаа он в эфир и навечно остался спутником Земли...»

### Концерт для фортепьяно с оркестром

Сколько прошло времени? Неделя, две, месяц? Ей казалось, что она давно уже сбилась со счета, что ее обманывает разграфленный на клеточки дней блокнотный лист, на котором когда-то еще бодрой рукой она заштриховала первый квадратик. Даже в четком цикадном тиканье часов ей слышалось что-то ироническое — одним и тем же положением стрелок они могли показывать и полдень и полночь. Впрочем, на часы не стоило обижаться — они были здесь единственным дорогим и милым слуху звуком, кроме, конечно, стука собственного сердца, все чаще и настойчивей напоминавшего о себе в этой непроницаемой стерильной тишине.

А тишина становилась тревожней. Любой звук погибал в ней, едва успев родиться, — пластиковые, словно обитые ватой стены сразу же ловили и безвозвратно впитывали слабейший шорох, шуршание карандаша о бумагу, тупой щелчок кнопки на пульте, и она уже не пыталась, как это делала раньше, перехитрить безмолвие, вспугнуть его враждебную осаду нарочитым покашливанием или внезапными шагами от стены к стене. Чужим, принадлежавшим кому-то другому голосом она роняла в вязкую пустоту привычные, почти одни и те же фразы о самочувствии, об ощущениях и после каждого такого доклада, замерев, прислушивалась к Земле. Но Земля по-прежнему не отвечала. В микрофоне как в «черной дыре» бесследно исчезал не просто ее голос — она сама словно растворялась во всепоглощающем и жадном пространстве.

Могло быть все... Могла по неизвестным причинам выйти из строя радиоаппаратура. Да и сам корабль мог вырваться из чутких объятий земных антенн. Когда включается тормозная двигательная установка, достаточно неточности в ориентации — и корабль соскользнет на другую орбиту, с которой уже не скоро вернется к Земле... Все могло быть, и она была готова ко всему. Только бы услышать голос Земли. Но и в следующий назначенный расписанием час Земля опять не ответила.

Значит, все начиналось сначала, вернее, все повторялось. Можно невесомо погрузиться в кресло, закрыть глаза, чтобы не видеть ослепляющего однообразия кабины... Но куда деться от самой себя? Теперь она поняла: самое тяжелое для человека, летящего в бездне, тишина, разрушающее чувство одиночества.

Стараясь поторопить время к очередному сеансу связи, она попыталась отвлечься, вызвать из памяти прошлое, чтобы оттуда не спеша возвращаться к себе сегодняшней. Еще недавно такие путешествия удавались. Но сейчас все путалось, сбивалось, насильно вызванные воспоминания всплывали словно со дна мутного потока, плоские и бесцветные, не причиняя ни радости, ни печали. Зато какая щемяще-сладкая боль вдруг коснулась сердца, когда как бы в дыхании мимолетного ветерка (откуда здесь быть ветру?) она уловила чудом воскресший в складке рукава запах любимых духов! Запах, пролепетавший ей о чем-то очень земном и неповторимом. Неужели и это ей показалось?..

Кто бы мог подумать, что однажды так мучительно захочется услышать когда-то не дававший уснуть, сосредоточиться скрежет трамвая под окном, разноголосый гвалт толпы, штурмующей эскалатор, досадливый гул автомобилей на улице...

Очередной выход на связь опять остался без ответа. Она машинально бросила в эфир горсть обязательных фраз, обессиленно откинулась в кресле, прикрыла глаза и больше уже ни к чему не прислушивалась.

И в этот момент невесомости тела и мыслей раздался далекий мечтательно-нежный и властный зов. Слитными голосами звали кого-то трубы, и, как бы обрадовавшись им, подсобляя, звонкими переливами заговорил рояль... Да, теперь она явственно слышала восторженные возгласы фортепьяно, чуть-чуть возбужденный речитатив на фоне плавно восходящей мелодии оркестра. Она открыла глаза...

Липовая аллея старого парка, пересеченная тенями, открылась перед ней. На красноватой кирпичной дорожке перемешивались, играя и трепеща, солнечные блики, а сверху из густо зеленеющих купин щедро сыпался птичий щебет. Где она видела этот просторный парк и эти в два обхвата, теплые, хоть прижмись щекой, изборожденные морщинами липы?.. Музыка навела на нее не просто зрительные образы, а вселяла в нее неизъяснимое чувство, какое в детстве заставляет сбросить ботинки и бежать без оглядки по колючей холодной траве, а в юности обжигает перевивами зеленого пламени первых листьев по ветке... Бежать и бежать туда, в теснящую дыхание бескрайнюю даль, какую можно увидеть только в степи, бежать и никогда не достичь этой дали, так и оставшейся тайной, дымчатой полоской лиловой зари...

Теперь уже знакомая, напомнившая голос матери певучая мелодия вплелась в ровное звучание оркестра. Многоголосый поток подхватил, вынес корабль на звездный простор, и снизу сквозь иллюминатор, как бы в сто крат увеличенные, проступили и крыши Москвы, и волнистые разливы пшеничного поля, и задремавшие в снежных бурках горы... Не чувством ли родины, переполняющим человека в минуты наивысшего озарения, было это чувство, сдавившее дыхание, заставшее радужной влажной пеленой глаза? Снова силы вернулись, наполнили ее, и, приходя в себя, вслушиваясь в тающую мелодию, она теперь верила, что выдержит испытание тишиной. Она не знала, что эксперимент кончился, что минуту назад, взглянув на вызванное телевизионным экраном из непроницаемости сурдокамеры лицо, по которому бежали слезы, девушка-лаборантка испуганно крикнула врачу, спокойно наблюдавшему за происходящим:

— Что же вы смотрите? Прекращайте опыт! Вй плохо!

— Наоборот, ей сейчас очень хорошо, — улыбаясь, сказал врач.

Испытание действительно завершилось. Но прежде чем вернуться к суете земных звуков, ее попросили рассказать в отчете о самом главном, ради чего назначался экзамен.

«Состояние было совершенно необычным, — написала она. — Я чувствовала, как комок слез душит меня, что еще минута — и я не сдержусь и зарыдаю. Чтобы не расплакаться, стала глубоко дышать. Передо мной будто пронеслись семья, друзья, вся предыдущая жизнь, мечты. Собственно, пронеслись не сами образы, а пробудилась вся та сложная гамма чувств, которая отображает мое отношение к жизни. Потом эти острые чувства стали как бы ослабевать, музыка стала приятной, красота и законченность ее сами по себе успокоили меня».

Эти строки в ее отчете врач-экспериментатор подчеркнул красным карандашом. А на полях заметил наискосок: «Против сенсорного голода великолепно помогает музыка».

— Что-то космическое и одновременно земное. Неужели Рахманинов? — спросила она.

— Первый концерт для фортепьяно с оркестром, — сказал врач.

Первый концерт... Как безвозвратно утерянную где-то там, среди звезд, и вновь возвращенную радость держала она через несколько дней грамофонную пластинку, словно впитавшую непроглядную черноту космоса.

Удивительно! Зашифрованные в нотных значках звуки передавали то же, что переживал семьдесят лет назад юный композитор, вглядываясь в сад через раскрытое окошко, за которым слышался шепот ночного дождя. На весь дом прозвучал тогда для него повелительный трубный призыв вступления Первого концерта... И так же, как когда-то Сережу Рахманинова, ее снова подняла и понесла в ночь полноводная река музыки, которая катилась волнами в раскрытые окна, бежала по мокрой траве сквозь почерневшую чащу липового сада. И может быть, еще до утра по полянам Звездного городка кружило это умолкнувшей музыки, пока не ушли дождевые тучи и не зажглись на небе первые задымленные звезды...

До полета Валентины Терешковой оставалось несколько месяцев. Не знаю, что думала первая космонавтка планеты об этой исповеди подруги. Может быть, та была на старте, когда огненный гром поднял ракету Терешковой над Байконуром, и лишь смерчевый горячий ветер шевельнул тонкое синее платье той, что осталась на Земле...

### На морском берегу

Впервые в жизни он увидел море мальчишкой. Увидел и не поверил глазам: море было совсем не таким, как в книжках, и не таким, как в рассказах взрослых, оно было никаким, ни на что не похожим, оно было просто морем, его морем и ничьим больше.

В сандалиях, полных колючего песка, он стоял на берегу у шипучих кружев прибоя и задыхался не то от счастья, не то от ветра. Ветер был таким же упругим, как светло-зеленые волны, только бесцветным, словно поверх нижнего моря текло невидимое верхнее, и в струях этого напористого потока трепетал — вот-вот оторвется и улетит — легкий воротничок матроски. Мальчик не умел плавать и поначалу вроде бы даже оробел перед этой огромной, необозримой, без привычного другого берега водой. Но шелест рассыпающейся у самых ног волны был таким манящим, что захотелось шагнуть вслед за ней, когда, откатываясь, она оставляла вылизанным до блеска край песка. Осмелев, мальчик сделал шаг, другой по плотному, будто снежный наст, песку и, заметив, как забугрился готовый опять ринуться ему навстречу вал, отскочил назад, не замочив сандалий. Море опять прильнуло к берегу и опять медленно, как бы хитря, покатилося вспять, и мальчик понял — море согласно с ним поиграть. Он засмеялся и еще смелее отбежал теперь дальше, догнал волну, помешкал и с притворным испугом попятился к не досягаемой прибоем черте, чувствуя даже некоторое превосходство — море словно выдыхалось, почему-то не хватало у него сил догнать мальчика.

Так они играли бы, наверное, долго, если б сквозь шум волны мальчик не услышал знакомый, заставивший замереть голос. Он оглянулся и увидел мать: размахивая руками и кому-то грозя, она бегом спускалась по крутой тропе. В непривычной ее резвости было что-то такое, отчего мальчик сразу почувствовал свою вину и понял, что непременно будет наказан.

— Тебе кто разрешил? — строго спросила мать, словно и впрямь

мальчик у кого-то спрашивал разрешения поиграть с морем.— Никогда, понял? Никогда не приходи сюда один!

Странно, мать говорила о море так, как говорят о мальчишке, с которым нельзя водиться.

Теперь, пока продолжалось наказание, он мог видеть море только с балкона. «Здравствуй!» — тихо говорил он, едва приоткрыв дверь, и сторожко оглядывался, нет ли поблизости матери. «Здравствуй...» — рокотало внизу море. И раскачивалось, раскачивалось в знак приветия, обдавая камни веселыми брызгами. С балкона море было другим — шире, дальше и как-то вышуклее, на горизонте оно сливалось с небом не ровной чертой, а синей дугой. Сразу было видно: земля — круглая. Вот на этой дуге мальчик и увидел однажды парус: сначала будто клочок облачка, потом крыло чайки, и только потом угадал — яхта! Она не плыла, нет, она едва касалась моря, невесомая, устремленная в небо. Дунь покрепче ветер — и взлетит, честное слово, взлетит, и парус ее будет, как вон тот бледный полумесяц, что, пробираясь сквозь облака, опасливо поглядывает вниз. Ну взлетай, лети, яхта! В тот час мальчик открыл для себя другое море и понял, что морю нужны корабли.

Удивительно: мать не сказала ни слова, как будто не замечала ни стружек, ни щепок на полу, пока он из старой доски выстругивал яхту. Она даже нашла два лоскута — два голубых паруса — и помогла прикрепить их к лучинам мачт. Казалось, что мать торопится больше, чем он. Вдвоем спустились к берегу, к волне.

— Ну, пускай свой корабль, — нетерпеливо сказала мать.

Мальчик опустил яхту на зеленую воду и отступил на шаг, давая простор ветерку. Но лоскутки парусов даже не шевельнулись. Кораблик не тронулся с места, наоборот — волна мягко толкнула его назад к берегу и, отступив, оставила на мели.

— Не всплывет, — вздохнула мать. — Пошли.

— Поплывет, — сказал мальчик. — Мешает берег, надо дальше, в море.

Он вспомнит этот свой первый кораблик через два-три года, когда вместе с дружками-мальчишками отремонтирует — просмолит, покрасит и оденет настоящим парусом — старую заброшенную яхту. Когда ударит об острый форштевень и струнами зазвонит под килем волна, когда ветер вздыбит непослушный парус и вдарит, заарканенный шкотами, стараясь вырваться, швырнет туда-сюда яхту, мальчик вспомнит мачты-лучинки и паруса-лоскутки.

Пройдут десятки лет — все изменится, только море останется прежним. И в коренастом мужчине с седыми висками никто не узнает мальчика, что однажды открыл свое море... Разве что прежний блеск темно-карих живых глаз... Его будет знать вся страна, весь мир, не называя по имени. Главный конструктор. И все.

В огромном, высоком и гулком, как вокзал, цехе, будто врачи, столпятся в белых халатах конструкторы и рабочие. Позади дни без отдыха, ночи без сна. И вот он, чудо-красавец, которому и названия нет: неземного блеска металл, то ли шар, то ли... Что? Небывалый еще аппарат. И уже примеряется в кресле улыбочивый парень, который скоро прославится на весь белый свет. К звездам назначен маршрут.

Как назвать аппарат?

— Звездолет! — озаренно воскликнет один.

— Космолет! — подхватит другой.

И все повернутся к Главному, потому что решать ему.

— Назовем кораблем, — скажет Главный спокойно. — Кораблем. —

И на этом поставит точку.

...За тысячи дней от того дня, когда мальчик открыл море, за тысячу верст от того моря мы вошли в побеленный домик с коричневыми наличниками на окнах. Этот домик с крылечком об одну ступеньку уже знала вся планета. И эти тополя, что сухо шелестели на полярном ветру. Здесь Главный не сомкнул глаз в последнюю ночь перед стартом Юрия Гагарина. Сколько потом было таких ночей и дней! Шиферная крыша домика привыкла к байконурским громам.

Комната еще не обрела музейной неприкосновенности, и мы кинулись к книжному шкафу: что читал Главный, по каким строчкам пробегали усталые глаза? Нет, мы хотели увидеть книги не про космические трассы, а про землю, про людей! Книг было много и совсем разных. И вдруг из одной — только раскрыли обложку — выпорхнули два голубых листка, два уже побледневших телеграфных бланка. На обратной стороне — стихи! Его рукой...

Уходят из гавани дети Тумана.  
Уходят. Надолго? Куда?  
Ты слышишь, как чайки рыдают и плачут.  
Свинцовую зыбь бороздя,  
Скрываются строгие  
Черные мачты  
За серой завесой дождя...

Мы никак не могли вспомнить, чьи же это стихи. А вот еще, дальше:

А ветер как гикнет,  
Как мимо просвистет,  
Как двинет барашком  
Под звонкое днище,  
Чтоб гвозди звенели,  
Чтоб мачта гудела:  
— Доброе дело! Хорошее дело!  
...Так бей же по жилам,  
Кидайся в края,  
Бездомная молодость,  
Ярость моя!  
...Чтоб звездами сыпалась  
Кровь человечья,  
Чтоб выстрелом рваться  
Вселенной навстречу...  
И петь, задыхаясь,  
На страшном просторе:  
— Ай, Черное море,  
Хорошее море!..

Да это же Багрицкий! Когда, в какие минуты душевного волнения были переписаны овечьные бризом строки? Никто не знает — молчала комната, молчали книги.

А на другой день, когда космический пламень ураганом ударил из дюз, отрывая от земли ракету, я понял, почему стихи о шаланде так близко к сердцу принял Главный здесь, на космодроме.

Грохот огненных волн, треск гигантских невидимых парусов, распрямляемых ветром. «Полет нормально!» И с наклоном к горизонту, как будто выбирая нужный галс, сквозь вспыхнувшее облако — выше, выше, пока не мелькнул звездой фонарь на корме:

Чтоб выстрелом рваться  
Вселенной навстречу...

И уже слышен далекий, прерывистый не то от радости, не то от вибрации голос космонавта: «Есть разделение. Корабль на орбите!»

...Да ветер почуять,  
Скользкий по жилам

Вослед парусам,  
Что летят по светилам...

Высоко-высоко, среди ослепительных звезд, величаво огибая планету, плыл невиданный корабль. Капитан глянул в иллюминатор и увидел горизонт таким, каким никто из живущих на Земле его еще не видел. Небо распахнулось бесконечным океаном, оно было не только сверху, но и снизу, справа, слева — везде. Но, сливаясь с круглым краем планеты, этот безмолвный черный океан словно выплескивался голубым прибором.

«Красота-то какая!» — изумленно вымолвил капитан.

В иллюминаторе за снежным мельтешением облаков он увидел и земное море, которое стало таким маленьким, что его можно было прикрыть ладонью. Там, внизу, неразличимый отсюда даже в самый сильный бинокль, наверняка стоял уже другой мальчик. На том же самом берегу, где начинается звездное море.

### Капля радуги

На Земле такое могло только присниться. Вынырнув из корабля, словно его подтолкнула невидимая рука, он парил над бездной не в силах дотянуться до кромки спасительного люка. Внизу, в умопомрачительной глубине, туманился округлый бок планеты, а он не падал на нее, как бывало с парашютом, а плыл, поддерживаемый неощутимым потоком, плыл, кувыркался, обреченный на вечное скитание среди холодных, бесстрастно взиравших на него звезд.

Еще никто за тысячи лет существования на Земле человека не парил так высоко над планетой один на один с пожирающей пустотой, вне корабля, дающего спасительное ощущение земной опоры. Никто...

Ученые авторитеты пожимали плечами: такое было трудно вообразить. А психологический барьер? У космонавта отнимутся руки и ноги при одной только мысли, что он покинул корабль! Да что там ученые — знаменитые парашютисты и те смущенно опускали глаза.

Однако все уже было решено и выбор пал на него. Чем-то расположил он к себе строгих, придирчивых экзаменаторов. Быть может, силой, которая словно искала выхода, играла в тугих перевивах тренированных мышц, а может, удалю, весельем, что светились в глазах, не знающих унынья.

— Алексей Леонов. Ему выходить в космос.

Так сказал Королев. Сказать-то сказал, но на всякий случай приготовили еще одно испытание — испытание тишиной.

Те, кто закрывал тяжелую дверь сурдокамеры, утверждают, что в самый последний момент Юрий Гагарин успел передать Алексею краски, карандаши и даже этюдник. Ведь Леонов любил рисовать. И врачи разрешили.

— Что ж, — сказали они, — все равно одиночества не миновать.

В иллюминатор было видно, как Алексей Леонов, забыв о врачах, часами сидел за этюдником. Что он там рисовал? Ответ каких красок, какого сюжета отражался на его лице, делая его то восторженным, то грустным, то задумчивым? Тогда мало кто знал, что первую свою космическую картину «Корабль на орбите» Алексей, еще только мечтавший о полете, написал со слов Гагарина. Он работал упорно, настойчиво, дотошно выпрашивал, советовался, пока однажды не услышал: «Похоже!» Алый мощный шлейф огня из сопла последней ступени ракеты — и корабль над планетой, закутанной в голубую вуаль... Очень похоже!

А что рисовал он там, в одиночестве долгих дней?

Когда Алексей наконец вышел из сурдокамеры и разложил перед глазами изумленных экспериментаторов-психологов свои рисунки, кто-то воскликнул:

— Да это фантастика!

— Что вы,— смутился Леонов.— Вы же видите, мне не хватило красок. Ну как вам это объяснить? У нас на Земле таких красок нет...

Всеми рисунками тут же завладел известный профессор. Скрупулезно рассматривал он каждый штрих, каждый мазок, разгадывал истоки того или иного сюжета, стараясь понять, как отразилась длительная изоляция на психике космонавта.

— Отлично,— сказал удовлетворенный профессор.— Характер стойкий и живой... Но эта эмоциональность и космос... Нет ли здесь противо...

— «Противо» нет,— улыбнулся Королев.— Не манекен же нам посылать, в самом деле...

Он внимательно перебрал рисунки и сказал убедительно, как умел говорить только он:

— А Леонов и в космос пусть возьмет цветные карандаши. Да-да, на орбиту!

Через несколько дней, уже там, в корабле, отстегивая привязные ремни, чтобы подготовиться к переходу в шлюзовую камеру, поглядывая на спокойное, но как бы собравшее в морщинки под гермошлемом огромную волю лицо командира корабля Павла Беляева, Алексей понял, что карандаши вряд ли понадобятся.

— Спокойно, Леша, спокойно,— сказал командир, когда Леонов торопливо сунулся головой в шлюзовую камеру.

Алексей ощутил, как по его ногам, очевидно проверяя прочность шнуровки, пробежали ощупывающие пальцы Павла. Это было последнее касание человеческих рук...

— Ну, пошел...— разрешил командир с той неофициальностью, которая сразу ободрила Алексея: все рассчитано, все будет хорошо, а если понадобится, ему немедленно будет оказана помощь.

Слова Павла прозвучали уже в наушниках, люк кабины командира был плотно задраен. Алексей открыл выходной люк шлюзовой камеры, высунулся из нее наполовину и от неожиданности зажмурился. Ослепительный свет ударил в защитное стекло гермошлема и как бы расплавил затемнение. Солнце светило так, словно кто-то непрерывно держал контакт электросварки. Через минуту, когда глаза привыкли к жгучему, как раскаленный металл, световому потоку, Алексей увидел черное небо и неподвижные, как шляпки вколоченных в него гвоздей, звезды. «Такой глубокой черноты у нас нет на Земле»,— мгновенно пронеслась мысль, но не успел он еще как следует удивиться увиденному, как в наушниках, словно командир находился совсем рядом, раздался уже более твердый, но не потерявший доброты голос:

— Пора, Алексей, пора...

Леонов оперся руками о край люка, и его легко, как будто и в самом деле от прикосновения чьей-то невидимой руки, вынесло из корабля. Теперь только фал, внутри которого кровеносной веной висел телефонный провод, соединял его с тем, что осталось в пяти метрах маленьким островком Земли, а точнее ее лодкой, отброшенной ногами так, словно он с борта нырнул прямо в воду. Он потянул за тросик, и корабль послушно отозвался, стал приближаться, как огромная, сияющая металлом игрушка, которую можно было дергать за поводок. Крутнулся на фале и тут же услышал знакомый, неизвестно как проникший в наушники голос Гагарина:

— Как настроение, Леша? Как Земля, спрашиваю?..

Не может быть! Ах да! Это же командир подключил к его проводу трансляцию с пункта управления.

— Красота! — сказал, запинаясь от волнения, Леонов: гагаринский голос словно прибавил зоркости. Теперь он уже другими глазами взглянул на Землю.

В прозрачной, чуть присиненной глубине, как бы сквозь воду, но не укрупняющую, а, наоборот, до неимоверно малых размеров уменьшающую то, что лежало на дне, он увидел Черное море величиной с лужу и сразу узнал коричневато-бурый выступ Крымского полуострова, припорошенный редкими облаками. Все это медленно, будто на огромном вертящемся глобусе поворачивалось под ним, зависшим на месте. Вот уже как на искусном, припорошенном снегом и облаками макете проплыли Кавказские горы, сталью блеснула извилистая лента Волги, а вдалеке за сизоватым туманным ореолом уже угадывались Уральские горы.

Печальный Демон, дух изгнания,  
Летал над грешною землей,—

внезапно вспомнились строки, когда-то воспринимавшиеся по-школярски абстрактно, а сейчас удивившие своей пронзительной подлинностью.

Странно, взгляд на Землю, попытка разгадать, узнать извив реки, лесную зеленую россыпь, синее пятнышко озера — все это успокоило Алексея. Наверное, Гагарин неспроста переключил его внимание на Землю. Земля оставалась Землей даже в недостижимой губительной глубине. Но стоило ему чуть тронуть фал и повернуться к черному, непрерывно следящему за каждым его движением космосу, как теплота, подаренная Землей, словно улетучивалась и под скафандром становилось зябко.

И опять оборачиваясь к Земле, к ее мягкому голубоглазому материнскому лику, Алексей впервые за все минуты плавания в бездне почувствовал прилив радости и гордости. Да-да! Как бы ни мрачнел до черноты хранящий зловещее молчание космос, а человек дерзнул пойти на вызов... И вот пожалуйста — он может уплывать от корабля и подплывать к нему... Пока что Алексей привинтил и отвинтил только кинокамеру. Но завтра он возьмет этой рукой в белой гермоперчатке электрод электросварки и начнет строить в космосе дом...

Звезды смотрели все так же бестрепетно. Но наперекор им, придавая силы своему отважному сыну, излучала успокаивающую голубизну Земля. Пора было возвращаться в корабль.

Уже в кабине, располагаясь поудобнее в своем кресле, ободряемый взглядом командира, умеряя стук расходившегося сердца (вернуться в шлюзовую камеру оказалось не так-то просто: сначала оттуда словно кто-то выпихивал кинокамеру, потом и впрямь, словно превратясь в лодку, ускользал, не хотел подчиняться кораблю), Алексей положил на колени бортжурнал и начал быстро записывать, пока не гладились, не рассеялись, впечатления. Огибая голубой ореол атмосферы, корабль плыл из дня в ночь. Вот уже, поглощаемая пространством, ночная сторона Земли сделалась безжизненно черной, и только остывающими кострищами рдели, мерцали тут и там в ночи города...

И вдруг — Алексей отчетливо увидел это в иллюминаторе, как на обрамленной круглой рамой картине, — на кромке горизонта полугой радугой засветилась заря. Расширяясь, она разгоралась все ярче, перекрывая, растворяя тоскливый, холодный мрак. Тремя цветами вспыхнул этот нимб, полукругом охвативший Землю: сочно красным



у самой поверхности, затем как бы рожденным из этого красного палевым и радостно-голубым, переходящим через фиолетовый в черноту космоса. Обычно эти цвета плавно переходят один в другой, но в тот краткий, едва уловимый миг, когда солнце выходило из-за горизонта, три цветовых слоя проступили так контрастно, как будто их очертили кистью.

Алексей вспомнил о карандашах, выхватил их из кармашка и начал набрасывать штрихи космической зари, о которой там, на Земле, знал только понаслышке. Карандаши не слушались, краски получались блеклыми, они не желали впитать хотя бы искру этой невиданной, неземной красоты. А заря приближалась, вот и солнце выплыло, багровым шаром покатилося навстречу. Стараясь уловить неповторимое мгновение, торопясь за ним карандашом, Алексей неожиданно подумал о том, о чем никогда не мог бы подумать на Земле: «Кто видит эту красоту? Кто? Ну десяток-другой космонавтов. Пусть их будет сотня... А кто еще? И для кого эти пейзажи?»

Упуская карандаши, которые тут же уплывали, словно дразня, чувствуя, что момент упущен и больше никогда не вернется, быть может, никогда за всю жизнь, Алексей теперь просто смотрел на это чудо, впитывая его глазами и сердцем. Нет, карандаши здесь были бессильны, там, внизу, такие краски невозможно даже вообразить, слишком бедна палитра Земли.

На семнадцатом витке они должны были включить тормозную двигательную установку. Но словно мстя за то, что эти двое слишком много увидели, космос уготовил им испытание. Что-то случилось с системой солнечной ориентации.

— Разрешается ручная... разрешается ручная посадка, — после недолгих колебаний передала Земля непривычно взволнованным голосом Гагарина.

Командир взялся за черную ручку и впился глазами в приборы.

Теперь только от него зависело, спуститься им на Землю или, отскочив от плотных слоев атмосферы подобно камешку, брошенному вскользь по воде, уйти на другую орбиту и уже, быть может, никогда не вернуться к Земле. Корабль начинал восемнадцатый, не предусмотренный программой виток.

...«Восток-2» опустился в глубокий снег между двумя елями. Помогая друг другу вылезти из корабля, они до сладостного головокружения вдыхали морозный хвойный воздух тайги. Где-то к ним на выручку уже пробирались отряды поисковой группы. Теперь оставалось ждать. Они умяли вокруг корабля снег, расстелили палатку и начали разводиться костер. Зашипели, затрещали смолистые сучья, лениво потянулся к кустам сизоватый дымок. Это была Земля, родная до каждой еловой ветки...

— Хорошо, а, Леша?... — сказал командир, протягивая к огню онемевшие руки.

— Хорошо, — согласился Алексей, поглядывая в мягкое белесое небо, за которым далеко-далеко осталась ослепительно яркая радуга космической зари. Нет, теперь уже никогда не сможет он передать тот сочный малиновый цвет — ни кистью, ни карандашом, ничем... Каким же он был, перелив из черного цвета в красный?.. Нет-нет, такого цвета не увидеть на нашей Земле...

Как бы удивляясь необычным гостям тайги, солнце взобралось на макушку самой высокой ели и устало на них, пошевеливая лучами. На мягком зеленом лапнике самоцветами засверкал подтаявший от костра снег. Голубая искра перемигнулась с зеленой, зеленая с желтой. И тут же — стоило немного повернуть голову — заиграла, ударила в глаза малиновая блестка. Да-да, малиновая, точно такая,

такого же цвета, какую он не смог запечатлеть карандашом на орбите. И простая, ослепительная, как искрящийся вокруг снег, догадка осенила Алексея. Там, на невообразимой высоте, перепахывая из дня в ночь, а из ночи в день, он видел не краски космоса, а краски Земли. Это Земля посылала в черную бездну свою красоту — красную, голубую, фиолетовую — от своих морей, от своих полей, от своих трав и снегов...

### Дождь

Дождь застал его в лесу. От мягкого, без грома света молнии, метнувшейся в низких набухших облаках, вспыхнули не по времени сгустившиеся сумерки, по вершинам деревьев прошелестел ветер, как бы перебирая невидимые струны и задавая музыке тон, и смешиваясь с теперь уже непрерывным спелым шумом леса, позванивая о сухие, скрученные жарой листья, сверху сквозь ветви носышалось холодное мокрое серебро.

Перекидывая с руки на руку отяжелевшую корзину, он добрался до самой разлапистой ели и встал под ее непроницаемым, источавшим острый хвойный запах пологом. В этом живом шалаше на мягкой, высланной мхом и усыпанной прошлогодними иголками подстилке можно было переждать ливень сколько угодно.

Дождь теперь шумел словно по крыше; лес притих, замер, предаваясь блаженству, подставляя живительной искрящейся влаге каждый листок, каждую травинку; и поглядывая на жучка, безбоязненно прядавшего усиками под резным листом орешника, достававшего веткой до лица, он обрадовался смутной, как сполох мелькнувшей при взгляде на этого жучка и на этот лист мысли — мысли о единстве, родственности всего сущего на земле и в небе. Сколько спокойствия, какой-то даже вечной неспешности в этом ровном шелесте капель, и не потому ли так сладко спится где-нибудь на чердаке, в сеновале под убаюкивающим шум дождя... Неужели все это приснилось?

Виталий открыл глаза и, все еще пребывая по ту сторону яви, чуть выпал из спального мешка, прислушался. Нет, дождь продолжал шуметь по обшивке «Салюта». Или нет, это похоже на густой, непрерывный шелест листы о металл, когда по ней упруго пробежит, когда ее взьерошит ветер. И опять дождь... Дождь в космосе? Но откуда быть дождю в этой то крошечной, то слепящей солнцем пустыне? И все же, не доверяя себе, наполовину высунувшись из мешка, он подплыл к иллюминатору и, окончательно проснувшись, глянул в него словно в окно, как будто и **впрямь** ожидал увидеть пляску дождя по лужам

Далеко внизу медленно, словно **лдины** по невидимому течению, плыли подтаявшие облака. Пустотой, холодом и зноем одновременно дышала безжизненная, окружавшая **станцию** необъятность. Почему вдруг почудился дождь?

Слева, у другого иллюминатора, бесшумно **качнулась** тень: Петр Климук, неестественно — к этому все еще трудно было привыкнуть — зависнув вниз головой и, как плавниками, **пошевеливая** руками, регулировал кинокамеру.

— Петя, а какие бывают дожди?

Да, он так и спросил, как говорится, ни к селу ни к городу. Откуда Петру было знать, что этому неожиданно и нелепо прозвучавшему сейчас вопросу предшествовала длинная цепь ассоциаций, в истоке которых был такой взаврадашний, перешедший в явь сон... Но за долгие дни скупого на разговор общения здесь, на «Салюте», где любое оброненное слово мог услышать только один-единственный

человек, они привыкли к таким вот по-детски неожиданным вопросам, как бы продолжаящим уже начатые, сами собой разумеющиеся рассуждения. Петр повел темными, не удивившимися глазами, повернулся к Виталию и серьезно ответил, подкручивая какой-то винт:

— Дожди, Виталий, бывают разные...

Он нарочно затягивал паузу, вспоминал: в самом деле, какие бывают дожди?

— Проливные,— подсказал Виталий, совсем уже освободившись от мешка.

— Обложные...— обрадованно подхватил Петр, угадав направление его мыслей.

И по обоюдному, тоже невысказанному согласию они начали произвольную игру, которая, впрочем, не мешала им сосредоточиться на деле— Виталия ждал РТ-4, рентгеновский телескоп, благодаря которому вчера были получены хорошие результаты. Надо было спешить и с утренним туалетом и с завтраком: великодушный Климук позволил проспать почти на целый час больше отведенного программой. Впрочем, вся их непростая хлопотливая жизнь на борту «Салюта» и скрашивалась вот такими уступками, желанием хоть в мелочах устроить сюрприз.

Виталий промокнул лицо гигиенической салфеткой, и влажное, с холодком прикосновение ее вернуло ощущение дождя, очень далекое, смутное, собственно, даже не дождя, а какого-то неуловимо-летучего его подобия, когда вот так же, бывало, вбежав под навес, начинаешь промокать платком лоб, щеки, глаза...

— Будет дождичек — будут и грибки. А будут грибки — будет и кузовок! — чуть ли не пропел Петр.— Это же бабушка так говорила. Честное слово — с самого детства ни разу не вспомнил...

Теперь и Виталию надо было звать на помощь свою бабушку — из поговорок о дожде он знал только одну, и ее не мог не знать Петр,— «то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет». Или, но это уж совсем примитив, «не под дождем — постоим да подождем». Вспомнил, вспомнил — а вот от кого слышал? «Дождь, дождь, иди там, где тебя просят».— «Нет! Пойду туда, где косят».— «Дождь, дождь, иди туда, где тебя ждут».— «Нет, пойду туда, где жнут».

— Такую слыхивал?

Это была верная шайба в ворота Петра. И, поморщив лоб, пошарив по сусекам памяти, Климук только и нашел что сказать:

— А еще, Виталий, дожди бывают грибные...

И они оба враз замолчали, потому что, наверное, каждый из них вспомнил о своем грибном дожде. Когда это было и было ли вообще?

Где-то далеко внизу, так далеко, что кажется, будто это происходило на другой планете и не с ним, и не с его женой Аленкой, и не с его дочерью Наташей, а с кем-то другим, шли по лесу трое, и под каждым кустом, под каждой еловой лапой чудился гриб. Солнце играло причудливыми бликами, пробивалось сквозь ветви на землю и зажигало лиловые колокольчики, золотилось в ромашках... Откуда он взялся, зашелестевший золотыми нитями, протянутыми словно из самого солнца, дождь? Они не стали от него прятаться, а остановились прямо на поляне, пронизанной мокрым, несущим радость светом. Аленка, раскрывшая руки, словно хотела обнять весь мир, а Наташа, потрясенная, быть может, впервые в жизни увиденной красотой дождя, что-то говорила, смеялась, кричала...

А Климук вспомнил детство. И точно такой же дождь, тоже хлынувший как бы из солнца посреди улицы. Нет, он точно помнил — золотой дождь прошел только по одной стороне Комаровки, а другая осталась совершенно сухой, и куры, ничего не подозревая, барахта-

лись, купались в пыли. «Грибной дождь по нашей стороне на счастье»,— сказала мать, глянув в окно. А эти теплые пузыристые лужи, по которым всласть бегали босиком! И правда как парное молоко...

Они снова, точно подталкиваемые одним желанием, потянулись к иллюминаторам. Нет, не видать было отсюда Комаровки. Где-то там, слева, в мареве облаков, что простерлись над лесами и долами, крохотной точкой была улочка, по которой, быть может, в эту самую минуту шел золотой дождь.

А что пытался разглядеть в иллюминатор Виталий?

Через много дней он расскажет о том, во что трудно будет поверить. «Трудно поверить — правда? — вспомнит Виталий,— но я действительно видел из космоса тот маленький двухэтажный домик в Сочи, в котором я вырос и в котором и сейчас живут мои родители. Как я искал свой дом? Сначала я высматривал на кавказском побережье мыс Адлер. Река Мзымта, впадая в районе Адлера в море, резко подкрашивает морскую воду своим илом. Это самый точный ориентир. Для привязки я находил Адлер, а чуть-чуть дальше уже видел и сочинский порт. А прямо по оси от главного причала, чуть выше у основания телевышки находил и свой дом. Видел его как маленькую точку среди деревьев — наш дом окружен кипарисами...»

Да, позже Виталий расскажет о том, во что многие не поверят, а тогда, на «Салюте», прикинув к иллюминатору, он тихо, словно продолжая начатую игру, спросил:

— Петя, а что такое дождь?

То ли внимание Петра совсем поглотила работа — у них вот-вот должны были начаться астрофизические эксперименты,— то ли он не принял шутливости вопроса, ответить Виталий был вынужден сам себе. И он, выдержав паузу, пробурчал себе под нос в расчете все же, что Петр его слышит и слушает:

— Дождь, Петя, это атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель...— Он пощелкал кнопкой на телескопе и, как бы сам с собой разговаривая, продолжил: — Дождь, Петя, как правило, выпадает из смешанных облаков, содержащих при температуре ниже нуля переохлажденные капли и ледяные кристаллы. Капли испаряются, кристаллы растут... Укрупняясь и утяжеляясь, кристаллы, Петя, выпадают из облака, примораживая к себе при этом переохлажденные капли... А дальше все просто: входя в нижние части облака или под ним в слой с положительной температурой воздуха, кристаллы тают и превращаются в капли дождя...

Виталий оттолкнулся от поручня и снова подвсплыл к иллюминатору, улыбнувшись как-то грустно и словно бы виновато.

— Смотри, Петя,— сказал он голосом, обретшим внезапную твердость.— Видишь кристаллики льда на внутренней поверхности среднего стекла? Это совсем иные кристаллы, они асимметричны...

Петр внимательно посмотрел на иллюминатор и увидел эти необычные кристаллы. Отсутствие силы тяжести делало их совсем не похожими на те, что вырастают в земных условиях. Кристаллы выглядели пауками...

— Инвалиды в чудесном мире земных кристаллов,— глухо произнес Виталий.

Но надо было переключаться на другую волну настроения — на связь выходила Земля.

О, если б кто знал, как ждали они родные позывные! Ну говорите, говорите, мы вас слышим, друзья! Что за чудесный день — даже «Рубин-2», вечно придиричивый Феоктистов, доволен вчерашней рабо-

той. А это командно-повелительный и все же с дружеской мягкостью тембр «Гранита». Шаталов не любит высоких тонов.

— Минуту, одну минуту, «Кавказы»...

И вдруг звонкий, на весь «Салют», как будто он забрался сюда, под звезды, голос сына Климук Мишки:

— Пап! Ты слышишь меня?

— Слышу, сынок, слышу! — растерянно, не сообразив сразу, что это вышел на связь сын, крикнул Петр. И замолчал, не зная, что сказать, теряя драгоценные секунды. Спыхватился, собрался: — Как вы там? Как живете?

О чем спросить еще, о чем? Что важнее всего узнать из уст сына?

— По грибы ходите? — совсем потерявшись, спросил Петр.

И за триста шестьдесят пять километров, словно Мишка был рядом, донеслось:

— Нет, они еще не растут...

Слабым эхом — так показалось — откликнулись стены станции (мягкая непроницаемость обивки поглощала каждый звук), а Виталий услышал волнистые метания голоса от дерева к дереву — и сам он, да, наверное, и Петр мальчишками бежали сейчас по лесу на родной ободряющий зов. Пни и узластые корни лезли отовсюду, стараясь, как нарочно, подставить подножку, и лица были исхлестаны ветками, и паутина облепила глаза, а голос то удалялся, то приближался...

Только сейчас Виталий обратил внимание на то, что давно уже не слышит преследовавшего его с самого утра шуршащего, навевающего дремоту шума. Да, дождя уже не было слышно. И когда в переговорах с Землей наступила его очередь, он, перебарывая волнение, не выдержал и спросил, был ли на Земле дождь час или два назад.

— Да, — ответили с Земли. — У нас здесь прошел такой грозовой дождь, что до сих пор пахнет озоном и цветами.

— Не понял, повторите! — поразился Виталий. — У вас действительно только что прошел дождь?

— Ну конечно, нормальный дождь, ничего особенного, — подтвердили с Земли.

Виталий и Петр недоуменно переглянулись.

### Год разлуки

За месяцы тренировок они успели узнать друг друга так, как если бы неразлучны были с детства. Самое же удивительное заключалось в том, что разграфленные буквально по минутам дни, похожие один на другой по утомительной повторяемости проигрывания не только каждого витка, но, можно сказать, каждого километра предстоящего полета, не только сплавляли их в нечто единое, но, наоборот, все контрастнее выявляли характеры, привычки и склонности. Порой Владимиру Шаталову казалось, что все они, сживаясь друг с другом и со своими кораблями, становятся каким-то очень сложным одухотворенным устройством, успешная работа которого зависит от каждой «детали» в отдельности. Впрочем, язык не поверачивался назвать «детальями» друзей, чьи души были уже как бы просвечены ежедневным, ежечасным общением.

Он уже знал наперед, какая реакция последует на неуклюжую подначку, отпущенную по адресу внешне невозмутимого, но обладающего очень чувствительными «датчиками» Алексея Елисеева. Алексей проглотит шутку, не подав даже виду, но в зрачках спокойных светлых глаз, как свет, рожденный раньше звука, а потом и в небрежно произнесенной фразе тут же выплеснется ответ, который не-

вольно заставит покраснеть опрометчивого острослова. Евгений Хрунов интеллигентно отмолчится, отойдет в сторонку. Таких шуток всегда застает врасплох — их мысли на иной, глубокой волне. Другое дело Борис Волинов со своей богатырской статьёй — усмехнется и лишь поведет сильным плечом.

Такие детали замечал, разумеется, не только Владимир. Что-то трогательно-заботливое проглянуло в каждом из них, когда несколько суток подряд, репетируя полетные условия, они довольствовались космическим меню. Почему-то лишняя туба черносмородинового сока непременно оказывалась у Алексея — кто-то подсовывал свою, зная, что он любит сладкое. Борис Волинов — это тоже знали все — был неравнодушен к ржаным хлебцам...

Но то главное, ради чего подгонялись одна к другой «детали» механизма, состоящего из четырех человеческих душ, четырех характеров, ожидало их, конечно, на орбите. Любая частность должна была принять там характер общего. Тому трудному и опасному делу, что поручалось им на двухсотпятидесятикилометровой высоте, нужна была спокойная и мгновенная реакция Елисеева, вдумчивая обстоятельность Хрунова и расчетливая, вдохновенная напористость Волинова.

С Волиновым у них, правда, были отношения особые — их обоих назначили командирами кораблей. За несколько дней перед стартом их и разместили в одной комнате. И любой, даже пустячный разговор неизменно трансформировался в обсуждение предстоящего полета. Даже засыпая, один из них вдруг озаренно спохватывался и будил другого: «Послушай, не спишь?.. А что, если закрутку сделать пораньше?» Дремавший мозг схватывал эту фразу мгновенно, как будто дневной разговор не прерывался, и, включив настольные лампы, раскрыв бортовые журналы на нужной, сразу угаданной странице, они снова и снова прослеживали, прощупывали каждую пядь орбиты.

Последний предстартовый вечер — Владимир должен был стартовать первым, а через двое суток к нему присоединялся на орбите Борис с Алексеем и Евгением — тянулся тягостно. Оставив на столе уже, кажется, вы зубренные до каждой страницы бортовые журналы, они спустились в холл, начали было партию в бильярд, но, разогнав по столу шары, поняли, что игра не сулит развлечения. Сейчас Борис влепит в лузу вот эти два боковых, потом от борта дуплетом в правый угол этот... А он, Владимир, возьмет вот эти два шара, на которые Борис даже не обратил внимания. Через пятнадцать — двадцать минут, не признаваясь в ничейном результате, они будут гонять по зеленому суконному полю два последних шара. Они не сговариваясь поставили кии в сторонку и вернулись в комнату.

Служили два друга в нашем полку.  
Пой песню, пой..

Но Борис тут же нажал на клавишу приемника, оборвав старую, удивительно соответствующую настроению песню.

«Ты мне надоел», — сказал один.  
«И ты мне», — сказал другой...

Неписаная этика, воспитанная в каждом за годы службы в летных полках, не позволяла дать волю эмоциям. «А ведь мы и вправду поднадоели друг другу, — подумал Владимир. — Эти месяцы тренировок в одном и том же пространстве, с одними и теми же кнопками, с повторением одних и тех же команд, даже движений, которые позволял и которые диктовал нам корабль». И еще он подумал о том, что однообразие жизни, так сблизившее их, легко могло бы обратить-

ся в свою противоположность, во взаимное отталкивание. Быть может, именно сейчас наступал критический момент.

Пожелав друг другу спокойной ночи, они уснули почти одновременно и проснулись вместе — ровно в пять часов, не дав зазвенеть будильнику.

В оконное стекло царапался морозный степной ветер. Владимир представил, как стынет на этом ледящем сквозняке ракета, и ему захотелось скорее туда, в кабину, ожидающую его человеческого тепла.

Через час, облаченный во все зимнее — в меховую куртку, шапку и унты, — он прощался возле автобуса с Борисом, Алексеем и Евгением, которые, не обращая внимания на врачей, топтались-перетапывались на снегу, потирая на морозце уши. Чтобы не дай бог не простудились, им не разрешили ехать на космодром, и Владимир тоже торопился расставание, поглядывая на часы и держась за автобусную дверцу.

— Вы бы хоть обнялись, черти, на прощание, — заметил кто-то из толпы провожающих.

Владимир поочередно прислонился к каждому из остающихся, ободряюще пошлепав по спицам, и уже с подножки автобуса крикнул:

— А что нам обниматься? Не на год же! Через двое суток встретимся!

Автобус дернулся, рванулся к распахнутым настежь воротам, и Владимир словно остался наедине с самим собой, погрузившись в заботы предстоящего старта.

Как будто это происходило уже не с ним, а с кем-то другим, а он лишь присутствовал рядом, лифт поднял его на вершину ракеты, где ветер пронизывал насквозь. Но он уже и не чувствовал ни дыхания снежной степи, ни жгучих заиндевелых поручней. Хотелось только одного — поскорее нырнуть в люк и занять место в кресле.

О друзьях, с которыми тренировался, он вспомнил уже на орбите, когда в неожиданно наступившей оглушительной тишине, в свете яркого, глянувшего в иллюминатор солнца увидел справа и слева от себя пустые кресла, предназначенные для Елисеева и Хрунова. Да, эти двое должны будут перебраться к нему с корабля Бориса Вольнова. Но тоненькую ниточку грусти, потянувшуюся было от Земли, тут же оборвали раздавшиеся в наушниках голоса: Центр управления требовал докладов и, беспрекословно повинуясь этому деловому зову, он опять стал как бы живой частью корабля.

Занятый переговорами с Центром, всевозможными вычислениями и той мелкой, незаметной работой, которой на орбите почему-то всегда оказывается больше, чем на тренировках, он с удивлением обнаружил, что ему совершенно некогда поглядеть в иллюминатор просто так, ради любопытства, с каким взирают на проплывающую под самолетом землю не летчики, а пассажиры.

Где-то над островами Новой Зеландии такая минута все же выпала, он приник к иллюминатору и над зыбкими, теряющими очертания зелеными пятнами среди океанской лазури, напоминающей необъятное плиссе-гофре, увидел хищный облачный завиток циклона. Надо было срочно сообщить координаты, предупредить о грозящей опасности сотни и тысячи невидимых отсюда существ, называемых землянами.

Потом внизу блеснула светлая ленточка Нила, и, поглядывая на желто-бурое пространство, занятое зыбистыми песками, он вспомнил, что первой подметила почти картографическую цветовую гамму материков Валентина Терешкова. В самом де-

ле, они выделялись сейчас как бы с последней парты класса — желтая Африка, зеленая Южная Америка, темно-коричневая Азия... Иллюминатор словно залепило белым — внизу проплывала заснеженная Европа с черно-серыми, будто выложенными на посадочном поле опознавательными знаками — пятнами больших городов.

И тут Владимир подумал, что доведись ему — при условии, что он ни разу не видел перед собой человека-землянина, — определять, есть ли на Земле жизнь, он не сразу ответил бы утвердительно. Чем выше поднимается человек над планетой, тем невозвратимее теряет из виду он самого себя. Есть высоты, а точнее дали, с которых сама планета Земля видится точкой на небе. Только отблеск Солнца выявляет ее среди жуткой крошечной темноты.

Теперь и в самом деле корабль плыл над ночью, и, выключив в кабине свет, Владимир увидел в иллюминатор знобящую пустоту, безмолвный мрак. На другой стороне земного шара корабль уже не могли достать радиоволны, и наполненные этой же пустотой и этим же молчанием наушники обесиленно жались к вискам. Все вымерло вокруг, на всем белом, нет, теперь уже черном свете, во всей Вселенной остался лишь он один на виду у холодных, безжизненно ярких звезд...

Каким спасительным, вернувшим к жизни тоном пронзило его, когда, проплыв над багрово-оранжевой полосой зари, он вновь услышал знакомый голос дежурного Центра управления. Его чуть искаженный баритон, передававший спокойные обязательные фразы, прозвучал музыкой.

Но странно — отозвавшись на этот голос, Владимир не ощутил ожидаемой радости, и, произнеся обычное: «Прием», стал ждать других голосов, которых здесь действительно ему не хватало. Когда же в ответ снова раздались повелительно-ободряющие нотки уже знакомого баритона, он понял, каких голосов ждал, и с досадой посмотрел на два пустующих по бокам кресла. То, что было задумано, вычислено, отрепетировано долгими месяцами тренировок на Земле, здесь, на орбите, показалось ему несбыточной фантастикой. Да, они взлетят ровно в срок, но возможно ли в этом океане, поистине безбрежном, не сравнимом ни с одним земным, — возможно ли здесь найти друг друга? А уж причалить, состыковаться, перейти из корабля в корабль?..

Так он плыл над планетой, пересекая дни и ночи, вновь и вновь мысленно повторяя каждую команду, каждый жест, каждое нажатие на клавиши пульта, уверенный в себе и в корабле и в то же время только здесь, в космическом океане, осознавший грандиозность и необыкновенную трудность осуществления задуманного.

На семнадцатом витке, ровно через сутки, когда корабль проплыл над заснеженным Байконуром, он увидел в иллюминатор точно подымающуюся со дна, устремившуюся вверх ракету, за которой и вправду, как будто в океане, стремительно потянулся пенный след. По расчетам это были они, на «Союзе-5». Теряя из виду белый бурн, оставленный теперь уже невидимой ракетой, он опять поглядел на пустующие кресла и подумал о том, что сомневался не зря...

Но что это? Неужели Борис?

— «Амур», «Амур»... Я «Байкал»... Как слышишь? Прием...

«Амуром» был Владимир, «Байкалом» — Борис. И все шло, как намечалось по программе, но почему с такой радостью дрогнуло сердце, едва в наушники прокрался знакомый и как бы чуть надтреснутый голос?

Новое, неизведанное на Земле чувство переполнило Владимира:



чувство обретения чего-то очень родного, очень важного и жизненно необходимого в этой холодной пустоте.

— «Амур», «Амур»...

«А это Алексей или Евгений? Кто-то из них...»

— Слышу вас хорошо! — чуть ли не выкрикнул Владимир. — Очень хорошо, «Байкал», вот так и держать...

Невидимо связанные голосами, они закатились на черную, ночную сторону планеты, но и там, словно расплавляя, растапливая висевший неподвижно за иллюминатором мрак, не прерывался живой разговор землян.

Владимир вспомнил переговоры между самолетами — нет, голоса на орбите воспринимались совсем по-другому. Они существовали как бы сами по себе, вне Земли, и оживляли звездную пустыню. Теперь — Владимир знал это точно — они не могли не найти друг друга, не могли...

Он обнаружил их корабль ночью на теневой стороне планеты и поразился увиденному. На фоне неподвижных звезд медленно плыла маленькая, все увеличивающаяся в размерах звездочка. Нет, она была такая же, как все, — яркая, излучающая неживой свет, но еще не уловив ее мизерного, заметного только в оптическое устройство перемещения, он понял, почуял, подобно предкам, искавшим в океане мачту другого корабля, что внутри этой звездочки бьется человеческое сердце. Вернее, сердца. И опять его окатило горячей волной незнакомое ранее чувство — чувство радости от встречи с тем, что было кровным, живым, желающим найти его в этом бескрайнем, хранящем молчание пространстве.

Служили два друга в нашем полку.  
Пой песню, пой,—

тоненьким ручейком зажурчала вызванная непонятной ассоциацией мелодия.

«Плывешь ты звездой...» — сказал один.  
«Ты тоже», — сказал другой.

Наверное, и Борис увидел «Союз-4». Его звездочка замигала маячком, и через секунду Владимир услышал не скрывающий радости голос:

— Вас вижу, «Амур», вижу вас хорошо!

«Ну теперь-то мы не можем не увидаться», — подумал Владимир и, поблагодарив мысленно автоматическую систему корабля, которая сблизилась их до расстояния в сто метров, взялся за ручку управления. Дальше им предстояло действовать самим.

Они уже были на дневной стороне планеты. Странно: все время замедляя скорость, притормаживая корабль, Владимир не мог избавиться от ощущения, что пробивается к Борису как бы с другой стороны туннеля.

— Все нормально. Все идет нормально... — повторял Владимир. — Дальность сорок метров. Скорость около нуля. Начали сближение.

Они пробивались сейчас друг к другу, чего бы это им ни стоило. Они обязаны были коснуться, состыковаться, как если бы от этого зависела жизнь экипажа.

— Понял тебя, «Амур», понял. «Заря», «Заря, я «Байкал», слышу вас хорошо. Дальность сорок, корабль управляется отлично...

Жесткие, самые необходимые фразы произносили они, но почему помимо воли вплетались в голоса волнение, желание ободрить и помочь даже самой интонацией фразы? Корабли переплывались в них, а они — в корабли.

Они подходили друг к другу почти пешком. И вдруг эфир взорвался от ликующего голоса Хрунова:

— Очень красиво, очень красиво, просто великолепно, как сказовая птица, летит «Амур»! Он подходит, как самолет, как самолет, подходит...

Теперь и Владимир близко, совсем близко, так, что даже не верилось глазам, видел их корабль. Действительно, как невиданная птица космоса, распластав крыльями сияющие панели солнечных батарей, приближался «Союз-5». Точнее, «Союз-4» приближался к нему.

Владимир почувствовал легкий толчок, железными объятиями стянулись электроразъемы, и через несколько секунд, подтверждая законченность дела, перед глазами буднично, как на тренажере, вспыхнул транспарант: «Стыковка закончена». «Поверим на слово», — устало усмехнулся Владимир, ощущая новый, еще более горячий прилив радости от одного только сознания, что в каких-то метрах от него, за перегородкой и стыковочным узлом, переживали, наверное, то же самое Борис, Алексей и Евгений. «А ведь мы действительно одно «устройство», один организм, плывущий в этой стальной оболочке над морями, континентами, над всей планетой», — мелькнула мысль.

Они и переговаривались теперь, умеряя голоса, как через тонкую стенку.

Два корабля, соединенные в один, плыли дальше по орбите, и хотя Владимир не мог видеть того, что делалось сейчас в орбитальном отсеке «Союза-5», по фразам, доносившимся в наушники, он угадывал каждое движение в нем, каждый шаг, если таковым можно было обозначить перемещение в условиях невесомости. Он знал, когда Борис помог своим товарищам облачиться в скафандры. Представил, как первым, убедившись в исправности системы шлюзования, открыл люк и вышел в ослепительное, накрытое черным небом пространство Евгений. Вот он начал перемещаться на руках, как гимнаст на бревне, вот он уже, наверное, где-то в районе стыковочного узла... Сейчас «пойдет», перехватываясь руками за поручни, по «Союзу-4».

Владимир и в самом деле услышал чьи-то шаги, легкое шуршание, поцарапывание по корпусу корабля, и эти совсем земные, никак не вязавшиеся с космосом звуки коснулись сердца. Еще чуть-чуть — и Евгений уже «дома», в отсеке «Союза-4». Да, он был теперь совсем рядом, их разделяла всего лишь люк.

Сдерживая нетерпение, Владимир прислонился к люку, зная в то же время, какая губительная пустота таится за ним. Но Евгений был в скафандре и теперь страховал Алексея, который начал передвигаться в том же направлении, тем же способом.

— Переманил от меня ребят и небось доволен, — услышал Владимир в наушниках голос Бориса, который совсем не шутил.

И правда, он оставался один, совершенно один, теперь в его корабле пустовали два покинутых кресла.

Но вот и Алексей перебрался к Владимиру. Захлопнулась крышка люка — словно он на Земле покрепче притворил за собой дверь. Сейчас они выровняют давление... Помогут друг другу снять скафандры...

Ну, кажется, все, пора... Неужели они уже здесь?

В открытый круг люка на него смотрели родные лица. Забыв про командирский статус, Владимир нырнул навстречу этим двоим, протянувшим к нему руки...

...Осиротелый, печально посверкивая панелями, лоснясь зеленым боком, отходил от них корабль Бориса. Владимиру показалось, будто в маленьком круглом оконце мелькнул белый шлемофон. Уходит, уходит совсем... Он косил глаза направо, налево, пошевелил, повел пле-

чами и почувствовал плечи двоих. С чем сравнить это чувство? И тут же защемила грусть. Корабль Бориса отходил, уменьшаясь в размерах.

«Союз-4» приземлился 17 января, а «Союз-5» — 18-го. Владимир был еще под неусыпной опекой врачей, когда к гостинице подкатил автобус, которого он ждал больше всего на свете.

— Как будто год не виделись,— сказал он, пожимая Борису руку и словно стесняясь радости, которую выдавали глаза.

— Хоть бы обнялись, черти,— подсказал кто-то.

И правда, они не виделись будто год.

### Цветы с причала

Они, конечно, догадывались, что это произойдет рано или поздно. Возбуждение и радостную растерянность я уловил, еще договариваясь о встрече по телефону. А когда вошел в квартиру, увидел перед собой смущенное лицо пожилого человека, темные, оттененные спадающей на лоб седой прядью глаза, оживленные воспаленным, наверное, от бессонницы блеском. «Вот он, отец космонавта, за неделю до звездного старта сына»,— подумал я, чувствуя, что и мне передается волнение.

Пожимая жестковатую ладонь, я не мог не заметить, что и оделся-то Николай Григорьевич, наверное, более тщательно, чем в обычный воскресный день. От его хрустящей свежим крахмалом сорочки, от зарумянившихся по-молодому щек, тщательно выбритых, веяло праздничностью и прекрасным настроением.

Из кухни, вытирая о передник руки, вышла немолодая полная женщина и, коротко поздоровавшись, тут же начала хлопотать возле стола.

— Мать Владика, Ольга Михайловна,— представил ее Николай Григорьевич.

— Прощу, пожалуйста, за стол,— грустно улыбнувшись, позвала Ольга Михайловна.

Стол был накрыт. И в том, каким радушием сияла скатерть и как щедро, по-родительски наполнялись тарелки, я вновь ощутил расположение к гостю.

Ольга Михайловна поднесла платок к глазам и тут же быстро поднялась, ушла в другую комнату, сославшись на головную боль.

— Переживает,— сочувственно кивнув в ее сторону и словно бы винась за жену, проговорил Николай Григорьевич.— А у нее уж и сил нет... всю жизнь боится за него, за Владика. Боялась, когда он первый раз пошел на каток, когда вратарем стал в школьной команде. А когда в аэроклуб записался, сердчишко ее совсем схватило. Что уж теперь говорить...

Николай Григорьевич нахмурился, замолчал, но тут же справился с собой и, как бы подбадривая себя, махнул рукой:

— А, что говорить! Мать, она и есть мать... Вы кушайте, кушайте, будьте как дома...

Стесняясь блокнота, нелепо выглядевшего на праздничном столе,— задание редакции все-таки надо было выполнять — я начал задавать Николаю Григорьевичу вопросы, малоподходящие к мужскому застолию, но, как мне казалось, чрезвычайно важные для будущего очерка. Эта официальность, как я ни пытался ее замаскировать, сразу отодвинула от меня Николая Григорьевича и заметно его озадачила.

— Знаете что,— сказал он с укоризной,— давайте говорить просто так, по-человечески. В биографии Владика нет ничего такого... Честное слово. Просто был маленьким, а теперь вот вырос...

Но чем старательнее Николай Григорьевич уклонялся от ответа на прямые вопросы, чем сильнее старался сделать разговор непринужденным, тем больше находил он связующих звеньев в биографии сына и, словно бы удивляясь собственному открытию, начинал прислушиваться сам к себе.

— Как оно бывает? Попробуй подсмотри ее, сыновнюю мечту-то... Что такое рейсфедер и рейсшина, Владик узнал, можно сказать, раньше, чем научился говорить «мама» и «папа»... Выходит, тянул я его к своему конструкторскому делу. Да и мать опять же в конструкторском... Только она...— И он понизил голос, с опаской поглядел на дверь, за которой скрылась Ольга Михайловна.— Она хотела видеть его на земле. А я, выходит, пошел у него на поводу... Сначала разрешил в аэроклуб, а теперь вот...

Мне и в самом деле показалось неприличным держать на столе блокнот, я сунул его в карман и сразу как будто снял с себя неизмерную тяжесть. Да и Николай Григорьевич оживился, вспомнил, как учил Владика делать кораблики. Казалось бы, чего проще — выстрогал корпус из доски, воткнул спичечные матчи, укрепил бумажные паруса. Все мальчишки переплывают однажды свое детство на таких фрегатах. А они с Владиком не так.

— Ты, говорю ему, сначала нарисуй то, что хочешь сделать... Вообрази... Не умеешь один — давай вместе. Хотя кто ж в его тогдашнем понятии конструктор?.. В войну мы с Ольгой Михайловной сутками не вылезали из цеха. Бывало, придешь домой, глянешь в зеркало — одни только глаза и остались. Ну а что до космоса, то, наверное, правильно все. Что такое взлет космического корабля? Это взлет конструкторской мысли. Разве не так?

И словно впрямь спрашивая моего подтверждения не дававшим ему покоя мыслям, Николай Григорьевич смотрел на меня долгим настойчивым взглядом.

— А вы знаете,— спросил он, доверительно наклоняясь ко мне,— вы знаете, какая у Владика любимая песня?

Когда иду я Подмосковьем,  
Где пахнет мятой трава...

И тут же неожиданно вспомнил картофельное поле в Жимках, на которое они в послевоенную осень ездили с Владиком, чтобы в копаной-перекопаной земле, в которой была перещупана каждая ботвинка, набрать хотя бы кулек картошки. Стояла такая же сухая, как бы в обнимку с летом, осень, хотя уже по зорькам морозцем приблизало поля, и они, перевыполнив «норму», позволили себе пороскошествовать: развели костер, бросили в горячую золу несколько картофелин, а затем, обжигая почерневшие губы, с аппетитом их уплетали. Почему-то вспомнились по-мальчишески тонкие, измазанные землей и углем Владыкины руки.

А потом память вернула в тот день, когда, тайком от матери приглашенный на Тушинский аэродром, Николай Григорьевич с недоверием глядел на неузнаваемого в пилотском шлеме сына, который вдруг как бы шутя порулил самолет на взлетную полосу и незаметно, так, что Николай Григорьевич и опомниться не успел, взмыл в чистое, роняющее серебряные паутинки небо. Была тоже осень, да... кажется, осень.

А сейчас, в эту минуту, где-то в необъятной, еще пышущей жаром степи его Владик шел по бетонной дорожке на космодром, чтобы в последний раз перед стартом примериться к космонавтскому креслу.

— Вот она, наша родительская жизнь,— вздохнул Николай Григорьевич, возвращаясь в действительность.

Но пора было прощаться. Из своей комнатки на наши раздававшиеся уже из прихожей голоса вышла Ольга Михайловна. С глаз ее как будто спала краснота, лицо просветлело, и знакомая грустная улыбка тронула ее губы, когда я начал откланиваться.

Через несколько дней я улетел на Байконур. Там уже все жило предчувствием старта. Владислава Волкова я встретил в гостинице за бильярдом — пренебрегая субординацией, он успешно обыгрывал начинающего переживать поражение генерала Каманина. Каково же было мое удивление, когда, загнав в лузу последний победный шар, Владислав, словно только меня и ждал, обернулся и проговорил с разоблачающим видом:

— Я уже все знаю. Спасибо за приветы.

Через сутки после раскатов байконурского грома ликующий голос диктора передал сообщение ТАСС — я берегу его до сих пор:

«Продолжая намеченную программу научно-технических исследований и экспериментов кораблей «Союз», 12 октября 1969 года в 13 часов 45 минут московского времени в Советском Союзе произведен запуск второго космического корабля — «Союз-7». Экипаж космического корабля: командир подполковник Филипченко Анатолий Васильевич, бортинженер Волков Владислав Николаевич, инженер-исследователь подполковник Горбатко Виктор Васильевич. По докладу командира корабля товарища Филипченко, участок выведения на орбиту пройден нормально. Все космонавты чувствуют себя хорошо. Бортовые системы работают нормально».

«Сейчас Николай Григорьевич услышит это сообщение и увидит Владислава на экране телевизора,— подумал я тогда, почему-то вспомнив заплаканные глаза Ольги Михайловны.— Все прекрасно. Все хорошо».

И уже в Москве, вернувшись с Байконура, я не выдержал и позвонил в дом на Ленинградском шоссе.

— А, это вы! — сразу узнал меня Николай Григорьевич.— Все отлично! Ждем-ждем, у нас как раз гости!

В трубке, заглушая этот радостный голос, слышалась любимая песня Владислава о Подмоскovie, где пахнет мятой трава. Но в гости я так и не попал.

«Союз-7» благополучно сошел с орбиты на Землю, и звездочка, как бы ненароком прихваченная в высоком небе, заблестела на пиджаке Владислава.

А через два года я вновь провожал его на космодроме — вместе с Георгием Добровольским и Виктором Пацаевым Владислав стартовал на «Союзе-11», чтобы на космической орбите состыковаться со станцией «Салют» и работать в этом доме не день, и не два, и не три.

Владислав старался казаться спокойным: летел-то второй раз! И все же у самого трапа, обернувшись и поглядев на меня погрузившимися, совсем как материнскими глазами, признался:

— А ты знаешь, я опять сказал маме, что уезжаю в командировку.

Заматавшись в делах, я не позвонил старикам и не поздравил их в тот день, когда тройка отважных перекочевала из корабля на станцию и начала свои труды. Впрочем, мы, земляне, ничему уже не удивлялись, разве только забавляли нас несуразные, стоящие иной раз ногами на потолке люди или плывущие в воздухе карандаши. О времени же, проведенном на борту станции, зримее всяких календарей говорила закустившаяся на чуть одутловатом, но, как обычно, веселом лице Владислава борода.

Не помню, когда точно, кажется, уже на завершении программы полета, о конце которой я приблизительно знал, мне позвонил Николай Григорьевич:

— Что-то не вижу вестника. Вестей не слышу!

Посмеиваясь, ответил я ему, что вестей полны газеты, а уж главное сообщение не замедлит. Эти слова, кажется, успокоили его, а я, вдруг вспомнив у трапа погрузившего Владислава, попросил к телефону Ольгу Михайловну. Она, наверное, стояла рядом, ловила каждое наше слово и поэтому тут же взяла трубку.

— Ольга Михайловна! — крикнул я как можно бодрее. — Ну как?

— Что как? — настороженно отозвалась она.

— Как настроение? Здорово ребята работают, а?

— Да с виду вроде так, — согласилась она. — Только Владик уж больно усталый. Какой-то он не такой... Непривычный...

— Все будет прекрасно! Вот увидите! — заверил я.

— Ну, спасибо вам, спасибо, — сказала Ольга Михайловна.

На другой день я был уже в Караганде, мы начали готовиться к встрече «Союза-11». Медики настраивали свои мудреные приборы, повара изощрялись в сочинении меню... В одной из кастрюлек — мы знали это точно — закипал любимый украинский борщ Владислава. Все шло по программе. По программе раскрылся в небе оранжевый цветок парашюта, по программе плавно лег на траву спускаемый аппарат, по программе был тут же ловкими руками отброшен люк.

— Ребята! — позвал их просунувшийся внутрь корабля парень. — С приездом!

Корабль ответил молчанием.

Нет, ее уже было не остановить — телетайпную ленту, хитрой змейкой нырнувшую в аппарат. Стой, черная весть! Где-то в доме на Ленинградском шоссе Николай Григорьевич и Ольга Михайловна чутко прислушивались к мелодичным, обещающим радость позывным радио. Сообщение ТАСС... Сообщение ТАСС...

«В соответствии с программой после аэродинамического торможения в атмосфере была введена в действие парашютная система и непосредственно перед Землей — двигатели мягкой посадки. Полет спускаемого аппарата завершился плавным приземлением...»

Наверное, в эту минуту они просветленно переглянулись и не поверили, не могли поверить беспощадным словам:

«Приземлившаяся одновременно с кораблем на вертолете группа поиска после вскрытия люка обнаружила экипаж корабля «Союз-11» в составе летчиков-космонавтов подполковника Добровольского Георгия Тимофеевича, бортинженера Волкова Владислава Николаевича, инженера-испытателя Пацаева Виктора Ивановича на своих рабочих местах без признаков жизни...»

Как? Все трое? Так вот что такое «через тернии — к звездам»!..

В Москву мы вернулись в тот день, когда по площади к Центральному Дому Советской Армии в тягостном молчании двигались траурные колонны. Знакомые космонавты, дежурившие у входа, зная, что мы прямо с аэродрома, отворили железную калитку и пропустили нас без очереди туда, откуда по мраморной лестнице, ударяясь о затянутые черным крепом и кумачом стены, стекала, выплескивалась на улицы разрывающая сердце музыка.

Рдяный отсвет венков озарял лица. Мы подошли к постаменту и на роскошные, источающие похоронную яркость цветы положили уже привядшую охапку ромашек, сорванных на том месте, где коснулся земли корабль «Союз-11». Поднять глаза на три красных гроба не было сил, и я перевел взгляд в сторону, где на поставленных в ряды стульях сидели родственники погибших.

Ближе всех к постаменту был егорбившийся мужчина в черном костюме, с совершенно белой головой. Бледное лицо его сливалось с сорочкой, и на этом блеклом фоне выделялись лишь темные, неподвижные, устремленные в одну точку глаза. Я едва узнал в нем Николая Григорьевича. Ольги Михайловны рядом не было. Наверное, наша не совсем обычная процессия, положившая к постаменту не венок, а букет полевых, слишком скромно выглядевших здесь цветов, попала в его поле зрения. Он переменял позу, пошевелился и медленно, сляясь что-то вспомнить, взглянул на меня.

Я не мог выдержать его взгляда.

### В белом свете берез

Из окна было видно все то же. Справа синел лес, на одушке которого отсвечивали молодой бронзой сосенки,— с шестого этажа казалось, будто они привстают на цыпочки и тянутся, тянутся кверху, делаясь от этого еще стройней. Какие-то из них, когда они еще были пушистыми, саморучно сажал Юрий. Теперь, наверное, он и сам бы их не узнал.

Чуть левее, через поляну, вдоль узкой тропинки столпились березы. Они как будто вышли погреться из леса, что остался стоять за высоким забором. Странно — их не задели, не тронули экскаватором строители. Когда юные сосенки еще только кустились на грядках, березы уже были большими. Не так чтоб уж очень, но уже прорисовывалась, проглядывала в ветках мягкая женственность и струились над чистой белизной стволов зеленые косы. По утрам Юра выбегал на эту тропинку, быстрым, как на курсантской физзарядке, упругим шагом проходил дальше, почти до самого шоссе, а возвращаясь, непременно останавливался под березами и дышал, жадно впитывал, ловил запахи далекого деревенского детства. Он очень любил эти деревья и так часто словно бы случайно оказывался под ними, что Валентине и теперь иногда совершенно отчетливо виделось мелькание синего тренировочного костюма в бедесом, зыбком свете стволов. Но его уже не могло быть там никогда. Ни там, ни здесь — нигде. И переставая сопротивляться боли, которая и без того, казалось, выжгла душу, Валентина отворачивалась, отходила от окна: смотреть на то, чего каждый день касался его взгляд, вернее, на то, что как бы осталось его взглядом — янтарное свечение сосенок, трепет листвы на березах, золотисто-белая россыпь ромашек на лужайке,— смотреть на это было невыносимо. Она захлопывала окно, задергивала штору, и голоса дочерей возвращали ее к действительности. «Надо думать о них — о Лене и Гале, потому что теперь в них и его и моя жизнь», — пересиливала она боль души, боясь не сдержаться, выдать ее.

Девочки занимались уроками, и, вглядываясь в их отражающие совсем другие заботы лица, она ловила себя на том, что все время ищет сходство: у Гали глаза и брови его, а вот его наклон головы и улыбка — у Лены... Да, Юрий присутствовал здесь, конечно же присутствовал. Вот сейчас заскребется в дверях ключ и в прихожей послышится голос. Только ли ею одной уловимы те нотки — сквозь мальчишескую застенчивость неумное озорство? Когда это было — давно ли? Он вошел шумно, поставил портфель и, замерев в проеме двери, приложил к козырьку руку: «Товарищ жена, ваш муж Юрий Гагарин прибыл в ваше распоряжение. Разрешите присутствовать к ужину?»

Нет, он уже никогда не войдет в эти двери, никогда... И то, что с нею сейчас происходит,— игра памяти, как будто старая кинолента, снятая про твою жизнь, закрутилась в обратную сторону. Но что же

произошло, что? Разве она не должна была готовить себя к этому с той минуты, как стала женой летчика? Эта вечная тревога северного неба, лохматые тучи, снившиеся даже ночью там, в Заполярье, где все только начиналось... И разве Юрий не предупреждал ее об этом в тот вечер, спрятав намек на возможность самого страшного в примелькавшуюся поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь»? Но о чем как не о безмятежно-голубом счастье могли мечтать в тот вечер танцев молоденькая телеграфистка и курсант летного училища, подставивший под невесомую ее руку плечо с голубым, как полоска неба, погоном?

Прощальный луч мелькнул вдали,  
Мелькнул в последний раз...

Кажется, тогда играли танго или вальс-бостон, модный в тот год, — «Прощальный луч». Чуть смущенный от собственной смелости курсант шел к ней через зал, тихо, словно приглушая в неловкости свой шаг, позвякивая по паркету подковками сапог. «Разрешите?» В первый миг он показался Вале слишком маленьким ростом, гораздо меньше ее. И худенький — мальчишечья шея из просторного ворота гимнастерки. Но когда взял ее руку в свою и повел уверенно, размашисто первым, вторым, третьим шагом, почувствовала: такой не уронит... Что же ей понравилось в нем, что? Почему чуть ли не на следующее воскресенье так опрометчиво пригласила в гости? Кажется, Юра сам напросился полушутя-полусерьезно, узнав, что она готовит фирменные, по собственному засекреченному рецепту пельмени. Да-да, наверное, с той минуты, когда услышала на пороге: «Здравствуйте. Валя дома?» (ведь не была уверена, что придет) — с той минуты каждый раз заставляла сжиматься сердце звонкий голос: «Здравствуйте. Валя дома?»

Она и сейчас видела его таким, как тогда: поверх гимнастерки полотенце, повязанное ею на нем как фартук, и сильная, но осторожная рука его как печатью прикладывает, штампует рюмкой тесто — он освоил эту премудрость удивительно быстро.

«Здравствуйте. Валя дома?» Он безоруживал своей доверительностью, простотой, словно тысячу лет их знал, настороженных ее родителей. Да и чему, собственно, им было радоваться? Что она будет женой летчика?

А они с Юрой об этом самом сокровенном еще и не обмолвились. Да и не нужно было никаких слов. Они просто день ото дня, вечер от вечера, как будто так и должно было быть, шли навстречу друг другу. Что могла она знать о его службе? Он избегал любых разговоров, как бы позволяя ей самой дойти до сути будущей жизни. Кажется, в тот год она впервые прочитала Экзюпери. По его подсказке. Но в тот ли год, в Оренбурге ли? А может, на Севере, куда Юра отправился после училища добровольцем, хотя мог бы, как отличник-выпускник, выбрать место поуютней и потеплей? Где же это сказал Экзюпери, что летчики не умирают, а превращаются в небо? Но тревога, которая не обошла ни одну жену летчика, поселилась в ее сердце, когда она еще и не была его женой. Еще в Оренбурге, когда разговор подошел к самому главному, к той минуте, когда две судьбы, как две тропинки, либо сливаются в одну, либо расходятся, Юра сказал: «Любовь с первого взгляда, Валя, это прекрасно, но еще прекраснее любовь до последнего вздоха... Ты не обижайся, но лучше семь раз отмерить, а один раз отрезать...»

Не обижайся... Ох, как тогда не понравился ей холодок этих слов: Юра произнес это так, словно решать их судьбу предстояло прежде всего ей. И только позже, много позже дошел до нее благо-



родивший и беспощадный своей правдивостью смысл старинной поговорки, прозвучавшей из уст выпускника летного училища Юра думал о Вале, прежде всего о ней. «Тебе ведь тоже службу нашу служить», — сказал он, как бы извиняясь за неоправданную резкость. Службу? Она никогда не думала, не задумывалась над тем, что вольно или невольно помогла Юрию стать летчиком.

А ведь было, честное слово, было... Было то, во что трудно теперь верилось. Впрочем, ей и самой теперь казалось почти неправдоподобным, что однажды Юрий пожалел, что поступил в училище. Разве понять это кому-нибудь сейчас, разве услышать за гордыми раскатами байконурского грома смущенные слова молоденького курсанта: «Слушай, Валя, а может, махнуть на все, может, вернуться к родителям? Они концы с концами едва-едва сводят, а я... У меня же после техникума специальность... Как ты думаешь, а? Буду зарабатывать, помогать...» Ради других он готов был расстаться с мечтой. Как трудно было его убедить! Да, это позже, значительно позже, не позволяя кружиться над головой нимбу славы, он частенько станет повторять с притворным укором: «А кто виноват во всем? Ты!» И доставал фотографию, которую Валя подарила ему в день его рождения. Откуда тогда взялись у нее такие слова? «Юра, помни, что кузнецы нашего счастья — это мы сами. Перед судьбой не склоняй головы. Помни, что ожидание — это большое искусство. Храни это чувство до самой счастливой минуты. 9 марта 1957 г. Валя», — написала она на обороте фотокарточки.

Теперь он тоже стал небом. И теперь уже к ней самой обращено ее же когда-то ему адресованное пожелание: «Перед судьбой не склоняй головы». Ну а чего теперь ждать? И она снова раздвигала шторы, распахивала окно, вглядываясь туда, где терялась в деревьях тропинка. Справа стояли его сосны, слева его березы. «Неужели нужно покинуть Звездный? Это трудно, это почти невозможно, — думала она, — но я сделаю это, чтобы сохранить остаток сил ради девочек, дочерей, которых он очень любил».

К этому решению она уже давно шла окольными путями. Было невыносимо выдерживать сочувственные взгляды Юриных друзей. При встречах в разговорах они старались не упоминать его имени, как будто уже это одно должно было облегчить ее страдания. А может, былому откровенно мешала генеральская форма, так не идущая иным еще крепким, по-юношески подтянутым космонавтам? Нет, они, конечно же, оставались друзьями и готовы были сделать для нее все что угодно. Но ведь у нее впереди еще целая жизнь... И надо только выбрать куда — в Москву или к родителям в Оренбург... Ехать в Гжатск было бы тоже пыткой.

Однажды она проснулась с непривычно твердым желанием действовать, сегодня же немедленно оформить документы и собрать чемоданы.

Знакомый генерал-космонавт, Юрин космический собрат, чей автограф красовался теперь на каждой деловой бумаге со штампом, заметно растерялся после первых же ее слов и с недоумением посмотрел на нее, словно не верил острым, тренированным глазам своим. Он все же постарел, этот любимец космонавтской семьи, остряк и балагур, и с горечью разглядывая его седые виски, морщины, перерезавшие лоб, и начинавший дрябнуть подбородок, Валя подумала о том, что все пережитые страхи даже у очень смелых людей, как и болезни у внешне здоровых, проявляются к старости.

— Не могу, Валя, не имею права, — словно бы винясь перед ней, проговорил наконец генерал и поднял от бумаги сразу словно бы пригасшие, когда-то озорные свои глаза. — Это ж вычеркнуть

тебя из семьи... Да ты понимаешь, что ты делаешь?.. Нет, не могу, не могу, не могу...— повторял он уже строже, поглядывая на Валю.

Что-то, наверное, очень резко переменялось в ее лице, и эта перемена сразу отразилась в глазах генерала. Он вышел из-за стола, прошелся от окна к двери и обратно и остановился возле массивного железного шкафа.

— Не хотел говорить раньше времени, ну да теперь, может, хоть это...— Генерал достал из шкафа рулон ватмана, развязал его и, придерживая, развернул.— Вот...

Сначала она не поняла, что это и к чему. На ватмане размашисто и небрежно были сделаны карандашом наброски какого-то памятника. На высоком постаменте стояла фигура в доспехах, очень напоминавшая водолаза.

— Это первая прикидка,— прятая смущение, пояснил генерал.— Памятник Юрию в Звездном...

— А при чем тут я? — не поняла Валя, все более проникаясь неприязнью к водолазу, надменно стоявшему на граните.— Да и Юрий тут при чем?

— Вот-вот,— закивал генерал, грустно усмехнувшись,— и я так думаю. Да и не только я... Помогите нам, Валюша. Помогите, а потом уедешь. Честное космонавтское даю, сам помогу все оформить,— И генерал протянул ей обе руки, как бы прося поддержки.

«Чем я им помогу?— с горечью думала Валентина, возвращаясь домой.— Чем? Разве может быть памятник такому живому, как он? Ни одна фотография, даже самая лучшая, распечатанная по всему миру во всех газетах и журналах, не передала и доли, краткого мига движения его лица, его глаз, его губ... Все улыбки, улыбки, улыбки, словно он в сплошной радости шел от победы к победе в самом малом и в самом большом... Но разве дано посторонним, чужим посмотреть иное выражение не только лица, но и души?.. А этот памятник лишь слиток бронзы, упавший на траву и цветы...»

Она и сама не заметила, как с широкого, устланного тяжелыми, словно на космодроме, плитами проспекта свернула на тропинку, окольно ведущую к дому. Сосны пахли прогретой хвоей и смолой, они давно уже были в два человеческих роста и выше. Позавчера Лена нашла здесь пару масляток, где когда-то приметили место с отцом... А вот и березы. Неужели они не посажены, просто выросли сами? «Я подожду, неделю-две подожду и уеду»,— сама себя уговаривала Валентина, заходя в родной и уже чем-то чужой подъезд.

А через два дня к ней заявили гости. Собственно, гостей Валя, конечно, не принимала. В дверь позвонили, она вышла открыть и увидела знакомого генерала-космонавта, из-за широкой спины которого выглядывали двое, по всему видно нездешних, мужчин.

— Ты извини, Валюша,— учтиво, откашлявшись, сказал генерал.— Но мы всего на минуту. Это скульптор, а вот он архитектор...

Оказывается, им нужен был семейный альбом, всего на минутку. Они понимали, как это некстати, как это неделикатно, но... Проект памятника все еще не могли утвердить.

Фотографий было много, и к гостям подседа Лена, которая знала буквально все. Но что же так искали скульптор и архитектор?

— Это мы с папой в саду в Оренбурге,— поясняла Лена, подстрекаемая любопытством взрослых.— А это, знаете, конечно, он на Байконуре с Королевым.

Нет, их больше интересовали любительские снимки добыконурского периода.

Но вот в руке генерала задержалась старая, вроде бы уже выцветшая фотокарточка. Юрий стоит под березами в рубашке с расстег-

нутым воротом. Просто вышел, и его шелкнули. И тут выяснилось, что фотокарточка, быть может, одна из самых последних, невзрачный любительский снимок.

— Прошу простить, но это, кажется, моя работа, — покашливая, признался генерал. Будто о чем-то внезапно вспомнив, он подошел к балконному окну и показал рукой куда-то далеко вниз. — Вон там он тогда стоял. Отсюда видно...

И не то скульптор, не то архитектор тоже подошел к окну.

— Прекрасный вид, — сказал он и повернулся к своему товарищу. — Придется все ломать, абсолютно все, теперь я понял: нужна совершенно другая привязка...

А через неделю-другую, когда у дороги, ведущей в Звездный, почти у самого въезда начали сколачивать из досок высокий забор, Валентина поняла, что совершила непоправимую ошибку, вняв просьбе генерала не покидать Звездный. С шестого этажа, с балкона ее квартиры нагромождение досок, песка и цемента внушало новую боль.

Сколько же прошло времени до того часа, когда всю площадь у въезда в городок запрудили нарядные, словно был большой праздник, люди? После какого-то очередного полета космонавты впервые пришли туда словно бы для доклада. Крепко держа за руки дочерей, Валентина стояла в тесном окружении космонавтов, как бы прятая от ветра, молчаливых и сосредоточенных. Она старалась реже смотреть туда, куда были обращены все взоры, где над толпой виднелась бронзовая Юрина голова. Лицо было холодным и отчужденным, как у всех скульптур, но что-то живое затеплилось в бронзе, когда ей открылась наконец вся фигура, и причину этого оживления Валентина поняла сразу.

Юрий стоял не на высоком постаменте, а как бы на одном уровне с ними, живыми. Он стоял почти на земле. Что-то в его облике напомнило ей уже когда-то виденное, но где и когда? Вот этот распахнутый ворот рубашки — он не любил галстуков и тесных воротников...

— По-моему, Юрий... Правда? — спросил генерал, наклонясь к ней.

Но в его голосе ей послышалось другое, невысказанное, обозначенное только намеком. И уловив этот намек, она хотела тут же сказать, что теперь-то уедет наверняка, что ее миссия выполнена, а главное — она сдержала слово. А памятник — даже самый лучший, самый гениальный — не заменит живого Юрия. Но Валентина ничего этого не сказала, она только молча кивнула, сняла очки и начала протирать их, потому что уж очень мутнело в стеклах и у нее больше не было сил стоять.

Поздно вечером, уложив девочек, она вышла на балкон, чтобы посмотреть туда, где еще несколько часов назад кипело многолюдье. Сумерки скрыли землю, и, слившись с ней, растворился, растаял памятник. Только звезды мерцали над городком, словно и здесь напоминали космонавтам об их высоком долге и призвании. «Летчики не умирают, — вспомнила она, — не умирают, а превращаются в небо». Но почему как никогда одиноко и сиротливо ей именно сейчас?

Задремала она перед рассветом и во сне, перемешанном с явью, не то в яви, перемешанной со сном, увидела себя на балконе. Солнце окропило золотом верхушки сосен, побрызгало по траве, подрумянило бересту на березах. Было утро как утро, каких и не счесть, но что-то ликующее поднималось в душе, звучало песней, отзывалось в каждом доме, в каждом окне. Она подняла голову, огляделась: да, теперь все окна Звездного глядели туда же, куда и она, — по тропе мимо любимых своих берез шел Юрий. Это был он — такой, каким она обычно видела

его со своего балкона на шестом этаже. Юрий держал, словно прятал за спиной, цветы, он всегда приходил с цветами.

— Мам!— звонко крикнула одна из девочек.— Смотри, а папа идет и идет!

Нет, это действительно была явь. Они втроем стояли на балконе и смотрели на тропу, по которой мимо сосен и берез шел Юрий.

...Я стою у памятника Юрию Гагарину и смотрю на высокий дом, на шестом этаже которого мелькнула на балконе женская фигурка. Кто это? Валентина? Или Лена? А может, Галя? Сосны стали совсем высокими, и кажется, это от них ложится бронзовый отсвет на лицо Юрия. А березы все те же, только все тяжелей, все печальней их вдвойне косы...

### Две матери

Грустный намечался праздник, грустнее и не придумаешь. Не дай, как говорится, бог, чтобы родители пережили своих детей. Юрию сейчас к сорока трем подходило бы, а Сергею Павловичу вот уже и семьдесят...

Но что поделаешь — не воротишь их назад, не вернешь. И, подумав, выбрала Анна Тимофеевна из невесть какого своего гардероба любимое платье с кружевным воротничком — то самое, в котором встречала Юрия после полета, — наказала внучке присматривать за домом и поехала в Москву в гости к Марии Николаевне на день рождения сына ее Сергея Павловича Королева.

Поехать-то поехала, а сомнения все назад тянули: правильно ли поступает, нет ли в этом чего предосудительного? И правда, о чем они будут разговор говорить с Марией Николаевной, коли нет на свете уже ни того, ни другого? Тоска, а не разговор. Добро бы в будний день им свидеться, а то ведь на людях, да на каких; предупредили ее, Анну Тимофеевну, что встречу будет снимать телевидение.

В дороге все же немного себя успокоила думами о Марии Николаевне. И то представить — каково-то и ей сейчас, а годы тоже все быстрее под горку катятся, и, может, это сама судьба дает им случай друг дружке в глаза глянуть, а дальше кто знает, как сложится... И совсем с собою совладала, когда у самого порога подумала: «Может, и Юра по этим ступенькам взбегал, может, даже с Сергеем Павловичем...»

В квартире было уже шумно, суетно. Услужливые незнакомые люди кинулись навстречу, помогли раздеться, и тут она увидела Марию Николаевну, увидела такой, словно сто лет знала, разве только в жизни постарее, что ли, так тоже ведь года, одни глаза не хотят сдаваться. Значит, вот от кого у Сергея Павловича такие молодые да чистые глаза. И пока они руки друг к дружке тянули, а потом чисто родственному обнялись, жужжали, стрекотали вокруг кинокамеры, целкала фотоаппараты, и этот посторонний назойливый шум бесцеломного любопытства болью отдался в сердце, напомнив дни, когда корреспонденты не давали, бывало, шагу ступить Юрию.

И сейчас им бы с Марией Николаевной уединиться, присесть где-нибудь помягче, потеплей, прислониться друг к дружке памятью — и слова бы нашлись для беседы самые нужные. А тут хоть плачь, хоть улыбайся — все одно: тархтят по тебе из кинокамер, слепят глаза вспышками.

Не из робкого десятка Анна Тимофеевна, а смутилась. Да и то сказать — хоть и давно сыновьями знакомы, а с Марией Николаевной виделись впервые. И полна душа словами до краев, а все не выплеснется и все что-то не то, ненужное, пустое срывается. А раз между

ними ничего не было, то и разговор — как плохие нитки в клубке: потянется-потянется да и оборвется...

Выручили сыновья, словно тут при сем незримо присутствовали. Как открыла Мария Николаевна альбом с фотографиями — сразу родным повеяло. Вот Юра с Сергеем Павловичем — улыбочивые, довольные собой. Это в Сочи на отдыхе после полета. А этот снимок сделан в Байконуре за час до старта. Юра смешно потом рассказывал: хотел поцеловать Сергея Павловича на прощанье, а не мог — все стучался шлемом своим о его лоб. Сергей Павлович смеялся: «Тебе пироги и пышки, а мне синяки и шишки».

И правда, семейным оказался альбом. Одни и те же фотографии — что дома у Анны Тимофеевны, что здесь у Марии Николаевны. Родственники их сыновья, куда как родственники. Даже вот эти вещи, скажем. Глянула на летный шлем Сергея Павловича и вспомнила: у Юры точно такой же был. Кожаные перчатки... Нет-нет, что-то очень дорогое поселилось в этой чужой московской квартире, родное, гжатское. Словно долго собиралась, а в гости к сыну приехала...

И сразу полегчало. Будто Юра присел рядом и, помалкивая, так учтиво слушает. И забыла Анна Тимофеевна, что внемлет ей сама история в виде микрофона со змеевидным шнурком. Эх ты история, история, да какая же мать скажет тебе, милая, про самый счастливый и самый горестный свой день? И как бы отодвинулись все эти люди, ждущие слова ее и вопрошающие. И все растворилось в синеватых сумерках — и телевизионные ящики на колесиках и жадные объективы кинокамер. Остались только ясные, до сердца достающие глаза Марии Николаевны.

— Анна Тимофеевна, вы про тот день расскажите, про тот день, — мягко, но настойчиво повторял парень в кожаной куртке. — Что вы утром-то делали?

— Что я делала утром? Ах да, ну как же, как сейчас помню...

И вся ее жизнь опрокинулась в то апрельское утро.

Как же это было? Как же это было?..

В среду, поди... Да, в среду... Но при чем тут день, если уже никто на века не забудет даты?..

По нарастающей тропе, с хрушаньем осыпая схваченный рассветным заморозком снег, ушел плотничать Алексей Иванович. Обычное серое было утро. Но отсюда, сквозь даль прошедших лет, виделось оно теперь Анне Тимофеевне искристым, ослепительно играющим синими и розовыми блестками на проталинах, на заиндевелом палисаднике. И топор, небрежно заткнутый Алексеем Ивановичем за ремень, спящий лезвием, тоже отражал свет этого необыкновенного, волшебного утра.

Что же она делала? Ну как что, свое обычное крестьянское дело: принесла дров, сунула полешки в печь, лучинок настрогала, чтоб огонь побыстрей занялся, а когда уверенным дымком потянуло, за другое принялась, начала чистить картошку. А пока чистила картошку, захвохтали в сарае куры, тоже есть просят. Так одно дело за собой другое потянуло. Как оно в деревне-то? А их Гжатск и был тогда что ни на есть деревня... «Не о том я, не о том. Неужели так оно и было?» А что? Как есть... Но теперь она и сама не очень-то верила, что день начинался обычно. Где-то уже пролегла невидимая черта, отделившая одно время от другого, предыдущее от последующего. Когда же это она услышала: «Мам! Наш Юрка в космосе! Радио-то включите, господи! Ну скорее!.. Радио!»?

И все закружилось, завертелось... Где? Какой космос? Почему Юрка? Первое, что уловила Анна Тимофеевна в малознакомом слове

«космос»,— предчувствие какой-то страшной, грозящей бедой опасности. Эта опасность блеснула слезами в глазах невестки, вырвалась ее причитаниями: «Что наделал, что наделал! Не подумал о малютах!» «Перестань,— успокаивающе сказала Анна Тимофеевна,— че сейчас разберемся». И припала, прильнула к приемнику. Но на всех, на длинных и на средних, волнах, сколько ни крутили ручку, гремела маршами одна и та же музыка, и никто, ни один человек на свете не мог подтвердить, что в космосе именно Юрий. «Честное слово он!»— всхлипнула невестка, утирая слезы.

Вот с этой минуты и началось все, что было потом. Еще не осознавая всей беды, которая могла обрушиться на их дом, но понимая, что ничего теперь уже не остановишь, как бы ни обернулся этот почему-то взволновавший всю страну полет, не зная, сколько времени будет летать Юрий в своем космосе и опустится ли на Землю вообще, замершим в тревоге, готовым вот-вот разорваться сердцем Анна Тимофеевна повернулась к той, которой сейчас было всех тяжелее,— к Валентине, жене Юрия. А его две маленькие дочурки? Им-то она еще могла бы хоть чем-то помочь... «Я к Вале»,— твердо сказала она и начала собираться в дорогу...

Когда осенью сорок первого года в Клушино входили фашистские оккупанты, она собрала в избе ребятшек, усадила возле себя и повернулась закаменевшим лицом к порогу— могло быть все, все что угодно...

И в то апрельское утро торопясь сквозь теперь уже неслышное ей ликование города к железнодорожной станции, она думала только об одном— о том, чтобы успеть очутиться рядом, если придет роковой час.

Вагон был набит битком. И, прислонясь к стенке, Анна Тимофеевна с настороженной ревностью стала прислушиваться к разговорам. Все только и говорили что о майоре Гагарине и о его полете в космос. И эти возбужденные пересуды о человеке, который сразу стал интересен всем, восхищение кем-то уже знаменитым и недостижимым начали проникать в сознание сомнением: да ее ли в космосе сын? И чем больше она об этом думала, тем сильнее одолевало смущение: ее Юрий был старшим лейтенантом, а этот майор. Да и мало ли на белом свете Гагариных! Вон даже были, говорят, в князьях... И подаваясь все новым и новым доводам, она уже как бы стеснялась себя, с облегчением утешаясь тем, что не очень-то торопилась сказаться Гагариной.

Если бы она встала и объявилась, ей бы уже не дали сесть, ее подняли бы на руки и так, на руках, понесли бы на Красную площадь. Но предчувствуя что-то очень большое и важное, что отныне перевернуло жизнь, она с крестьянским терпением и привычкой не выказывать раньше времени радости все смотрела в окно, торопя километры. Тревога пока что была сильнее.

На московском перроне взбудораженные пассажиры ринулись к выходу из вагона, затолкали. Как она добиралась дальше?

У подъезда Валиного дома шумела, волновалась толпа. Анна Тимофеевна с трудом протиснулась к лестничной площадке, и тут какой-то мужчина, нацелясь в нее фотоаппаратом, крикнул: «Братцы, так ведь это она!» «Кто?» Толпа расступилась на миг. «Мать Гагари-на! Смотрите, до чего похожа!»

Остальное Анна Тимофеевна припоминала смутно. Разве что суетливые руки Вали, мокрые и соленые от слез ее щеки, ласковые голоса ничего не понимающих внучек. «Он уже на Земле,— сказала Валя.— Где-то возле Саратова. Ты, пожалуйста, не волнуйся, сядь»...

Что еще могла бы сказать истории Анна Тимофеевна? Что?

Замолчал бойкий парень в кожанке, опустил микрофон. Словно отяжелела в руке у него эта блестящая штука. А тот ящик на колесах немигающим глазом уже на Марию Николаевну уставился.

— Что сказать? И мой красный день тот же самый, что и у Анны Тимофеевны... Приболела я тогда. И как сейчас помню, лежала на диванчике, слушала радио. Вдруг позывные, да такие тревожные, как, бывало, в войну. Перехватило у меня дыхание. Потом слышу: «Сообщение ТАСС... Гагарин...» И совсем сердце замерло. Ну, думаю, это не иначе как Сергей размахнулся... Откуда только силы взялись — встала и до той минуты, пока Юрий не приземлился, места себе не нашла. Для всех это была мечта человечества, а для меня — мечта единственного сына, мечта, можно сказать, его жизни...

Переменилась в лице Мария Николаевна, будто не фотовспышкой, а светом воспламененных дюж озаренная, и шевельнуло горячим ветром седые локоны. И вот он, Сергей, вошел. Для кого Сергей Павлович, или СП, а для нее просто Сергей. «Мамочка!» Уткнулся в плечо. А на голову глянула — у сына уже седина уже перевито. «Поздравляю, Сережа, поздравляю...» «Ты знаешь, мамочка, а ведь я сам мечтал полететь, сам... Ну куда уж с таким двигателем.— И все на сердце показывает.— Зато Гагарин — богатырь! Отличный парень, мамочка...» Тому, что сам полетел бы, не удивилась — с детства любил мастерить крылья, а юность вся в небе, в голубых росчерках — учился летать. А теперь вот другому собственные крылья отдал.

Юрия она увидела в тот день, когда словно вся Москва по Ленинскому проспекту перелилась во Внуково. Когда симпатичный парень в летной форме подошел по ковровой дорожке к трибуне и начал рапортовать, все пыталась разглядеть своего Сергея, где-то там и он должен был стоять. Но телевизионная камера словно нарочно скользила мимо, смазывала лица...

Ах, эти байконурские салюты... Только одна она знала, каким неимоверным напряжением сил отзывается в сердце сына каждый космодромный гром.

А уж совсем близко познакомилась с Юрием на каком-то торжестве, Сергей подвел его под руку и сказал: «Вот моя мама...»

А потом... Почему из таких значительных дней выпирают какие-то пустяки? Когда расходились по домам, не могла сразу надеть ботики, не поддавалась застежка. Тут как тут очутился Юра, встал на колени, помог...

— Интересно, — вздохнул парень в кожаной куртке. И опять ожидающе и просительно словно бы к обеим поднес микрофон.

Анна Тимофеевна, опустив голову, молча разглядывала свои руки, вытянув и чуть растопырив пальцы, словно еще что-то припомнила, но такое, о чем бесполезным считала сказать. Сидевшая напротив Мария Николаевна зябко куталась в платок, хотя в комнате было душно, жарко от ламп, которые беззастенчиво высвечивали каждую морщинку на размягченно-утомленных лицах двух уже совсем старых женщин. «Господи, да о чем же это мы говорим? — спохватилась Анна Тимофеевна.— И как это можно всю боль выказывать на таком свету, при таком народе?»

Наверное, ее мысль дошла до парня в кожаной куртке. Щелкнул выключатель, и в комнате сделалось сумрачно. И стало видно, как горят, дрожат в сиреневых окнах красные и зеленые огни Москвы.

Юрию сейчас сорок третий шел, а Сергею исполнилось семьдесят. А где же их-то жизни, материнские? И не опрокинулись ли они — с молодостью и старостью, с радостями и невзгодами — в один тот прекрасный апрельский день как в огромную бездонную чашу неба?..

## Дублер

Как передать чувство, какое испытываешь на космодроме в первые минуты после старта ракеты, когда она уже невидимо высоко, где-то за вспыхнувшими ватой облаками, а разметанный с оглушительным треском на куски воздух, будто его раскалывали гигантским отбойным молотком, все еще дрожит, опалает лицо и вулканический гуа отдается в груди, стесняя дыхание, заставляя учащеннее биться сердце? Первая осенившая радостью мысль, что космонавты уже там, на орбите, и эти двое или один, чьи рукопожатья еще помнит ладонь, выбрались наконец-то на свой нелегкий звездный курс — простые парни, твои знакомые, но уже как бы примерившие ореол славы. В эти минуты тревога, накопившаяся в душе за медлительно-тягостные часы ожидания, вдруг чудодейственно превращается в такой необузданный, неудержимый восторг, что хочется обнимать всех без разбора.

Голубой автобус, два часа назад доставивший к ракете космонавтов, словно и ему передалось наше возбуждение, резво мчался обратно в звездоград. Водитель, разрешивший по такому случаю всем желающим переступить порог специального транспорта, явно нарушил инструкцию. Но и он мимолетно поглядывал сейчас в зеркальце, ничуть не смущаясь ни тесноты, ни развязности захмелевших от радости пассажиров, его губы то и дело трогала, откликаясь на каждую шутку, улыбка, а шутками и песнями автобус был переполнен.

Только двое, занявшие места впереди, в одинаковых кожаных ретланах и синих вязаных шапочках, сидели молча и как бы отчужденно, словно их отторживала от окружающих глухая прозрачная стена. Один из них, совсем молодой brunet с коротко подстриженным затылком, иногда поворачивал сильную смуглую шею и изображал некое подобие улыбки, другой, почти уже седой, устало и скучно поглядывал в окно. Эти двое были дублерами только что стартовавших космонавтов. Молодого я знал мало, всего лишь по несколько фразам, оброненным в короткой беседе, из которой ясно стало одно: он совсем новенький и в Байконур приехал впервые; второго мы встречали здесь уже не однажды — и все дублером, хотя познакомились с ним еще в ту пору, когда он был таким же чернявым красавчиком, как и его напарник. За глаза мы уже и не звали этого, старшего, по фамилии и между собой все чаще называли его запросто: Седой. Сколько же раз он ездил сюда дублером? И о чем сейчас думал он, уже немолодой человек, в ушах которого еще стоял рев стартовой ракеты, на которой мог бы полететь и он? Мог бы...

Ну а почему бы и нет? В наших корреспондентских блокнотах давно таились строки его биографии. Но то была первая ступень его жизни, еще до прихода в отряд космонавтов... А что дальше, за чередой космонавтских лет? Нет, наверное, ничего мы не знали толком об этом человеке, задумчиво поглядывавшем в окно на унылую степь. Да и кому он был теперь интересен? «Почему после старта мы сразу же забываем о дублерах? — с некоторой даже виноватостью думал я, поглядывая на Седого и чувствуя, как между мною и ликующим автобусным столпотворением пассажиров тоже возникает прозрачная глухая стена. — Надо поговорить с ним, поговорить обязательно, ему сейчас тяжело».

Но встретиться нам довелось только утром.

Седой, облаченный в спортивный костюм, подтянутый и легкий, упруго бежал со ступенек гостиницы, а когда очутился рядом, я не заметил на его лице и тени вчерашней удрученности.



— Вы меня? — спросил он, блеснув доверчивым взглядом. — Я-то вам зачем?

Что-то, видно, смутило, насторожило его в моей настойчивости непременно увидеться и поговорить именно сегодня хотя бы десять — двадцать минут.

— Как это зачем? — сказал я как можно веселее и непринужденнее. — Теперь-то уж ваша очередь...

Это был с моей стороны запрещенный прием, правда неосознанный, без умысла, и чтобы как-то выправить возникшую и сразу отдалившую нас друг от друга неловкость, я добавил:

— Следующий раз полетите. Вот увидите...

Он, конечно, давно разгадал маневр, усмехнулся и предложил сесть.

— Акацией пахнет, — шумно вздохнул Седой, как будто мы только затем и встретились, чтобы наслаждаться и впрямь густым и текучим ароматом степных акаций. И, как-то сбоку с легкой укоризной взглянув на меня, закончил мою же фразу: — Полечу, конечно, полечу, и очень возможно, что в следующий раз...

Облака, очень бледные, словно высушенные здешней жарой, обволакивали бесцветное небо. Духотой тянуло со степи, окружавшей городок со всех сторон, и уже не верилось ни во вчерашний праздник на старте, ни в восторженное возбуждение, охватившее нас в первые минуты после сообщения ТАСС, ни даже в то, что где-то в этой блеклой, недостижимой для зрения дали облетал Землю стальной наперсток — виток за витком, виток за витком. И словно разгадав причину моего настроения, чувствуя, что молчание все больше и больше рождает неловкость, Седой вздохнул, обмякнув плечами, и проговорил совсем уже доверительно:

— А вообще-то... Готовишься, готовишься — и... Все сначала, опять с нуля.

Он нагнулся, сорвал сухую былинку, повертел-повертел, помял ее в длинных, точно с набалдашиками пальцах и продолжал, как бы успокаивая себя этими движениями рук, совсем не обязательно, но все же отвлекающими от главной темы, от ненужной открытости, на которую волей-неволей переходил разговор:

— Я ведь еще, можно сказать, из гагаринского набора... Правда, в отряд пришел позже. А сколько всяких перипетий... Жизнь-то, она, можно сказать, на сто восемьдесят градусов поворачивалась. Ведь что получалось? Собирали нас всех желающих, или, как говорится, давших согласие, на медкомиссию из разных летных полков. Полтора месяца вроде как в санатории находишься, а в среднем, когда бабки подберешь, получалось, что из пятнадцати — двадцати человек все этапы обследования проходил только один. Тут ребята некоторые, прямо скажем, скисли — ведь иных после такой скрупулезной проверочки всех твоих жизненных систем вообще списывали с летной работы. А кто мог дать гарантию, что этим списанным не окажешься ты? Так вот трое моих соседей по палате, еще не дождавшись результатов, шапку в охапку и домой. Наотрез отказывались продолжать обследования, не хотели терять профессию... Лучше уж, как говорится, синица в руке, чем журавль в небе. — Седой помолчал, возможно, раздумывая, говорить дальше или не говорить, и продолжил: — У меня же на удивление все шло гладко — без сучка без задоринки. Врачи только головами качали: ну и добрый молодец, хоть к чему бы прицепиться — ан нет, кругом все двадцать четыре... Годен... Ох уж это словечко! В нем так и светилось что-то непонятно счастливое. Но годен — это даже еще и не готов. Что ж что годен?

Седой сорвал еще былинку, надкусил ее и снова завертел в пальцах. Только сейчас, разглядывая его, я заметил то, чего не мог видеть раньше. Возраст тронул его лицо и волосы только сверху, словно хватил утренний морозец по вершине дерева, обжег листья, и дерево стало от этого только красивее. Лучистые морщины у глаз, резкие складки на лбу, блески серебра на висках делали Седого мужественным, обстоятельным, надежным.

— А дальше, как говорится, дело судьбы, хотя она и в наших руках,— проговорил Седой, возвращаясь к своему рассказу.— Зачислили меня в отряд космонавтов и, наверное, потому, что был я, как говорится, слишком годный, назначили выполнять тренировочные прыжки с новой парашютной системой, той самой, на которой должен был приземляться после полета наш один товарищ... Представляете? Я сижу у открытой грузовой двери самолета в громоздком скафандре, на спине ложемент с основным и запасными куполами, с разными там приборами и автоматами для включения всех систем спуска. А под ложементом еще ящик, контейнер с назом — носимым аварийным запасом. Вся эта амуниция весом больше сотни килограммов не дает ни встать, ни как следует сесть... Манекен с живыми глазами, да и только. А и чем не манекен, если я собственными силами не смогу даже выбраться и меня подхватят на руки и вытолкнут из кабины два дюжих парня? Сижу я и думаю: почему не он, кто полетит в космос раньше меня, а именно я должен испытать эту систему?.. Только ведь это я задним числом сейчас рассуждаю, а на самом деле, если будешь предаваться сентиментальным философствованиям, почему он, а не я, в космонавты лучше не ходить. Не приживешься. Да и ничего не выйдет, пожалуй. Сейчас я так думаю: может, тогда вместе с той парашютной системой испытывали и мой характер. Ну да об этом долго рассказывать. Одно только плохо, и не то чтобы плохо, а чрезвычайно трудно переносимо — сознание того, что ты не первый, а дублер... Но вы же знаете, я ведь тогда в дублерах значился совсем недолго. Пробил и мой час, как писали в старинных романах, «возродилась на небосклоне и его вещая звездочка»...

Седой взглянул на небо, тронул зубами былинку, и крупный желвак обозначился и исчез на скуле.

— Полет обещал быть сложным, чертовски сложным, но интересным. Готовились так, что по семь потов из себя выжимали, все уже знали наизусть с закрытыми глазами. Ночью тряхни на постели, спроси, какую когда кнопку нажать,— как свои пять пальцев, лучше таблицы умножения... В общем, еще немного, еще чуть-чуть... И надо же такому случиться: на самой финишной прямой к старту споткнулся. Во время медицинского обследования при вращении на центрифуге на моей кардиограмме выскочили экстрасистолы. Стоп, говорят, товарищ, вам дальше нельзя, приехали. И из группы подготовки меня долой одним росчерком карандаша. Побойтесь бога, говорю, я же отлично себя чувствую, поверьте... Не имеем права, отвечают, мы аппаратуре обязаны верить. Ну и началось: я требую чуть ли не через день, через два снимать эту коварную ЭКГ, а она и впрямь как нарочно: одна лента в норме, на другой опять эти самые экстрасистолы. Ничего в жизни я так не боялся, как стрекотания этого аппарата и этих проводков-жгутиков. Спрут, честное слово, осьминог тянул меня назад, от космоса. В конце концов победил он меня. Еле ноги доволоч я до санатория. А после, как отдохнул месячишко, что ж вы думаете — все пришло в норму! Оказалось, я просто-напросто перетренировался. Вот так. А уж в санатории услышал сообщение ТАСС о запуске на орбиту моего корабля. Моего — пони-

маете? Который я до заклепки обжил и дыханием своим обогрел. Полетел на ту работу мой дублер, а я опять в дублера превратился, потому как в космических делах один корабль вроде другой подпирает. И если, как говорится, поезд твой ушел, не трудись догонять. Нужно садиться на другой, но уже дублером.

Так вот во второй раз назначили меня дублером на новую программу. Что такое дублер, вы должны знать, обязаны. Подготовка к полету длится долгие месяцы, а иногда и годы. И все это время дублер выполняет то же, тик в тик, что и основной экипаж. Тебе не дают никаких поблажек — ты одухотворенная, во плоти тень тех, кто полетит. Как бы это вам сказать... Ну вот стыковка, к примеру. На нее при всех благоприятных моментах уходит пятнадцать — двадцать минут, а мы выполняем ее на тренажерах по пятьсот — семьсот раз, повторяя без конца одни и те же действия с разными вводными. И надо сказать, что техника Центра подготовки дает почти полностью прочувствовать себя в кабине корабля. Начать с того, что интерьер кабины точно такой же. Такие же ручки, тумблеры... Выведение на орбиту и спуск дает прочувствовать центрифуга. Причем в точной очередности ступеней — первой, второй, третьей. И при спуске такой же график перегрузок, и все проигрывается на центрифуге. Невесомость имитируется на «ТУ-104» в ходе выполнения горки. Двадцать пять секунд ты паришь вроде в космосе, за это время надо зафиксироваться, достать скафандры, успеть надеть их на плечи... Потом следующие операции — и так без конца... Ну и жизнь, само собой, все эти годы выдержишь по строжайшему режиму, хоть ты и дублер...

Седой внезапно замолчал, опустил глаза, и мне показалось, что он одернул себя: не слишком ли далеко зашел в откровении?

— Ну а что же дальше, после того полета? Вы, насколько мне известно, опять перешли на новую программу? — спросил я, не давая угаснуть этой доверительности.

Седой усмехнулся, пожевал былинку и долго не отвечал, удивляясь, должно быть, моей настойчивости, а еще более тому, с какой нетерпеливостью пытался я понять, откуда берется у таких людей выдержка и что движет ими, самозабвенно отрешающимися от всего земного ради достижения занебесной высоты. Давно замечал я, что умный человек в разговоре с почти незнакомым гораздо откровеннее, чем недалекий, ограниченный, — последний в таких обстоятельствах либо великий молчальник, либо неумный говорун. С людьми, много пережившими, если чем-то тронута в их душах заветная струнка, легко устанавливается контакт, и я ждал сейчас, быть может, самого главного, ради чего пошел на такой открытый разговор Седой.

— Я ведь мог бы в тот раз сам полететь, — тихо, как бы самому себе и словно в чем-то сомневаясь, проговорил Седой. — Дело прошлое, но ведь вы знаете ту историю с... — И Седой назвал имя прославленного космонавта, дублером которого готовился к очень ответственному полету. — У моего — назовем его так — ведущего накануне полета, месяца за полтора, стряслась беда. На ровном месте потянул ногу. На таком ровном, что ровнее и некуда, — на теннисном корте. Ну, как водится, все достижения медицины были брошены на то, чтобы привести ногу в нормальное состояние, а она ни в какую, раздулась что твой чурбан и наступать на нее — адская боль. Помаялись-помаялись с моим ведущим и видят — дело швах. Вызывают меня и недвусмысленно намекают: тебе, мол, лететь, бери основной экипаж в свои руки. Что там говорить, с одной стороны, сердце радостью облилось — вот оно, сбылось желание, с другой — холодом окатило: вроде нечестно все это, на беде товарища вылезая на орби-

ту. Да только у него — это я про ведущего — дело на поправку идет и, надо полагать, к полету в самый раз все отладится. Врачи заявляют обратное, настаивает на своем начальство. А я опять поперек: врачи его только в кабинете видят, а я видел, как сегодня он своим ходом, извините, до туалета дошел и обратно. А какой там дошел — он пяти метров не мог ступить форточку закрыть или там радио выключить. Ну, хорошо, посмотрим еще три дня, сказала начальство, а вы все равно готовьтесь... Вышел я из кабинета, и взяло меня зло на самого себя. Принципиалец ты этаким, думаю, и черт тебя за язык дергал, тебе же самому давно лететь пора. Так я подумал, а сам, вместо того чтобы домой идти, почему, не ведаю, свернул к дому, где ведущий живет. Зашел к нему, заперлись. Так и так, говорю, надо форсировать выздоровление, иначе цейтнот получается. И давай ему всякие мази выкладывать и припарки рекомендовать — что где слышал, про что знал. И что же вы думаете? Встал парень, через три дня встал и явился для доклада о выздоровлении. Бледный, правда, был, думаю, что от боли. Только мы двое и знали, что нога не совсем зажила... Полетел...

Седой замолчал, посмотрел на часы, и по переменившемуся, построжавшему вдруг лицу его я понял, что разговор наш окончен. Да он, видимо, и в самом деле торопился — из открытых дверей гостиной раздавались голоса его друзей-космонавтов.

— Мне пора, извините,— привстал Седой и подал мне сухую крепкую руку.

— Это вы меня извините,— сказал я, думая совсем о другом, но так и не решившись сказать это совсем другое. Мне хотелось подбодрить его, взять по-дружески за локоть, обнадежить. Но что для таких стойких и одержимых, как Седой, любые слова утешения? «Я его увижу, обязательно увижу на следующем старте. И обязательно в основном экипаже», — загадал я.

С тех пор прошло несколько лет. Фамилии Седого в сообщениях ТАСС я пока не встречал.

### Железный человек

Среди американских астронавтов Армстронг считался самым смелым и хладнокровным. Армстронг... Астронавт... Астрономия... Изобретательные репортеры, складывая и сравнивая созвучные, таящие поистине звездное родство слова, искали истоки мужества первого землянина, шагнувшего по Луне. Может быть, им стоило обернуться в тот день, когда, вместо того чтобы идти в церковь, отец прокатил шестилетнего сынишку на прогулочном самолете, который за плату возил желающих, или когда шестнадцатилетний Нил, еще не умевший водить машину, получил летные права? Мужество пришло к этому человеку намного раньше, чем он стал мужчиной, а мечте о небе дал крылья характер стремительный и неукротимый, как ракетоплан «Х-15», на котором несколько лет спустя летчик-испытатель Нил Армстронг семь раз долетал до кромки космоса, достигая скорости почти шесть с половиной тысяч километров и высоты более шестидесяти километров. На пределе человеческих возможностей, когда глаза уже не успевали охватить расстояние, а скорость самолета как бы опережала саму мысль, Армстронг не ошибался, приводя в восторг и недоумение руководителей полетов.

— Послушай, Нил,— спрашивали его,— у тебя предки, случайно, не из компьютеров?

— Вполне возможно,— отвечал не лазивший в карман за словом Армстронг,— но это не исключает, что задающие подобные вопросы произошли от шимпанзе.

И уходил, легко скользнув между кресел,— коренастый, ладный, как будто и впрямь самой природой приспособленный к пилотской кабине. Он не любил пинг-понг острословов.

«Сосредоточен, целеустремлен, с большим присутствием духа» — в бумажной эстафете характеристик, перелетающих от одного высокого начальственного стола к другому, эти фразы повторялись чаще других. Не они ли сломали упорство отборочной комиссии и открыли Армстронгу двери в космос? Во всяком случае, в первом же полете на «Джемини-8», которым его назначили командовать, Армстронг доказал, что летные его характеристики не были формальными.

Догнав через семь часов после запуска ракету «Аджена», Армстронг и второй пилот Дэвид Скотт произвели с ней стыковку.

— У меня не было особых эмоций,— сказал потом Армстронг.— Мы просто доказали, что человек способен выполнить программу «Аполлон», монтировать космические станции и вообще делать в космосе все, что ему захочется.

Это он сказал уже на Земле. А там, в крошечной глубине, на орбите, как бы в опровержение радостной, устремившейся к землянам телеграммы о благополучной стыковке космос решил проверить выдержку своих гостей.

Дрогнули, тревожно замигали и как будто качнулись из стороны в сторону лампочки на приборной панели. Как бочонок, подталкиваемый невидимыми руками, корабль начал вращаться вокруг своей оси, кувыряться и перестал поддаваться контролю. Армстронг почувствовал, что от быстрого вращения теряет остроту зрения и способность ориентироваться, управлять приборами. На мгновение сковала страшная мысль: «В этом коловороте, отделившись от ракеты, корабль столкнется с ней как с цистерной, наполненной горючим. А это взрыв...»

Напрасно было бы звать на помощь Землю — наземная станция слежения не могла выйти на связь,— и в уже оставшиеся до катастрофы считанные секунды Армстронг пошел на риск, дающий хоть какой-то шанс на спасение. Чтобы остановить бешеную карусель, он решил израсходовать часть драгоценного, предназначенного для торможения в плотных слоях атмосферы топлива. Короткий энергичный импульс, горячая реактивная струя из сопла вспомогательного двигателя — и, словно рукой зацепившись за пустоту, он остановил корабль, подчинил его своей воле и осторожно отошел от «Аджены».

Однако радоваться было рано. Мимолетное чувство облегчения сменилось новой, еще более удручающей тревогой. Чтобы стабилизировать корабль, они израсходовали часть резервного топлива и лишились тех дополнительных сил, которые могли бы понадобиться при возвращении. Войди они в атмосферу не под нужным углом — и корабль сгорит дотла...

Не доверяя компьютеру, Армстронг взялся за ручку управления. Они нырнули в атмосферу и полетели к Земле спиной, приставив к иллюминаторам зеркала,— так легче было следить за приближающейся поверхностью планеты. Больше всего на свете они жаждали увидеть на зеркалах голубое, ибо расчеты показали приводнение в океане. Но роковые то бурые, то желтые, то зеленые цвета суши предсмертным холодком отражались в зеркалах, туманили вид. Неужели Армстронг ошибся?

Последний рывок означал что угодно, и они были готовы ко всему. Но корабль, как тяжелый поплавок, закачался на спасительных волнах, а через несколько минут в иллюминатор с любопытством глянуло приветливое лицо аэвалангиста. Оказалось, что они находятся в пяти километрах от точки, которую рассчитал для посадки Армстронг.

— А у него и правда предки компьютеры,— теперь уже не шутя говорили астронавты.

Шути не шути, а специалисты назвали потом это приводнение лучшей посадкой во всей американской программе освоения космоса. Армстронг был удостоен редкой и почетной медали НАСА «За находчивость в полете», но прежде чем он занял командирское кресло корабля, стартовавшего к Луне, космос предложил ему еще одно испытание. Летом 1968 года Армстронг едва не погиб во время катастрофы с тренажером лунного отсека корабля «Аполлон». Ему удалось выбраться с парашютом за несколько секунд до того, как тренажер разбился. Но, собственно, именно этот случай, наверное, и определил право выбора. Командиром «Аполлона-11», нацеленного на Луну, назначили Нила Армстронга. Да, там, на безжизненной, усеянной кратерами, как будто над ней пролетели, сбросив бомбы, тысячи невидимых эскадрилий, поверхности Луны, каждая миля приближения к которой при малейшей неточности приборов, неверности глазомера или движения рук грозила немедленной гибелью или, что было еще страшнее, медленным умиранием при потере возможности возвращения,— там нужен был человек железного склада. Короче говоря, человек с реакцией и бесстрашностью компьютера.

Они не знали, как поведет себя лунная почва, которая могла оказаться трясинной, слегка присыпанной серой, как пепел, пылью. Отразившись от лунной поверхности, струя газов, разбросившая камни, могла перевернуть спускаемую кабину — отрететировать этот маневр на Земле было нельзя.

Там, в зловещем молчании космоса, все было против, за оставались только мужество и хладнокровие. И как бы зная это, Луна не принимала землян. Намеченное еще до полета место посадки словно подменили. В катастрофической близости от лунной поверхности, когда оставалось только двадцать секунд для спасительного возвращения к оставшемуся на орбите основному блоку, если бы они вдруг раздумали прилуниться, Армстронг и пилот «модуля» Олдрин увидели, что несутся на скалы и валуны. В эти калейдоскопические мгновения Армстронг взял управление в свои руки, с усилием переправил «модуль» через коварный кратер и посадил его в четырех милях от заранее выбранного места. Когда «Орел» — так звался посадочный «модуль» — прилунился, горючего оставалось лишь на секунд девять секунд полета.

Все, что было дальше, мы видели на экранах телевизоров. Четырехногий, похожий на паука «модуль», цепко стоявший на отливающей фантастическим блеском поверхности Луны, маленькая дверца, выпустившая белую призрачную фигуру человека, который медленно и плавно, как бы все еще не решаясь, начал спускаться по лестнице вниз... Шесть минут преодолевал он девять ступеней... Вот застыл на последней ступени и левой ногой, все еще держась за трап, как человек, вступающий в холодную воду, попробовал лунную почву... Еще полминуты — и он на Луне!..

Забыв о реальности происходящего, мы не отрывались от фантастического зрелища. А где-то в Хьюстоне бумажная лента компьютера, которому было приказано следить за самочувствием Армстрон-

га, показала сто пятьдесят шесть ударов пульса в минуту вместо семидесяти семи обычных...

— Мы не можем разглядеть звезд, но Земля видна хорошо. Она светла и прекрасна,— радировал Армстронг.

Слышавшие это сообщение потом рассказывали, что голос астронавта дрогнул и вроде бы изменился, стал почти неузнаваемым. Впрочем, голос человека, долетевший до нас с Луны, могла исказить дальняя радиосвязь. Возможно ли было сдерживать чувства при виде нашей как бы светящейся изнутри планеты на фоне черного неба! Земля оттуда казалась огромной Луной, а под ногами скользил рыхлый и мелкий, как смоченное дождем пепелище, грунт. Ни одной живой души, ни огонька, только жуткое молчаливое мерцание мертвой пустыни под холодным, неживым светом планеты Земля... Нет, Земли уже не было — разум отказывался верить, что на призрачно плывущем диске, вон на том темноватом пятнышке материка есть уменьшенный сейчас до микроскопических размеров город, есть улица, которую уже не увидишь даже в сильнейший телескоп. Ужели где-то там, в размытой, уничтоженной немыслимым расстоянием дали, есть посеребренная лунным светом тропа, на которой стоит любимая женщина, сияясь вообразить себе такую же микроскопически живую точку на мерцающем над ней ночном светиле? От одних только этих мыслей можно было сойти с ума... Нет, видимо, неспроста Армстронга прозвали железным.

...Мы вспоминали о его космических приключениях год спустя после благополучного завершения лунной эпопеи. Отблеск легенды лежал на имени этого астронавта. И в тот уже накрапывающий лунным светом июньский вечер, столпившись возле Дома культуры, мы перебрали биографию железного человека — Звездный городок ждал Армстронга.

Но как это бывает в таких случаях, торжественный момент встречи скомкался, оказались никчемными и лишними цветы и заранее приготовленные речи. Автомобиль, о приближении которого нас намеревались известить заранее, неожиданно вырвался из-за поворота, лихо подкатил к самым ступенькам, словно все это заранее отработывалось на тренажере, и не успели мы опомниться, как небольшого роста человек в сером костюме, оставив распахнутой дверцу машины, уже пробирался сквозь толпу к дверям, успевая приветливо помахать направо-налево, словно там и тут замечал старых знакомых. Что-то гагаринское, тоской отозвавшись в сердце, почудилось и в невысокой фигуре и в широких прямых плечах. Это сходство оказалось еще более разительным, когда, подталкиваемый волнами аплодисментов, Армстронг вышел на сцену и с улыбкой встал под большим портретом Гагарина. Наверное, и ему передалось волнение зала, и, как бы отвечая устремленным то на него, то на портрет взглядом, Армстронг обернулся, показал на Гагарина и что-то произнес.

— Он говорит, что Гагарин всех нас позвал в космос... — сказал в наступившей тишине переводчик.

Теперь уже из уст самого Армстронга слушали мы фантастический рассказ о полете на Луну. Фильм, снятый астронавтами, перенес нас почти на четыреста тысяч километров, на искрящуюся от прожекторов равнину...

Но вот опять сцену залил свет, и опять на нее поднялся смущенный Армстронг. Для букетов и сувениров не хватало рук. Слегка сощуренный от бьющих в глаза юпитеров, его взгляд ищуще пробежал по первым рядам, перебирая лица.

— Нил Армстронг просит выйти на сцену жен Гагарина и Комарова! — перекрывая шум, громко объявил переводчик.

Из последних рядов поднялись две женщины. Первой в темном платье, то и дело поправляя очки, шла к сцене Валентина Гагарина, за ней медленно продвигалась Валентина Комарова. Армстронг порывисто шагнул к ним навстречу, взял за руку Валентину Гагарину, как бы чуть отстранясь, заглянул ей в лицо и вдруг обнял бережно, словно поддерживая. Валентина уткнулась ему в плечо. Что-то произошло с Армстронгом, он внезапно переменялся в лице, задрожали губы. Пытаясь перебороть подступившую слабость, он сделал какое-то слепое движение в сторону переводчика, который держал предназначенные женщинам сувениры — копии медалей, оставленных в честь погибших космонавтов на Луне,— но, не справившись с собой, все еще придерживая Валентину, бессильно махнул рукой, а когда повернулся к залу, безжалостный луч юпитера высветил выступившие у него на глазах слезы. Не стесняясь своей слабости, Армстронг провел по глазам рукой, попробовал что-то сказать, но только покачал головой и опять обнял Валентину тем осторожным и чутким, слегка как бы отстраненным на людях объятием, когда женщине утешают в горе.

— Армстронг извиняется, что не может от волнения говорить,— тихо обронил переводчик в заледеневший зал.

Так на виду у всех стоял, не скрывая слез, астронавт, чье имя стало синонимом железного мужества... Какие чувства переполнили его сердце, не привыкшее сжиматься даже в смертельной опасности, какое смятение вызвало слезы, заставшие глаза, некогда спокойно озиравшие лунные пейзажи, а затем обращенные к фантастической, плывущей над ним как видение нашей планете? Кто знает... Быть может, при виде одинокой Валентины Армстронг ясно представил себе, что уже никогда, долети он хоть до Марса, до Венеры, до самой любой, самой дальней звезды,— никогда не увидит человека, который позвал его в космос... А быть может, он представил, как в то лето вот так же на сцену могла бы выйти в темном платье его жена... Кто знает...

Когда, справившись с минутным замешательством, зал зашевелился, задышал, словно оттаивая, Армстронг еще раз поклонился женщинам и вслед за ними пошел со сцены. Мне показалось, что он так же осторожно пробовал ногами ступеньки, как когда-то там, спускаясь по трапу из кабины «Орла» на Луну.

Через два месяца в адрес руководителей Центра подготовки космонавтов пришло из-за океана письмо.

«Вы и ваши сотрудники,— писал Нил Армстронг,— помогли сделать мою недавнюю поездку в Советский Союз очень интересной и волнующей. Но из всего этого выделяется как самое памятное для меня событие встреча с вдовами Гагарина и Комарова. Я очень надеялся встретиться с этими мужественными женщинами, но, как потом оказалось, не совсем был готов к этому. Я должен признаться, что встреча с ними была самым волнующим для меня событием, память о котором я сохраню навсегда. Боюсь, что тогда я потерял дар речи, но я думаю, слезы говорили сами за себя. Передайте, пожалуйста, мой привет госпоже Гагариной и госпоже Комаровой».

### Встреча над Эльбой

Валерий никогда там не был и не мог быть, ибо в сорок пятом ему исполнилось лишь десять лет, но с некоторых пор ему стало казаться, что он стоял в тот день на берегу медленной зеркально-гладкой реки, когда оба ее берега шквально взорвались криками многих



людей, словно они долго, очень долго шли навстречу и наконец-то увидели друг друга.

Да-да, он стоял на том берегу, в головокружительном горько-сладком запахе цветущей черемухи, как бы припорошившей кусты снежком, а сердце сначала сжалось, потом подпрыгнуло и занемело в ликовании, в радости неизъяснимого праздника: от берега к берегу к середине устремились на лодках, на плотах — кто на чем мог — солдаты двух армий. Они не знали друг друга, но спешили навстречу, будто невидимая сила торопила их, лодки сталкивались носами, плоты налезали один на другой, солдаты в нетерпении прыгали в воду, и непонятно было, отчего мокры их лица — от брызг или от слез.

Одно лицо запомнилось Валерию совершенно отчетливо: из-под сетчатой, похожей на шляпку мухомора каски глянули удивительно добрые, с какой-то усталой радостью глаза, блеснули зубы в такой же простецкой улыбке — именно это, не какие-то резкие, особые черты, а выражение доброты запечатлела и потом часто возвращала память. И еще странный костюм, похожий на лыжный: куртка, широкие, как шаровары, брюки навывпуск, толстокожие ботинки. Валерий тогда был убежден, что все американцы ходят только в таких костюмах.

Но где он мог видеть его, где? В фильме «Встреча на Эльбе»? Возможно, там. Но он не помнил уже ни одного эпизода, ни одного кадра. Почему же так врезалось в память лицо солдата?

Тридцать лет спустя после того напоенного черемуховой свежестью предпобедного дня неутоленность догадки, а скорее всего привычка не оставлять неразрешимым ни одного вопроса, могла бы привести его к старой, уже осыпавшейся газетной подшивке. Да, это было, было... Он, конечно, жил в то время, но вряд ли читал эти строки, его ребячьи интересы вращались тогда совсем по иным орбитам. И с жадностью человека, допущенного к тайне, словно речь шла о нем самом, читал бы он строки, оттиснувшие тот незабываемый день. Газета за 27 апреля 1945 года начиналась торжественными словами приказа войскам действующей армии:

«Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 ч. 30 м. соединились в центре Германии, в районе города Торгау... В ознаменование одержанной победы и в честь этого исторического события сегодня, 27 апреля, в 19 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта и союзным нам англо-американским войскам двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий...»

Снова плыли в текучем зеркале облака, а над рекой, как бы вобравшей высоту синего неба, радостно шумели, переключались возбужденные голоса. И Валерий был там, конечно, был... Там, где «первыми вступили в соприкосновение с частями 1-й американской армии наши радисты. Разговор происходил в момент, когда передовые части 1-го Украинского фронта находились уже менее чем в 30 километрах от американцев. Немецкие станции пытались заглушить разговор, но неудачно...

— Скоро встретимся с вами, — радиовали американцам наши радисты. — Мы знаем ваше расположение. Наши танки приближаются к вам. Делаем все, чтобы поскорее встретиться с вами.

Среди американцев оказались люди, знающие русский язык. Они поддерживали связь с нашими радистами...»

«Хелло, Иван!» «Алло, Джон!» Нет-нет. «Здравствуй, Валерий!» «Добрый день, Том!»

Рассказывая об этих теперь уже тридцатилетней давности эпизодах, армейский корреспондент словно угадывал то, что должно было произойти через тридцать лет. И не с кем-нибудь, а именно с ним, с Валерием Кубасовым.

А через день, как бы взирая с высоты Капитолия на воинов, шагнущих навстречу друг другу в порыве солдатского братства, президент Соединенных Штатов не поспешил на слова, звучащие теперь эхом далеких тех лет:

«Соединение наших сил в этот момент показывает нам самим и всему миру, что сотрудничество наших народов в деле мира и свободы является эффективным сотрудничеством, могущим преодолевать величайшие трудности кампании, величайшей из всех военных историй! Народы, которые могут вместе разрабатывать планы и вместе сражаться плечом к плечу, перед лицом таких препятствий — расстояния, языка и затруднений связи, — какие преодолели мы, могут вместе жить и вместе работать в общем деле организации мира для мирного времени...»

Тридцать лет прошло с тех пор..

...— Ключ на старт!

Извергая водопад огня, в блеклое, словно выжженное байконурским солнцем небо ушел корабль «Союз-19». Через семь с небольшим часов, когда он пролетал над Америкой, в грохоте пламени с мыса Канаверал устремился ему вдогонку «Аполлон». Снова белые облака плыли над бездонной речной глубиной, и как будто воскресшие голоса армейских радистов раздавались в наушниках.

— Как слышите?

Это Алексей Леонов, он весь — скрученные, спрятанные нервы — слился сейчас с кораблем, а ручки, тумблеры, кнопки — живое его продолжение.

— Слышу вас отлично. Спасибо, — по-русски откликаются на «Аполлоне».

Расстояние между кораблями десять метров, восемь, семь, четыре, метр..

— Контакт! — кричит Алексей и подмигивает не то Валерию, не то люку, за которым, чудится, в нетерпении ворочаются американцы. — Привет, Том! Сработано отлично!

— Спасибо, Алексей! — отзывается в наушниках знакомый голос. — Ждем с вами встречи!

С этой минуты мир, как и тогда, тридцать лет назад, ждал самого главного.

Теперь наступила очередь Валерия.

— Открываю люк номер четыре. Готов к открытию люка номер три... — сообщил он на борт «Аполлона», не выпуская одновременно из виду Алексея, который уже подплыл к люку и с нетерпением на него поглядывал.

Где-то там, в нескольких метрах, за непроницаемой дверью ждал Томас Стаффорд, в голосе которого тоже слышалось волнение.

— Вас понял, — отозвался он.

Валерий представил, как Дональд Слейтон взялся за рукоятку люка, потянул ее на себя... Люк распахнулся. Но почему замешкался Стаффорд?

— Ну давай, Том, входи же наконец! — совсем уже теряя терпение, по-русски позвал Алексей.

Валерий не мог видеть, как соединились их руки, но знал: эти несколько секунд золотыми каплями упали в песочных часах истории.

Впрочем, об этом он подумал после, разглядывая кадры телевизионной хроники, а тогда, заметив просунувшийся в люк «Союза-19» гермошлем Стаффорда, он вспомнил о сетчатой, похожей на шляпку мухомора каске и добром, с простецкой улыбкой лице.

— Здравствуй, Валерий! Как дела? — спросил тот самый будто бы виденный когда-то на Эльбе американец, поразительно похожий на Стаффорда.

Впрочем, это, конечно же, Стаффорд был похож на того американца. Валерий машинально взглянул на прибор и удивился тому, чему не надо было удивляться, ибо вся программа полета и стыковки многократно проигрывалась до каждого километра, до каждого витка еще на тренажерах. Но то, что он вдруг осознал, было действительно фантастично. Встреча на орбите произошла над Эльбой, да-да, если прикинуть — над самой Эльбой! Покосившись на иллюминатор, в который заглядывать сейчас было бы невежливо, Валерий словно увидел, как в неимоверной глубине за пеленой облаков течет, играет внизу зеркалом река, на берегу которой он никогда не был. И с этой минуты, как только Томас очутился рядом, Валерий не спускал с него глаз, словно и впрямь каким-то чудом ему довелось встретиться с человеком, который грезился с детства.

И тут же Слейтон выплыл в отсек «Союза-19». Но Слейтон-то воевал! На той самой войне... И теперь они все четверо теснились плечами, придерживая друг друга в нормальном человеческом положении, чтобы не перевернуться, не подвсплыть к воображаемому потолку. Только Венс Брандт продолжал нести вахту на «Аполлоне», как будто остался стоять за дверями часовым, охраняющим веселое застолье друзей. «Мы сейчас тоже на Эльбе, — с проясненностью догадки подумал Валерий. — Мы на Эльбе, хотя не воевали в ту войну...»

А званный обед шел вовсю. Борщ, грузинское харчо, паштет, курица, телятина... Тубы сменялись тубами, а когда стало ясно, что на «столе» явно чего-то недостает, Алексей, исполняющий роль тамады, выставил тубы со знакомыми всему миру зеленоватыми этикетками «Московская особая». Слейтон, очевидно еще по фронтовым временам знавший в ней толк, потер ладони и щутливо подтолкнул: мол, даже «на четверых» в космосе выпивать не полагается.

— Как будет посмотреть на это?.. — спросил он и, не найдя подходящего слова, покрутил пальцем под самым потолком.

— Начальство? — переспросил, едва удерживая улыбку, Алексей. И на полурусском-полуанглийском успокоил: — Во-первых, там, выше нас, никого уже нет, а во-вторых, почему бы и не выпить по случаю такой встречи глоток-другой?..

Они чокнулись. Но едва пригубив, Дональд укоризненно покачал головой: в тубах был сок... Наверное, никогда еще эти высоты не слышали такого громового смеха.

Это ощущение «занебесного» братства вспомнилось на пресс-конференции «Космос — Земля».

— Вот уже трое суток вы живете без прессы, — спросил по радио журналист. — Какую новость хотелось бы вам услышать от нас?

— Только хорошие новости, — сказал Алексей Леонов. — Мы все хотели бы услышать, что во всех уголках земного шара наступила мирная жизнь...

— Мирная навсегда, — коротко резюмировал Томас Стаффорд.

Слово в слово он сказал то же, что хотел сказать журналистам и Валерий. «А ведь это в наших руках», — подумал Валерий, вкладывая в примелькавшиеся слова совершенно новый смысл, ибо под

словом «это» подразумевал плывущую, налезавшую на иллюминатор закругленным горизонтом Землю. Да, ее судьба зависит от них...

В их руках была не только Земля... Это же чувство необыкновенного прилива сил, приподнятости Валерий испытал на другой день, когда «Союз-19» и «Аполлон» проводили последний совместный эксперимент — искусственное солнечное затмение.

Корабли разошлись медленно, как две планеты: «Аполлон» должен был закрыть собою Солнце. Огненные стрелы полоснули, надломилась, ударившись о стальной корпус американского корабля, который чуть покачнувшись, словно и впрямь выдержал удар ослепительных лучей. Вот «Аполлон» замер, завис, и ослепительная лава начала как бы переливаться через него... Это Солнце клокотало, кипело в крошечной безжизненной темноте космоса, даруя жизнь почему-то только одной-единственной планете. «В наших руках даже Солнце. Мы все можем, все...» — думал Валерий, прильнув к иллюминатору с кинокамерой в руках. Действительно, в этот час состоялось самое первое за все существование Земли искусственное, запланированное человеком затмение Солнца.

Корабли снова сблизилась, стыковались и как бы в последнем стальном рукопожатии разошлись.

Чувство грусти, смешанное с тревогой, чувство, никогда ранее не испытанное на Земле, овладело Валерием, когда он взглянул в иллюминатор на удаляющийся «Аполлон». Внизу льдисто поблескивала планета — холодная и безлюдная с орбиты. Где-то в невидимых отсюда бункерах прицельно затаились ракеты... Валерий вдруг подумал о том, что, пока они летали, там, внизу, на Земле, по роковой случайности и в самом деле могла бы прекратиться жизнь. И тогда во всей Солнечной системе и, быть может, во всей Вселенной они остались бы одни — двое на советском корабле «Союз-19» и трое на американском «Аполлоне»... И едва он об этом подумал, как ему сразу же захотелось на Землю. Скорей-скорей, словно он не доверял голосам, раздававшимся в наушниках и желавшим счастливой посадки.

И еще ему очень захотелось хоть на минутку на берег Эльбы. На взбурораженный голосами берег, по которому, приминая ботинками молодую траву, к нему с улыбкой бежит навстречу американский солдат в сетчатой, похожей на шляпку мухомора каске...

### Черный омут

Странно — только теперь, много лет спустя, он понял наконец, почему деревня, стоявшая, в общем-то, на ровном месте, называлась Малые Горки: крайними домами своими единственная ее улица, длинная-преддлинная, там, где доживали свой век липы барского сада, уже словно бы облысевшие, скатывалась под горку к речке. Горка была крутая и разгонистая — если съезжать по ней на санках или лыжах, то уж точно выскочишь на лед, жесткий как наждак; если же рискнул на велосипеде — жми на все тормоза. По этой горке, еще когда были ребятишками, любили сбегать к берегу просто так, босиком, раскрывив руки, задыхаясь от ринувшегося навстречу ветра, так что если бы оторвать от земли заплетающиеся, уже не держащие ноги, то полетел бы легким планером над речкой, лугом, лесом и еще дальше, куда хочешь, куда только в силах достать взгляд.

Но ноги не хотели отрываться от земли, потому что для полета недоставало главного — крыльев, и, едва касаясь деревянными, онемевшими пятками травы, мальчишки сбегали вниз, на ходу сбра-

сывали майки и птицами, стремительными, как снующие тут же стрижи, летели с обрыва в воду.

Он помнил эту речку еще полной, налитой в берега по самые края, помнил чистую, холодновато-родниковую ее воду, совсем ледяную, перевитую жгутиками бурунчиков, темную под обрывом в том месте, которое почему-то звали Черным омутом. В омуге страшила не глубина, а коряги, которые — только нырни без оглядки — хватали за шею щупальцами спрутов и не хотели выпускать назад. Здесь не раз забрасывали они с отцом удочки, вытягивая на готовой вот-вот лопнуть леске такую плотву, что иной раз не верили себе сами и то и дело подбегали к бидону, чтобы опустить руку и пощупать живое трепещущее, выскальзывающее из руки холодное серебро. Рыбаки поухватистее ухитрялись доставать из-под коряг раков, но такое занятие прельщало не всех, особенно после того как один из любителей пивного деликатеса был до крови цапнут в норе водяной крысой. Черный омут жил своей, невидимой речной жизнью и защищался как мог.

Но если к нему подходили по-человечески, он отвечал лаской. Несметные полчища отдыхающих оккупировали его черемуховые берега по выходным дням — и всем хватало места на примятой шелковистой траве, хватало воды — глубокой, прохладной, неба — ясного, бездонного, и солнца — улыбчивого, радостного. Да, больше всего он помнил на этой речке именно Черный омут, потому что именно в нем научился плавать.

К тому времени речка начала мелеть. Где-то километрах в пяти ниже сломали старую плотину вместе с мельницей, и теряющая на глазах силу вода начала убывать, обнажая когда-то страшные, а теперь безжизненно повиснувшие коряги. Нет, наверное, была к тому какая-то другая, не понятая людьми причина — ведь насыпали же плотину позже, — и ничего, река какой была, такой и осталась, так и не набрав силу. Может, потому начала она словно бы испаряться, что на берегах ее повырубили когда-то густой ольшаник? Или экскаватор нарушил, растревожил и оборвал какие-то тайные корни, когда выбирал ковшем вдоль по берегу глину и песок для стройки?

Не та уже была речка, не та. Но Черный омут не сдавался, еще ввинчивались в его стоячую темную гладь бурунчики, еще попадалась, правда не такая уже крупная, плотва. При сноровке и опыте кое-кто ухитрялся потаскивать и раков, однако все знали, что через самую глубину на тот берег взрослому теперь можно было пройти пешком.

То были первые летние дни, когда, смыв с себя свинцовую весеннюю рябь, вода поголубела, поласковела и уже манила к себе. Он пришел на омут один, как будто кто-то позвал его и ему нельзя было отложить этого купания. Он поспешно разделся и вошел в воду по пояс по привычке робко, прихлопывая ладонями по плотной глади. Нужно было поскорее окунуться, и он окунулся. Пересиливая обдавший его холод, зашлепал, забарабанил по воде ногами. Наверное, постепенно он очутился на глубине, потому что, когда опустил ногу, не достал дна. Испугавшись, он забултыхал ногами и руками еще сильнее и, сам того не сознавая, поплыл. Он узнал, что плывет, по тому, как медленно двинулся назад куст черемухи. Успокоившись, он сделал еще несколько движений, теперь уже более плавных и осмысленных, и достиг следующего куста, потом повернул к берегу. Удивительно — когда он влез в воду еще и еще раз, ему показалось, что он плавал всегда. «А я умею плавать», — сказал он появившимся через некоторое время товарищам, сказал без бахвальства, просто

и тут же, уже весь в ознобных мурашках, показал, как он плавает. Только спустя несколько дней, когда прошло это почти шоковое возбуждение необыкновенного открытия чего-то нового в самом себе, он ощутил настоящее наслаждение от победы над глубиной. Плыть, плыть и не бояться темной, тайной, страшной, а теперь покоренной воды, плыть, словно лететь, куда только достанут глаза.

Это необыкновенно радостное, до замирания сердца ощущение власти над самим собой, над каждым движением вспомнилось ему спустя многие годы под хлопнувшим над головой куполом парашюта, когда он стиснул в немеющих ладонях тугие, но податливые стропы. Чувство, пережитое мальчишкой, бултыхающим ногами по воде, чтобы достичь нависшего над рекой куста черемухи, он испытал еще раз, когда в кабине космического корабля, отстегнувшись от кресла, невесомо повис между полом и потолком.

Он висел почти неподвижно, беспомощно, вдруг потеряв привычную опору, ребенок Вселенной, мужественный, но не знающий ее глубины, и, сообразив наконец-то, что нужно всего-навсего оттолкнуться от стенки мизинцем ноги, поплыл, как рыба в аквариуме, пошевеливая руками, к ожидавшему его прибору. Научиться здесь плавать значило научиться работать и жить...

Сколько же прошло лет с тех пор, как он проплыл над Черным омутом? «Как далеко все и как высоко мы ушли от Земли», — подумал он там, на орбите, мечтая почти о несбыточном — хоть раз очутиться на черемуховых берегах той речки. Прошли еще годы и годы, прежде чем уже прославленным космонавтом он вернулся туда, откуда, если сказать по правде, и начинался его путь к звездам.

Он не узнал того места. Пожалуй, только горка оставалась той же, да и она, казалось, сторбилась, сникла. «Это оттого наши горки становятся ниже, что мы вырастаем», — подумал он, спускаясь к берегу, на котором уже не курчавилось ни одного кустика. Словно полчища варваров прошли по здешним местам, оставив вытоптанную и как бы оплавленную огнем землю. В том месте, где когда-то таинственно темнел, завиваясь бурунчиками, Черный омут, берег обвалился, осыпался, напоминая неухоженный, давно позабытый могильный холм. И самого омута уже не было: что-то похожее на заросшую ряской воронку от бомбы круглело внизу, пересеченное ленивым, обессиленным, цепко схваченным со всех сторон осокой ручейком, который можно было запросто перешагнуть. «Неужели здесь учился я плавать?» — с грустью о невозвратимом подумал он, с трудом отыскав взглядом два торчащих корешка — жалкие остатки когда-то раскидистых кустов черемухи, между которыми проплыл он мальчишкой, одержав победу над глубиной. Еще несколько дней назад на космическом корабле меньше чем за полтора часа он огибал земной шар. Но почему так волновали, будто цеплялись за самое сердце два культияых корешка, почему так настойчиво возвращала память уже чернеющие ягодой кусты и голубую воду между ними? «Сюда уже незачем приходить, тут ничего не осталось от прежнего, ничего», — думал он, с тоской оглядывая пересохшее русло когда-то полной реки. — Вместе с нею утекло время, а мы остались, как будто проросли через него».

Он уехал в Звездный, который ждал его для новых подвигов, уехал, постепенно, как о старой боли, забывая о месте, родившем его в полет. Думал ли он, что однажды Черный омут все-таки напомнит ему о себе?

Двоем с товарищем он снова стартовал на космическом корабле, чтобы произвести фотосъемку огромного участка земной

поверхности. На пятнадцатом витке они фотографировали Иркутскую область, озеро Байкал, южную часть Якутии; на тридцать первом — районы БАМа, Улан-Удэ, Читы, Якутии; на тридцать втором — горы, окружающие Иссык-Куль, Алтай, участок Центральной Сибири...

Уже на Земле, когда снимки были дешифрованы, они с интересом потянулись к тем из них, на которых запечатлелся Байкал, — очень важно было узнать о распределении твердого вещества, поступающего в озеро вместе со стоком рек. Очень беспокоило и другое озеро, берега которого обнажились на двести—пятьсот метров. Суша наступала на воду. Почему? Может быть, этому способствовал большой «водозабор» для орошения или были другие, неизвестные пока причины?.. Но карта озера, составленная всего шесть лет назад, явно устарела.

— А это уже совсем беда! Смотрите! — позвала сотрудница лаборатории и показала на очередной снимок.

Поросший осокой, как магмой залитый илом берег проглядывал сквозь черноту. Его нынешняя черта далеко отступала от прежней, в извилистой змейке угадывалось русло реки. Не почерневшие ли корявые культяпки когда-то буйных черемуховых кустов видел он? Черный омут? Но нет, это был, конечно, не Черный омут. Беда, такая же непоправимая, настигла другую реку. И как это было похоже на то, что он видел там, на речке детства, в последний раз!

«Странно, — подумал он, — человек стремился взлететь к звездам, все выше и выше, а оказывается, что все это — и Байконур, и ракеты, и корабли — понадобилось для того, чтобы мы внимательнее взглянули на Землю. Да, чтобы мы посмотрели на нее как дети на мать и увидели, какая она одинокая и беззащитная...»

Черный омут просил белоснежных черемуховых кустов и воды...

### Деревня под луной

Среди московского дня, оглушенного неумолчным водоворотом вечно спешащих автомобилей, тем звенящим шумом города, который не умолкает даже ночью, вдруг вспомнилась улочка детства — тихая, застенчивая и так густо поросшая мелкой, мохнатой, мятно пахнущей ромашкой, что и ступали-то мы по ней бережливо, мягко, как по зеленому ковру. Вновь увидел я липы и рябины, перевесившиеся через зубчатый штакетник палисадов, колодец со скрипучим валом, теплые пузыристые лужи после летнего дождя, как будто их вскипятило молнией, и — дома, дома, вернее их серые, крытые дранкой и ярко покрашенные железные крыши, выглядывающие из огнистых, как гроздь салюта, кустов сирени.

Пока идешь от начала улицы до середины, до поворота налево к своему дому, непременно кого-нибудь знакомого встретишь. Чаще всего, словно он весь день поджидал тебя, чтобы попасться на пути, Ивана Ивановича, щуплого, но крепкого в кости старика в кирзовых, наверное, очень тяжелых сапогах, в соломенной шляпе, делавшей его удивительно похожим на Мичурина, с палкой на плече, на которой вечно болтается пустая хозяйственная сумка. Почему-то он любил носить все что можно именно на палке, и эта привычка, многим непонятная, накладывала на него облик странника, будто каждый раз Иван Иванович возвращался из каких-то очень дальних краев, а после встречи с тобой ему идти дальше еще тысячу, а может быть, и больше верст.

Поравнявшись, Иван Иванович приподнимал шляпу, обнажая седую голову, и приостанавливался — не важно, старый ты был или малый, — на минутку-другую, чтобы, не докучая праздными разговорами, справиться о жите-бытье, о здоровье. Это приветствовала меня улица детства, вернее ее доверенный полномочный представитель Иван Иванович. Сколько же ему было тогда лет? Никто не помнил его молодым, никто не видел и совсем дряхлым, росли мы, ребяташки, росли, раскидывали крепнущие ветви когда-то посаженные нами деревья, а Иван Иванович все так же шел очень прочной своей походкой в какую-то дальнюю, недостижимую для нас сторону. Долгие годы спустя и, наверное, в последний раз, потому что уже никогда не возвращался на улицу детства, встретил я его в сумерках куда-то идущего с неизменной палкой на плече и обрадовался этой дарящей счастливую примету встрече.

— Здравствуйте, Иван Иванович!

— А! Это вы? — приподнял он привычно шляпу. — Ну как здоровье? Как жизнь? А я узнал вас только по голосу. Совсем уже плох стал на глаза...

Сейчас, уже как бы издалека взглядывая на улицу детства, я думаю о том, что если изба красна не углами, а пирогами, то улица красна хорошими людьми. Ведь это все были ее люди: и вечный странник Иван Иванович, и другой известный ее житель — гармонист Мишка Строгов, которого никто никогда не видел пьяным, а только так, навеселе, идущим морской развалочкой. Бывало, покажется на бугре — ремень гармонии через плечо, сам себе играет, сам себе поет, — а всей улице весело, и отойдет нечаянная печаль, и радость коснется сердца. Чужие люди выглядывают из распахнутых окон, из приоткрытых калиток, а все вроде бы родня. И вспоминая улицу детства, снова проходя ее тропинками, вдруг воскресишь словно высвеченное закатным багрянцем августовского солнца видение, от которого разбуженной грустью защемит на душе. В белых тuffельках, обходя голубые, до неба глубокие лужи, идет мимо окон она, но идет не куда-то, а к тебе на свиданье, к той тайной, роняющей росные капли березе, которой только одной на свете знать доверено все. А через час-другой в спасительной темноте мы будем стесняться зарниц, полыхающих где-то за лесом, обнажающих губы, глаза... И уже далеко за полночь родная улица услышит предательски гулкие шаги, вороватый скрип калитки; мокрая сирень хлестнет по лицу, и коротко вспыхнет в окне сердитый родительский свет.

Так блуждающая по забытым тропкам память приведет все-таки к самому заветному, куда все время, сама того не замечая, шла, — к дому, возле которого вымахала выше крыши когда-то посаженная тобой рябина. Где же ты, кухонное окно в светлом резном наличнике, словно в чистом платке? Еще долго-долго напоминало мне оно темное, загорелое от печного пламени бабушкино лицо, обрамленное белым платком со свисающими в стороны прямыми концами. Не потому ли, что чаще всего ее можно было видеть именно в том окне, вечно хлопотавшую у такой же чистой, побеленной известью печки?

Но вот уже и мать в возрасте бабушки и в таком же платке стоит у калитки и машет мне вслед, и отец, непривычно растроганный и еле-еле держащий в сухих глазах слезы, стоит чуть поодаль... Так кончается улица детства. Вернее, детство улицы. И напрасно, возвращаясь после странствий, мы ищем заросшие тропы. Ушедшего не вернуть. Но разве не там остались корни, те самые корни, что держат тебя на Земле?



Снова грохнет у печки охатка березовых дров, затрещит, загудит позабытыми взвивами пламя; и, лежа на матраце, набитом хрустящим сеном, вдруг с приливом неизбывного счастья ощутишь, как проходящая мимо мать тронет ненароком уже седые твои вихры. А вечером за столом, собравшим опять так много гостей, мы будем смеяться вспоминать о котенке, который, став большим и бесстрашным, все никак не мог забыть старую тапочку. Он спал в ней, когда был совсем маленьким, и даже сейчас все еще тыкался носом и укладывался рядом, положив на тапочку голову, зажмурив блаженно глаза...

Наверное, это и есть чувство родного дома, чувство, которое все мы теряем, переселившись в небоскребы, где, как в сотах, не сразу отыщешь свое окно. Да и хотим ли мы его найти?

Не поднимая головы, глядя под ноги, торопимся мы в гулкой подъезд; молча, не обмолвясь с соседом словом, поднимаемся в лифте; вытерев тщательно ноги, вступаем в пахнущий мебельным лаком мир... Квартира-то квартирой, но она все же не отчий дом. И дробится, дробится на что-то мелкое нечто большое, огромное.

И уходит земля из-под ног...

Снова возвращаюсь я с улицы детства в шумливый московский день, в комнату, по стенам которой перемещаются зыбкие, шаткие тени, и вновь открываю книгу на той странице, откуда память отлигнала назад так много дней.

Вот что повлекло меня в детство: город и улица, которых пока что нет, но которые будут. Знаете ли вы, что человечество уже проектирует звездные города? Нет, это не фантазия об «эфирных» поселениях Циолковского, а реальные, начертанные на ватмане чертежи. Один из таких проектов, проект Д. О'Нейла, может быть реализован в ближайшие тридцать—пятьдесят лет. Космическая станция-колония, пишет архитектор, представляет собой замкнутую экологическую систему, полностью обеспечивающую себя энергией и почти полностью технологическими материалами и сельскохозяйственными продуктами. Основной структурный элемент колонии — цилиндр, разделенный на шесть продольных секторов. Такой цилиндр может быть собран из лонжеронов и стальных шпангоутов. Три его сектора делаются из прозрачного материала, на трех других размещаются полезные площади. Прозрачные секторы покрыты стеклом, в основе других, полезных, называемых долинами, покрытия из титана и алюминия. Атмосфера — земная. Для создания силы тяжести цилиндрам придадут движение. Солнечная электростанция обеспечит создание условий, максимально приближенных к земным. Уже высчитано: на каждого человека будет расходоваться сто двадцать киловатт электроэнергии.

Нет, я читаю не фантастический роман, в этих строках прозаичность земных расчетов.

«Прозрачные секторы снабжены подвижными ставнями-зеркалами. Когда окна открыты, ставни отражают солнечный свет внутрь цилиндра. Меняя угол наклона ставен, можно менять количество отраженного солнечного света и таким образом создавать иллюзию постепенного изменения освещенности в течение дня. На «ночь» ставни закрываются. В колониях возможна не только регулярная смена суток, но и столь же регулярная смена времен года.

Непрозрачные секторы-долины покрыты слоем грунта толщиной около полутора метров. Здесь может быть создан даже холмистый пейзаж... В атмосферу цилиндров можно добавить водяной пар такой концентрации, что появятся облака и пойдет дождь...

Поверхности долин застроятся жилыми домами, их будут окружать сады и парки... Индустриальные и сельскохозяйственные площади будут вынесены в отдельные районы...»

По мнению О'Нейла, уже сейчас можно реально обсуждать последовательное строительство четырех моделей космических колоний. Он предлагает следующие сроки для их сооружений, которые, однако, кажутся нам чересчур оптимистическими: 1988, 1996, 2002, 2008 годы.

Первая модель могла бы иметь радиус 100 метров и длину километр. В подобном сооружении разместится около 10 тысяч человек. Основная задача этой колонии — разработка и создание следующей модели с внутренней поверхностью, в 10 раз большей (размеры увеличиваются примерно в 3,3 раза). Затем еще дважды площадь колонии возрастет в 10 раз, и конструируется четвертая модель диаметром 6—7 километров. Период ее вращения сколо двух минут. В колониях четвертой модели должны постоянно жить до 20 миллионов человек. Каждая колония может представлять собой отдельное государство. О'Нейл полагает, что через тридцать — сорок лет до 90 процентов земного населения переселится в колонии... На создание первой колонии потребуется около 30 миллиардов долларов (по курсу 1972 года), что примерно равно стоимости всей программы «Аполлон». Из них только 8,5 миллиарда понадобится для того, чтобы перевезти свыше 400 тысяч тонн материала с поверхности Луны в место сборки станции...

И еще несколько строк: «Расчеты, приведенные известным советским астрофизиком, показывают, что уже через пятьсот лет, и при самых неблагоприятных экономических условиях через две с половиной тысячи лет, в «эфирных поселениях» в пределах Солнечной системы будет жить около 10 миллиардов человек — значительно больше, чем сегодня обитает на Земле».

...Здравствуй, здравствуй, грядущее поколение, проставляющее в паспортную графу о месте рождения звездные координаты космограда! Каким он будет видиться с Земли, этот город, который не может сегодня даже присниться? Заставит ли там, в черноте космоса, радостно забиться сердце огонек в окне, обещающий материнский покой и уют? Встретится ли на улице детства вечный странник Иван Иванович? Прошелестит ли спелой листвой тайная береза свиданий?

Может, все будет, все будет так или почти так... Ну а как же старушка Земля? Как же наша старенькая Мать, глядящая нам вслед в белом платке облаков?..

### Подзорная труба Галилея

Высокое зимнее небо горит надо мною звездами, такими трепетно яркими в зените и как бы пригасающими ниже, по краям горизонта, что кажется, будто я иду под огромным сверкающим куполом. В глубокой недосыгаемой тьме занебесной вьюгой-завирухой безмолвно вихрится Млечный Путь, тут и там белеют, горбятся сугробы звездного снега, все привычно, все много раз видано, но отчего, когда в одиночестве очутишься в такую ночь посреди унылого белесого поля, облитого лунным светом, вдруг ощутишь на себе как бы пристальный взгляд миллионов глаз, неотрывно наблюдающих тебя сверху? Словно силовые линии магнита осязаемо пройдут через тебя и потянут — куда и зачем? И спохватишься, опомнишься, наконец сообразишь, что невидимый магнит обратил твой взор опять к небу.

Вот отсюда, с этого пригорка, я увижу сейчас небо таким, каким его не видел никто из вас. Но дело не в выборе особого места, нет! У меня на груди болтается на ремешке бинокль — обычный полевой, с семикратным увеличением. Я вынимаю его из футляра, припадаю глазами к прохладным кружочкам и поднимаю вверх. «Эврика!» — хочется крикнуть мне, ибо надо мною распахивается совсем другое, неведомое простым смертным небо. Желтые, серебряные, синие, алые звезды так ослепительны, что хочется зажмуриться. Небо спустилось ниже, новые звезды проглянули сквозь черноту, а самые яркие прежние повисли, как круглые светлые шарики. Тихо! Где-то рядом стоит Галилей. Мой бинокль ничуть не слабее самой первой его подзорной трубы.

Я вижу, как старческая, в узловатых прожилках рука обращает подзорную трубу к небесам — и возглас изумления нарушает ночную тишину: никто до него, ни Коперник, ни Джордано Бруно, не испытывал такого счастья от созерцания звездной Вселенной.

Планеты представились ему «маленькими кружочками, резко очерченными, как бы малымя лунами... Неподвижные звезды, — горюливо, потрясенный увиденным, записывал он у свечи, — не имеют определенных очертаний, но бывают окружены как бы дрожащими лучами, искрящимися подобно молнии. Труба увеличивает только их блеск, так что звезды пятой и шестой величины делаются по яркости равными Сириусу, самой блестящей из неподвижных звезд».

Таял, плавился в подсвечнике воск, рассвет голубел за узким окном, и подрагивало в быстрой руке перо.

«За главное в нашем деле считаю сообщить об открытии и наблюдении четырех планет, от начала мира до наших времен никогда не виданных. 7 января 1610 года, в первом часу ночи, наблюдая небесные светила, я, между прочим, направил на Юпитер мою трубу и благодаря ее совершенству увидел недалеко от планеты три маленькие блестящие звездочки, которых прежде не замечал... Через восемь дней, ведомый не знаю какой судьбою, я опять направил трубу на Юпитер и увидел, что расположение звездочек значительно изменилось... С величайшим нетерпением ожидал я следующей ночи, чтобы рассеять свои сомнения, но был обманут в своих ожиданиях: небо в эту ночь было со всех сторон покрыто облаками. На десятый день я снова увидел звездочки...»

Подзорная труба Галилея в облаках Млечного Пути высветила звезды, разделения Земли и неба больше не существовало: все звезды — это далекие планеты, все планеты подобны Земле. Тайна Вселенной была разрушена.

Но еще вьется и летит к небесам пепел от костра, на котором сожжен Джордано Бруно. И звездный свет серебрит виски семидесятилетнего Галилея. Я вижу его как бы в тунике, сотканной из ночного неба, чуть-чуть озябшего, склонившего голову перед судом инквизиции, но не в покорности, а только спрятавшего в этом поклоне хитрый взгляд.

И белеет голова Галилея, седеет от звездного света.

«Я, Галилео Галилей, сын Виченцо Галилея, флорентиец, на семидесятом году моей жизни, лично предстою перед судом, преклонив колени перед вами, высокие и достопочтенные господа кардиналы вселенской христианской республики и против еретического развращения всеобщие инквизиторы... признан находящимся под сильным подозрением в ереси, т. е. что думаю и верю, будто Солнце есть центр вселенной и неподвижно, Земля же — центр и движется...»

Он отрекался утверждая и утверждал отрекаясь. Даже в отречении ему нужно было повторить, обязательно повторить то, что открыла людям подозрная труба.

«Я, поименованный Галилео Галилей, отрекся... в подтверждение прикладываю руку под сею формулою моего отречения, которое прочел во всеуслышание от слова до слова. Июня 22 дня 1633 года, в монастыре Минервы...»

«А все-таки она вертится!» — думал он, роняя из слабой руки перо. «Вертится, вертится!» — эхом отозвались звезды.

История сохранила более веское свидетельство непреклонности старика — его письмо к Кеплеру. Вот что звезда звезде говорила:

«Посмеемся, мой Кеплер, великой глупости людской. Что сказать о первых философах здешней гимназии, которые с каким-то упорством аспида, несмотря на тысячекратное приглашение, не желали даже взглянуть ни на планеты, ни на Луну, ни на телескоп. Поистине как нет у аспида ушей, так закрыты у этих философов глаза для света истины... Как громко расхохотался бы ты, если бы слышал, что толковал против меня первый ученый этой гимназии, как тщился он логическими доводами, словно магическими заклинаниями, удалить с неба новые небесные тела».

Как от звезды к звезде, от одного великого мыслителя к другому лучился свет истины.

Не мысль ли Галилея о том, что отполированный корабль на гладком море будет скользить «непрерывно вокруг нашего земного шара... если... убрать все внешние препятствия», ассоциативно родила у Кеплера образ другого корабля?

«Не так уж невероятно, должен я заметить, — писал он, — что обитатели имеются не только на лунах, но и на самом Юпитере... Однако едва лишь кто-нибудь постигнет искусство летать — и найдется достаточно поселенцев из числа нашего, человеческого рода. Кто знает, может, это плавание по широкому океану будет более спокойным и безопасным, чем по узким Адриатическому и Балтийскому морям или Ла-Маншу? Дайте только корабли и паруса, пригодные для небесных ветров, и тут же найдутся смельчаки, которые без трепета отправятся в эти необозримые просторы. А потому ради тех, кто того и гляди предпримет это путешествие, создадим же, Галилей, астрономию: ты — Юпитера, а я — Луны...»

Так долог и труден путь истины. В год смерти Галилея родился Ньютон. Сейчас это трудно представить, но скромный его рисунок (воображаемый вид Земли с единственной высокой горой, а на горе пушка, выпускающая ядро за ядром) привел истину от подозрной трубы Галилея к космодрому Байконур, где, вглядываясь в силуэт ракеты, стоит на степном ветру академик Сергей Королев. На рисунке Ньютона первое ядро падает у подножия горы; второе выпущено с большей скоростью и потому, прежде чем упасть, огибает часть земного шара. И наконец, ядро выпускается с нужной скоростью — и, по мере того как оно падает, земная поверхность изгибается и уходит вниз, а ядро остается на постоянной высоте относительно Земли, описывая круги вокруг нее... Ядро вышло на орбиту! Но это уже не ядро, а первый в мире искусственный спутник, круглый блестящий шарик со звонко-голым «бип-бип», огибает планету Земля. От рисунка Ньютона до эскиза Королева — триста лет. В самом деле, почему так невероятно долог и труден путь истины? И что сказали бы инквизиторы-кардиналы де Аскуло, Бентивольо, де Кремона, доведись им воскреснуть из мертвых? Впрочем, истина есть истина. Недавно в печати мелькнуло сообщение: в кругах Ватикана решили пересмотреть «дело Галилея» и оправдать великого ученого. Покро-

витель путников святой Христофор стараниями церковных реформаторов превратился в покровителя космонавтов.

...Я опускаю бинокль и из трехсотлетней давности, из времен Галилея, возвращаюсь во вторую половину двадцатого века. Снова серебристый, как бы приподнявшийся купол мерцает надо мной и вокруг меня. Но разве не таким же было небо и тысячу лет назад и разве не таким же будет оно и тысячу лет спустя?

Значит, надо просто выйти ночью в поле и взглянуть на звезды, чтобы увидеть невообразимо далекое прошлое и такое же недостижимое будущее. Взглянуть на звезды и ощутить миг вечности.

### Шар голубой

Глаза видят то, чего не может постичь разум. В черной необъятной глубине космоса голубым школьным глобусом висит земной шар. Как будто злой мальчик, не выучивший урок, отвинтил его от подставки и выбросил за окно в крошечную темень. Но шар не упал, не разбился, а волшебным образом повис в этой страшной густой черноте — сияюще-легкий, играющий на боках радужными переливами.

Нет, такое постичь невозможно: на округлой стороне, обращенной ко мне, я вижу сразу полмира. Я поднимаю ладонь и прикрываю весь Атлантический океан. Коричневые, будто припорошенные снегом пятна-материки выглядывают снизу Африкой, сверху Европой. А эта синяя лужица... Неужели Черное море? Чуть правее по самому круглому краю опять завитки метели — это циклон над другим океаном, над Тихим. Я прикрываю ладонью и его.

Тишина. Вы слышите? Смолкли все звуки, мир опять обрел немоту, и снова так тихо, что, наверное, как миллиарды лет назад, слышится музыка звезд. Их лучи словно светлые струны, которыми перетянута ночь. Вечная ночь. Вечная жуткая ночь с этим слабеньким бликом тепла. Неужели это Земля?

Я — человек, я — бог, с любопытством взираю на шар. И звезды, звезды навевают неземной свой мотив.

Кто ответит, кто скажет, как вместились в седой одуванчик могучая ширь штормовых океанов, точно щепками играющих кораблями; горы с сиянием снега на заоблачных пиках; города с небоскребами и толчеей улиц; жар пустынь и снега полюсов?..

Этого нет ничего. Только снежные вихри циклонов да бурные серые пятна в ореоле дымящейся голубизны.

Я не бог, я — Человек. И висящий над вечностью шар — моя колыбель.

Чутким ухом — за тысячу верст — я слышу, как муравей тащит к куче — к своей пирамиде Хеопса — былинку; как с хрустальным звоном катает ручей жемчужные камни. И еще мне слышится голос матери — самый родной из всех земных голосов... Но ей не дозваться меня. Почему же так слышен — за тысячу верст — этот к дому, к родному порогу кличущий голос?

Все исчезло. Висит только шар — голубое творенье природы. И не верится, что где-то в недостижимой дали брел в ромашках по грудь и гонялся за красной бабочкой мальчик, что он вырос в мужчину — и вот отлетел от Земли...

Все исчезло, все стало уменьшенным в тысячи раз. И если как лужица Черное море, то каким же крошечным должен быть сад в розовом цвете яблонь, дом, смотрящий резными окнами из-за акаций? А уж самых близких людей, идущих к нему тропинкой, не увидеть совсем.

И думаю я: а есть ли жизнь на Земле?

И на этот вопрос отвечает лишь память. И в уменьшенном шаро прессуется время, сжимая в секунды века.

Палеозойская эра плещет морями, даруя кораллы, губки, рыб и акул. Полмиллиарда лет — как быстро проходит время! — и вот уже мезозойская эра ползет по земле динозавром. А вот и я, человек, встаю на обе ноги. Я смотрю на портреты далеких предков и не узнаю никого.

Здравствуй, австралопитек! Узкий покаты́й лоб и сутулость походки, руки свободны, но нет-нет да и коснешься ими земли. Два миллиона лет или больше, не установлена точно дата рождения, да к тому же очень поздно, слишком поздно дарить подарки. А вот волосатый — могучие плечи и сильная грудь — неандерталец. Это он углублялся в пещеры, спасаясь от льдов. Он ушел навсегда и оставил на память кремневый топор, я видел его в музее.

А это — совсем уже близко — люди, кроманьонцы, рослые, сметки не занимать, и походка прямая, и шаг размашистый, прочный. Эй, кроманьонцы, какие созвездия видели вы над Землей?

Я — человек и на Землю, на небо смотрю глазами то Коперника, то Галилея. И Ломоносов моими устами читает стихи:

Открылась бездна, звезд полна,  
Звездам числа нет, бездне дна...

И не я ли стою Циолковским на крыше калужского дома и до звезд — до самых высоких — рукой достаю? Я, конечно же я, человек по фамилии просто Гагарин, выхожу на бетонный проспект космодрома и к ракете иду, на которой мне от Земли отлетать.

...Глаза видят то, чего не может постичь разум. В черной необъятной глубине космоса голубым школьным глобусом висит земной шар. Один на все человечество. Один на всю Солнечную систему, быть может, один-единственный на всю Галактику, на всю Вселенную.

Звездам числа нет, бездне дна...

Сейчас это и трудно и легко: вернуться в необозримо далекое прошлое и представить, как в солнечном отблеске кружат девять планет. Они безмолвно плывут по своим орбитам, но никто, никто в мире еще не видит этой прекрасной космической карусели, ибо во всей Вселенной нет разума. Есть время и есть пространство — но для кого? Миллионы, миллиарды веков неподвижны.

Но вот на третьей по счету от Солнца планете блеснул окуляр телескопа. Кто же знал, кому было знать, что, пока кипят, пока остывают гигантские шары, на одном из них по счастливой случайности возникло то, что с любопытством взглянуло на звезды?

А взгляд проникал все дальше и дальше. И вот он уже у границ Вселенной, где нестерпимо ярким светом полыхают костры иных миров. Вот и они позади, и снова мрак, и снова впереди остатки отгорающего звездного пламени. Что же это такое родилось на круглой, как шар, третьей по счету от Солнца планете? Что проникло взором в грядущее не только Земли, но и Солнца, галактик и всей Вселенной?

Представим себе взгляд, вобравший кружение всех девяти планет. Мрачное безмолвие на восьми из них. Но вот с третьей по счету от Солнца, как из созревшего цветка споры, выстрелились в черную пустоту серебристые искры. Сначала одна из них покружила вокруг шарика, потом другая долетела до Луны, третья до Марса, четвертая до Венеры. Что он ищет в этой пустыне, разум Земли? Раздвигает границы познания?

«Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим»,— сказал еще Гераклит.

Сегодня ученые утверждают, что Вселенная расширяется, что она вступила в стадию разворачивающихся спиральных галактик, обычных звезд, самая знакомая из которых — Солнце. Вокруг некоторых из этих звезд, считают они, образовались системы планет, по крайней мере на одной из таких планет возникла жизнь, в ходе эволюции породившая разум. Как часто встречаются в просторах космоса звезды, окруженные хороводом планет, ученые пока еще не знают. Ничего они не могут сказать и о том, как часто возникает на планетах жизнь. Да и вопрос, как часто растение жизни расцветает пышным цветком разума, остается открытым...

Глаза видят то, чего не может постичь разум. В черной необъятной глубине космоса голубым школьным глобусом висит земной шар. Да и не шар это вовсе, а нежное, голубовато трепещущее сердце Вселенной, да-да, человеческое сердце Вселенной, животворно пульсирующее на тысячи звездных миров вокруг.

Не окулярами телескопа, а памятью, проникающей в глубь веков, вглядываюсь я в знакомые мне земные очертания и думаю: да здравствует жизнь на Земле! да здравствует Человек, идущий сквозь дебри тысячелетий к прекрасному самому себе! Но если человечество — сердце Вселенной, то против кого стальные стрелы, затаившие в наконечниках нейтронную смерть? И для чего приготовлены уже не пороховые, а урановые погреба?

С любовью и надеждой всматриваюсь я в силуэт родины, окаймленный на картах красным — самым мирным цветом Земли. Плыви под солнечным ветром, шар голубой!

И он все уплывает, все тает в зазвездных далях. И вот уже висит в поднебесье сияющий серп Земли...



---

БОРИС РЯХОВСКИЙ



## ОТРОЧЕСТВО АРХИТЕКТОРА НАЙДЕНОВА

Повесть

*Повесть Бориса Ряховского читается с напряжением: в ней чрезвычайная концентрация фактов, событий, характеров, она захватывает изображением послевоенного времени, когда формировалось нынешнее среднее поколение, она открывает жизнь, почти не исследованную литературой.*

*Небольшой степной городок, над крышами которого клубятся голубиные стаи; мир голубятников со своими неписаными законами, обычаями, нравами — и погосток, восставший против его бессмысленной жестокости и тем утверждающий себя как личность. Это трудный и сложный процесс — становление человека. В повести Б. Ряховского главный герой дан в столкновениях, в стычках, мальчишеских, конечно, но требующих тем не менее самого обостренного напряжения всех своих духовных сил.*

*Эта вещь выделяется из книжного потока и тем еще, что юный герой ее предоставлен, в сущности, самому себе, жизненно важные решения ему приходится принимать самостоятельно, без традиционной подсказки со стороны коллектива.*

*Это сурово написанная вещь, это тревожно написанная вещь, — честь и хвала за то автору «Отрочества архитектора Найденова». Я уверен: литература должна тревожить.*

Чингиз АЙМАТОВ.

I

Светлым шатром стоял во тьме городской сад. За танцплощадкой на скамейке сидели подростки-голубятники. Девичьи вскрики, выражавшие не протест и не испуг, а приглашение к игре, блеск глаз, голые руки, закинутые на плечи партнеров, легкие одежды, завораживающий водоворот толпы, втиснутой в ограду танцплощадки, удары бильярдных шаров и движение игроков возле врезанных в темноту столов, дурманящая голову световая смесь — вся эта вечерняя праздничная жизнь окружала подростков как враждебная среда. Они сидели плечом к плечу, сбитые ее давлением. В их нарочито расслабленных позах, в том, как они сосредоточенно курили, с наглостью глядели в глаза проходившим мимо, было напряжение и сознание своей обособленности здесь.

Две девушки отошли от ограды танцплощадки, высмотрели скамейку, поднырнули под свисавшие ветви. Первая, грудастая, тяжелая, затянутая в черный сарафан из гладкой искусственной кожи, толкнула сидевшего с краю:

— Подвинься!



На скамейке произошло движение, в результате которого девушки сели и скамейка была занята полностью. Оставшийся без места потоптался и встал к дереву. Лицо у него горело, губы тряслись, он переживал грубость девушки, свое положение как бы чужого здесь, безразличие товарищей. Между тем он понимал их — кого винить, если он не мог заступиться за себя?.. Эта скамейка и место вокруг нее были чем-то вроде клуба городских голубятников, сюда приходили старики из павильона «Шахматы» и парни с танцплощадки просто побывать, послушать новости, сговориться о покупке голубки или мешка просянки.

Подростка звали Иван Найденов, однако в школе, на улице и среди голубятников звали его Седой за белые, с алюминиевым отливом волосы.

Седой видел себя глазами проходивших по дорожке: жалок, жалок он был, корчился за стволом карагача, подносил ко рту папиросу и пускал дым. От табака его тошнило, слюна переполняла рот.

Он выпрямился и пошел, не видя, куда ступает, в темень, от гула танцплощадки. Очнулся возле ящика с метлами и побрел вдоль ограды в поисках дыры. Сад лежал между центром и Татарской слободкой. Слободчане с помощью жителей других районов, также не склонных платить за вход в сад, неустанно разводили железные прутья ограды, так что в ней образовывались «нули». Работники горсада затягивали «нули» колючей проволокой, мазали гнутые прутья вонючей дрянью.

На своем пути вдоль ограды Седой наткнулся на человека, зажатого прутьями: его голова и половина туловища находились в саду.

Человек услышал треск веток, заворочался, вывернул голову. Белели железные зубы. кепка сползла на один глаз, второй, круглый как у лошади, глядел дико.

Седой узнал голубятника Колю Цыгана, известного тем, что ворованных птиц часто находили у него во дворе. Его боялись, он был силен, развращен безнаказанностью, сразу бил в лицо.

— Иди, рубль дам, — прохрипел Цыган.

Седой попятился, Цыган, изогнувшись, попытался схватить его за ногу. Седой понял, что представляется случай выделиться из толпы секретарей<sup>1</sup> и владельцев ничтожных беспородных шалманов. Они подружатся, Седой станет бывать во дворе у Цыгана, тот однажды подарит ему пару породистых ташкентских, скажет: «Оборви<sup>2</sup>, не показывай. Увидят — кричи: «Купил на базаре!»...» Та пара даст таких выводных, что не уступят они выводным из-под жусовского дымяка. Седой продаст своих безродных голоногих куликов, и пойдет у него новая жизнь.

— Я тебя знаю, ты Коля Цыган, — сказал Седой.

— Ты чей секретарь?

— Сам держу, на Огородной.

— На Курмыше?.. Выгаскивай меня, земляк... — Цыган выругался.

Седой ощупал ловушку: Цыгана схватила петля восьмимиллиметровой проволоки, в которую он протиснул половину туловища; куртка из искусственной кожи собралась у него под мышками, топорщилась крыльями так, что он напоминал летучую мышь; в голую поясницу вдавился проволочный крюк.

<sup>1</sup> Секретарь — парнишка, который метет у голубятника во дворе, бегаёт за кормом на базар, кормит и гоняет птицу во время отлучек хозяина.

<sup>2</sup> Оборвать — вырвать маховые перья, с тем чтобы голубь ко времени, когда перья отрастут, прижился на новом месте.

Седой достал у Цыгана из кармана нож с деревянной ручкой, разогнул крюк, ободрав казанки. Расстегнул Цыгану брючный ремень, тот хрипел, хвалил:

— Молоток, пацан, молоток...

Уперся ногой в ограду, потянул, обхватив Цыгана поперек оголенного туловища.

— Пошло, пошло!..— хрипел Цыган в лицо Седому, тот в отвращении задерживал дыхание.

При рывках из глотки Цыгана вырывалась вонюче-теплая струя, в которой смешались дух больного желудка, запахи перегара, табака и остатков еды, гниющих в плохо пригнанных протезах.

В саду Цыган очутился без трусов и брюк — эти предметы остались на проволоке, — с кровавыми царапинами на пояснице и ягодицах. Одеваясь и вытирая кровь, он ругался в бога, в богородицу и в боженят.

Они полезли сквозь кусты на свет, на музыку танцплощадки. Цыган опирался на плечо Седого, в чем тот увидел несомненный залог их сближения.

Они выбрались к скамейке за танцплощадкой, здесь Цыган прохрипел: «Меня поджидаете, красавицы?» — размахнулся, его кожаный рукав-пузырь оглушающе хлопнул по спине, обтянутой искусственной кожей сарафана. Мстительно отметил Седой, что девушки, убегая, не заботились о грации.

Сидевший с краю пацан вскочил, уступая место Цыгану, но тот с криком «э-эх!» поддел плечом его соседа с такой силой, что пацаны были сметены.

— Садись, кореш,— скомандовал Цыган Седому и пристроился на пустую скамейку.

Седой повиновался.

Подростки, отряхиваясь, сбились под ближним деревом. Тушканов, пацан с Оторвановки, глядел с ненавистью. Такое обращение Тушканов не сносил — он был закоперщиком среди своих, оторвановских, в школе слыл отчаянным, учился в той же сорок второй железнодорожной, что и Седой, а главное, его старшие братья верховодили среди оторвановских кавалеров на танцплощадке. Рядом с Тушкановым, нахально подбоченясь и постукивая ногой, стоял его дружок Шутя. Союз с сильным и властным Тушканом делал Шутю вторым там, где Тушкан был первым. Шутя платил ему преданностью в самых иступленных формах.

Когда оторвановские проходили мимо скамейки, Тушканов бросил окурок, затоптал его, качнув чудовищно расклешенной штаниной, и сплюнул так, что его тягучая слюна вожжой хлестнула Седого по колену.

Между тем оркестр смолк, музыканты ушли передохнуть, оставив инструменты на стульях. Из ворот танцплощадки повалила толпа, хватала контрамарки из рук билетерши. Парни-голубятники подныривали под ветки, прыгали через арык. Пацаны вернулись с ними — все, кроме Тушканова с Шутей, — доставали папиросы, встряхивались, выпрямлялись, с вызовом глядели по сторонам. Проходившие по аллее посматривали на группу возле скамейки с опасением, заискивающе спешили кивнуть знакомому — знали: если попадешь в историю, можно звать этого знакомого на помощь — и вся орава прибежит с ним.

Тушканова с братьями не было видно, Седой мало-помалу успокоился. Появился Вениамин Жус, владелец лучших в городе голубей, и пригласил своего спутника — он обращался к нему «полковник» — уважить ребят, посидеть с ними. Полковник вежливо-ласковой

улыбкой поблагодарил, достал коробку «герцеговины флор» и закурил, притом он, однако, не угостил компанию, как здесь было принято. Седой, когда полковник достал коробку «герцеговины флор» и открывал ее, собирался с духом, чтобы протянуть руку и взять дорогую папиросу и тем самым как-то приобщиться, быть замеченным, теперь не то что осуждал полковника — он еще более восхищался им: тот добродушно пренебрегал голубятниками.

Подошли два дежурных милиционера, встали, с преданностью глядели в спины Жусу и его спутнику. Жус был, как говорили, начальником группы захвата городского угрозыска. Жус кивнул полковнику на подростков:

— Смена тянется... Я тоже сюда бегал в их годы.

Седой встретился глазами с одним из милиционеров и понял, что тот его запомнит и, отпихни Седого бидетерша у входа в сад — дескать, молод еще сюда таскаться, — скажет что-нибудь такое: «Да пусти ты его, свой хлопец»...

Все стояли — так действовало присутствие полковника. Он вышался, широкоплечий, тучный, с двойным подбородком и барски оттопыренной губой. Цыган поднялся со скамейки и топтался, косолапо переступая; он, как и все здесь, поддавался магнетизму, излучаемому полковником, но чувство обособленности от этих молодых нарядных людей мешало ему. Он стал так, чтобы оказаться перед глазами полковника. Здесь подмигнул ему, сморщась всем своим мятым лицом, щелкнул пальцем по горлу, а затем повел головой в сторону ближнего киоска. Общество рассмеялось. Жус махнул на Цыгана — что, мол, взять с него? Полковник улыбнулся:

— Голубятник без бутылки что гусар без шпор.

— Товарищ полковник с непривычки отравится нашей краснухой, — заискивающе сказал Миша Нелюб, товаровед, — в своих белых парусиновых туфлях, намазанных зубным порошком, белых брюках и синем пиджаке он походил на судью республиканской категории.

— Был полковник, да сплыл... А вашей краснухой меня не испугаешь. — Полковник положил руку на плечо Нелюбу. — Конскую мочу пили, бывало, когда гонялись за басмачами...

Полковник кивнул всем и перепрыгнул арык так лихо, что распахнулись полы пиджака и выступил выпирающий над ремнем живот. Жус сделал «общий привет» и последовал за ним.

— Сколько полковник получает? — сказал задумчиво парень с голубятничим прозвищем Балда.

Миша Нелюб ответил, что у полковника наружность человека с окладом в три тысячи, что он в отставке и работает в редакции. Тут же высказались предположения о секретной миссии полковника в городе, было несколько реплик о превратном счастье высших офицерских чинов.

— Не нашего ума это дело. — Нелюб спохватился, осудив себя за неосторожный разговор. — Наш интерес — хвост селедки да стакан водки. Верно, Коля? — Он обнял Цыгана и похлопал его по рукавам.

Седой разгадал эту уловку: Цыган прятал ворованных голубей в свои рукава-пузыри.

Парни окружили Цыгана, захопали по кожаному пузырю на его животе, по рукавам — не одному Нелюбу пришлось в голову, что, куда они здесь плясали, Цыган шарил в голубятнях.

Цыган безразлично принял эти подозрения; голубятники успокоились, стояли, покуривали, поглядывали сквозь листву на пробегающих парочками девушек: ближняя аллея упиралась в дощатое беленое строение с буквами «М» и «Ж».

Нелюб спросил о белой — поймал ли кто? — все поняли, о какой белой он заговорил, оживились.

Две недели белая птица носилась над городом. Завезли ее изда-лека, видать, поспорили: прилетит — не прилетит. Говорили, привез и выпустил проводник поезда. Птица исчезала на два-три дня, пыталась пробить степные пространства. Ночевала на элеваторе, там и кормилась с дикими голубями. Ее яростное упорство восхищало, злило; дразнила она голубятников, изредка прибываясь к шалманам на один круг или камнем прошибая их. Видели: била<sup>3</sup> эта белая, породистая была, тошкарка. Это поражало: кто же завозит тошкарей, декоративную птицу? Поражала ее неслыханная выносливость, ее верность далекому дому.

— Слышал, Жус на элеваторе хотел ее схватить сачком, промахнулся...

— Злая...

— А теперь, как сачок узнала, еще и пуганая.

Вернулся оркестр, вновь забурлил водоворот в решетчатой ограде, всасывая в себя людские ручьи. В аллеях опустело.

Седой ощущал, как мрачнеет Цыган — оттого ли, что парни ушли и оставили его с секретарями, или выходил из него хмель — и как с этой переменной он отстраняется от Седого.

Цыган поднялся, двинулся в раскорячку — подсыхали царапины на поясище и ягодицах. Седой шел рядом, подставлял плечо. Кончилось время, когда он пробирался к скамейке у танцплощадки с суетливостью безбидетника. Теперь он со своим другом Цыганом станет по-хозяйски проходить центральный цветник с фонтаном посредине, бывать в кафе, бильярдной.

В бильярдном зале Цыган отнял кий у какого-то типа в безрукавке. Тип что-то заблеял, подошли делегаты от очереди, начали угрожать. Седой уже стал рядом с другом, чтобы перехватить первый направленный на него удар, и вызывающе неверным голосом спросил Цыгана, не сбегать ли к скамейке «за нашими». Сонный маркер охладил делегатов: он, который со всеми другими здоровался кивком головы и не вынимал рук из карманов, подошел к Цыгану и подал ему руку.

Цыган бил, держа кий одной рукой, как копье, очередь любовалась его игрой и простила ему наглость. Так казалось Седому, который стоял у луз, подхватывал шары, не давая им провалиться в сетку.

С выигрышем Цыган покинул бильярдную.

Потолкались в ограде ларька; Цыган выпил стакан портвейна, краснухи, жуткой смеси местного разлива, которой можно было красить заборы, и задремал. Подошел мужичок, очевидно муж буфетчицы, стал их гнать. Цыган поднялся. Он был тяжело пьян и как-то быстро, по-птичьему мигал.

Они шли вдоль ограды пионерского сада, когда догнал их небольшой автобус из тех, что бегают по городу с табличкой «Заказной», распахнулась дверь, шофер сказал баском:

— Гульнул, Коля?

Лица его было не разглядеть, белели лишь рука и никелированный рычаг, которым он открывал дверь.

— А-а, Сузым,— сказал Цыган.— Давай в аэропорт, еще по стакану!..

— Там до одиннадцати,— поспешно, стараясь голосом улестить

<sup>3</sup> Бить — умение тошкарей, то есть ташкентских, мгновенно переворачиваться через хвост и одновременно сильно и сочно ударять крыльями.

Цыгана, заговорил шофер.— Та шо тебе тот ресторан, давай к жинке отвезу.

Со словами «кончай базарить» Цыган втиснулся в автобус, заворочался там. Седой считал, что друга следовало сопровождать до дому, и полез было за Цыганом, как тот развернулся и толкнул его в грудь. Седой спиной грохнулся о дорогу.

Внезапность удара и падение произвели на Седого оглушающее действие. Сквозь шум в голове он расслышал угодливый вопрос шофера: «Чего шумишь на пацана, Коля?» — и ответ Цыгана: «Пусть пешком идет... Кончай базарить».

Седой отбежал в темноту, спрятался в пыльных зарослях акации. Его ослепило — автобус, разворачиваясь, ударил лучом по зарослям.

Он возвращался к центру города. Переживал встречных под навесом карагачей, и вновь его одинокая тень скользила по голубым от луны стенам мазанок. Ныл ушибленный крестец; как сосиска, распух, стал горячим большой палец на руке. Что крестец, что палец... Страх, пережитый в момент падения, опустошил Седого, он был раздавлен. Шел медленно, задерживался у колонок, пил. Медля, покидал мрак аллей — копил силы; слышен был оркестр горсада; скоро он выйдет на свет, на шум, к людям.

Вновь он убедился, что люди живут по законам, выгодным и удобным им, часто непонятным для него, Седого, и потому страшным: внезапный удар Цыгана — новое свидетельство того, что состояние настороженного отношения к миру есть нормальное состояние. Нормальное состояние для него, слабого. Седой пасовал — перед Цыганом, перед девушкой в сарафане из искусственной кожи, перед теми, кого он встречал на речке, на улице, в школе. Они могли на речке связать узлом его рубашку так туго, что только зубами развяжешь, и помочиться на узел, могли взломать дверь его голубятни, унести голубей или оторвать им головы, могли даже не выглянуть из автобуса: расшибся он там насмерть или жив?

Эту породу в памяти Седого начинал безымянный пацан с Оторвановки, куда Седой первоклассником ходил в гости к тетке. Мать с теткой чаевничали, он вышел на улицу, здесь примкнул к одной из воюющих сторон: хлестались помидорными плетями. Один из противников убежал за угол и вернулся с доской. Доска была долга, он нес ее вертикально, с трудом удерживая. Соратники Седого отбежали, он остался: пацан лишь стращал, он не мог пустить доску в ход, это было невысказано, потому что сам Седой никогда бы не сделал такого. Пацан приблизился, закусил губу, толкнул доску от себя — его лицо выражало лишь напряжение — и обрушил ее на голову Седого. Удар, страшный сам по себе, — Седой потерял сознание — был еще более страшен своей жестокостью. С тех пор страх жил в его душе как холод.

Седой прошел мимо базара — скопище ларьков мусором пестрело в железной сети ограды, — свернул во двор, голый, утоптаный до каменной твердости. Облик двора усложняли огромный, как вагон, помойный ящик и уборная. Седому всякий раз приходило на ум, что эти строения и жилой дом — двухэтажный, обшитый досками, старый — находились в прямом родстве: дом как бы породил уборную, а та помойный ящик. Но если вторая генерация сохранила все родовые черты — пропорции, количество дверей и даже их положение: одни из них косо повисли, другие были распахнуты, — то третья, то есть помойный ящик, несла в себе черты вырождения: четыре двери превратились в одну крышку. Однако вырожденец не горевал: свисавшие из пасти лохмотья, их тени на стенке, вылупленный стек-

аянный глаз под козырьком крыши — все соединялось в дурацкую веселую физиономию.

Седой взглянул, горит ли свет в крайних окнах второго этажа, вошел в темный подъезд и поднялся по лестнице. Нашарил скобу в лохмотьях обивки, тяжелая дверь подалась и впустила его в хаос развешенного белья. Он миновал кухню, сгибаясь, прошел по коридору и постучал в третью от кухни дверь.

Ему ответили, он вошел в тесную комнату, где за столом под абажуром с кистями сидели пожилая дама с челкой, накрашенная, в темном шерстяном платье, складками окутывающем ее тяжелое тело, и старичок, крупноголовый, с серебристой кисточкой усов, — хозяин. Он поднялся, ответил легким поклоном на «здравствуйте» Седого и с удовольствием, свойственным жизнелюбивым людям, для которых всякое новое лицо празднично, произнес:

— Ваня Найденов, юный художник. Ксения Николаевна Рождественская, актриса.

— Ах, давно уж учительница музыки, — сказала дама, улыбнулась рассеянно Седому (она едва ли осознала его появление) и досказала: — Тогда Танечку измучила пневмония, я боялась ее потерять...

Хозяин налил Седому чаю. Седой расслабился, успокоенный сумраком комнаты, речью Ксении Николаевны — ее поставленное контральто он слушал как музыку, не вникая в смысл слов. Предмет рассказа — болезнь дочери Ксении Николаевны, о чем давно забыла наверняка и сама дочь, был ему безразличен. К тому же Седой знал о Ксении Николаевне больше, чем она могла бы предположить. Например, то, что дочь, о которой рассказывала Ксения Николаевна, замужем и живет в Ленинграде, что рождена она от первого брака. Сережа, дружок Седого и внук хозяина, ходил учиться музыке к ее мужу Петру Петровичу, которого в городе звали Пепе и загадывали про него загадку «зимой и летом одним цветом». Бывало, в метель, когда школьников догоняла машина, в лучах фар как в снежной трубе возникал велосипедист в шапке-гоголе, с портфелем на руле: Пепе ехал на край города давать урок музыки. Прежде он работал в музыкальной школе, но ушел оттуда — стали куда-то писать: там же в музыкальной школе по классу фортепиано преподавала Ксения Николаевна. Однажды Седой побывал у них дома вместе с Сережей — мать послала того отнести мед для больной Ксении Николаевны. Седой помнил заставленную до потолка комнату — круглые картонки для шляп, ящики из-под папирос, коробки из-под печени; где-то в недрах коробочного скопища лежала больная Ксения Николаевна. В дневном свете, подсиненном ледяными наплывами на окнах, ребята увидели Пепе — в куртке из шинельного сукна, рукавицах из того же материала и столь же грубо сшитых, в шапке-гоголе. Он портновскими ножницами стриг над сковородкой пирожок с ливером. Возле керосинки топталась кошка, конец ее тощего, как веревка, загнутого хвоста был в сковородке. Еще две кошки с мяуканьем кружили по столу, парок их дыханья вился шнурочками. Уходя, ребята с порога увидели, как Пепе поддел вилкой кусок пирожка и разинул рот — зев его был мощен, как разруб геликона.

Хозяин вставил в паузу: «А теперь я покажу вам, Ксения Николаевна, Ванины работы», поднялся, включил свет в углу, где опрятно были сложены палки, а на голом рабочем столе стояли глиняная ваза с ирисами и фарфоровый кувшин с кистями. Сноп круглых остроконечных колонковых кистей заграничного производства, рулоны немецкого, ручной выделки ватмана, толстого и зернистого, и круг-

лый год непременно живые цветы — откуда все это бралось в бедном степном городе?..

Хозяин вытянул из-за стола раму, следом за ней папку с этюдами. С лукавой почтительностью сделал поклон в сторону Седого: «Автор работ» — и принялся вставлять в раму акварели одну за другой, и Седой вновь поразился тому, как они выигрывают в раме.

С первого этюда глядел ишак, со второго — дом Найденовых, он был крайним в улице, в степи за ним белела полоса солонца. На следующих этюдах была степь, над ней облака: розовые клубы, ленты, пряди, чернильные, вытянутые как рыбины, и непременно одинокий осокорь то в середине, то в углу — этот кривобокий осокорь был виден со двора Найденовых.

Позже, студентом, в Москве, Седой принесет свои акварели на выставочную комиссию и, глядя, как их швыряют, — а один член комиссии, заговорившись, встал ногами на пейзаж — вспомнит старого художника Евгения Ильича.

Привел его в эту комнату Сережа со своей матерью, они заговорили с Седым на толчке, где тот с дружкой по изокружку в Доме пионеров торговали писанными маслом копиями с немецких трофейных ковриков. Седой в ту зиму завел голубей, мать дала деньги только на завод, половина птиц улетела к старому хозяину, пришлось платить выкуп; просянка была на базаре дорога.

— Небо, небо, — Ксения Николаевна ласково поглядела на Седого. — Небесный период — так напишут искусствоведы в будущем.

— Будут о нем писать, вы правы, Ксения Николаевна. Глядите, как свет этого винно-красного облака лег на степь. У Вани глаз и спонтанность акварелиста — здесь не поправишь, не масло!.. — Старый художник своим восторженным воображением возводил попытки Седого в удачу и не помнил о том, что в свое время, будучи лишь тремя годами старше Седого, он, ученик училища живописи, ваяния и зодчества, участвовал в выставке в Историческом музее, где его пастели выделил Поленов. Этюды и наброски Седого были слабы, не дано ему было стать художником. Его способности рисовальщика в студенческие годы лишь дадут ему заработок в журналах.

Ксения Николаевна поднялась со словами: «Не удерживайте меня, Евгений Ильич». Хозяин вернулся от своего столика, с застенчивой улыбкой подал гостю акварель в деревянной раме.

Седой стоял за спиной Ксении Николаевны. По подрагиванию ее плеч он понял, что она плачет.

Она держала в руках писанный акварелью портрет наездницы в зеленом, с жемчужными переливами платье, с ярким, как вспышка, веером. Левая рука наездницы быстрыми касаниями пальцев пробежала по нитке бус, крупных словно слива ренклод. Она склонила свою пышную, золотистую от солнца голову. Игривость ее была полна нежности. Со своими голыми, в золотом пушке руками, с белой открытой шеей она вся была как пронизанный солнцем плод.

— Это же я... в «Учителе танцев». Зеленое платье из тафты. — Ксения Николаевна, держа портрет обеими руками, потянулась, коснулась губами щеки художника и помедлила так. — Но почему, почему вы посадили меня на лошадь? Не думайте, я не сержусь. Здесь стоит нынешний год?.. Я слепа от слез.

— Портрет написан... недавно.

— Недавно? «Учитель танцев»!.. Это же двадцать шестой год, а нынче пятьдесят четвертый. И как вы смогли по памяти... «Я помню ваш веер». Ах, догадалась, у вас же оставался мой недописанный портрет... Мы тогда затянули сеанс, вошел Таиров и погнал меня на репетицию. Так вы и не закончили... Что же мы с вами затянули

сеанс?..— Она рассмеялась, ее глубокое контральто волновало, склонила голову, как та, на портрете, и пальцами задумчиво провела по груди.— Помните? На второй сеанс я явилась в другом платье, лазуритовом. Спихватилась, собралась переодеваться, а вы удержали меня, вы сказали, что моя гамма голубовато-жемчужная. И стали писать новый портрет... Ах, Евгений Ильич, вы обещаете праздник, вы внушаете желание жить...

Они проводили Ксению Николаевну до особнячка, неогороженного, с темными окнами,—здесь помещалась городская музыкальная школа, а сейчас шел ремонт. Постучали, сторожика зажгла свет в прихожей и впустила Ксению Николаевну.

— Я написал цирковую наездницу, фантазию,—сказал Евгений Ильич на обратном пути.—Ксения Николаевна узнала в красавице себя двадцатилетнюю. Каждый день дивлюсь своему искусству. Такими средствами, как растертая глина и пучок обезжиренного волоса, я соединил части ее жизни. Какой-то халиф, изгнанник, под старость написал стихи: «О, всадник, спешащий на родину, мне дорогу!.. Приветствуй часть жизни моей там от части другой»...

Вернулись Сережа и его мать, они ходили в депе мыться, там их по знакомству пустили в ванную.

Сережа — он был двумя годами старше Седого — нерешал в девятый, был на диво силен, Седого он борол одной рукой. Его сила была тем более удивительна, что Сережа не умел плавать, не ходил на речку, не гонял футбольный мяч в затопленных песком переулках, ему не приходилось, как Седому, работать на огороде, делать кизяки и саман. Днем Сережа обычно лежал с книгой на своем диване, который вечером застилался, и, таким образом, вся жизнь его проходила на этом плюшевом, с ямами и буграми лежбище.

Очевидно, телосложением Сережа удался в отца (в семье о нем молчали, Седой знал только, что отец Сережи осужден и сидит в лагере), иначе, удайся Сережа в свою мать Марию Евгеньевну, он был бы так же болезнен и состоял бы, как она, из углов и уступов.

Мария Евгеньевна, посверкивая камешками в серьгах, разливала чай. Сережа ел курицу. Жевал он как будто рассеянно, куриную ногу держал небрежно, на отлете, а между тем едва Седой успел размешать сахар и отхлебнуть раз-другой, как Сережа уже ел пласт белого куриного мяса. Ел он не жадно, но быстро и много.

Седой рассказал о белой, которая, покружив с утра над городом, «падает» затем с такой быстротой, что не удается ее засечь. Рассказывал он, обращаясь к Марии Евгеньевне. Дослушав, она поднялась и подала Седому театральный бинокль, инкрустированный перламутром.

— Нам нужен полевой, что в этот увидишь,—сказал Сережа.

— Тот нельзя.

Мария Евгеньевна не была жадной, она была деспот. Ее деспотизм развился из любви к сыну; она мученически отсиживала свои часы в горкомхозе, была одинока, жила без интересов и, следовательно, без друзей; единственно в чем она была вдохновенна и велика, это в любви к сыну. Она угнетала его — именем своей любви она требовала его всего, старалась не отпускать от себя, ревновала к деду, к друзьям, а всего пуще к мужу, который в своей безответственности перед семьей был всеяден в друзьях, теперь где-то под Воркутой сидит, а она по его милости оказалась в этом диком городе, в голоде, нужде, с малым ребенком.

Седой простился и ушел. За углом дома его догнал Сережа, сказал:

— Ништяк, я притащу бинокль утром.



— Неси сейчас... Проспишь ведь.

— Вот еще, почему я просплю?

Седой молчал. Третий год они вместе держали голубей, и Сережа неизменно просыпал утренний шухер, являлся, когда небо было пусто, и с досадой выслушивал рассказы Седого о заварухе в небе и с той же досадой косился на пойманного без него чужака...

Сережа вернулся с тяжелой кожаной коробкой.

— А хватится? — лицемерно посочувствовал Седой.

— Что там, — безрадостно сказал Сережа, — знаешь, как она меня любит. — Подал руку и добавил: — Пепе бросил Ксению Николаевну. Во дает, а? На ихней домработнице женится. А та из тюрьги недавно...

С биноклем в руках Седой выскочил к ограде горсада, побежал. Мелькнуло черно-белое серебро труб и головы оркестрантов — щеки мячами, черные налипшие челки, хлюпала слюна в горячих мундштуках, раковина эстрады направляла звуковой поток в яму танцплощадки. Пульсировала в фокстроте толпа, круглая как медуза. Из черной глубины улицы выносились машины, улица наполнялась светом, стены саманок отбрасывали синий свет, он обжигал глаза, угольные тени разрезали кварцево-белый асфальт. Девушка и парень под стеной палатки вскидывали головы, то есть еще не успевали вскинуть, еще губы их были слиты, лишь угадывалось движение, и в белом свете пронеслось что-то быстрое, вспыхивало — летучая мышь, провод ли над улицей!..

## II

Отроги остывали. Из рощицы степной вишни вытек воздушный ручей, смешался в низине горьковатый дух вишневой коры с запахами влажной полыни.

Под утро воздушные потоки, вобрав в себя накопленную травмами прохладу и чистоту холодных камней, на подступах к городу наполнили ямы и овраги, омыли валы строительного мусора, кучи золы и каких-то клеенчатых обрезков, поглотили смрад от остатков кошек и собак, белевших костью челюстей в кучах всякой дряни, и втекли в город, наполняя улицы как русла.

Влажно-холодный воздух затопил площадку, выбитую перед голубятней в зарослях ветвистого кустарника кошхи, называемого местными жителями «вениками», сквозь щели протек внутрь сарайчика. В темени угла светился бок эмалированной кастрюли, что была гнездом рябому одинокому старику.

Рябой завозился, забубнил, надувая зоб и переступая лапками. Призывные стоны рябого, стук его коготков о край кастрюли раздражали соседей: птенцы подрастали, голуби успокоились.

Взошло солнце, сарайчик как бы поплыл в потоках легкого утреннего света. Началась возня, воркотня, гуканье. Птицы слетели с гнезд, расхаживали по полу, склевывали зернышки и камешки, задирались, таскали друг друга за чубы, хлестали крыльями. Самые прожорливые толпились у двери, в щелях зеркально посверкивали их глаза.

Раиса Федоровна, мать Седого, вернулась из больницы с ночного дежурства, выпустила кур и взялась толочь картошку для поросенка.

Петух, что повел кур на промысел и уж было миновал заросли веников, вскрикнул, нацелился глазом в небо. Раиса Федоровна подняла голову: в холодной сини чешуйкой блеснула птица. Крикнула в раскрытое окно:

— Ваня!.. Чужак!..

— Хмм...— отвечал Седой из недр стеганого, собранного комом одеяла. Он было завозился, сился растрясти себя, но вновь сложился под одеялом, подтянув колени к носу, и оттуда бормотал: — Дуйте...

— Чужак!.. Белый!..

Седой распрямился, одеяло отвалилось к стене. В сенцах сорвал с гвоздя ключ. Под смех матери выскочил из дому.

На ходу выброшенной пластиной ключа поймал трубку винтового замка. Завертел ключом, отскочил, отвалилась кованая полоса накладки, сверкнула стертým винтом, с грохотом прочертила дугу по двери.

Двери распахнулись, голуби шарахнулись, замерли в углах, тянули головки. Лишь рябой был занят собой, его утробные зовы усиливала полупустая кастрюля: смесь из сенной трухи, перьев, соломы осела, была сплавлена пометом.

Седой зачерпнул из мешка пригоршню. Струя красного проса потекла между пальцами, заскакали просяные дробинки по сухой глине.

Из дверей сарайчика вывалился шумный голубиный ком, рассыпался у ног Седого. Хрипела, стучала клювами, шуршала, скрипела пером птичья орда.

Седой высмотрел в небе белого: вот он, кружит!.. Легонько топнул, взмахнул рукой. В шуме, в свисте, в дроби крыльев рванулась стая, ослепила изнанкой крыльев, оглушила, разрослась над крышей живой кроной. Тянулась вверх сколько хватило сил, опрокинулась — рухнула, как дерево, и распласталась над степью.

Белый исчез. Седой напрягал глаза: не вспыхнет ли под солнцем изнанка его крыльев?..

Лишь птица редкой выносливости могла забраться в этакую высоту и носиться в одиночестве, пробивая тугие ветровые потоки.

В городе увидели птицу: над центром поднялась стая, сразу три взвились над далекой Оторвановкой, пестрыми клубочками затанцевали в небе. Заплескались стаи над ближними, над дальними курмышскими улицами, вдруг качнувшись, взмывали — лихо свистели на Курмыше, — винтом уходили ввысь, там расслаблялись и плавно ходили крутами.

По белой будто били зенитки разрывными снарядами. Слабы были орудия: кружила она над стаями, ни одна не поднялась до нее, не поглотила, не повела вниз.

Седой вернулся из дому с громадным, обтянутым черной кожей биноклем, полученным вчера от Сережи, и куском хлеба. Хлеб он, оттянув на груди майку, спустил за пазуху. Следом бросил поданные матерью огурцы и легонько ахнул при этом: глянцевито-холодные плоды скользнули по животу, поясницу стянуло обручем.

В сарайчике загудел рябой, Седой удивился: «Ты здесь, лентяйце!» — и с порога запустил руку в кастрюлю. Рябой ухватил клювом кожу на тыльной части руки и злобно закрутил головой. Когда же хозяин просунул его лапки между указательным и большим пальцами, рябой перестал вырываться.

Седой пересек границу двора и степи, миновал заваленный мусором лог. Поднялся на холм и здесь швырнул рябого в небо. Вначале рябой летел, прижав крылья, будто камень из пращи, затем, теряя скорость и проваливаясь, выбросил крылья, развернулся и помчал было к дому по прямой так низко, что был виден мысок черных перьев на груди. Стая сложила крылья лодочками и стала парить,

снижаться, решив, что хозяин дает посадку. Видно было, как птицы изгибали плоскости хвостов, правя на ветер. Седой заложил пальцы в рот — свист дробью ударил рябого снизу, он шарахнулся, круто развернул против ветра. Ветер опрокидывал его, но рябой пробил плотное течение воздуха и скоро оказался над стаей.

Седой приставил бинокль к глазам. Отсюда, с холма, ничто не заслоняло ему картину города.

Начался шухер — так на языке голубятников называется суматоха, что происходит в небе при смешении стай. В стаи врезались чужаки, пробивали навывлет, за ними увязывались молодые, отставали, бестолково метались. Тотчас голубятники бросались в сараи, хватили с гнезд последних птиц, швыряли в небо.

Рассыпанные стаи ветер утащил на край города, сбил здесь, смешал — гигантское, вспыхивающее спицами колесо вращалось в небе.

Отсюда, из открытой степи, Седой в бинокль высмотрел то, чего за суматохой в небе не увидели другие: белая снизилась по крутой спирали, исчезла в том месте, где от магистрали отходила ветка к элеватору.

Он взял сачок, выкатил велосипед. Легок был сачок: ручка из алюминиевой трубки, обод с велосипедное колесо величиной из стальной тонкой проволоки.

Сережа сидел перед компотницей кузнецовского фарфора, вытянутой, как ладя, и украшенной женской головкой, масляными пальцами рвал белаяш и бросал куски на дно компотницы, в золотисто-алую смесь подсолнечного масла и помидорного сока. Тут же за столом Евгений Ильич скреб ножом кухонную доску.

Мария Евгеньевна, вернувшись из кухни с тазом белаяшей, улыбнулась Седому и ни слова не сказала, когда сын вскочил из-за стола. Она напевала про себя; полный таз сочных изделий из мяса и теста был для нее залогом, пусть кратковременным, благополучия и уверенности в будущем...

На велосипеде они мигом были в районе, зажатом между откосом железнодорожной ветки и пустырем. Здесь над улочками выступало трехэтажное здание школы. Седой и Сережа вошли в школу, поднялись по лестницам, залитым известью, где визжало под подошвой битое стекло и хрустела штукатурка, и выбрались на крышу.

Ход их рассуждений был таков: белая нашла сходство одного из здешних домов — или дворов — с родным домом, двором ли. Если вблизи сходство разрушилось, птица сидит где-нибудь на крыше, набирается сил, чтобы вновь пуститься в поиск.

Седой, нечаянно скользнув взглядом по плоскости крыши, увидел белую и помаячил Сереже. Тот знаком велел передать ему сачок. Седой подчинился: Сережа при своей тучности обладал поразительной резвостью.

Спустившись настолько, что белая — она сидела шагах в пятнадцати — оказалась выше его, Сережа стал продвигаться по направлению к ней по горизонтали. Он знал, что птица не взлетит: она измотана кружением над городом, голодна.

Сережа рассчитывал, что белая станет уходить от него, что, преследуя птицу, он выгонит ее на конек крыши, где сможет броситься на нее с сачком.

Его приближение не погнало птицу вверх, как он того добивался. Она напряглась, вытянула шею, когда он приблизился, но оставалась на месте. Сережа сделал еще шаг, птица вспорхнула. В отчаянии Седой уже слышал, видел, как она бросилась в простор воздуха, налитого

в плавню вогнутую чашу города, понеслась, всплескивая острыми крыльями. Он открыл глаза, легонько выдохнул: белая тут.

Сережа плавно, будто в воде, разогнулся, лег на спину, ухватился руками за край шиферных плиток. Расчет его состоял в том, что птица, связанная его близостью, останется сидеть неподвижно на солнцепеке. Когда ее крылья расслабленно обвиснут, она перестанет тянуть головку и подпустит к себе.

Однако времени ему не было отпущено. Проходивший по улице автобус остановился, из него вывалила толпа голубятников, среди них Цыган в куртке нараспашку.

Седой в оцепенении глядел, как толпа пересекает двор. Впереди бежал Чудик, жил такой голубятник на улице Джамбула, размахивал сачком, кричал Сереже:

— Слазь, пацан, слазь! Моя птица!

Сережа в злости закусил губу и пошел. Птица, очнувшись от оцепенения, сделала несколько шажков. Он продолжал продвигаться к ней, согнувшись, одной рукой придерживаясь за края плиток. В другой, заведенной за спину, держал сачок. Мотню сетки он прихватил большим пальцем, сетка лежала натянутая вдоль ручки.

До птицы оставалось метра три, когда всплеснули над крышей крылья. Сережа выпрямился, метнул сачок. Упал на спину, поехал вниз по сухому шиферу крыши. Блеснувшая на солнце плоскость обода срезала птицу на взлете, она кувыркнулась в сетке. Сачок заскользил вниз ручкой вперед, потянул за собой мотню.

Разбросав руки, медленно, необратимо скользил Сережа вниз по плоскости. Седой ждал: сейчас его потряхнет, опрокинет лицом вниз, бросит в провал двора.

Сачок с птицей, опередивший Сережу, ячейкой сетки захлестнула шляпку гвоздя и остановился. Сережа в своем скольжении коснулся рукой мотни сачка — Седой увидел, как сжались его пальцы, напряглись, и скольжение остановилось. Легким движением пальцев другой руки Сережа поймал край плитки и поднял голову.

Он поднялся до конька крыши к Седому. Ребята глядели оттуда на город, успокаиваясь, остывая. Высвободили из сетки птицу, потрянули головами, засмеялись и сбросили глухоту, будто окно открыли на праздничную улицу — шум деревьев, стрекотанье крана, песня из окон домов, крики: «Клёк спать лег!..»

Во дворе их голубятники окружили. Чудик, мужичок с лысиной до затылка и с космами над ушами, попытался взять белую у Седого со словами: «Я тебе уши оборву за нее, чтоб чужого не хватал!» — на что тот грубо закричал:

— Ваша она?

— А чья же? Улетела, дом не признает.

— Даже если б ваша была!.. Мы с вами в загоне! Поймал — так мой!

Цыган отпихнул Чудика, положил руку на плечо Седому. Тот сжался под тяжелой рукой.

— Ну как вчера добрался до хаты? Родители не ругались? — проговорил Цыган с ласковой ворчливостью и взял белую из рук Седого. — Поехали ко мне, побалакаем. — И обвел глазами голубятников.

Седой глядел в землю, не смея белую вырвать из рук Цыгана, казня себя за трусость.

Всей гурьбой они выпли за ворота. Цыган в одной руке нес белую, другой подталкивал Седого к автобусу. Сережа шел позади. С треском, с пальбой налетел мотоцикл, Седой взглянул: Вениамин Жус на своем трофейном без глушителя! Поравнявшись со школой, круто, на скорости Жус развернулся в улице. Страшно было глядеть, как завали-

вадся набок мотоцикл, как вращалось в воздухе колесо коляски, где висел его секретарь Фарид с сачком в руке. Голубятники шарахнулись, мотоцикл выстрелил выхлопной трубой так, что все оглохли, и стал. Жус остался сидеть в седле, спросил:

— Кто поймал белую?

— Мы поймали,— сказал Седой,— не можем решить, голубь это или голубка. Может, вы?

Жус протянул руку ладонью кверху:

— Клади!

Цыган покорился, он был тугодум и повода отказать Жусу придумать не смог, хотя догадался, что Седой своим маневром пытается вернуть белую.

Жус положил птицу в руку спинкой вниз, ладонью левой провел по брюшку, уложив этим скользящим движением ножки вдоль туловища. Птица оставила ножки вытянутыми.

— Голубка,— сказал Жус,— точная примета.

Все придвинулись к нему ближе, любовались круглой, с завитком чуба головкой, маленьким, как пшеничка, клювом, красными ягодинами глаз, заключенными в тугие гуттаперчевые райки, молодым пером ее крыльев. Белой ее можно было считать с натяжкой: у нее были красные крыловые щиты.

Жус вернул голубку Седому, похвалил ее удлиненное туловище и широкую грудь: широкая грудь — легкое дыхание. Чудик затараторил:

— Седой — мой секретарь! Так что говори, Вениамин, со мной.— И мигнул Седому: молчи.

— Какой я вам секретарь, мы сами держим,— возразил Седой сердито.

Жус взглянул на часы, поправил узел галстука, легонько, кончиками пальцев вытянул манжеты из рукавов пиджака, сказал Цыгану:

— Тебе во сколько на линию?.. Подбрось.— И Фариду: — Отгони мотоцикл.— Дружелюбно взглянул на Седого: — Я пацану птицу покажу.

Сели в автобус. Были тут два брата Балды, токари с завода «Большевик», прозванные так за смехотворную в голубятницком деле честность, был Чудик, был Раков, учитель рисования, был Миша Нелюб, товаровед, был Ваня Брех, работник элеватора, хозяин самого крупного шалмана на Курмыше,— все со своими секретарями. Как жираф, тянул свою сухую голову, чуть прикрытую седыми волосиками, Мартын, загадочный человек в железнодорожном кителе.

В автобусе Седой сидел рядом с Жусом (Сережа тихонько уехал на его велосипеде домой — он не был честолюбив). Конец неизвестности! Жус позвал к себе, теперь и к ним пойдут смотреть птицу, теперь не спугают его там, в саду, у скамейки, с секретарями ничтожных голубятников.

Мчал автобус по глинистым полотнищам курмышских улиц, исчерченных ручьями, колесами машин, повозок, людскими ногами, всхлипами, скрежетом, дребезжаньем стекол и корпуса отражая эту закаменевшую по весне абракадабру: так мембрана переводит в звук линии пластинки. Рассыпались курицы из-под колес, убежала девчонка с ведром — высыпала на середине улицы золу или выплеснула помой?.. Мелькнул старец-чечен в папахе, в галифе, заправленных в вязаные носки.

Привет тебе, Курмыш, привет и любовь! Твои дворы просторны, как аэродромы, твой дома как люди на толчке воскресным днем: кто с чем и кто в чем! Опльванная саманка глухой стеной на улицу, а во всю стену полуразмытая потеками надпись: «Здается квартира»; во дворе

возле летней печки казашка в сельде, дым повис над ней как ветка. Дальше опрятная, как молодлица, хатка в мальвах и золотых шарах, к ней приставлены выкрашенные голубой краской ворота, а двор огорожен рядком из будылев подсолнуха. На хату через улицу глядит дом со ставнями и узорными, как кокошники, наличниками, и такие же голубые железные ворота подпирают его. А рядом с ним безглазая, оконцами во двор долгая саманка с вмазанным вместо трубы ведром, а за саманкой дом под шифером и с железными воротами.

Ах эта эра железных ворот! Как всякая эра, ты была отмечена жертвами, ведь не все запасались документами на железное полотнище ворот или на трубы, заменяющие воротные столбы!

Новые жертвы предстояли Курмышу: на смену железным воротам шли декоративные башенки на домах. Вот первый экземпляр: дом на фундаменте из шлакобетона, на углу его башенка, острая, конусом крыша из листового железа, нарядное оконце с крашеным переплетом и занавеской.

Автобус подскочил на переплетении колеи и промоины и стал перед домом с башенкой.

Покойный отец оставил Жусу несколько породистых тошкарей. Голубятницкий фольклор говорил, будто Жус-старший (он летал в Среднюю Азию опылять хлопок) купил пару яиц в Хорезме у старика-узбека, служившего голубятником у последнего хивинского хана. Одно яйцо оказалось гнилым, из второго вылупись полудохлый птенец. Голубка бросила гнездо. Жус-старший сам выкармливал заморыша изо рта. Голубок выправился и стал впоследствии родоначальником жусовских тошкарей.

Секретарь Жуса Фарид, хмурый юноша со сросшимися бровями, вошел в кирпичный сарай под тесовой крышей, откуда слышалось голубиное бормотание, вынес молодого белокрылого красного. Тот спорхнул с руки, сделал круг над двором, с важностью постучал жидкими крыльями, попытался сесть на хвост, провалился чуть не до земли и в растерянности приземлился посреди двора. Крылья у красного были белоснежны — видно, что хозяева здесь берут голубей в руки редко, и берут чистыми руками. Седой со стыдом вспомнил своих захватанных, мятых птиц.

Старик Раков с нежностью в голосе спросил, из-под кого выводной красный. Узнав, что красный выводной из-под красного, а тот выводной из-под легендарного дымяка, Раков поправил очки на носу, пупырчатом как огурец, и с обожанием вновь воззрелся на голубка. Дымчатых у Жуса было много, эта масть у него преобладала, но дымяком звали только родоначальника, остальных по приметам: белобаший, рябенький.

Седой, холодея от собственной отваги, спросил хрипло:

— Фарид, покажи дымяка.

Гости сами хотели бы взглянуть на дымяка и разом повернулись к Жусу: что он? Хозяин ответил, что ему пора в контору.

Жус, прощаясь за воротами с каждым за руку, взглянул в руки Седому, ласково дунул в головку белой, так что у нее легли перышки чуба, сказал:

— Возьми за нее пятьдесят рублей и нашу дружбу.

— Я сам хочу ее спарить,— заговорил поспешно Седой. Слова были заготовлены, он задохнулся и сипло, без воздуха закончил: — С рябым!.. Гад буду, честное слово!

Жус улыбнулся ему снисходительно и ласково. Он был красавец: золотисто-смуглое лицо, алые улыбочатые губы и прямой четкий нос.

Нежные карие глаза глядели из-под смоляной, нависшей до бровей гривы.

— Может, что твоему рябому подберу? — Он пожал локоть Седому. — Заходи вечерком.

Затем он шагнул к стоявшему у ворот серому «Москвичу», нагнул красивую черную голову, влезая в кабину, так что туго обтянул лопатки его легкий кремовый пиджак, сказал что-то сидевшему за рулем человеку. «Москвич» рванул с места.

Они остановились на перекрестке возле автобуса — Коля Цыган, старик Раков, Мартын, Седой, Чудик и Нелюб. Братья Балды отстали: побежали, видать, к станкам. Шел спор, каждый из знавших птиц Жуса высказывал предположение, с кем собирается тот спарить белую. Старик Раков всех перебивал, твердил: соедини линию жусовского дымяка, эту высокую кровь, с линией беспородной белой — и распалась порода, погибла!

Чудик уверял, что он бы с Жуса за белую содрал сотню. Для него, впавшего в пауперизм — кстати, по причине не социального характера, — сто рублей были огромной суммой.

Старик Раков зло пучил на Чудика глаза из-за раковин стекол, говорил, что Жус сроду бы не дал за белую сто рублей, белая даже не бьет, а мотает. Седой резко перебил своего учителя рисования:

— Она бьет!

— Бьет она, — подтвердил Нелюб рассеянно, без перехода продолжил: — Что же я Вениамину не сказал?.. Мы получили дамские боножки. Чехословакия.

Цыган полез в автобус, Чудик прикуривал, Нелюб двинулся было прочь и отошел уже шагов на пять, когда Мартын сказал:

— Я даю за белую триста рублей.

Голубятники, обернувшись и замерев, глядели на Мартына как на самоубийцу: этот жираф собирается перебежать дорогу Жусу? Разве у него прошлым летом не забрали из сарая всю птицу, после чего он свой новый завод прячет в каком-то погребе?.. Если он перехватит эту белую у Жуса, ее и в погребе отыщут и заберут вместе с птицами, купленными за его трудовые, — отыщут и заберут, хоть закажи он в своем депо железную дверь: автогеном дверь разрежут и заберут. И не найдут ни воров, ни птицу.

— Бери сейчас денги, голубку принесешь в отделение дороги в конце дня. Мой кабинет на первом этаже... — Мартын достал рыжий бумажник. На сгибах он потемнел, лопнул и был прошит мелкой стежкой. Пахнул бумажник, как бабушкин молитвенник, — старой опрятной одеждой, лежалой бумагой, чистым телом, этот сложный запах был чуть подкрашен сладковато-медовым ладанковым душком, источала его, поняла Седой, вложенная в бумажник сухая веточка джиды с острыми серебристо-серыми листьями и желтыми, как мотыльки, цветочками. Веточка зацепилась за новую купюру, когда Мартын вытягивал ее, зажав прямыми пальцами. Он осторожно стряхнул веточку обратно в кожаное нутро.

— ...Бери, Седой, я тебе пару бухарских продам за эти деньги! — сыпал словами Чудик. — Еще две сотни добавишь, я уступаю желтого! (Чудиковский желтый был известной птицей.) Отдам желтого за чтыреста пятьдесят! Раз пошла такая пьянка!..

— Спорь с Седым на желтого, — прервал Цыган Чудика. — Всю его птицу против твоего желтого.

Чудик приоткрыл беззубый рот.

— Само собой, белая не в счет, — добавил тут же Седой.

Возбудили ли их утренние события — шухер, белая на крыше школы — или расхотеться не хотелось, был еще восьмой час, — все кину-

лись уговаривать Чудика поспорить. Он отбивался: на что ему были нужны безродные кулики Седого? Дело не состоялось бы, не шепни Цыган Седому:

— Кричи — я тебе продал кучеровского плёкого.

Цыган отвел в сторону Чудика, уверял в благородном происхождении плёкого: Кучеров был на Оторвановке тем же, чем Жус на Курмыше.

Чудик сдался, замахал:

— Идет, Седой!.. Ты ставишь плёкого и полмешка просянки!

Условия спора были также подходящи: три связанных маховых пера — и пускать с носка. Седой помчался домой: желтый был его, выиграет он спор, выиграет! Три связанных пера — и с носка! Да сизачка с пятью связанными перьями уйдет!.. Белую спарить с желтым — какие дети пойдут!..

Позже он горько дивился своему ослеплению: как он мог поверить в глушость Чудика, как мог не видеть, что тот на его глазах согласился подыгрывать Цыгану!

Седой сунул белую под ящик, в каких привозят зелень в овощные палатки, схватил с гнезда рябого и сунул следом. Глядел, как рябой тянет шею, пялится настороженно на белую — ишь, дескать, вырядилась: красные крыловые щиты, слоистые лохмы на ногах, завитки чуба соединяются в корону. Рябой грозно всхрапнул, в глубине его красных глаз вспыхнули гранями хрусталики. Своим длинным и толстым клювом он долбанул франтиху по голове.

Белая бежала, но куда денешься в тесном ящике. Рябой ухватил ее за чуб, давился хрипом, притиснул в углу. Голубка, точно!..

Седой сунул в мешок белобрюхого плёкого и следом сизую. Это была старая рыхлая птица с вечно загаженными крыльями, грешница, ее с легкостью соблазнял какой-нибудь воркотун с радужным зобом. Но, изменяя своему голубю, который вечно дремал на солнце, неподвижный как чучело, сизая была предана своему двору: чужая земля обжигала ей лапы.

Затем Седой закрыл голубятню на винтовой и висячий замки и скоро был во вдоре у Чудика.

Чудик вынес желтого, подбросил, тот повис над двором и пошел лупить, только треск стоял. Опахала у перьев хвоста были обрезаны, лишь на концах стержней оставались кисточки. Гости внизу восхищенно считали удары. Вновь хозяин появился в дверях сарая — он гнал впереди себя вал птицы.

Всякий раз Седой удивлялся всеядности Чудика: птица у него была самая случайная. Седой догадывался, что Чудик был кромешный неудачник из тех, кто однажды скажет: «Опять не вышло» — и умрет. Как всякий голубятник, Чудик был по натуре игроком и тащил во двор бросовую птицу в надежде, что объявится хозяин и даст выкуп — конечно же, крупный — или что вдруг какой-нибудь сухокрылый байбак из школьного живого уголка вдруг начнет так колотить, что перешибет потомков жусовского дымяка.

Чудик принес катушку ниток, Седой стянул сизой три маховых пера, они превратились в палочку. Сизая дергалась в руке, вскрипывала и тянула голову. Нагнувшись, Седой поставил ее на носок кеда. Все присели на корточки, глядели: взлетит сизая с носка или спрыгнет вначале на землю.

Появилась старуха с тазом и выплеснула его содержимое на голубятников. Кто-то из них вскрикнул, качнулся и толкнул Седого — тот как раз отпускал сизую. Седой движением ноги сбросил ее на землю. Сизая тут же взлетела, унося на спине морковное конфетти.



Кособоча, треща связанным крылом, она низко прошла над двором и шмыгнула в распахнутые ворота.

Голубятники с растерянностью понюхали свои одежды, поинтересовались, не слепа ли чудиковская теща,— не слепа, оказалось.

Компания распалась, кто уехал с Цыганом, кто ушел сам по себе.

Чудик и Седой устроились под сарайчиком, толковали уважительно, как равные.

Сегодня там, на крыше школы, он вошел в голубятницкий фольклор. теперь будут говорить: «Який Седой? С Курмыша, шо злую белую поймал сачком?»

Вышла теща, послала Чудика в магазин.

Седой вернулся в свой двор. Вертел ключ, предвкушая, как свяжет белую, выпустит ее во двор и станет любоваться. Было празднично на душе у него, как будто Первомай сегодня и все радуется, шумит вокруг.

Он распахнул дверь и увидел курицу в сарайчике. Седой отлично помнил, что курицу здесь не запирали. Курица не заметалась с кудахтаньем, когда он замахнулся на нее, она спокойно пошла от него и вдруг исчезла. Испуг стянул ему затылок холодом: два саманных кирпича из стены сарайчика были вынуты. Седой упал на колени перед ящиком — почему он здесь, у стены? И, уже зная, что белой под ним нет, поднял ящик.

Однажды в темной улице Седой налетел на встречного велосипедиста — страшный в своей внезапности оглушающий удар, его выбросило из седла, он полетел вверх, в черноту, вскинув руки.

### III

Прежде Седой с робостью проходил мимо городского управления милиции — вечное скопище милицейских мотоциклов и «газиков» у подъезда и решетки на окнах свидетельствовали о секретной жизни в недрах красного кирпичного здания. Сейчас в глазах стояла белая развороченная стена; одна мысль гнала его: успеть перехватить белую прежде, чем Цыган продаст ее или променяет. Он не долго бегал по коридорам, ему указали угловую комнату. Он дернул дверь, радостно вскрикнул: Жус здесь, удача!

Жус улыбнулся Седому, указал глазами на другого сотрудника, казаха в мундире на вате, дескать, при нем нельзя, и вскоре вслед за Седым вышел в коридор. Здесь, вглядываясь в лица проходивших сотрудников — на каждом печать опасной работы,— Седой рассказал, как Цыган втравил его в спор с Чудиком, как исчезла белая.

Жус вернулся в комнату, позвонил в диспетчерскую автобазы (Седой стоял под дверью: слушал), спросил, скоро ли поедет на обед Николай Курлыков. Вышел, проводил Седого до лестницы:

— Будь спок, заберем у него белую. Жду в тринадцать ноль-ноль в горсаду.

Так он это сказал, что у Седого навернулись слезы восторга и благодарности. Прикажи сейчас Жус: пойдём на облаву, на бандитские ножи — Седой кинулся бы! Потребуй: поклянись на крови в вечной дружбе — Седой лезвием полоснул бы по руке.

Теперь-то Сережа не скажет, что он прошляпил белую. Белая вернется, станет павой ходить по двору. Да не хапни Цыган голубку, разве Седой закорешил бы с самим Жусом!

Евгений Ильич в своем углу успокаивал Ксению Николаевну, она плакала, вытирала слезы, пудрилась, говорила, переходя на шепот, что

не знает, как ей вести себя в милиции,— выходит, она по своей воле связалась с жуликами с толчка, так кто ей поверит...

Седой не мог взять в толк, почему Ксения Николаевна боится разговора со следователем. С легкомыслием счастливого человека он предложил — сейчас же! — отвести ее к Жусу. Далее, само собой, следовал титул Жуса.

Евгений Ильич, когда Ксения Николаевна уходила за ширму, где стоял умывальник, шепотом просил Седого отнестись к своему предложению как взрослый человек: Ксении Николаевне худо, вовсе не годится подвергать ее новым испытаниям.

Затем Евгений Ильич и его гостя глухой скороговоркой обсудили ситуацию, с некоторой растерянностью поглядывая на подростка, будто готовясь признаться в том, в чем признаваться не очень-то хочется.

Седой и Ксения Николаевна миновали восанные песком киоски, афишные щиты, вошли в железные ворота горсада. Днем вход был бесплатный; эта доступность сада, возникающая на асфальте радостная легкость в ногах, пустота наивно реденьких аллей, тем более умирительная, что вечером сгустившиеся в темноте кроны делают их руслами, по которым пульсирует толпа,— все сейчас, при солнце, создавало очарование праздности. В коробке летнего кинотеатра строчил пулемет, с грохотом конной лавы налетало: «Мы красные кавалеристы!..» Двери кинотеатра были открыты, билетерша сидела в теньке с вязаньем. Седой деловито сказал ей, что ищет Жусова, шагнул в прохладный мрак кинотеатра, нашарил вытянутой рукой скамью. Блеск зрочка сидевшего рядом человека, холод земляного политого пола, стрекотанье проектора в тишине (на экране бойцы стояли над убитым товарищем) — вот что вынес он из зала, мгновенно вернувшись на солнце. Нечего было Жусу делать в кинотеатре, к тому же разве найдешь человека в темноте, но такой случай воспользоваться всемогущим именем!

Они заглянули в кафе-закусочную, где вчера Седой был с Цыганом, оттуда прошли в шахматный павильон, где им с готовностью сообщили, что Жус и полковник пьют пиво, однако ни того, ни другого не оказалось в очереди у пивного ларька. В аллее их догнал продавец из пивного ларька, известный на Курмыше дядя Фылып, могучий, коротконогий, красный как паленый кабан, с бритой головой и складчатый загривком. Как говорили, он мог выпить полтора ведра пива. В руках у дяди Фылыппа был поднос с наполненными пивными кружками.

— Жусу,— шепнул Седой Ксении Николаевне.

Следом за дядей Фылыппом они вышли к кафе-мороженому, где под матерчатым зонтом сидели Жус и полковник.

Ксения Николаевна представилась друзьям, извинилась. Будто не видя их заставленный кружками стол, с улыбкой обвела глазами огороженное голубеньким штакетником кафе.

Седой поглядел на Ксению Николаевну, приглашая разделить свое восхищение Жусом: его черная лакированная грива, белые зубы, большие глаза с голубыми фарфоровыми белками, отглаженная сорочка и гладко кремовый пиджак складывались в цветное единство, выражавшее успех и молодость.

Жус взглянул на окно, закрытое спинами сбившейся в тени очереди, взглянул как бы рассеянно, скорее повел глазами. Тотчас появилась буфетчица, поставила перед Ксенией Николаевной и Седым граненые стаканы с мороженым, подолом фартука протерла ложки и воткнула их в туго заглаженные шапочки.

Жус, известный всему городу красавец, холостяк, держался с той провинциальной фамильярностью, когда человек всюду свой: в часовой мастерской, парикмахерской, обувном магазине. Сам курмышанец, Седой с возрастом, когда его поколение начнет проникать мало-помалу на все городские уровни, поймет: то была у Жуса не снисходительная фамильярность офицера милиции — то проявлялась свойскость, блатноватость, основанная на взаимности услуг, на солидарности возрастной, территориальной, национальной, на знании языков... Застроится полынная, в мусорных кучах низина, Курмыш соединится с городом, но «мы» курмышан по-прежнему будет противостоять «мы» Других, а сами они — держаться друг друга при завоевании города с его учреждениями, школами, базами, магазинами, ведь так же воевали за него Оторвановка, Сахалин, Татарская слободка, пристанционный район под названием Шанхай.

Ксения Николаевна пересказала наконец разговор со следователем. Отведя кружку ото рта, Жус спросил, давно ли она знакома с Зеленцовой, торговкой с толчка. Ксения Николаевна ответила, что лет семь, пожалуй. Он покачал головой, досадуя на людское легкомыслие или же давая понять, что дело зашло слишком далеко и не все так просто... Седой был недоволен — ему-то представлялось, Жус улыбнется: забудьте, дескать, как о страшном сне, я скажу кому надо. Это было недовольство спешащего человека, которого остановили по пустяку, — время шло, они могли упустить Цыгана.

— Кто же вам поверит?.. — Жус насыпал соли на край кружки. — Видите, следователю даже известно, у кого вы купили шубу... Колонок под норку, так?.. Держите шубу у себя пять лет, разрезаете на воротники и продаете втридорога с помощью спекулянтки.

— Я покупала эту шубу не с целью нажиться впоследствии... Мне очень трудно было тогда набрать необходимую сумму. Я продала две дорогие для меня вещи... Мамину брошь с венецианской эмалью... и золотые часы. А между тем жить нам было трудно: мы только что приехали в ваш город, театра здесь нет, как артисты мы были не нужны... За тарелку супа давали кукольные спектакли в детских садах. Я продавала свои наряды, свои театральные костюмы. Спарывали с платьев украшения и продавали отдельно. Кружевной воротник стоил дороже самого платья... У мужа был халат из перьев марабу, тоже разрезали на куски...

— Как из перьев?

— Ткань ткут с перьями.

Жус встретил слова Ксении Николаевны снисходительной улыбкой, как ложь ребенка, вздохнул:

— А дорогую шубу купили...

— Разве не понятно, почему я не могла ходить в рубище?..

Седой перевел напряженный взгляд с Жуса на полковника и увидел, как тот подмигнул — дескать, темнит гражданиночка, — и обнаружил, что его недовольство перешло в раздражение: время шло, Ксения Николаевна задерживала Жуса, но мало того — она темнила с шубой. В самом деле, если нечего жрать, кто же станет покупать дорогую шубу?

— Как я могу вмешаться в следствие? — сказал Жус. — Шубу купили за четыре тысячи, разрезают на куски и продают за восемь... Продают по углам с помощью спекулянтток...

Цыган каждую минуту мог продать белую или обменять ее. Седой с усилием задерживал себя на скамейке.

— Если эта самая дамочка говорит, что за кусок шубы, он же воротник, дадут восемьсот рублей, не стану же я возражать ей: дорогая, продавайте вдвое дешевле! А впрочем, в подробностях я не помню

нашего разговора, я сказала ей, что деньги мне нужны немедленно, пусть режет шубу хоть на ремни.

Ксения Николаевна сидела на солнце не щурясь: вскинутая голова, туго закрученный пучок, прямая спина (чтобы укрыться в тени зонта, надо было опереться локтями о стол).

Жус взглянул на часы:

— А следовательно не заждался вас?

Внезапная смена интонации поразила Седого. Так весело, легко дышалось в саду миг назад — они с Жусом уже неслись к дому Цыгана, да что там, Седой чувствовал округлую тяжесть голубки в своей руке, Ксения Николаевна благодарно улыбалась, из-за ее плеча глядел Евгений Ильич, и все они образовывали содружество людей, в испытаниях открывших друг друга. И вдруг эта интонация — она заключала в себе угрозу и издевку.

Жус поднялся, подтолкнул Седого к выходу. Ксения Николаевна сидела на солнце, она так и не сдвинулась с горячей скамьи.

— Вы договорите, договорите, тогда пойдём. — Седой был настойчив: ему расплачиваться за каждую минуту промедления, ведь он рисковал.

Жус взял его за плечи, развернул, ударил ногой в дверцу и одновременно толкнул Седого. Толкнул вроде бы со своей шутливостью, но так, что Седой, прогнувшись в спине, вылетел за ограду.

Седой отшатнулся. Он уже боялся Жуса, боялся, как Цыгана, как пацана с доской.

— Не пойду!.. — Он хотел сказать, что Ксения Николаевна живет в музыкальной школе, что Пепе женился на домработнице. Ведь жалко ее! Вот зачем ей деньги — дом купить.

Жус поймал его за плечо, направил в аллею. В растерянности то и дело порываясь вернуться — что он сказал бы ей, он не знал, — Седой следом за полковником и Жусом вышел на улицу. Там стоял «газик». Жус распахнул дверцу:

— Быстро!

В этот миг в воротах появилась Ксения Николаевна. Ее неуверенная поступь, ее лицо с жалкими, как у обезьянки, нависшими щеками, движение ее губ — силилась ли она сказать что-то, или гримаса обиды сморщила их — весь ее облик обличал Седого в предательстве.

Седой нырнул в фанерное нутро «газика». Полковник подал руку Жусу, хохотнул:

— Марабу! Ох, интеллигенты!.. Пойду еще пивка засосу.

Жус скомандовал: «Рашид, давай на Карагандинскую!» — сдернул с шофера кепку, натянул на себя так, что разношенная кепка села на уши. Попросил у шофера куртку.

Бег машины, приговления Жуса («Цыган меня узнает?»), вид неба в оконце (Седой привычно искал глазами голубиные шалманы) — все отдаляло мысль о Ксении Николаевне. Растворялся в словах страх перед Жусом — веселясь, они обсуждали, как захватить белую.

Вдруг в набежавших акациях мелькнуло зеленое с белыми разводами платье. Секундой позже он знал, что ошибся, но долго остывало опаленное стыдом лицо.

Высадились на Карагандинской. Седой заскочил домой, сел на велосипед; проволочным крючком, тем самым, которым Цыган подтащил к пролomu ящик с белой, подцепил на улице дохлую кошку.

Вскоре приехал Цыган на своем разбитом автобусе. Седой сидел на велосипеде, глядел вверх заборчика. На стук калитки из-под деревьев появилась мохнатая зверюга, повалилась на спину. Цыган на ходу движением игрока, ведущего мяч, провел носком туфли по мохнатому брюху пса и вошел в дом.

Распахнулась дверь пристроенной к дому голубятни, вылез Цыган, выпрямился, провел рукой по своему мятому распаренному лицу. Следом выплеснулась стая, растекаясь по двору.

Седой тянулся над забором, вертелся, искал белую, он узнал бы ее из тысячи белых — так неповторима была ее стать и снежно ее перо.

С крыльца спустилась худенькая женщина в халате. На деревянной доске она несла тарелки и хлеб. Цыган, не поворачивая головы, невнятным междометием остановил ее. Она послушно подошла.

— Окрошка и баранина с рисом. — В свой ответ она интонацией внесла робкий вопрос: доволен ли муж?

Цыган опустил ложку в тарелку, помешал, вновь повторил, как хрюкнул, свое междометие, видимо предвкушая, как станет черпать крошево из льдинок холодца, огуречных кубиков и кружочков редиски, стянутых красными лакированными ободками.

Пригнувшись, Седой видел в щель, как Цыган пересекал горячее пространство двора, вспугивая голубей и кур, как сбросил на ходу куртку и брюки и втиснулся в кабину душа.

Жус — кепка до ушей, воротник куртки поднят — проскользнул во двор. Выкатился из-под кустов пес, его перехватила хозяйка, держала за ошейник. Жус сказал ей что-то о прививках, она втащила пса в сарай. Жус прошел к кабинке душа, набросил щеколду и вставил в пробой дужку замка. Затем постучал кулаком в дверь. Шум воды прекратился, Цыган издал свое междометие.

Седой с ликованием метался у забора — привставал, подпрыгивал, ловил в просвет листвы вскинутое лицо Жуса: веселые глаза, губами зажаты указательные пальцы. Свист, сильный, с тем щегольским, штопором закрученным звуком в конце, тряхнул двор.

В тот миг, когда с треском отлетела дверь душа и вывалился Цыган, рыхлый, белый, в черных налипших трусах, Жус был в калитке.

Цыган схватил под деревьями табуретку, задержался на миг у крыльца, где стояла жена: «Поднесли? Похватали сачками? Сколько взяли, дура?» — выскочил на улицу и погнался за Жусом; тот суетливо трусил по проезжей части.

Пришло время Седого. Он бросился в ворота и миг был в голубятне. Еще с порога он увидел в углу в клетке белевшую там птицу. В клетке сидел плёкий, крупная птица с черными пятнами на боках. Седой заметался: может, ящик в стену врезан, потайной, на случай милицейских облав?.. Пес за стеной захлебывался лаем. Движение в дверях — он поймал затылком быструю тень — испугало так, что Седой миг был близок к обмороку. То влетел голубь, сел на гнездо над дверью. Седой тряхнул головой: да разве Жус даст Цыгану прорваться во двор?.. Оттянул футболку на груди, сунул туда плёкого.

С крыльца спускалась жена Цыгана — Седой увидел ее страшные, с венозными шишками икры.

Он выкатил из палисадника велосипед, одним движением вскочил на него. Сдернул с ветки крючок с кошкой.

Из-за автобуса вывернулись Цыган и Жус. Последний говорил: «Ну, я тебя купил, а?» — отскакивая, чтобы полюбоваться еще раз обнаженным торсом Цыгана, его кривыми могучими ногами. Цыган нес на отесе табуретку и напряженно косил, будто сторожил приближение Жуса, чтобы верным ударом по голове свалить его.

Седой дал Цыгану войти в калитку, швырнул кошку через забор. Десятка полтора вернувшихся во двор птиц сорвались и ударили в разные стороны.

Цыган повел головой — шея у него была короткая, он разворачивался всем туловищем, — подошел к калитке. Злобно глядели его запухшие глазки.

— Я тебе сейчас всю птицу разгоню, если белую не отдашь, — сказал Седой. Он заставлял себя прямо глядеть в лицо Цыгану.

— Какую еще белую? Ничего не знаю, — сказал Цыган, не решаясь, однако, уйти, он понимал, что несомненна связь между невыносимой наглостью пацана и шуткой Жуса. — И тебя не знаю.

Седой вынул из-за пазухи плёкого, с нарочито дурацким смехом показал его. Он держал ногу на педали, готовясь рвануться — сейчас, сейчас Цыган с рычаньем высадит калитку, но, подкошенный приемом самбо, рухнет и прохрипит: «Сдаюсь!»

Не бросился Цыган, не высадил калитку, его лицо приобрело выражение, в котором растерянность смешивалась со злобой, с наигранным добродушием, с затравленностью.

— Ха! — воскликнул Цыган, будто бы восхищенный таким оборотом. — Ну молотки!

— Такая молодежь пошла, Коля, — вздохнул Жус. — Тронешь их пальцем — они завтра тебе во двордохлых кошек набросают.

Цыган набычился:

— Думаешь, над тобой начальства нет? Вы сейчас грабеж сделали!

— Что ты, Коля! Шуток не понимаешь? Ну зашел в гости к дружку, а он в душе. Какие у нас с тобой счеты? Вот молодежь что-то к тебе имеет... Еще, говорит, одно движение — и Цыган без ушей. А чего ей скажешь?.. Хулиганье...

Цыган протянул руку:

— Давай плёкого, будем не в загоне. А Коля Цыган со всеми в загоне, понял? Квиты? А про белую забудь.

Рука Цыгана, пухлая, в рыжем волосе, с исковерканным, острым, как коготь, ногтем на мизинце, оставалась висеть над калиткой. Жус подмигнул. Седой подмигнул в ответ: дескать, не дрогну.

— Давай белую!

— Нет белой! — ответил Цыган обозленно. — Понял? Мартыну отдал.

Седой осознавал сказанное: сотенные ассигнации, кошелек Мартына. Отчаяние при мысли о скрытой голубятне Мартына и тут же надежда: они сейчас пойдут с Жусом к Мартыну.

Вдруг Цыган, подпрыгнув над калиткой, схватил его за плечо. Седой откинулся на велосипеде, но Цыган удержал его за футболку на весу. Седой отвернул лицо, чтобы не мешать Жусу схватить и выкрутить эту наглаю руку, и увидел спину и затылок Жуса. Тот был уже в нескольких шагах.

— Вениамин! — крикнул Седой. — Вениамин!

Жус обернулся, вздохнул укоризненно, как вздыхает старший при виде сцепившихся подростков, и пошел дальше.

Цыган перегнулся через калитку, второй рукой поймал руль велосипеда.

Седой рванулся, половина футболки осталась в кулаке Цыгана. Птица вывалилась, взлетела с треском, опустилась на столбик калитки. Это обстоятельство спасло Седого: Цыган отпустил руль и осторожно повел рукой, готовясь сцапать птицу. Седой поймал ногой педаль, легкая машина броском взяла с места. Выброшенной вбок рукой он сбил плёкого, услышал за спиной треск крыльев и матерщину Цыгана. Он содрал с себя остатки футболки и, проносясь мимо Жуса, хлестнул его тряпкой по лицу.

Жус бросился за ним. Он догонял. Седой слышал его бешеный хрип. Седой поднялся с седла, давил на педали так, что его мотало, кричал:

— Ты дерьмо, Жус!.. Ты предатель!

Седого едва не смял грузовик, горяче-угарный выдох радиатора обдал лицо; он свернул на обочину, оглянулся: Жус отстал, зажимал платком глаза. Седой уже понимал: произошло непоправимое, неслышанное — у Цыгана нахалкой забрать птиц! Но что его злоба в сравнении с мезью Жуса — тут катастрофа... Цыган сам по себе, а Жус законодатель, бог... Скажет будто бы случайно вечером на скамейке: «Гумозник этот Седой, сор от него» — и шавки всякие, приклатенные, секретари начнут подносить своих птиц, швырять их во двор, чтоб увели они седовских молодых за собой, станут врывать во двор, хватать сачками птиц, а то взломают голубятню, птиц заберут. Ни зла у них на Седого, ни обид — затравят из желания угодить Жусу, из подлого желания унижить его и тем самым возвыситься в собственных глазах.

Вечером он мыкался по закоулкам сада: присаживался на скамейку, тут же вскакивал и шел дальше. Он будто слышал голоса голубятников на скамейке, будто стоял за ближним деревом; воображая, как там сговаривались против него, довел себя до лихорадочной дрожи. Направлялся к воротам, возвращался: как ни страшна была мысль о появлении перед кучей голубятников у скамейки, неизвестность была страшнее.

Плыли Perez глазами лица и фонари, ноги не сгибались и как бы сами несли его, и вдруг он очутился перед скамейкой. Перед ним сидел десяток пацанов, секретари и владельцы дешевых шалманов; старшие парни вернулись на танцплощадку. Он стал перед пацанами — руки в карманах брюк, стиснул кулаки.

— Махнемся? — сказал Тушкан. — Дам пару за белую.

«Начинается», — подумал Седой. Он молчал, и тогда другой — мордастый пацан, сидевший с краю, Седой не знал его имени — предложил за белую пару красных тошкарей, каких у него сроду не было.

Игра продолжалась, голубятники наперебой предлагали за белую деньги, просянку, голубей, будто не знали о вероломстве Цыгана.

— Во! — Седой в кармане сложил кукиш, выдернул руку и выпрямил ее. — Поняли?.. Подавитесь!

— Заберут ее у тебя, — сказал Тушканов спокойно, как будто они мирно беседовали.

— Во заберут! — твердил Седой, не опуская руку. — Не обломится. Понял? Понял?

— У него законы кованые, у него Цыган в друзьях, — затараторил с подначкой, язвительно Юрка, секретарь Чудика.

— Что, у тебя, как у Мартына, западня? Капканы в голубятне? Махинция-сигнализация? — пропел Шутя. — Волчьи ямы?

— Попробуй сунься, узнаешь, — ответил Седой и сплюнул. Губы начали дрожать. — Понял?

— Я не такая! — жалобным голоском протянул Шутя.

Он поднялся, обошел Седого, в броске сорвал с него кепку. Тот кинулся на Шутю, но кепка уже была у Тушкана. Пацаны вскочили, окружили Седого. Он заметался в круге.

— На!

— Ух ты, быстрый!

Кепка вновь оказалась у Шутя. Седой пошел на него с разведенными руками и продолжал идти, когда тот отпасовал кепку в сторону. Они сцепились, рвали друг друга за воротники. Седой свалился в арык. Вокруг смеялись, какая-то тетка размахивала ящичком, кричала визгли-

во, разгоняла пацанов; он уже потом сообразил: то была продавщица из лимонадного ларька. Он вскочил и кинулся на ближнего, вновь был сшиблен. Масляный блеск грязи, мельканье стволов и набегавших фигур, удары, круженье тетки с ящиком, движение фонарей — они взлетали, как пузыри, — все это позже, когда он с распухшей губой, трясущийся окажется на улице, сольется у Седого в образ пляски, где его дергали за ниточки и глумливо потешались над его отчаянными прыжками.

Несчастный, одинокий, он добрал до дому, разделся и лег. Он пытался согреться, дремал, слышал, как вздрагивает всем телом. Однажды, когда он всплывал из сна как из вязкой, прилипающей к лицу массы, со двора долетел скрежет отдираемых досок. Ему свело затылок, свело кожу, руки стали ледяными: ломали дверь голубятни.

Дрожащий, он спустил ноги на пол, прокрался в сенцы и стал здесь у наружной двери. В щель ее проникал свет окон соседнего дома. Пришли, не стали дожидаться ночи!.. Их наглость, сознание своей силы, безнаказанности действовали на Седого парализующе. Сквозь шум крови в ушах он слышал, как захлебнулся воркотней голубь — его сцапали с гнезда и сунули в мешок. Слышал шум веничных кустов — уходили задами, степью. Седой стоял сжавшись, с закрытыми глазами.

Выкатила к дому машина, в щель двери плеснуло холодным светом. Воскликание вырвалось из шума голосов, как пчела отделилась от роя: он узнал голос Жуса!

Они приехали сюда на машине, кучей, нагло, как на облаву! Город принадлежал им! Слабыми пальцами из последних сил он потянул железный брусок засова. Выбежать, выскочить темными переулками на улицу Ленина, в коридор света, к подъезду горбольницы, — там люди, мать, ее глаза под марлей косынки!

На четвереньках он выскочил из двери, упал на кусты кохии, сжался.

По-командирски раскатисто сказали от калитки:

— Завтра жду к обеду!

Голос отца! Седой поднялся, выбрался из кустов слабый от пережитого, вошел в дом за отцом, сел. Отец налил в таз воды, что-то говорил, плескался — красное, обметанное рыжей щетиной лицо, в боку темнела яма: фронтовое ранение, вынуты остатки раздробленных ребер.

— Голубей украли, — сказал Седой. — Только что...

Отец поднял голову над тазом.

— Ну да?.. А ты чего? Побоялся выйти? Четверо было? Мы их фарами задели, они в улицу входили со степи.

«Они не ушли в степь, — подумал Седой, — чтобы обогнуть Курмыш оврагами. Они лишь обогнули дом и вошли в улицу, по-хозяйски вошли, от фар не прятались».

— Кудлатый был?

— Был кудлатый. Второй стриженный, голова дыней.

Юрка, чудиковский секретарь, понял Седой. А кудлатый — Тушканов.

Седой вышел. Отец догнал его за калиткой. Они устроились под воротами Юркиного дома, сидеть было мягко, тут намело песку.

Прошли две девушки, затем девушка и парень — кончились танцы в горсаду. Парень прошел обратно уже с папиросой во рту. Отец высказал было предположение, что Юрка опередил их каким-то образом и давно спит, как тот появился. Увидел отца и Седого, понял, что всё они знают, кинулся бежать, но был пойман.

Ничтожество с щучьей мордой, брехун, он был достоин своего хозяина Чудика. Он взаклеб бросился лстыть, извиваясь всем телом:



— Ну ты дал, Седой!.. Тушкана отметелил. А мне руку сломал! — И к отцу: — Виктор Тимофеевич, а я ништяк! Я молчу!.. Вы ж меня знаете... Я за своих все отдам!

— Правильно, — сказал отец, — нет уз святее товарищества, еще Гоголь говорил, Николай Васильевич. Выходит, ты наших голубей не брал?

Юрка ощерился, ногтем большого пальца зацепил передний зуб, сделал пальцем вращательное движение — жест означал клятву и переводился так: сука буду, если вру.

— Значит, я ошибся, — поспешно повинился отец. — Чего там разглядишь..

Седой перебил отца:

— Жус был в саду?

— Был, и Коля Цыган был! Тебя искал. Где Седой, говорит, мы, говорит, с ним закорешили навеки, кто его тронет — убью!..

Седой отпустил Юрку, недоумевая, чего тут сидели столько времени, зла на Юрку не было, он был противен со своей жалкой брехней. Тараторил, тараторил, пятился, слушал, как пес во дворе тащит цепь по проволоке. Вдруг по-щучьи прострелил расстояние до ворот и исчез, будто прошел сквозь тесовое полотно. Звякнул засов, Юрка прокричал:

— Линейка!

Линейкой прозвали отца в сорок второй железнодорожной школе, где он год был военруком, за то ли, что отец был плоский и худой, или за его пристрастие к школьным линейкам. Лицо у него делалось свирепое, когда он бежал вдоль строя, выравнивая носки: пацаны, чтоб позлить его, ломали строй. Он тыкал обрубками пальцев в нарушителя, изгонял его, тут же возвращал и суетливо, даже зайскивая, начинал говорить — а говорил он плохо, путаясь, — что они сейчас, то есть все в строю, будто воинское подразделение, будто солдаты! А звание солдата надо заслужить!..

Фланг линейки, который составляли младшие классы, упирался в двери учительской. Возле двери кучкой стояли учителя. Седой видел, как они переглядываются, как, страдая от отцовского косноязычия, закатывает глаза и вздыхает «русачка», манерная дама с сочным детским ротиком. Сколько раз, когда отец сбивался и в поисках слова тянул свое прерывистое «э-э», Седой слышал за спиной бляежь — там нагло скопом передразнивали отца. Он в воображении хватал отца за руку и уводил. Одна мысль удерживала его на месте: не выдать свой стыд за отца и тем самым не предать его. На переменах отец ловил курильщиков — те запирались в кабинах уборных и дымили. Старшеклассники, среди них брат Тушканова, насторожили крючок и так ловко хлопнули дверью, что кабина оказалась закрытой изнутри. В окошечко над дверью ребята бросили, едва появился во дворе отец, зажженную скрученную фотоленку. Отец долго колотил в дверь, требовал открыть, затем рассвирепел, стал бить ногами, кричать. Сбежалась вся школа, дело было в мае, все во дворе. Седой пробился на крики отца — к уборной вел тесный проулок между угольным сараем и гаражом, — взял отца за руку и повел. Школьники расступились, отец затих и шел послушно. За оградой двора отец как переломился, упал. Их окружили школьники, глядели, как отец трясет головой, хватая воздух открытым ртом, как его худые руки шарят в воздухе, и Седой глядел с ними, страшась свистяще-хриплого дыхания отца, его выкаченных глаз, его тонкой, оплетенной венами шеи. Его посадили, прислоня спиной к ограде. Стало синюшным лицо, побелели ногти. Седой плакал, мскрыми руками гладил отца...

Седой швырнул в Юркин забор обломком кирпича. Они побрели по улице.

— Что с него взять, с этого Юрки, он правильных людей не видел, — сказал отец.

Понятие «правильные люди», как позже поймет Седой, отцу было внушено в дедовской семье; в Казахстан дед-горемыка, правдоискатель, пришел в годы сталинской реформы из Пензенской губернии. На фронте это абстрактное понятие обрело у отца жизненную основу. В сорок пятом «правильные люди» разъехались по стране, смешались с другими людьми, сняли гимнастерки. Он заговаривал с мужиками в очереди у пивного киоска, в бане, на базаре, был прилипчив, многословен, все ему мерещилось, что этих людей он встречал на своем Северо-Западном или на формировании под Горьким. Поиск «правильных людей» стал у него навязчивой идеей после поездки в Азербайджан. Он ездил в солнечную республику закупать сухофрукты для облатребсоюза, ему предложили смухлевать при оформлении документации на закупку, он отправился с разоблачениями в прокуратуру, ходил день за днем, уличающие документы ночами прятал под майку. Ему в чемодан подложили пачку денег, затем сделали обыск, составили акт о взяточничестве, где свидетели указывали номера найденных ассигнаций. Выручил его местный, азербайджанец, — фронтовик, конечно, наш, правильный человек, заканчивал отец свой рассказ...

— Ложись спать, Седой, — сказал отец, остановившись, легонько коснулся ладонью головы сына. — Я к маме схожу, а завтра мы двинем на Оторвановку, отнимем голубей.

Тень отца, опережая его, скользнула под навес соседского карагача. Донесся его кашель из глубины улицы.

Седой поддел ногой развороченную дверь голубятни. Дверь поехала, волоча кованую полосу запора. Тоскливый скрип долго угасал в ушах. Лунный свет как вода наполнял голубятню. Чернели пустые гнезда в углах.

Седой возвращался с огорода с помидорами в руке, когда увидел во дворе отца. Остался на тропинке, выжидая, глядел сквозь верхи веников. Еще ночью на пороге ограбленной голубятни он решил ускользнуть из дому пораньше, чтобы отец не увязался за ним на Оторвановку.

Из дома с ведрами вышла мать. Она поставила ведра, расслабленно обняла мужа за шею, повалилась на него; другой рукой подтыкала под косынку волосы. Глядела она хмельно, с легким неудовольствием преодолевая свою расслабленность, щурилась на свету, вся оставаясь еще там, в комнате с зашторенными окнами. Отец обнял ее полнеющей стан, она с улыбкой прильнула к нему. Подол сарафана, качнувшись, обнажил полные колени.

— Я тебя когда еще просила расчистить двор? — Мать оттолкнула руку отца.

Вырубить веники ей самой ничего не стоило бы. Она приберегала эту работу для отца. Седой разгадал происхождение ее причуды. Мать жила верой: все, что заключало в себе понятие «дом», то есть она сама, их сын, их дом, двор с летней кухонькой, должно находиться в состоянии абсолютного благополучия ради него, ее мужа. Четыре года он пробыл на фронте, теперь вот третий год мотается по степи с геологоразведкой — он должен знать, что дома его ждут, что дома хорошо, чисто. Мать должна верить, что как бы ни вертело, ни носило его, он знал бы, чувствовал затылком, спиной, щекой, в какой стороне света она, его жена, что выпусти его на каком-нибудь чертовом

Устурте, он и оттуда бы, как голубь, нашел путь к дому в хаосе дорог, пашен и лесополос. Ей нужны были свидетельства его заботы о доме, чтобы, когда он вновь уедет, эти свидетельства напоминали о нем повседневно, питали уверенность, что ничто не преодолет притягательной силы их дома.

Ныне она обостренно нуждалась в знаках отцовской привязанности к дому, к ней. Она болела второй год, под глазами появились темные, с коричневым отливом мешки, и хотя она как будто была дородна по-прежнему, платья стали велики, запали виски и проступили ключицы. Отец знал, что болезнь и увядание потому переживаются столь горестно, что она любит его, как пятнадцать лет назад, в час их свадьбы, когда сидели они во дворе за столами, когда она, девушка в длинном крепдешиновом платье с подкладными плечами, вытирала лоб сырым платочком, втискивала его в рукав и с нежностью глядела на жениха — он счастливо орал через стол, парился в суконном пиджаке, челка прилипла ко лбу.

После смерти мужа, спустя годы скажет она Седому, что дни, прожитые без его отца, слились в один день, не припомнишь, чем жила, что делала. Что слабела вся, услышав шум машины, а проходила машина — смотрела в пустую, замутненную пылью улицу, отходила, вздыхала. Сердце у нее колотилось, как у девушки, когда отец вдруг являлся, голос его казался чужим, волновал, она как бы вновь влюблялась в этого худого мужчину, брала его руку с обрубками пальцев осторожно, все ей казалось, что больно ему, ласкалась, волнуясь и опуская глаза: теперь все в ее мире было на своих местах, дни полны, двор оживлен голубиной воркотней, голосом сына, потрескиванием связок рыбы на проволоке.

— Я выдеру все веники! — Отец вновь обнял ее, прижал. — Для тебя разве жалко?

Он бросился в заросли. Сопротивление его веселило, он расталкивал их руками на обе стороны, ударами ног ломал под корень волокнистые шары, проваливался по грудь в смятую чашу, боксировал. Она смеялась, всплескивала руками. Он остановился довольный, что она приняла его игру, что смеется. Проваливаясь по колено, он выбрался из вытоптанной в зарослях ямы потный, обсыпанный мелкими зелеными зубчиками веничных цветков, схватил, притиснул ее щеку к своей красной горячей груди. Она счастливо смеялась, отталяющая его и в то же время прижимаясь к нему всем телом, сказала:

— Чего-то вспомнила, как мы тут без тебя зимовали... Ване было три годика. Хату замело по трубу. Все желтая собака у трубы лежала грелась. Потом пропала.

— Кто-то другой пригрел.

— Мы с Ваней так же подумали, а потом люди говорят: в бескунак <sup>4</sup> набегали волки из степи, похватили собак.

Мать подхватила ведра, родители вышли на улицу. Седой вынырнул из сырых веников. С середины двора ему было видно, как отец, опередив мать, на бегу раскрытой ладонью поймал ручку колонки. Тугая, скрученная напором струя вырвалась из рога, отец притиснул ладонь к его отверстию, повернул. Вылетело серебряное копьё, вонзилось в живот подбегавшей матери, та охнула, бросила ведра. Вмиг испуг ее прошел, она засмеялась, оглаживая облепленный тканью живот, кинулась, оттолкнула отца, ладонью ударила с маху по струе, окатила его.

Когда родители входили с ведрами во двор, Седой неслышно выкатил велосипед из зарослей на улицу. На ходу, подражая отцу, он

<sup>4</sup> Бескунак — метели на переломе зимы.

поймал ручку колонки. Чугунная крышка в основании колонки застучала — передалась дрожь чугунного литого цилиндра. Седой подхватил струю согнутой ладонью, сунулся ртом в ледяную кипень. Обжег лицо, нос забило водой. Потряс головой: хорошо!

## IV

Компотница кузнецовского фарфора была опорожнена, Седой и Сережа вычерпывали ложками смесь подсолнечного масла и помидорного сока. Евгений Ильич сидел через стол от них с выражением отстраненности на лице. Беспокоило ли Марию Евгеньевну то выражение, с которым дед глядел на внука, или с исчезновением беляшей утратились иллюзии благополучия и уверенности в будущем, только сегодня она была недобра. Все трое в молчании дожидались, когда она переоденется за ширмой, напудрит свое красное личико и отправится на базар.

Уйти ребята не смогли — появилась красавица цыганка; мать велела Сереже проследить, чтобы цыганка не стащила чего: Евгений Ильич мог тотчас после сеанса уснуть.

Седой смотрел через стол, как художник выбрал крупную кисть, обильно смешал краску. Быстрым движением, не целясь, он бросил кисть на белое поле. Алая ягода лопнула на середине белого пространства, поток краски был подхвачен комом ваты, осушен, и вновь остроклювая ягода кисти лопнула в левом углу листа. Евгений Ильич сорвал лист со стола, велел цыганке прийти завтра в алой кофте или шали, дал десять рублей. Седой поднял с пола лист и здесь только увидел, что Евгений Ильич двумя движениями кисти наметил лицо и руку. В восторге разгадал в линиях узкие женские пальцы...

Заявиться на Оторвановку? Отбить голубей? Вдвоем-то?.. У Седого были еще два друга, но первый из них гостил в Чкаловской области, а второй, книжник, ревновал Седого к голубям, считал это занятие формой хулиганства, да и замухрыга был и в бой не годился.

Сережа предложил заявить в милицию о краже белой, с тем чтобы милиция официально допросила Цыгана и Мартына. Седой взглянул на него с превосходством человека битого:

— Милиция — это Жус, понял? А где Мартын держит — никто не знает.

— Выследим.

— Выследим? Туда сунься — ноги переломашь: ловушки всякие, сигнализация...

Седой и жалуюсь и спрашивая совета пересказал вчерашние и ночные события. Евгений Ильич посматривал на Седого отстраненно, даже как будто с сомнением; само собой, ему был известен вчерашний случай в горсаду со слов Ксении Николаевны. Вновь стыд перед ней, запластованный было всем происшедшим позже, разгорелся в нем. Седой, оправдываясь, торопясь, стал рассказывать, как Жус вытолкнул его из ограды кафе: он чувствовал, что пыгается вызвать жалость к себе, и оттого было еще стыднее, и одновременно сердился на Евгения Ильича: легко ему осуждать, сидит тут!..

— А потом он бросил меня! На съедение Цыгану.

— Он таков. Кенгуру скачет на задних ногах. Медведь мохнат. Ты выбрал его в союзники.

— Он же начальник группы захвата угро! А с ним полковник.

— Все генералиссимусы мира не смогли тебе запретить уйти с Ксенией Николаевной.

— А белая?  
 — Забыть о ней... Сказать себе: нет никакого Жуса. Нет Мартына.

— Но Жус есть и белая есть!

— Можно жить дальше так, будто Жуса нет, а Ксения Николаевна есть... Нам надо беречь друг друга.— Евгений Ильич вытянул из-за шкафа полдюжины застекленных акварелей, выбрал одну, в рамке с желобками, гладко зашпаклеванной и покрытой серой, с металлическим блеском краской. Он скальпелем отодрал бумажную ленту, удерживающую в гнезде картонный задник.— Рамка куплена на Кузнецком мосту,— сказал Евгений Ильич, когда его акварель «Цирковая наездница» была вынута и в рамку вставлена акварель Седого. Он осмотрел чуть отбитый угол рамки, выкрошилась шпаклевка, сказал:— Несите, рамку не побейте...

— Зачем это ей?

— Поделишься с Ксенией Николаевной радостями своего отрочества.

Среди тех акварелей, что Седой помог Евгению Ильичу затолкнуть за шкаф, была еще одна с цирковой наездницей.

На посмертной выставке Евгения Ильича в Союзе художников Седой, присев отдохнуть под наездницей в лиловом — именно эту акварель Евгений Ильич вытащил из рамки, чтобы вставить его плохой этюд,— наслушается разговоров. Называя покойного Евгения Ильича дедулей, станут его осуждать за отсталую технику: он не смешивал краски ни с белилами, ни с гуашью; техника, естественно, отражает полное отсутствие у него современного мышления и социального мужества: всю жизнь дедуля писал только цветы, красавиц и цирк... Бессмысленно было тут защищать Евгения Ильича, да и как, что говорить?.. Что мальчиком семи лет пришел в цирк и был поражен его музыкой, его сиянием, красотой наездницы, звучанием ее имени — Мирандолина? Что свой детский восторг переживал всю жизнь? Два зала, как цветущий сад, полный балерин, цыганок, красавиц в бальных платьях. Неслись цирковые наездницы, празднично сверкали, искрились женские и конские глаза, согласно движению изгибались султаны, складки шелка отражали сияние юпитеров; белел локоть, ямочка в мякоти руки была нежна...

Сережа было затормозил возле особнячка столыпинских времен с жестяной вывеской «Переселенческое управление» и второй застекленной — «Музыкальная школа». Седой, он сидел на раме, закричал:

— На Курмыш! На Курмыш!

Через пацаненка, что жевал кусок вара и пускал слюни на майку, выманили из дома Юрку — якобы за ним послал Чудик. Схваченный и брошенный на землю, Юрка зажал голову руками и подтянул колени к подбородку.

— Ты вчера вечером привел оторвановских ко мне во двор?

— Никуда я не приводил!

— Они что, в адресный стол сходили? — Седой тряхнул Юрку.— Пойдешь отбивать нашу птицу.

— Н-нет! — прокричал в страхе Юрка.

— Тогда сейчас в милицию. Ты наводчик, тебя первым в колонию упекут.

Юрка оглянулся на свой дом — многооконный, на шлакобетонном фундаменте, под железом, выстроенный трудами отца, машиниста паровоза. Он боялся отца, милиции, Тушканова, Шутю, но сейчас больше всего боялся Седого — этот больно стиснул его шею.

Сережа отнял руку Седого от Юркиной шеи, заговорил с ним участливо, жалея его, вынужденного водить знакомство с оторвановским жульем. Юрка мало-помалу отошел, перестал заикаться и, заглядывая в глаза Сереже, завел свое: будто Тушканов, Шутя и другие оторвановские вскоре после драки с Седым ушли из сада, а он с пацанами с Татарской слободки курил, а потом к тетке завернул, луку пожевал, чтобы отец не унюхал, и сидел там, в теткин огороде, ждал, когда отец уснет, он из рейса вернулся в двадцать один тридцать по-московскому...

— Говори: Жус велел забрать нашу птицу?

— Я не знаю, я ни при чем.

— Признавайся, бог не фраер, все простит.— Седой дал тычка Юрке, тот повалился без всякого, впрочем, вреда для себя: события происходили под забором, где высоко намело песку. При этом он попал ногой в акварель, и развалилась рамка, купленная на Кузнецком мосту.

Они долго возились с ним: Седой то упрасивал его не бояться Жуса и Тушкана, в смутных выражениях обещая ему защиту от них, то свирепел и бросался на Юрку; тот закрывал голову руками и падал на песок. Сережа всякий раз вовремя удерживал Седого и принимался просить, умолять Юрку признаться. Он выпрашивал у него признание, он твердил: «Тебе ничего не будет»; наконец он предложил Юрке пять рублей и стал совать ему бумажку в руку со словами: «Может, они тебе ножом угрожали, а? — И просительно оглядываясь на Седого.— Ты говори, не бойся». Юрка принял пятерку и пробормотал что-то вроде: «Да, вам бы такое...»

— Вот видишь, они с ножами,— сказал Сережа с удовлетворением,— а ты на него тянешь.

— Может, мне поцеловаться с ним? — Седой предложил Сереже поднять Юрку одной рукой и, когда тот послушно ухватил Юрку поперек живота, поднял и Юрка повис, как вареная макаронина, сказал, постукивая кулаком в ладонь: — Вздумаешь оторваться или трухнешь перед Тушканом — изуродуем, как бог черепаху.

Страха перед Седым, веры в физическую мощь Сережи и безразличия, проистекающего от сознания своей обреченности,— этого топлива Юрке хватало только до Оторвановки. Рыскающие по сторонам глаза выдавали его: он уже не справлялся с собой. Вражеская территория замерла, выжидая: судьба экспедиции была предрешена.

Седой поймал Юрку за плечо, толкал впереди себя, и так они вошли в проход, ведущий в глубину узкого открытого двора. Слева тянулся дувал, справа тесовый забор магазина.

В дворике на выпавших из дувала сырцовых кирпичах сидели неразлучные Тушканов и Шутя, и тощий пацан — таких зовут скелетами,— и с ними давний приятель Седого по фамилии Савицкий, плечистый, с большой стриженной под машинку головой и ушами борца — маленькими, вдавленными в череп, с приросшими мочками. Прежде Савицкий жил на Курмыше в халупе, покрытой кусками жести и толя; года два как они купили дом здесь, на Оторвановке. Родители Савицкого появлялись на улице неизменно вдвоем — отец тащил тележку на резиновом ходу, холку охватывала обшитая шинельным сукном лямка, мать семеняла следом, также глаза в землю. В тележке мешки с углем или тряпье. Они производили впечатление немых. Однажды, учились они тогда в третьем классе, Савицкий-сын сделал наколку Седому — на тыльной стороне ладони с помощью оплетенных нитками иголок выколол якорек. Свой гонорар, пачку печенья, он схрупал с пугающей жадностью — он не развернул обертку, он разорвал ее зубами и откусывал от пачки как от куска.

Седой и Савицкий переглянулись: Седой не подал ему руки, не выдал их давней дружбы — в этой ситуации пусть Савицкий останется тайным другом, так будет полезнее.

— Заблудились в наших краях? — плаксиво спросил Шутя.

Он накапал в ладошку слез, втянул их со свистом и чмоканьем. Шутя был из тех добровольных шутов, что находятся во всяком коллективе, готовность смеяться их островам объясняется их репутацией шутника, тут действует какой-то всеобщий гипноз.

Компания поддержала Шутю гоголом, один лишь Савицкий, по своему обыкновению, глядел угрюмо.

Седой обежал двор глазами и заметил под дувалом бухарского, мелово-сизого, с темными повязками на крыльях. Он был новичок во дворе — дичился, крыло было стянуто туго и касалось земли.

— Пришли за своей птицей, — сказал Седой.

Шутя приставил ладонь к уху, спросил тем же плаксивым голосом:

— Чо́го они гово́рят?

Тушканов поднялся, крикнул ему в ухо:

— Они пришли за своей птицей!

— За курицей?

— За птицей!

— А-а, за спицей... Они що, носки на Курмыше вяжут? Им на Курмыше дуеть, без носок не можно...

Тушканов поймал взгляд Седого, брошенный на бухарского, и сделал шаг к дувалу.

Юрка, как-то пискнув по-индюшачьи, рванулся было, но Седой поймал его за плечо и сильным толчком послал на Тушканова — тот уже шел через дворик к бухарскому, — так что они столкнулись, а сам в три прыжка достиг дувала, выброшенной вперед рукой сцапал бухарского и вмиг был рядом с Сережей. Тут он положил бухарского в ладонь левой руки, между пальцами правой пропустил его головку.

— Не пачкай, дорогая птица, всех твоих стоит, — сказал Тушканов.

— Получишь ее, когда вернешь нашу птицу.

— Не брали твоих куликов! — выкрикнул Шутя.

— Положи бухарского на место и хилийте. Мы вас не тронем, — проговорил спокойно Тушканов и сделал шаг.

— Баш на баш, — сказал Седой и поднял бухарского над головой.

Много раз он видел, как голубятники в бешенстве отрывали головы своим птицам (сел, позорник, на глазах у честной компании на столб или на чужую крышу, а только свой двор свят!), сам никогда не рвал голов. Но то было прежде, сейчас Жус, полковник, Мартын, Чудик, Курмыш, вся Оторвановка с ее тушканами и шутиями — весь город был против него, и потому он сам должен стать другим.

Седой разжал левую руку, а правой тряхнул. Тушка ударилась о землю, шумно трепыхалась, упрятанная в перья трубочка брызгала кровью. Седой разжал кулак, показал головку бухарского, крикнул хрипло:

— Понял?

Тушканов бросился на Седого, но был перехвачен Сережей, с легкостью скручен, а затем толчком пущен в угол двора, где в ожидании атаки хищно замерли Шутя и Скелет.

Тушканов развернулся, и все трое с криками кинулись на Сережу и Седого.

Седой ткнул Скелета кулаком в грудь, тот ответил ударом в плечо, а дальше заертелось: они беспорядочно тыкали кулаками, належали друг на друга, сцепившись так, что Скелет дышал в лицо Седо-

му, устрашая оскалом и угрозами,— было мокро и горячо на лице. Позади крикнули— примчались оторвановские ордой, с палками, мелькнуло у Седого, сейчас станут бить по голове жестоко, страшно!.. Седой отпрянул к дувалу. Пуст был узкий проход на улицу, двор пуст, сидел одиноко Савицкий. То кричал Тушканов — он вертелся где-то под Сережей, который держал его за шею, а другой рукой ловил шею Шутя. Оба лягали Сережу, молотили его руками. Сережа поймал за шею верткого Шутю, сдвинул обоих противников так, что они оказались плечом к плечу, и одним движением рук послал друзей в угол двора. Они сделали скачок-другой в попытке устоять и разом с разбросанными руками рухнули.

Савицкий поднялся, бросил Сереже:

— Ты, толстый, пойдем стукнемся!

Он не дожидаясь ответа, подошел к дувалу, оперся ладонями о его верх и перекинул свое тело на ту сторону.

Сережа оглянулся на Седого. Тот подмигнул ему: будь спок! — перелез через дувал, очутился на пустыре. Местами из бурьяна поднимались конусы мусорных кучек.

Шутя, Тушканов и Скелет уже были здесь, с мстительно горящими глазами они стояли позади Савицкого, а он покусывал веточку и смотрел через дувал на Сережу, — тот все не мог перебраться через это сооружение, широкое как комод, с выступами кирпичей, осыпанное птичьим пометом.

— Что, амбал, струхнул? — хрипло сказал Тушканов.

Шутя подхватил:

— Семеро одного ждут!

Седой дал им покричать, он упивался их злорадством, ловил взгляд Савицкого, второго автора спектакля, но тот отводил глаза, не спешил открывать себя.

Седой подскочил, хлопнул Савицкого по плечу, прыснул (смешок был как пароль, как сигнал к окончанию игры, как разрешение открыться перед оторвановскими) и замотал головой, засмеялся — уже слышал, как Савицкий подхватил: ну, дескать, купили мы тут всех! Прыснул и смолк, очутившись лицом к лицу с Савицким, — тот глядел сквозь него.

— Костя! — Седой схватил Савицкого за руку.

Тот стряхнул его руку, повторил:

— Давай сюда, толстый!

Сережа не то чтобы мирно, ведь его обзывали, но с присущим ему добродушием сказал:

— Я не буду с вами драться, не вы же украли наших голубей.

— Лезь, не мусоль. — Савицкий произнес это как человек, знающий, что его воля сильнее, что он заставит подчиниться себе, и поэтому пренебрегающий всякими словесными маневрами.

— Костя, он мой друг! — крикнул Седой. Ликующее чувство противостояния Жусу и всему тому, что стояло за ним, распалось и сменилось отчаянием. — Костя, ты что?..

Сережа перелез через дувал, с шумом опустился в бурьян. Савицкий, нагнув голову, обошел Седого. С ненавистью глядя на эту тяжелую стриженую голову с белым, как сало, шрамом и вдавленными ушами, Седой в страхе понял, что сломить Савицкого — значит втоптать, вбить его в землю, что смирить его могла бы только терпеливая долгая дружба, а ведь Седой не был ему другом, как не был никто другой.

С внезапной силой бросились друг на друга, сцепились Савицкий и Сережа. Не успев отскочить, Седой получил удар локтем в живот, скорчился, покрылся испариной.



Сережа схватил Савицкого поперек туловища, стиснул, поднял над землей, прижал и кинул — предупредил, показал свою силу.

Не отлетел Савицкий в бурьян, не рухнул там, раскинув руки. Устоял, пошел на Сережу, проскользнул под нацеленными на него руками, схватил за воротник рубашки. Сережа, разгадав его прием, попытался поддеть его подбородок руками, отжать от себя, но Савицкий крутанул головой и руки Сережи скользнули — голова у Савицкого переходила в плечи без ощутимой границы. Тогда Сережа сцепленными руками кратким ударом отбил руки Савицкого, и они отлетели с зажатыми ключьями воротника. По инерции, продолжая движение своих сцепленных рук, Сережа завалился набок, чем воспользовался Савицкий, ударил его в лицо раз и другой. Сережа, будто наткнувшись головой на препятствие, замер.

Тушканов и компания возликовали. Сережа мотнул головой, как бы стряхивая следы кулаков, и отбросил Савицкого ударом в грудь. Савицкий выдохнул, оскалась от боли, прыгнул на Сережу, левой рукой вцепился в рубаху, а правой стал короткими ударами бить Сережу в лицо, в шею и жутко, по-бульдोजьи, хрипел. Сережа вертелся на месте, отдирая его от себя, тыкал кулаками и вдруг как-то по-детски выкрикнул:

— Вы ненормальный, что ли?..

Тушканов подскочил, сзади ударил ногой. За ним подскочил Шутя. Седой только еще раскрыл рот, рвался из него гнев, а уж Сережа вертелся в бурьяне, догнали его там, окружили, пинали.

Седой выдернул из мусорной кучи железную полосу с зубьями на конце, занес ее над головой, пошел. Отскочил от Сережи Скелет. Попятился Шутя, подняв глаза на конец железяки, но рука Тушканова остановила его. Кричал Сережа:

— Ваня! Не надо!

Шутя дергался, верещал, но Тушканов не пускал, держал за руку.

У Тушканова лет в двадцать объявится рассеянный склероз. Шутя останется ему единственным верным другом, станет возить Тушканова по алма-атинским и московским клиникам, затем возьмет его к себе тренером в плавательный бассейн. Однажды Седой встретит друзей на речке; в тальниках Шутин «Запорожец». Тушканов чуть оправился после паралича: слепой на один глаз, руки дрожат. Шутя будет так же говорлив, суматошен, те же хохмочки. Он выкопает из прибрежного песка холодный арбуз, и славно они потолкуют о жизни, вспомнят отошедшие Оторвановку и Курмыш...

Седой шел из последних сил, держал в поднятых руках тяжелую железяку.

— Убьешь — посадят! — сказал Тушканов.

— А вам можно? — выкрикнул Седой. — Можно?

Подрагивающая тень железяки коснулась их лиц, Шутя рванулся, уволок за собой Тушканова. Перед Седым остался Савицкий.

Неподвижен был Савицкий. Так он глядел, когда иглками, обмотанными ниткой, прокалывал кожу на руке Седого и тот не смел пошевелиться.

Сережа закричал, железяка в руках Седого наклонилась и стала падать. Упала рядом с Савицким, подскочила, сверкнул бутылочный осколок.

Седой и Сережа, касаясь друг друга плечами, через двор магазина вышли на улицу.

— Этот, стриженный... — начал Сережа, — я знаю его... с отцом привозили нам с базара картошку... в мешках... отец немой.

Седой взглянул на свои дрожащие, исполосованные ржавчиной руки, перебил:

— У меня сорвалось, я промахнулся, понял? Сейчас они к Жусу — рассказать! А я — раньше их!

Бегом они вернулись к дому у базара. Седой вскочил на свой велосипед. Кричал вслед Сережа, просил подождать, он хотел сменить рубашку.

Мелькнули со своими смрадными глубинами уборная и помойный ящик. Седой вылетел со двора на шумное пространство базара, зажатый между казахом на ишаке и теткой с ручной тележкой. Здесь, на верху городского холма, он на миг повис над базарными палатками и рядами, над скопищем крыш, карагачей, уборных, огородов, над дымами заводиков и артелей, над белыми паровозными клубами, над пыльными вихрями и голубиными стаями — над всем тем, что было городом. Жизнь этого города вместит жизнь его родителей, его первую любовь, вечера с запахами цветущего табака и с красной полосой последней зари по краю степи... Ему предстояло здесь родить детей и состариться, предстояло разрушать свой город, расчищая пространство для новых домов, бороться за него на заседаниях, в проектных институтах, на строительных площадках. Предстояло оплакивать его: придет время магнитофонов и транзисторов, пуст будет по вечерам центр старого города с его горсадом, гуляющая молодежь переместится в микрорайон, к вечному огню перед новым зданием обкома, на «плешку» перед сквозным, как аквариум, магазином «Океан».

А сейчас — сейчас его охватывал враждебный город. Все: Чудик, Юрка, Тушканов, Савицкий, люди на улицах и в павильонах базара — были врагами. Это сознание всеобщей враждебности требовало действия. Одним духом он проскочил площадь перед обкомом партии — здесь на первомайской демонстрации школьная колонна велосипедистов постыдно завязла в песке под трибуной и остановила движение задних колонн. Проскочил сквер; из-за карагачей выдвинулось красное кирпичное здание.

С рвущимся сердцем, с пересохшим горлом он пробежал темный коридор, дернул дверь. Пуст был правый угол.

— Где он?

Сосед Жуса, казах в толстом, на вате мундире ответил:

— В редакцию пошел.

Седой понял: Жус пошел к полковнику.

Вмиг Седой был перед саманным побеленным одноэтажным зданием, вытянутым во всю длину квартала. Здесь роились редакции областных газет, русской и казахской, редакции вещания на обоих языках. На крыльце Седой вспугнул кур — они были привлечены подсолнечной шелухой на ступеньках, и одна из них очутилась за порогом, а там с криком пустилась бежать по коридору. Открывались двери, вываливались в коридор люди, бросались ловить курицу. Она была загнана в тупик и поймана под обитой кожей дверью с табличками «Редактор» и «Заместитель редактора». Все эти шумные обстоятельства помогли Седому, оставаясь незамеченным, высмотреть полковника. Он стоял на пороге комнаты и выговаривал толстому человеку, который обрывком папиросной коробки снимал куриный помет с рукава кителя:

— Вы что, пехота, распустились? Коринец облевал китель, ты курей в нем гоняешь!

— Что ты ко мне цепляешься, Пилипенко? — ответил толстяк, ничуть не обижаясь. — Чи китель твой?

— Общий, в этом все дело!

— Не нравится, не надевай!

— Что, я в обком так поеду? — Полковник мохнатыми ручища-

ми хлопнул себя по выпиравшему над ремнем животу. На полковнике была рубашка с короткими рукавами.— Нашего редактора не знаешь?

Толстяк снял китель, остался в сетчатой безрукавке, под которой была надета синяя майка. Полковник свернул китель, перебросил его через руку, вздохнул:

— Приехали мы с маршалом в Вену, его тогда назначили командующим группой войск... Говорит: «Собери штаб в зале». Я исполнил. Он командует: «Двадцать пять раз выйди и войди». Потом штабистам: «Видели, как носит китель мой офицер по особым поручениям? Запомнили?»

— Шо не напишешь ему?

— А чего писать? Товарищ Рокоссовский, день добже, какая погода в Варшаве?.. Он меня не отпускал, говорил: «Пилипенко, я карьеру тебе сделаю. Если бы не твой батя, я бы остался гнить в сивашской грязи на радость Петру Николаевичу Врангелю». А я ему: мать больна, Константин Константинович, я единственный сын. «Вызови сюда». Астма у нее, говорю, вне степной зоны задыхается...

— Я твоего маршала видел, издали... На Втором Белорусском было дело,— сказал толстяк, расположившись к разговору и доставая папиросы.

Полковник взглянул на часы и как забыл о собеседнике: повернулся к нему спиной, крикнул в глубину комнаты:

— Моя машина пришла! Я заскочу в отделение дороги, оттуда в обком!

Седой не сразу пошел к выходу следом за полковником, а когда вышел, увидел с крыльца серый «Москвич». На втором сиденье рядом с полковником сидел Жус!

В коридоре отделения дороги — запыхавшийся, заправляя на ходу рубаху,— Седой наскочил на тетку, вместо извинения спросил: «Где Мартынов работает?» — и та указала дверь. Дверь была обита дерматином, он дернул — и тут же закрыл ее. В краткий миг он как бы сфотографировал большую комнату с белыми шелковыми шторами, Мартына за столом, полковника и Жуса в кожаных креслах с пуговичками. Седой выскочил из здания, обогнул его. Окна Мартына были заперты — в такую-то жарницу!

Седому, укравшемуся за акацией, были видны хозяин кабинета и гости. Мартын сидел боком к окну, Жус спиной, полковник лицом, что было почти неопасно для Седого: полковник не сводил глаз с Мартына. Говорил полковник — быстро-быстро двигались губы, как у кролика, грызущего морковь, надувались и опадали мясистые отвислые щеки. Время от времени он делал уважительные жесты в сторону Жуса. Шли переговоры о возвращении белой, понимал Седой. Речь полковника в тех местах, где он нажимал на ударные гласные, невнятным рокотом достигала Седого; однажды он услышал, скорее угадал, свое имя.

Мартын глядел сонно, безо всякого внимания к собеседникам. Вялым движением кисти остановил полковника и произнес «нет». Слово было угадано Седым по тому, как вскинулись углы губ. Полковник было начал торопливо перебирать губами, Мартын вновь сказал «нет» так резко, что Седой расслышал. Здесь Мартын снял трубку телефона, уставился взглядом в плоскость стола. Полковник кивнул Жусу на дверь и сделал вращательное движение кистью. Тот поднялся, подобострастно покивал Мартыну, привлекая его внимание, пошел к двери и оттуда покивал с той же подобострастной улыбкой. Седой был ошеломлен. Мартын, этот неприметный человек, вечно

какой-то пришибленный, едва замечаемый в обществе голубятников, обращается с Жусом, как тот с секретарем какого-нибудь Чудика.

Дальнейшее привело Седого в состояние, сходное с оцепенением. Действия полковника — а действовал он нахраписто: перегнулся через стол и шумно говорил в лицо Мартыну, тряс щеками и двойным подбородком — окончились тем, что Мартын дал ему пощечину и указал на дверь. Полковник с обиженным выражением лица пошел к двери — он будто вмиг похудел. Здесь по окрику Мартына он стал, сохраняя на лице выражение обиды, но поза его выражала готовность вернуться и сделать вид, что плюху он не получал. Мартын взял со спинки стула его китель, бросил, и полковник поймал китель, изогнувшись.

Седой кинулся за угол, смотрел, как полковник и Жус садятся в машину, как она побежала по разбитой брусчатке площади. Он не испытывал ненависти к Жусу, не испытывал трепета перед полковником — все было смыто увиденным.

Он приехал к дому у базара, начал рассказывать о происшедшем в кабинете Мартына. Сережа перебил его, подошел к дверям. Ударом ноги открыл ее и выглянул в коридор, а затем увел Седого к окну и заговорил, местами переходя на шепот.

Слухи о поездках Мартына за голубями в Самарканд, Хиву, Москву, его неслышанной цены птица; мгновенное отступление Жуса при упоминании Цыганом имени Мартына; разговоры в городе о тайной, укрытой голубятне Мартына, о капканах и ловушках на подступах к ней, попытка Жуса повлиять на Мартына с помощью полковника — все Сережа соединил, и за этим целым встал образ могущественного человека. Могущественного в своей скрытой от глаз власти, и знали о ней лишь избранные — начальник группы захвата угрозыска, полковник — бывший офицер по особым поручениям при маршале Рокоссовском. Мартын действовал руками других, он знал все, что делается во дворах, знал о разговорах на скамейке в саду. Несомненно, он поручил Цыгану добыть ему белую.

Ребята спустились во двор. Сережа оглянулся:

— Может, кто следит за нами?..

— Нужны мы ему!.. — Седой оглянулся, ему передалось Сережино напряжение. — Пойдем выследим Мартына, может, стырим белую..

— А капканы?

— Откуда у него капканы? — неуверенно возразил Седой.

— Купил в охотничьем магазине. Запросто ногу перешибет.

Седой закричал на Сережу:

— Отдать ему белую, да?.. Ты сорвался бы с крыши насмерть!

Понял?.. Мешок бы с костями!

Сережа вновь оглянулся на свой пустой двор, голый, утоптаный до каменной твердости, переходящий в улицу. По ту ее сторону кипел, ворочался базар.

— Жуса с собой бы позвать, — сказал Сережа. — У него пистолет..

— Жуса? Ты бы видел!.. Жус ему кланялся до дверей, как китаец своему императору.

Сережа стал неуверенно пояснять свою мысль, и Седой понял, что он заговорил о Жусе из веры в какую-то ограничительную силу: есть же кто-то сильнее Мартына, должен быть...

## V

Здание вокзала, амбулатория, перекидной мост, депо, мастерские ПЧ, прочие службы и десятка три жилых железнодорожных домов — одноэтажных, сложенных из тесаного рыжего камня, как бы вдавлен-

ных в землю своей тяжестью — образовывали ансамбль. Поставлено все это было разом в начале века, когда тянули ветку в Среднюю Азию, поставлено добротно; через двадцать лет Седому, главному архитектору города, при перестройке привокзального района придется выслушивать сетования начальника СМУ на прочность здешних построек — их будут долбить и крушить не одну неделю.

Вдоль домов тянулись сараи, уборные с множеством дверей, размеры не уступавшие сараям, мусорные ящики.

Щель между сараями приходилась напротив мартыновского крыльца. Между тем то Седой, то Сережа быстро оглядывались на проходивших вдаль за их спинами людей: вдруг Мартын их засек и сейчас подкрадывается к ним?..

Пустынна была улица — глиняное, в пятнах солонца пространство с кучами мусора и золы в колеях. Седой унял наконец дрожь в руках.

— Он!..

На крыльце стоял Мартын. Он был в своем поношенном мятом кителе, в руке держал хозяйственную сумку. Мартын с неуверенностью раз-другой оглянулся через плечо в темный провал коридора, потянувшись туда своей лошадиной головой: прислушивался. На его старом лице, морщинистом, стянутом подковообразной складкой вокруг рта, как кошелек шнурком, было выражение обиды и одновременно безысходности.

Он побрел направо — к станции, следовательно. Он брел, как старая лошадь, сутулый, штанины болтались на прямых, как палки, ногах, плечевые кости выдвинулись вперед и вверх, китель, весь в складках и ямах, висел на их выступах. Седой вновь пытался унять дрожь в руках, стиснув кулаки. Эта жалкость, заурядность облика Мартына была прикрытием, защитной окраской; но им была известна его тайная, его другая жизнь! Седой переживал чувство, с каким брал в руки лезвие: страшно и сладостно.

— Я за ним! — зашептал Седой. — Ты домой к нему!..

Сережа медлил.

— Ну, гадство, что встал?

— Зачем домой?

— Цыган принес ему белую днем. Может, она еще дома у него? Не успел переправить в голубятню?.. Сцапашь — и деру!..

— А ты за ним? Зачем? Он за хлебом...

Седой толкнул Сережу:

— Ладно, я к нему домой.

Сережа бросился было бежать, но остановился шагах в десяти и жалобно поглядел на Седого. Тот повернулся, чтобы не встретиться глазами с другом, проскользнул в проход между сараем и помойным ящиком и пошел через двор к крыльцу, напевая сиплым голоском:

— Горит в сердцах у нас бутылка с керссином!

Он вошел в квартиру справа — выбрал ее потому, что двери там были полуоткрыты. С порога кухни Седой пушечно, по-мужски откашлялся, сказал твердо:

— Мне товарища Мартынова!

Он держался прямо, развернув плечи, кулаком постукивал в ладонь.

— Кто там еще? — отозвались с досадой.

В кухню вошла женщина. Оглянулась, произнесла со злостью:

— Уехал, значит? — Она поправила обеими руками прическу — волосы у нее были обесцвечены перекисью и завиты, — затем одернула свое крепдешинное платье, так что оно обтянуло ее живот, а бант на груди встал торчком.

— Я пришел за голубкой!

Женщина оборвала его:

— Да, да, скребся тут голубь какой-то... Черт бы вас драл с вашими голубями!

— А куда он ее понес?

— Так вашему брату и скажи! Завтра же обкрадете!— Она в раздражении взяла со стола тарелку, перегнулась через подоконник, вытряхнула остатки каши.— Он думает, я не знаю, куда он ездит!.. А десятник с разъезда проговорился!.. Я тут сижу всю жизнь одна... Таскались в горамах<sup>5</sup>, пески, пыль, окна не открыты в вагончике! Шваль такая, прости господи, белье с веревок таскали!..

Седой выскочил на крыльцо, оглянулся—ни Мартына, ни Сережи, дядька возле мотоцикла, вдали пацанята гонялись за щенком.

Высунулась белая теткина голова, позвала:

— Иди сюда, пацан! А что, и скажу!..— Эта мысль ее развеселила.— Ты придешь, он тебе: как нашел? А ты ему: ваша жена Зоя Петровна сказала... До сорок первого разъезда доедешь. Как сойдешь—барак, путейцы живут. Ты ходом в степь, увидишь брошенные дома. Десятник говорил: недалеко...

Раскатисто-властным окриком она вернула Седого, вновь затрясла опрокинутой тарелкой. На уровне его глаз были выбритые впадины ее подмышек.

— Первым делом скажи ему: место указала ваша жена Зоя Петровна!..

Седой бросился бежать к станции. Он уже видел, как находят дом Мартына. Сережа идет вторым—страхует. Седой врывается во двор. В пристройке кипит птица!.. Сторублевые, загадочные, известные в городе только по рассказам тошкари из Бухары, Самарканда. Седой делает шаг, другой, от ужаса слабеет: со скрежетом срабатывает механизм, гремят колеса. Нельзя, нельзя было наступать на ту доску у входа! Пол опускается, проплыли стены, склизкие, бугристые от ядовитых, выросших без света грибов. Затих скрежет железных колес и цепей. Седой очутился в сырой, холодной яме. Сверху раздался хохот, он взглянул, увидел голову Мартына. Она раскрывала рот, гримасничала, волосы вздувал восходящий из ямы поток воздуха. Что-то упало на Седого, он взглянул: кусок хлеба!..

Из-за ограды амбулатории вышел на Седого Сережа, на лице обычное выражение ленивого спокойствия. Седой выкрикнул в негодовании:

— Упустил, идиот?

— На перроне ошивается, у лавочек. Дяхан с ним какой-то...

— Он белую повез! К себе, туда!

Пуста была плита перрона. По дальнему пути неслышно уходил товарный состав...

— К домам подходим вместе. Как найдем дом Мартына, разделимся.

— Почему?—спросил Сережа. Они сидели на тормозной площадке в хвосте товарняка.— Почему разделимся?

— У него там ловушки расставлены, западни, понял?.. Я пойду первый. Если провалюсь, ты выручаешь.

— Почему ты первый пойдешь?

— Ты ж сильнее. Огреешь Мартына дрючком, меня вытацишь, белую берем—и ходу в степь.

Стукнули колодки, зашипел воздух—проверяли тормоза. Сережа спрыгнул на землю.

<sup>5</sup> Горем — головной ремонтный поезд.

— Я не могу ехать сейчас, Пепе ждет,— сказал он, глядя на Седого снизу.— Давай завтра, с утра...

— Мартына там не будет, ему ж на работу с утра. Мы его сейчас бы врасплох!.. Птица во дворе. Поймаем белую — и деру в степь. Завтра же все на запорах, ловушки! Проводок зацепишь какой. Или наступишь на доску. Вроде просто доска в полу — загремишь в подвал!..

— Я не могу.— Сережа отвел глаза.

Поезд качнулся, покатил. Прошли опоры перекидного моста со строчкой заклепок в жирной копоти, бойчее застучали колеса на стыках. Седой спрыгнул перед выходной стрелкой. Через пустырь от черного цилиндра мастерских бежал к нему Сережа, высоко вскидывая ноги в бурьяне. Приближаясь, он перешел на шаг, глядел, робел. Споткнулся о шейку колесной пары, повалился. Седой подскочил, подал ему руку. Сережа дернул его, повалил, они забарахтались с хохотом, счастливые своим примирением.

— Я только к Пепе! Заскочу!— Сережа хватал воздух распаленным ртом...

Мария Евгеньевна положила им на тарелки по второму пластику омлета с кабачками, полила горячим густым соусом из сметаны и пригоршнями стала сыпать рубленый укроп.

Ни Сережа, ни Седой не возражали против добавки: не задобрят они Марию Евгеньевну, не отделаться от нее. Она собиралась проводить сына на урок к Пепе. Делала она это часто; сегодня же, как было объявлено ею в начале ужина, следует дать Петру Петровичу отставку: «Из-за этой истории...» Подразумевалось, что Сережа не найдет в себе сил передать Пепе решение матери.

Евгений Ильич — он сидел с книгой в своем углу — поворотился лицом к обеденному столу и сказал:

— Машенька, затем Петр Петрович увидит Сережу в классе у Ксении Николаевны и все поймет...

Седой ловил взгляд старика, искал случая сказать, что теперь с Жусом дружбы у него нет. С этой готовой фразой он вошел сюда, однако Евгений Ильич не замечал его.

— И прекрасно, если поймет!— выкрикнула Мария Евгеньевна.

— Получается, мы оцениваем их отношения с Ксенией Николаевной.

— Да, оцениваем! Я не желаю, чтобы педагог моего сына был непорядочным человеком. Единственно что у нас не могут отнять, это права быть порядочными людьми!

Евгений Ильич повернулся лицом в свой угол, и тут Сережа заявил, что он останется в учениках у Пепе. Мария Евгеньевна после паузы, должной выразить всю меру ее отчаяния, начала говорить о непорядочности Петра Петровича: двадцать лет он прожил с Ксенией Николаевной, что она перенесла ради него!.. Речь звучала как заклинание. Сережа отшвырнул приготовленный для Пепе конверт с деньгами, выскочил из комнаты.

Во дворе Мария Евгеньевна хватала сына за руку, пыталась тащить его в дом, умоляла его послушаться, вновь хватала за руку, он вырывался и шел — не вниз по улице, не туда, где в районе станции жил Пепе, а в обход базара, в сторону Оторвановки. Седой плелся за ними в отдалении. В конце концов Мария Евгеньевна отступила от своего решения дать отставку Пепе.

— Пепе во мужик, понял? С Рахманиновым был знаком. Сам пипет музыку. Заварит чефир, всю ночь играет, а потом упадет лицом на клавиши и зарыдает. Мне говорит: будешь писать музыку!

Все это Сережа говорил Седому сердито, даже обозленно, будто Седой убеждал его отказаться от уроков у Пепе. Они вошли в открытый двор. В глубине его под карагачом стоял окнами в огород опрятный домик со свежепобеленными стенами.

От эзерсисов Сережа перешел к пьесе, твердил одно и то же место. В паузах был слышен кашель Пепе; однажды он появился в окне и помаячил недолго — пыхал, раскуривал трубку. Высоко закатанный рукав стягивал мускулистую волосатую руку.

Пять лет спустя в Москве, в комнатке Евгения Ильича, студентом, Седой увидит портрет карандашом, обрадуется волнующей радостью: «Пепе!» Евгений Ильич с улыбкой (и его трогали воспоминания о Пепе, доживающем жизнь в дальнем степном городе) возразит: «Ваня, это автопортрет Врубеля...» Едва ли не на следующий день после визита к Евгению Ильичу Седой получит в подарок от своей девушки том Бунина, кажется первое издание в советское время, и поразится сходству Пепе с Буниным на фотографии, сходству еще больше, чем с Врубелем на автопортрете. Несомненное сходство черт — у Пепе было узкое лицо с крупным сухим носом, худые щеки и птичьи, широко поставленные глаза с нависшей складкой верхнего века — обострялось предстарческой, свойственной мужчинам под пятьдесят худощавостью лица.

Седой вырос в среде, где оренбургский акающий говор мешался с украинской обмоскаленной речью, с говором пензенских мещераков. Полуукраинское произношение русских щеголяло «г» с придыханием, и русский язык в произношении украинцев, казахов, казанских и крымских татар, чечен, волжских и анкерманских немцев коверкался шаткими ударениями. Том Бунина откроет Седому звучную и чистую русскую речь, это открытие совпадет с открытием мира той русской культуры, что хранили столичные музеи, театры с их полногласной мхатовской речью, профессура архитектурного института, семья девушки, подарившей том Бунина, и другие московские семьи, куда он позже станет ходить, обживаясь в Москве. При этом вхождении в мир русской культуры Седой ощутил, что дыхание ее материка, достигавшее его еще в отрочестве в виде детгизовских изданий Пушкина, Лермонтова и Некрасова, в виде воскресных постановок «Театр у микрофона», в большой степени передавалось ему через Евгения Ильича. С чувством досады на себя, с чувством утраты он глядел из московской дали на Пепе, на Ксению Николаевну да и на Евгения Ильича, воображая, как много взял бы от них, будь они его наставниками, проникни он в их мир. Когда ему станет тридцать пять, его близкий друг — очевидно, Седой утомил его выражениями своей преданности памяти Евгения Ильича и Пепе — скажет, что ни Пепе, ни Ксения Николаевна не были могиканами большой столичной культуры: был учитель музыки, недоучка, вероятно, и средняя актриса, которой красота и обаяние заменяли талант; вполне естественно, что речь их, быт и пустота вокруг выделяли их в жизни малокультурного города с сорока пятью тысячами населения, что Седой вообразил их носителями национального самосознания...

Седого раздражали Сережины ошибки, — тот сбивался, — казалось, проскочи он это место, дотяни до конца, Пепе тотчас отпустит его.

Как они в темной степи найдут брошенные дома? — думал Седой. У путейцев не спросишь: люди Мартына.

Между тем пирамиды из кизяка, под которыми сидел Седой, золотисто-зеленые, когда они с Сережей вошли во двор, стали черными, огородная ботва на глазах наливалась синевой, лишь светилась над улицей поднятая стадом пыль. Любопытство, с каким он вначале про-



вожал взглядом тетку, новую жену Пепе,— она шумно двигала вверх-вниз разболтанным рычагом колонки, уносила в огород полные ведра — сменилось нетерпеливым раздражением. Ступня у тётки была перевязана белой тряпицей, видно наколола ногу, когда месила глину или кизяки, она хромала, отчего ее полные бедра раскачивались под широкой юбкой. Седой глядел на нее так, будто и она виновата, что урок затягивается. Разъезд казался далеким, недоступным, и мгновеньями, в приступах малодушия, мелькала у него мысль отступить. Такое чувство возникало, что белая все более обживает в голубятыне Мартына. Тут же Седой умом останавливал себя: голубка злая, не успокоится она, станет рваться.

Выскочил из дома Сережа — как вывалился из поезда на ходу. Седой догнал его:

— Ночевать там собрался? — Увидел его растерянное, жалкое лицо, но по инерции, не в силах остановиться, досказал: — Чего тянул время?

— Ну отдал я ему деньги! — выкрикнул Сережа. Растрепанный, большеголовый, с мясистым тупым носом, он походил на большую собаку. — Тебя это не касается.

Седой понял, что о белой, о преследовании Мартына Сережа не помнил.

— Конверт же у твоей матери остался, — сказал Седой с досадой.

— Ты что, не видел, как она мне его сунула?

— А ты чего разорался? Два часа потеряли из-за него, а он еще орет. Как мы найдем Мартына? Темно уже!..

Они дошли до угла, здесь Седой повернул было, говоря, что по Джамбула к станции ближе. Говорить этого вроде бы не стоило, Сережа и сам знал, что ближе, — Седой успокаивал друга своей интонацией: дескать, что там, ну отдал деньги так отдал. Сережа остановился на углу, буркнул, что по Некрасова ближе. Седой еще мягче повторил: через двор железнодорожной бани они выйдут к путям, а там станцию видать. Сережа не дослушал:

— Неужели ты не понимаешь, что по Некрасова ближе?

Седой догнал, коснулся его руки:

— Подожди!

Пепе стоял у окна, говорил в огород:

— У тебя нога болит!

— Та ни, шо там... — отозвалась жена.

— Кому сказано! — с притворной сердитостью крикнул Пепе.

Жена его тотчас поставила ведро в межу. Она одновременно с Седым подошла к дому и здесь с улыбкой, покорно опустив ясные ласковые глаза, сказала:

— Як скажешь...

— Давай я полью твои помидоры, — поспешно сказал Пепе, он был умилен покорностью жены.

Здесь молодожены наконец увидели Седого.

— Отдайте Сережин конверт, — проговорил Седой.

— Не отдам.

— Он просит, — вызывающе сказал Седой. — Поняли?

— Э, дружище, разве мы тут что поправим?.. Мать в доме деспот — сын слаб характером.

Седой выскочил на улицу: Сережа исчез.

Мария Евгеньевна разведет сына с первой, со второй женой. Однажды Сережа, тогда уже лысый человек с мясистыми щеками, завезет Седого — тот приедет в Москву по делам — куда-то в Свиблово... Там в однокомнатной квартирке их станет угощать водкой и чаем

могучая дама с усиками. Затем Сережа станет звонить Седому в гостиницу утром и вечером, шепотом умолять не проговориться Марии Евгеньевне «о Санечке»: «Никогда, понял? Никогда! А если проговоришься, не показывай маме ту квартиру». Бессмысленно будет твердить, что найти тот дом в Свиблове невозможно и по доброй воле...

Утром Седой, одинокий, обсыпанный угольной крошкой, продрогший, прыгнул с товарняка на сорок первом разезде и побежал в степь, прочь от путевой казармы. На бегу он придерживал карман, где лежало оружие защиты — тяжелая гайка на шнурке.

Брошенный поселок растянулся по горизонту, как бродячее стадо. Вблизи это сходство было еще страшнее: дома со своими камышовыми, обмазанными глиной стенами казались высушенными солнцем существами.

В недрах кладбищенской тишины возник глухой, утробный вой, который достиг ушей Седого. Он достал свое оружие, намотал шнурок на руку.

За пустоглазой коробкой с разломаченными камышовыми стенами стоял целехонький дом, сиял окнами. На крыше дома, на крыше сарая, радуя в этой безжизненности, как радовал бы цветущий город с его плотной, сверкающей росой зеленью, толкались, вертелись, расхаживали голуби, нежились, распустив крылья веерами. Два плёких, невиданно крупных, белогрудых, с угольно-черными пятнами на боках, на краю крыши хлестались крыльями. По очереди наносили резкие щелкающие удары крыльями, разбегались, вертелись, танцуя, стращали друг друга клокотаньем, сходились и хватали друг друга за роскошные чубы.

Седой упал в бурьян. Лежал долго, ждал, высматривал.

Солнце грело сквозь рубашку; стрекот кузнечиков, пенье невидимых жаворонков, скрип сухого бурьяна под ветром — множество чуть слышных звуков степи сплывало в ровный шум. Вой не повторялся. Птицы влетали и вылетали в раскрытую дверь сарая. Может быть, Мартын или кто другой, приставленный сторожить голубей, засек Седого и сейчас злорадно наблюдает за ним? Седой вытянул из бурьяна обломок обруча, швырнул. Шум крыльев пробил человеческий вопль:

— ...а-а-а-то!

В крике были ужас и призыв. Кричала жертва Мартына!.. Он уехал вечером... Покормил голубей, проверил, насторожил ловушки и уехал... А в ловушку попал случайный человек — прохожий ли, шофер...

— Иду! — сказал Седой дрожащим голосом, поднялся, пошел к дому.

Шел он, как ходят по дну с острыми камнями, — чтобы не задеть провода или какой настороженной нити. Воткнув в карманы трясущиеся руки, он пересек вытоптанное пространство перед сараем. Ударом ноги распахнул дверь в сени, отскочил. Его окатило сырым холодом.

Седой сделал шагок, другой, глянул через порог. Под ногами в черной яме погреба полуголый человек протягивал к Седому руки и тянул свое страшное сиплое «сгысс»...

Седой поднянул лестницу, она стояла у сарая. Лестница была тяжелая, выламывала руки. Седой выкрикивал ругательства, грозил Мартыну раскурочить, разгромить, взорвать его гнездо, бодрил, распахивал себя!.. Выступом перекладки лестница зацепилась за порог. Седой нагнулся, с боязнью скосив глаза на человека, мычащего, скачущего там, внизу, — и узнал Мартына!

Он очнулся за домами. Он твердил безотчетно, не слыша себя:  
— Ты хотел меня поймать, да? А сам попался, да?.. Сволочь! Сволочь! Сволочь! Сам попался! Сам, понял?..

Мучило зрелище скачущего человека, лезли, тыкали в глаза его руки, уши были полны его мычаньем.

В слезах Седой бросился к разъезду. Невыносимо было знать о человеке, воюющем в яме по-звериному. Но ведь для него, Седого, была предназначена яма, это он должен был выть и царапать ногтями стенки, а потом упасть лицом в грязь и умереть. Его останки выбросили бы наверх, и там догнивали бы они в бурьяне между кучами мусора и ржавыми частями кроватей.

Так пусть, пусть он сдохнет в своей ловушке, беспощадный, страшный человек!.. Седой пятился, глядя на скелеты домов. Внезапно боковым зрением он увидел человека и, еще не рассмотрев его — человек был далеко, шел от разъезда,— понял: видали его, выслеживали!

Седой бежал и бежал, уже не видя пространства перед собой, воздуху не хватало, боль в подреберье перехватывала дыхание. Нога угодила в сусличью нору. Седого кинуло вбок, он полетел головой вперед, судорожно перебирая ногами и взмахивая руками, будто разгребал воду. Степь то уходила из-под ног — он проваливался,— то круто набегала, так что колени оказывались на уровне груди, когда он вскидывал ноги. Его выбросило на ровное место, ноги разъехались, он повалился ничком, щекой в высыпку гальки, закрыл голову руками...

Услышал скрежет гальки под ногами, открыл глаза, готовясь вскочить, ударить головой, бежать. Увидел перехваченную ремешками сандалий ступню, крестик пластыря на лодыжке.

— Евгений Ильич! — прохрипел Седой. — Евгений Ильич!..

Они еще не успели опустить лестницу, как Мартын, подвывая и раскачиваясь, уже лез наверх. Он вывалился в дверь, забегал по двору. Он хлопал себя руками крест-накрест, он сбросил майку и подставлял солнцу то грудь, то спину и беспрерывно шипел, втягивая воздух, выдыхая его.

Евгений Ильич поймал Мартына за руку, худую, обтянутую гусиной кожей, набросил на него китель, наверхнул одеяло. Тот силился говорить, его трясло, выходило что-то такое: «Тсссешпо»...

Седой искал белую. Обошел сарай, перевернул ящики, через сени прошел в дом. Стены были в трещинах, в дырках от гвоздей; раскладушка, на ней матрас.

На середине комнаты Евгений Ильич накачивал примус, на котором стояла кастрюлька с водой: кипятил чай для Мартына.

Белую и с ним рябого, своего старика, связанных, Седой нашел в недрах заросшего бурьяном двора, в загородке из кольев и обрывков рыбацкой сети.

Рябой то принимался бегать вдоль сетки, то просовывал голову в ячейку сети и с силой упирался лапами. Он был из тех, что и белая, — связанный, пешком, но придет домой. Распалившись, бросился на белую, трепал, та просительно уркала. Рябой сконфуженно моргал и отходил. Белая бежала за ним, прижималась нежно и терлась головкой о его грудь. Миг длилась его растерянность. Он толкал грудью белую — прочь, ничто мне не мило здесь, — вновь пытался протиснуться в щель. Он сломал перья хвоста, насорил в загородке пухом и мелким пером.

Седой освободил рябого от нитяных пут, отпустил. Рябой, не завершив круга, ушел в степь. Седой слегка ослабил связку белой: чего ей мучиться со связанным крылом. С птицей в руках вышел из дому. Предложил Евгению Ильичу уйти с ним.

Евгений Ильич закивал: да, только напоит чаем хозяина. Мартын захрипел: вот ведь, дескать, случай, вчера вечером в потемках переходил из голубятни в дом и угодил в открытый погреб. Если бы не Седой — конец... На разъезде не знали, что хозяин здесь: приехал поздно, в казарме спали.

— Обойдется без чая, — сказал Седой. — Пойдемте отсюда, Евгений Ильич.

Мартын спросил, зачем он взял голубку. Язык его не справлялся со словами. Укутанный в китель и одеяло, он был как тряпичная кукла, из которой высыпались опилки.

— Потому что краденая, — ответил Седой, чувствуя, как от гнева у него расширяются зрачки.

— К-как краденая? — Рука Мартына, вздрагивающая, белая, с синими ногтями, была бессильна удержать отворот одеяла. — Цыг-ган принес, г-говорит, давай деньги... сказал, Седой продает парой. Трояк надбавка за рябого... когда он даром не нужен.

— А то вы не знаете, что голубка краденая? — Седой спросил это издевательски.

Евгений Ильич покачал головой с осуждением. Мартын кротко, с благодарностью взглянул на Евгения Ильича. Предложил взять взамен белой выводного из-под семиреченских тошкаррей. Седой отвернулся. Мартын вернулся из сарая с белой птицей — легкой, с черными выпуклыми глазами, на груди длинные поперечные ряды перьев закручивались в махровую розу. Вынес дымчатую тучную птицу:

— Турман, старинная русская порода... Меняемся?

Седой делал знаки Евгению Ильичу и, когда тот наконец подошел, зашептал:

— Уйдем скорее, скорее!

— Как можно, Ваня, — зашептал в ответ Евгений Ильич. — Его надо домой доставить, он сам не доберется.. Твои страхи...

— Да вы его не знаете! Он притворяется, — в раздражении зашептал Седой, — он хитрит, момент выбирает.

— Ну какой еще момент, что вы там с Сережей вообразили, он сам не свой, — с досадой перебил Евгений Ильич. — Ловушки какие-то, капканы!..

— Тише... — Седой замолк: за спиной Евгения Ильича стоял Мартын, держал кружку обеими руками.

— Три года назад у меня сердце схватило, — заговорил Мартын, будто не слышал их разговора, — на улице ручьи... Голубь сел на подоконник. Я заплакал, не стыдно сказать: хорошо, как в детстве. Был кочегаром в юности, мечтал иметь часы марки «Павел Буре», их только машинистам выдавали... Не получил часов — не жалею. А вот что голубей хороших не завел, как в детстве мечталось... Вышел из больницы — и в Ташкент, Хиву, Москву за голубями. Мечтается, знаете, вывести породу для наших мест, у нас ветра, только сильная птица летает. — Мартын жадно тянул чай, так что кожа обтягивала костистый лоб. — Я денег не жалею, у меня птица первый сорт!.. На праздник не скуются. По службе обгоняют молодые, с дипломами, я все по линии мотаюсь: шпалы, костыли...

Мартын говорил, говорил, он стал красен, в возбуждении хватал Евгения Ильича и Седого однажды схватил за локоть горячими руками. Седой отскочил, вновь указал Евгению Ильичу в сторону разъезда. Но тот не желал замечать его знаков, а пытался остановить болтовню Мартына и увести его, уложить в тени на раскладушку: он верил Мартыну и не верил Седому!.. А Мартын... Мартын не мог отнять белую — сил не было, он тянул время, ждал своих.

— Вы ему верите!.. Будто он не знает, что белая краденая?— сказал Седой.

Мартын услышал, он влез между ними, с готовностью стал повторять свой рассказ — как Цыган пришел к нему в отделение дороги с голубями за пазухой. При этом просил о продаже не проговориться Жусу...

— Жусу?.. Не проговориться? Вы все врете!— выкрикнул Седой, обмирая, зная, что губит себя, но сорвало его, понесло, не остановиться — летит, пропал!..— Все боятся вас. Я видел! Самые страшные люди, которые так, втихую!..

Мартын повернулся к Седому, вывалился из одеяла, тупо, с испугом оглядывался на Евгения Ильича, лепетал:

— Ты чего?.. Ты погоди... Кто боится?..

— Я боюсь! Они!..— выкрикнул Седой, отступая, проваливаясь в полынь как в сугроб и прижимая к груди голубку.— Мой отец!.. Ксения Николаевна!.. Спросите у Евгения Ильича — его дочь боится!

— Меня?— твердил Мартын.— Ты чего, ей-богу!

— Я сам видел!— выкрикнул Седой.— Видел, как Жус перед вами на брюхе!.. Как вы полковника били!

Он знал, что совершил непоправимое, он вконец выдал себя! Бежать, бежать! Он стиснул белую, та задохнулась, захрипела, задергалась в руках. Ненависть, страх рвались из горла обжигающей струей.

— Какой еще полковник? Ничего не понимаю. Стой ты!

— Полковник Пилипенко!— крикнул Седой. Дерганье белой передалось его рукам. Его начало колотить.— В редакции работает!

— Какой он полковник! Брехун.— Мартын заулыбался Евгению Ильичу — вот, дескать, объяснились,— улыбался неуверенно, ждуще.

— Брехун? Он был офицером особых поручений у маршала Рокоссовского!

— Был какой-то Пилипенко у Рокоссовского. Этот врет, будто он и был, его уж вызывали, предупреждали... А мне он племянник.— Мартын обратился к Евгению Ильичу:— Веру Петровну Пилипенко не знаете, в дорпрофсоже работает? Он мать сосет, как глиста. Она десять лет в одной юбке ходит. В отца своего, подлеца, вышел...

— А Жус?— спросил Седой.— Жус, начальник группы захвата угро, тоже ваш племянник?

— Какая группа захвата?.. Он в обьхаэс чего-то там, кладовщиков пугает...

— А чего он к вам приходил вчера?.. С тем... с племянником?

— Клянчили сорок штук шпал, гараж кому-то мухлюют....— Мартын качнул своей костлявой, облепленной редкими волосами головой.— Не называет же себя учеником какого-нибудь ботаника... или там академика по виадукам, нет, полковником, чтоб боялись...— Его голос оборвался: переломившись, Мартын стал валиться и упал бы, не подхвати его Евгений Ильич под мышки.

— Помоги же,— сказал он Седому сердито.

Седой подхватил было Мартына одной рукой, тот оказался тяжел и тянул к земле, и тогда Седой в замешательстве выпустил белую.

Они оттащили Мартына к дому, уложили его под стеной на раскладушке. Седой, вернувшись за белой, нашел ее сидящей на железной бочке в чаще бурьяна. Он вспомнил о расслабленной связке и стал осторожно пробираться сквозь чащу бурьяна.

Белая переменялась, она забыла о путях, к ней вернулась ее злая настороженность. Седой прыгнул, она вспорхнула из-под его растопыренной ладони и, треща стянутым крылом, дотянула до крыши сарая.

Птицы лениво разбежались, волоча крылья. Седой стал сыпать

зерно из высоко поднятой руки. Несколько обжор из тех, в кого уже не лезет, а их глаза завидующие просят, вбежали в сарай. Седой подхватил их, выбросил на крышу и полез туда: надо было спугнуть голубей так, чтобы с ними слетела во двор и белая. Едва он показался на крыше, как белая бросилась вниз и, задев верхи полыни, пронеслась над двором, отчаянно кособоча.

Седой кружил по двору, в бешенстве выкрикивал:

— Кыш! Кыш!

Одни голуби прятались в углу двора, другие взлетали на крышу. Грузный дымка сел на столбик штакетника. Белая свободно кружила над двором: стряхнула нитку с крыла.

Седой поднял мартыновский китель, налетал на птицу, махал.

Появился Мартын. Тощий, пошатываясь, он пытался остановить Седого, волочил одеяло, жалко сипел. Его раскормленные, хрипло дышащие птицы взлетали снопом, шумно пронеслись над головой и, не завершив круга, плюхались в противоположный конец двора и воровато ныряли за сарай. Седой кидался следом за ними, хлестал кителем, летели пыль и перья.

Белая пронеслась над ним, он видел красные мелкие перышки на ее прижатых лапах. Седой побежал, с задранной головой влетел в заросли джиды и в последний миг, закрывая глаза, сквозь путаницу красных колючих веток увидел, как птица исчезает в слепящем солнце.

Костяные иголки порвали ему в кровь лицо и шею. Он, высвобождаясь, припомнил сухую веточку джиды, извлеченную Мартыном из бумажника вместе с сиреневыми купюрами.

Мартын топтался перед дверями сарая, пригоршнями расшвыривал зерно, лопотал:

— Гули, гули...

Его птицы облепили останки соседнего дома: клювы раскрыты, зобы ходили ходуном. Пропавшая была птица, стала сухокрылой от сидения в сарае, оставалось сдать ее в школьный уголок.

Седой уже не справлялся с собой, его трясло, руки дергались.

— Шпалы. Шпалы?— смеялся он.— Сорок штук шпал?

Он слышал, как смех переходит в рыданье. Евгений Ильич подскочил с кружкой воды. Облил ему грудь, когда Седой оттолкнул его руку. Мартын заискивающе бормотал: «Хочешь, подарю белого останкинского голубя? Хочешь?..» — оттеснял Евгения Ильича с кружкой. Седой ткнулся ему носом в клювицу, затих мало-помалу. От шеи Мартына, красной, иссеченной глубокими морщинами, исходил терпкий, чуть кисловатый, как от хлеба, запах пота и табака. Так пахла шея у отца, когда он возвращался из степи. Запах был чужой, но ведь это он, отец, говорил себе Седой и неловко, стесняясь и пересиливая себя, принимал к отцу...

— Ваня,— Евгений Ильич гладил Седого по плечу,— К Сереже приходил мальчик, Юра зовут. Ваши голуби нашлись... Их украли вовсе не те, на кого вы думали.

## VI

Через неделю рябой привел белую. Он гонял ее на посад, как будто голубка была с яйцом. Долбил клювом, гнал на гнездо, а загнав, сидел там в темноте, гукал. На ее ворчливо-нежное воркованье отзывался чуть слышным, с хрипотцой урканьем и совался к ней, как малый голубенок к голубке. Голубка уставала от его навязчивости, вылетала во двор, он гонял ее и там, выгнув шею, ходил вокруг, мел распущенным хвостом, выбрасывал свои голые, обтянутые кольчатой

кожей лапы с уродливыми утолщениями на средних пальцах в виде бородавок: в юности рябой отморозил когти. Белая волновалась, ослабленно раздвоя крыльями, ходила перед рябым. Так легко ступала она своими скрытыми под пером лапками, что лакированные, крохотные, с цветочное семечко, коготки не оставляли следов на песке. Рябой взлетал, набатно бил крыльями. Белая, рванувшись за ним, вставала столбом, била, только треск стоял над двором (какие деньги предлагали за нее!). Рябой складывал крылья лодочкой, кружил. В парении он оказывался ниже линии ее полета, белая ныряла колом под него, тут же взмывала, прочертив линию, со стремительностью стрижа, и рябой пылко бросался за ней.

Однажды Седой с отцом возвращались с рыбалки. Птицы догнали их в степи: две тени скользнули по равнине сухими листьями и упали, как в озеро, в тень облака.

Осенью другого года птицы пропали. Увела ли белая рябого, соколы ли пошибали их в степи, унесло ли их первым бураном?..

Седому, уже студенту, мать написала о каком-то рябенком, что прилетел и живет в пустой голубятне. Седой припомнил, что был рябенкий, молодой еще, с жидкими крыльями, с неокрепшей восковицей носа, в числе птиц, раздаренных перед отъездом.

Был рябенкий, посчитал Седой, пятым поколением от белой и рябого. Затем в каждом письме мать приписывала о рябенком — что кормится он с курами, что хотели его пацаны сачком поймать — прогнала их, что дверь в голубятню заколотила, а прорубила оконце, тут ни кошкам, ни голубятникам не добраться.

В зимней Москве он видел во снах Курмыш, во снах с камнем в руках проходил по дну речки, на середине с бульканьем выпускал затяжку папиросного дыма — был такой трюк у курмышских пацанов; во снах наезжал отец, они втроем вечеряли в летней кухоньке за небубренным столом, слушали, как бубнят голуби, как в степи, красной от закатного солнца, стучит огородный движок; во снах он нырял, опускался на дно речки, ложился на песок и открывал глаза. В ушах перекачивались стеклянные шарики. Он выныривал, нюхал свое плечо, оно пахло тиной, листовным тленом, старой корягой, что лежала у берега. Кружила вода, сбивала вокруг коряги речной мусор, облепила ее гроздьями радужных пузырей. Под корягой неслышно танцевали гибкие рыбы, их тени на гладком песчаном дне сплетались в подвижное кружево.

Стоя у запльвшего льдом окна общежитской комнаты, Седой видел, как рябенкий кружит в чаше летней зари, когда наливается пурпуром западная дуга и первое сияние испускает восточная, кружит над сухими буграми кладбища, где лежит отец. Видел, как составами на полном ходу пятиэтажки рвут сплетения курмышских улиц, тянут за собой ленты асфальта; видел, как он, Седой, сидит на развалинах своего дома: карагач у ворот, сухие кусты веников, глиняный заборчик — все перемолото в мусор.



---

НИКОЛАЙ СТУДЕНИКИН



## МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ

Рассказ

*Николай Студеникин по нынешнему счёту писатель действительно молодой — тридцать два. Он автор нескольких повестей, книги «Невеста скрипача» («Советский писатель», 1976), рассказов, которые печатались в журналах «Аврора» и «Юность». Несмотря на молодость, Студеникин много что повидал, испытал: в пятнадцать лет пошел на завод, работал слесарем-лекальщиком, учился в вечерней школе, окончил философский факультет МГУ. Студеникин — писатель упорный, волевой, трезвый, тягучий в том хорошем смысле, какой этому слову придают спортсмены, то есть выносливый. Вдобавок к этим спортивным качествам он талантлив.*

*Емкость прозы Студеникина обеспечивается тем, что он умеет положиться на наше знакомство с тем же предметом, которым заинтересован; достаточно двух-трех слов — и мы понимаем, что он имеет в виду; радуемся, до чего точно он это знакомое всем охватил, чуть заметно повернул, высветил, обыграл — все за считанные секунды, легко, а знакомый предмет уже открыл перед нами свою новую сущность.*

*Он понимает жизнь и людей и умеет изобразить свое понимание пластично.*

Юрий ТРИФОНОВ.

1

**Ч**асовая и минутная стрелки на всех исправных и заведенных часах сошлись на миг у цифры 12: пятница кончилась, суббота началась. Поздняя и дальняя электричка ломилась сквозь ночь. Андрейка спал, причмокивая во сне. Наташа согрела руку под мышкой и сунула ее в пеленки — сухо. «Звездочка ты моя, — подумала она, готовая разреветься. — Кровиночка моя, родненький!..»

С грохотом раздвинув двери, в вагон вошел франтоватый усач. Он зорким взглядом окинул пассажиров, выбрал одного и, наклонясь, что-то молча показал ему. Кажется, фотографии. Или открытки. Толстяк в соломенной шляпе, с кошелкой взглянул, гулко захохотал, а потом отрицательно затряс складками жирного лица:

— Куда мне они? Что ты, милый, что ты?

Когда усатый фронт ушел в следующий вагон, все так же молча передернув плечами, толстяк вытер уголки глаз платочком и заявил:

— Ну, глухонемые! От дают, черти! И цену написал — два рубля! Их что, не сажают?

— Сажают, сажают, успокойся, — ответил мрачный парень, его сосед, и снова задремал, утонув в поднятом воротнике мохнатого пиджачка.

— А я слышал — нет... — пробормотал толстяк.

Потом в вагон, весело переглядываясь и скаля зубы, вошли два молодых милиционера. Они будили спавших и спрашивали, до какой



остановки те едут. Завидев юных представителей власти, толстяк пошлепал мрачного соседа по колену:

— Мил человек, не спи! Милиция!

— Вижу,— пробурчал парень.— Мне до...

«Ой! Как и мне»,— с легким испугом подумала Наташа: уж очень этот парень был насуплен и небрит — классический бандит с большой дороги.

Следом за милицией в вагон вошли контролеры. Их сопровождал дружинник с повязкой на рукаве. Билетов они проверять не стали, сели в уголок и принялись смеяться над анекдотами, которые рассказывал им дружинник. Храня на лице невозмутимость, он досказал конец одного анекдота шепотом, с оглядкой. Женщина, единственная среди контролеров, шуточно замахнулась на него своей планшеткой. Мужчины захохотали еще пуще.

Вагоны вдруг резко сбавили ход, дернулись и потащились еле-еле, будто электрическую тягу заменили не лошадьми даже, не мохноногими битюгами, а волами, лениво жующими на ходу. Наташа прильнула к темному стеклу и сквозь свое смутное отражение увидела теток в желтых жилетах и платках по брови, медленно проплывающих мимо. Тетки будто монументы стояли на высокой насыпи, опираясь кто на вилы, кто на лопату. Неизвестно на что повешенный, ярко светил фонарь.

— Балласт подбивают,— сообщил дружинник контролерам.— Им сегодня окно давали — днем, с двенадцати, и сейчас, видно. Здесь поменяли два звена, а на сто третьем — стрелочный перевод...

Контролеры понимающе закивали. «Тоже работа тяжелая у людей,— подумала Наташа, заглядывая под кружевца, в сморщенное личико сына.— Ночь-полночь, вставай — ехай! Но на свежем воздухе хоть, не как у нас в литейном... Тебе-то, звездочка, так не придется! Ты-то, звездочка, офицером будешь у меня...»

И, закрыв глаза, Наташа представила себе, как в комнату, в ее комнату, которую она когда-нибудь получит в городе, входит Андрейка сын. Он уже большой, красивый мальчик с аккуратным русым чубчиком на лбу и в черной форме — суворовец. А она сама, Наташа, такая солидная... в черном платье. Наташа почти воочию увидела перед собой портрет актрисы Ермоловой работы художника Серова — вот такой она и будет тогда...

А дружинник, пряча улыбку, настаивал:

— Ну, чем вагон с песком отличается от вагона с младенцами? — Убедившись, что внимание слушателей накалено до предела, он надул щеки и скороговоркой сообщил как о само собой разумеющемся: — Вагон с песком нельзя вилами разгружать!

Никто не засмеялся. Наоборот, заерзали.

— Дурак! — сказала за всех женщина-контролер.

Она глазами показала на Наташу, вздохнула и отвернулась. Дружинник увял, поник. Наташе, которая все прекрасно слышала, обидеться бы на него, но ей отчего-то стало его жалко. Ведь было видно, что он не очень уже молод и не совсем трезв, а повязка дружинника для него — бесплатный проездной билет.

А скорость продолжала оставаться черепашьей. Наташа забеспокоилась: ей предстояло еще ехать на автобусе, а тот мог уйти, не дождавись электрички.

— В Японии, между прочим,— сказал толстяк, ни к кому в особенности не обращаясь,— в Японии поезда носят пятьсот километров в час. Это я понимаю!

— Ну, ты, брат, приврал! — Дружинник воспрянул духом.— Пятьсот не выдержать никакому полотну!

— Нет, я сам лично читал, — заволновался толстяк. — Журнал «Техника — молодежи», я сыну выписал прошлый год. Именно пятьсот, можешь проверить! Между Токио и этим... как его? — Толстяк беспокойно завозился.

— Ты же не в Японии, — осадил его мрачный парень, его сосед. — Не кипятись!

Повеселевший дружинник упер руки в расставленные колени.

— На Октябрьской дороге, если хотите знать, — заявил он с сознанием собственного превосходства, — на самой старой нашей дороге ведутся опыты. И давно. Ну, триста — это я еще допускаю! Но по прямой дороге. — Он ткнул пальцем в толстяка. — По прямой! И триста, а не пятьсот!

— А если монорельс? — возразил кто-то из контролеров.

— Монорельс — да, не возражаю, — сдался дружинник. — Монорельс — совсем другое дело. Ты еще скажи: самолет! А знаете, почему у нас колея шире, чем, допустим, у немцев или во Франции?

— Да знаем, знаем, — отмахнулась женщина-контролер.

«И зачем ему проездной? — по-бабьи жалея дружинника, подумала Наташа. — Он сам железнодорожник, у них билеты бесплатные... Уйдет автобус — до утра ждать! И автостанцию закрыть могут, мерзни тогда...»

Но автобус не ушел, ждал. Когда электричка доплелась наконец до станции и встречающие, до этого кучкой стоявшие под светящимися часами, кинулись к вагонам, ища близких, Наташа с сумкой и спящим Андрейкой на руках заторопилась к автостанции. Как ни спешила она, люди, бежавшие к автобусам налегке, обгоняли ее. А тут еще эти туфли на платформе! Похожие на чудовищные копыта, они принадлежали Катьке, соседке по комнате в общежитии. Размер тот же, но разношены чужой ногой. «Придется стоять... если вообще успею», — поняла Наташа и пошла медленней. Рука, на которой лежал Андрейка, онемела.

— Помогу? — спросили вдруг за плечом.

Наташа вздрогнула и скосила глаза назад. Это был тот самый — мрачный, с поднятым воротником пиджачка. У Наташи ослабли ноги. Спешившие к автобусам были все уже далеко впереди, она видела их спины, дорожка к автостанции узка, а вокруг кусты, тьма, хоть глаз коли... Она молча отдала мрачному свою сумку. Подумала: «И бог с ней! Чего там, кроме дрожей и пеленок?..» К ее удивлению и неуверенной радости, парень не шагнул с сумкой в сторону, во тьму, а донес ее до автобуса.

Всего места в нем были заняты, кое-кто стоял. Войдя в автобус следом за Наташей, мрачный огляделся и приказал длинноволосому прыщавенькому пареньку в ядовито-зеленых брюках:

— Встань!

— А чего? Чего? Протез у тебя, что ли? — заерзал длинноволосый, но парень молча указал на Наташу, и прыщавенький — правда, с явной неохотой — подчинился.

— Спасибо, — сказала Наташа и села.

Мрачный парень поставил сумку у ее все еще подрагивающих ног, и Наташа обнаружила, что воротник его мохнатого, бедного пиджачка опущен, а сам он не так страшен, как ей казалось раньше.

— Может, у нее там и не ребенок вовсе, в этом кульке, а, скажем, соль. Или икра... — обиженно и вроде бы в шутку занял длинноволосый, но мрачный — ему было лет тридцать, а может, и тридцать пять — кратко процедил:

— Цыц!

Из автостанции, пустынной и темной в этот час, вышли, пересмеиваясь, шофер в форменной фуражке и кондукторша в меховой безрукавке, странной летом, но спасавшей ее поясицу от дорожных сквозняков. В автобусе кондукторша трянула сумкой и сказала:

— С электрички все сели? Оплатим, граждане, проезд!

Пассажиры, извлекая деньги, засуетились.

— Там еще одна плетется... бабушка,— после краткой паузы сообщил мрачный.

Подождали и бабушку. Что уж теперь? Она, охая и причитая, влезла в автобус и заняла позицию у передней двери. Ей предложили сесть, но она отказалась, принялась только отдуваться и обмахиваться ладошкой. Андрейка завозился во сне — не открывая глаз, начал сучить ногами. «Свивальничек, видно, распустился,— когда сын больно пнул ее в грудь, подумала Наташа.— О, господи, хоть бы не заорал дорогой!..»

— И за нее тоже,— сказал мрачный кондукторше, подбородком указывая на Наташу.

Кондукторша втиснула сдачу ему в ладонь, а билетов не дала. Мрачный понимающе усмехнулся: какие сейчас контролеры? Поехали! Первой, в панике застучав в переднюю дверцу и в стекло кабины водителя, сошла опоздавшая старушка. Вот она почему не садилась. Ей и ехать-то было всего-ничего. Она долго, словно испытывая чужое терпение, спускалась по трем ступеням.

— Ишь, карга избалованная! Могла бы и пешком дойти! — подавив зевок, сказала кондукторша.

И автобус молча согласился с ней: могла бы!.. Мчались быстро, подпрыгивая на редких пока ухабах. Встречных машин не было. Шофер, сберегая аккумуляторы, погасил в салоне свет. Стали видны убегавшие назад темные домики, освещенные магазины, колодцы с журавлями, деревья, одинокие фонарные столбы...

Кондукторша сошла на половине пути. Обогнув автобус, она, подняв лицо, что-то сказала шоферу. Видно, смешное: шофер, почесав лоб под форменной фуражкой, засмеялся и положил ладонь на рычаг переключения скоростей. Кондукторша — сумку под мышку, перескочила через придорожную канаву и побежала домой — к одинокому освещенному оконцу, а автобус помчался дальше.

Дальше дорога была хуже. Автобус начал подпрыгивать и дребезжать. Будущий суворовец разлепил глазенки и запищал — сначала тихо, а потом... потом... Наташа, не на шутку страдая, виновато оглядывалась вокруг.

— Ничего-ничего! Тут взрослый наместя... — сказала ей женщина, сидевшая спиной к шоферу, и поджала губы.

— Не кормила! Кушать захотел,— тихо пояснила Наташа.

Она пыталась убаюкать сына, но — без успеха.

Мелькнули наконец Старые выселки, и шофер, осадив автобус, будто коня, объявил в микрофон:

— Сверкуново, следующая — Дорофеево! Будет кто выходить? Спящие проснулись, затрясли головами.

— Я... мы,— поднялась Наташа.

Автобус остановился, она вышла. Мрачный подал ей сумку. Дверцы захлопнулись. Глотнув ядовитого дымка, Наташа сказала вслед автобусу:

— Ой, а за билет-то?.. Большое спасибо!

Но рубиновые стоп-сигналы были уже далеко, гул, правда, слышался еще некоторое время. Умолкший было Андрейка снова запищал — да так жалобно, так обиженно и тихо, что Наташа бегом-бегом, оставив сумку у дороги, добралась до первой лавочки у чужого

палисада, села и расстегнула блузку. Андрейка довольно заурчал, а Наташа плакала, держа ладонь горсткой у подбородка, чтобы слезы не падали сыну на лицо.

Все село спало, даже собаки не брехали. У сельпо горел одинокий фонарь. Шуршала листва деревьев, поскрипывала под Наташей расптанная скамейка, и медленно поворачивался над ней усыпанный звездами небесный свод.

Почувствовав, что и вторая ее рука, которой она поддерживала сына снизу, стала мокрой, Наташа смахнула с лица слезы и улыбнулась. Она подумала, что не все в этой жизни так уж мрачно, как ей в последнее время казалось, что на свете вон сколько хороших людей, что встречаются среди них и небритые и что все у нее — ну конечно же! — будет хорошо...

«Ой, простудится же!» — спохватилась она и, бегая пальцами по груди, кое-как застегнула пуговички. Потом встала, крепко прижав к себе мокрого сына, подобрала сумку и заторопилась к родному дому. «С Капитанской дочкой поговорю, — мысли о будущем прыгали в такт шагам, — с мамой, с дядей Федей. Витя приедет... Может, здесь со звездочкой моей останемся, может быть, придумаем что-нибудь еще...»

Наташа остановилась перед милым, маленьким, родным окошком и не в силах побороть волнения постучала в тихонько зазвеневшее стекло. Поползли емкие секунды ожидания. Зацепившись за горшок с цветком-столетником, двинулась занавеска, и мамин такой знакомый голос испуганно спросил:

— Кто там?

— Это мы... Я — Наташа!

## 2

Хотя мать без устали ворчала на дочь и на весь белый свет, субботний день пролетел бездумно и легко, в радостной суете. Он был полон воспоминаний. «А хорошо дома!» — в сотый, может быть, раз думала Наташа. Мать обнаружила вдруг, что в доме нет хлеба, и послала Наташу в магазин, но денег не дала. Вдобавок еще и крикнула с крыльца:

— И поллитру возьми, а лучше две! Федор возвратится, Витя, может, приедет. После семи-то пятерку им отдай и про сдачу не заикнись, а завтра и вовсе хоть на колени перед ими!

— Хорошо, — ответила, оглянувшись, Наташа.

«Проверяет», — подумала она, нисколько этим не огорчась. Да и что ж тут огорчаться-то? Вчера Наташа получила деньги, получку, — вот они, лежат в кошельке. «Хотите уличить меня? Жадная, мол, да? Скупая? — думала она дорогой. — Пожалуйста! Только ничего у вас, дорогие мои, не получится!»

В родном селе на улице — как? С этим поздороваться, тому улыбнуться, с этой перекинуться парой слов, а с той и вовсе остановиться поболтать — Наташино путешествие затянулось. «Хождение за три моря», — подумала она, поглядывая из магазинного окошка на новый желтенький, будто цыпленок, клуб, построенный года четыре назад студенческим строительным отрядом. За клубом белела церковь, строители ее давно истлели в земле, они были безымянны. Большой фанерный щит — Наташа помнила его со школьных лет — аршинными буквами обещал танцы. У застекленного «Окна сатиры» хохотали мальчишки, половина на велосипедах. Молодая продавщица Тоня, бывшая одноклассница брата Вити, сказала загадочное:

— Не огорчайся, с кем не бывает? Тебе две, да? Одну? — Щелкнули костяшки счетов. — Думаешь, хватит? Смотри! Халвы возьми. — подсолнечная, свежая. Мать твоя всегда берет — любит. Сильно она переживает?

Щеки у Наташи порозовели.

— Нет, — сказала она, и голос у нее дрогнул.

— И правильно, — согласилась продавщица. — Сын — механизатор, дочь и вовсе в городе живет, на хорошем месте устроена. Чего ж ей переживать, чего убиваться-то? Подумаешь, делов-то! Раз плюнуть. На танцы придешь сегодня?

— Не знаю... нет, — ответила Наташа.

Она поняла, что речь идет не о ее одиноком материнстве, и успокоилась. А продавщица повторила:

— И правильно! Хоть и оркестр у нас сейчас свой — купили, а все равно скучно. Сопливые одни кругом... — Вздохнула: — То ли дело раньше!

— Тоня!.. — взмолился мужик, который за Наташиной спиной томительно долго звенел мелочью..

— Что?! — взвинтилась продавщица. — Ты мне сначала полтинник долгу верни, а потом тебе будет Тоня! Указчики! Поговорить не дадут! Вот приди ко мне в следующий раз с посудой!..

Мужик залебезил:

— Тонечка, да я ж ничего! Вы разговаривайте себе, разве ж я мешаю?

— Вот и не мешай, — отрезала продавщица.

Мужик угодливо хихикнул, смолк. Чувствуя неловкость, Наташа сказала:

— Ну, пойду я! Мама ждет. Спасибо, Тонечка! Капитанскую дочку не встречаешь, Марью Гавриловну? Повидать бы ее! Как она — жива, нет?

— Жива. А что ей сделается? Сегодня утром была — хлеба взяла, макарон, консервы рыбные. Замечание сделала, что сливочного масла нету. А мне что ж — из себя его давить, что ли? — вспыхнула продавщица. — Не я лимиты спускаю! Что дали, тем и торгую, под прилавком не держу! — И, так же неожиданно угаснув, спросила тихо: — Витя-то придет?

— Не знаю. Должен вроде. Мать говорит — обещал.

— Не хватит если вам — пусть зайдет. Для него найдется. Дома не будет, значит на танцах я. Тянет глянуть. И ты приходи — оркестр все-таки, не под гармошку! — Увидела Катькины туфли, спросила: — Платформы, а? Сколько?

— Пятьдесят, — ответила Наташа, краснея.

И обратный путь из магазина был долог. Наташу останавливали, расспрашивали. Из вежливости и она задавала вопросы. Ей пространно отвечали. У дома, где жила учительница Марья Гавриловна, Наташа замедлила шаг. «Зайти сейчас? — нерешительно подумала она. — Нет, с водкой неудобно... потом, потом».

Коромысло, два зеленых эмалированных ведра — из своей калитки вышла мамина подруга тетя Нюся. Давняя и странная это была дружба! Сколько Наташа себя помнила, Нюся с мамой то ссорились, то мирились, то опять ссорились — шумно, с бранью, с криками на все село. Наташа не знала, каковы отношения подруг сейчас, но на всякий случай сказала:

— Здравствуй, тетя Нюся! Как здоровье?

Загрелись пустые ведра.

— Здоровье мое, деточка, неважное! А ты, значит, мамочке помочь приехала, облегчить? — Сквозь елей в голосе тети Нюси явствен-

но пробилась злорадные, колючие нотки.— Молодец, деточка, молодец! Как мамочка твоя убивалась — волосы на себе рвала! А все он, Фёдка, Халабруй чертов!.

Наташа насторожилась. Халабруем звали на улице дядю Федю, теперешнего маминого мужа, а Наташиного, стало быть, отчима. Оставшись года четыре назад вдовцом, он вдруг попал в середину бабьих интриг, в самый омут. За ним охотились, его обкладывали, как медведя в глухом лесу, и он не выдержал натиска — решил жениться, даже заявил об этом вслух, на людях, в магазине. Многие слышали, разнесли. И дружный доселе отряд вдов раскололся. Все ей ждали, на ком он остановит свой выбор — престарелый жених: вдов в селе было много. Но хитрый Халабруй не спешил. Он блаженствовал, пользуясь передышкой и расколом, и вдовы поняли, что победит та, которая делает решительный шаг первой.

Наташа помнит, как мать в те дни шушукалась с тетей Нюсей. Наташа тогда читала предисловие к роману «Молодая гвардия» — готовилась к выпускному экзамену по литературе, и было ей не до вдовьих интриг. А помолодевшая за последние дни мать после разговора с тетей Нюсей сбегала в магазин и, сунув Наташе — небывалое дело! — три рубля, сказала: «Заучилась совсем! Погуляла бы, что ли? В район съездила...» У Наташи хватило ума не перечить. Она отложила книгу и ушла. Все равно ничего не лезло в голову.

Вернулась домой поздно и несказанно удивилась, обнаружив, что дверь заперта. Никогда такого не было! Она постучала. Через некоторое время в дверь выглянула мать и зашептала, не глядя на Наташу: «Ты в сенцах нынче поспи — тепло! И не шуми ты ради Христа». Что-то поняв и с ходу осудив мать, Наташа согласилась.

Потом она лежала на старом папином столярном верстаке под дырявой крышей, на случайных пыльных тряпках без сна. Деревянный верстак скрипел. Свернувшись под коротким пальто калачиком, Наташа — так казалась ей — перечувствовала все, что, может быть, предстояло испытать ей в будущей, раскрывающейся жизни. В том, что жизнь эта будет необычна и прекрасна, что она будет цепью радостей и удач, не было никаких сомнений. Ее незрелое девичье сердце было полно высокомерия, родная мать казалась ей маленькой и смешной, и под тихие скрипы Наташа заносчиво улыбалась темноте.

Скандал разразился на следующий день после обеда. Тетя Нюся явилась под самые окна, сжимая в побелевших пальцах обломок кирпича. Чего она только не кричала, в каких только грехах не винила маму! Наташа сгорала со стыда. Она была готова убить орущую тетку. А народ посмеивался, собравшись в кучки. «Спектакль», — восторженно сказал кто-то. «Надо Халабрую поллитру ставить, — ответили ему. — Заслужил! Он — главная причина».

Тишину и благообразие на улице восстановил новый поп, отец Николай. Он шел, а вернее шествовал, мирно беседуя с парнем в зеленой вылинявшей форме студенческих строительных отрядов. Парня знали: он работал в селе и прошлым летом, и позапрошлым, был у студентов за начальника. Отец Николай говорил ему, звучно играя голосом: «Я отчасти согласен с митрополитом Александром. Введенский, знаете? Он много спорил на диспутах с Луначарским, диспуты были публичные, посему в миру и известен. Но, повторяю, только отчасти! Второбрачие среди духовных лиц, к примеру, есть акт не только не полезный, но вредный и опасный. А сотрудничество нам необходимо. Пусть неравноплечие, но весы. Припомните войну. Хотя по возрасту вашему... Пока есть паства, быть и пастырю...» Студент на это отвечал: «Но ваше здание — без фундамента, стоит на ложной посылке. Никем еще не доказано, что бог есть. Значит...» «А Анна Каренина есть? — величе-

ственно спросил поп.— А Иван Карамазов?» Вопрос был сложный. Предчувствуя подвох, студент задумался. Он не спешил с ответом.

Тут крик тети Нюси достиг апогея. Он перешел в надрыв, в визг и стал невыносим. О-о! Наташа в отчаянии заткнула уши. У отца Николая дернулась бровь. «Словоблудишь! — загремел он с высоты своего прекрасного роста.— Богохульствуешь!..»

Да, грозен был иерей! И крик оборвался. Тетя Нюся всхлинула, бросила половинку кирпича себе под ноги и пошла прочь, потом побежала. «Спектакль окончен»,— неуверенно объявил кто-то, и все нехотя разошлись. Наташа осталась — куда ж ей было идти от родного дома? Раньше она пряталась за чужие спины, а теперь оказалась на виду. Поп скользнул по ней безразличным взглядом и вернулся к прерванной беседе: «Небытие материальное не запрещает бытия духовного. Есть материальный стол, но есть и духовная идея стола! Она же его причина, образ, понятие, цель. Можно сломать стол, но как разрушить идею?»

Новый поп говорил так красноречиво, так театрально жестикировал, такой был грозный, важный, что Наташа пожалела студента. А студент не сдался, как того ожидала Наташа. Наоборот, сказал с усмешкой: «А что мы, собственно, топчемся? Все, что вы сказали об идеях,— это же чистой воды Платон...» «Да-да, пойдете»,— сказал поп и величественно прошествовал мимо Наташи. Пахло не душным и сладким ладаном, а крепким одеколоном.

«Платон Каратаев, Платон Кречет...» — всплыло из глубин памяти, и Наташа твердо решила: «Буду поступать!» Тогда ей казалось, что нет преграды, которую она бы не смогла преодолеть. Выпускные экзамены она сдавала словно по вдохновению. Ей везло. Учителя только качали головами.

Сдав последний экзамен — химию, Наташа пришла домой и застала там тетю Нюсю. Мать читала ей письма, которые брат Витька писал домой из армии, а Нюся чинно кивала головой. Обе в очках, подруги сидели за столом. «Помирились!.. После всего?» — смятенно подумала Наташа, и даже пятерка по химии перестала радовать ее.

А подруги то ссорились, то мирились. Поэтому сейчас Наташа слушала тетю Нюсю настороженно, не зная, как вести себя и что отвечать. Попадать впросак не хотелось. Нюся между тем перестала причитать и, заглядывая Наташе в глаза, спросила:

— Ты одна приехала или с мужем со своим?

— Одна,— ответила Наташа.

— И правильно, деточка, сделала,— одобрила тетя Нюся.— Мужиков в это дело мешать — бед не оберешься! Ить как иной посмотрит! А то скажет: «Мать у нее такая, значит, и сама хорошая: яблочко от яблони далеко не упадет». Твой-то партийный?

— Да-да,— немного помедлив, с усилием ответила Наташа.

Тетя Нюся вздохнула:

— Вот видишь! — Словно воин на копье, она опиралась на коромысло.— А тут приключение такое неприятное! Вот я твоей мамочке и говорю...

«Да в чем же, наконец, дело-то?!» — чуть было не закричала Наташа, но сдержалась и вместо крика, вздохнув, сказала кротко и тихо:

— Мама ждет. Пойду я, тетя Нюся!

— Иди, деточка.— Нюся громыхнула ведрами.— Не буду пустая тебе дорогу переходить!

Хмурая мать встретила Наташу у порога.

— Тебя за смертью посылать,— сказала она.— Твой проснулся. Не знаю, что и делать с ним. Отвыкла!

Наташа сунула матери сумку с покупками и кинулась к сыну. Наредевшись вдосталь, мокрый Андрейка кряхтел и сучил ножками. Пятки у него были с подушечку Наташиного большого пальца, розовые. Наташа не удержалась и расцеловала их. Потом оглянулась на часы. Ходики с кошкой, нарисованной выше циферблата, показывали половину восьмого. Кошачьи, соединенные с маятником глаза качались с неживым однообразием: туда-сюда, туда-сюда... И, как всегда при взгляде на часы, Наташа на мгновение почувствовала приступ тоски по растраченному времени.

— Когда отнимать-то думаешь? — спросила мать, наблюдая за тем, как Наташа кормит сына грудью.

— Жалко... — чуть слышно ответила Наташа.

Она кормила Андрейку пять раз в день: в семь утра, в одиннадцать, в три, снова в семь, но уже вечера и еще раз в одиннадцать — ближе к ночи. Вчера задержалась с последним кормлением, и вот результат — у Андрейки расстроился желудочек.

— Звездочка ты мой, лапочка беденький...

— Бормочешь ты, как Маня-чепурная, — вздохнула мать.

Сельская дурочка Маня-чепурная заслужила это прозвище потому, что любила краситься-мазаться, наводить красоту. Считала, видно, что так и приличествует городской даме. Страшно было смотреть на ее впалые, натертые вареной свеклой щеки, на брови, размашисто и неточно подрисованные древесным углем. Ее именем в пору Наташиного детства стращали непослушных. Придет, мол, посадит в мешок, отнесет в город, сдаст на мыло!

— А жива она?

— Маня-то? — переспросила мать. — Жива! А что ей делается? Она сто лет проживет. Сроду не работала, горб не гнула. Побирается, никакой заботы! Лечить ее забирали. Думаем — все, конец Мане! Ан нет, вернулась, снова по дворам ходит. У меня кружку унесла, еле отняла потом...

Андрейка, насытившись, засопел и закрыл глазки. Наташа перепеленала его и попросилась, как в детстве:

— Я к Капитанской дочке схожу, мам?

Но мать нежданно заупрямилась:

— Никуда не пойдешь! Вдруг Витя приедет?

— Да я быстро!

— Сказано: не пойдешь!

— Да почему, мам?

Мать помялась и сказала, отведя глаза в сторону:

— Должна я ей! Четвертную аж... — Потом, испытующе посмотрев на дочь, спросила: — У клуба была?

— Нет, я сразу в магазин. Там с Тонькой, Нюсю потом встретила... Тонька на танцы звала!

— Во-во, тебе теперь только на танцы на эти бегать, — язвительно сказала мать. — Танцы-шманцы! Под музыку сначала подрыгались для затравки, а потом в кустики, где потемней...

— Мама! — рыданула Наташа.

— Ох, Наташка, ох, неслушница! Так бы все волосья и повыдергала! Витька со своей живет плохо. Ты... Дали матери хорошую жизнь, успокоили старость ее!

Они заплакали одновременно и плакали отдельно, каждая — о своем, у каждой было о чем поплакать. Потом сошлись, сели рядышком и заревели в обнимку. Обильные, облегчающие слезы примирили их, и мать, глядя Наташу по волосам — тем самым волосам, которые грозилась выдернуть, — спросила:

— Ты ж работаешь! С кем внучок-то мой остается?



— Вахтерши приглядывают. Рубль в день им плачу. У них там комнатка есть, с вещами...

— Тридцатка ж в месяц! — ужаснулась мать.

— В апреле двадцать один рубль вышло, а в мае — меньше, из-за праздников, — сообщила, всхлипнув, Наташа. — А ты как думала? Бесплатно кто ж станет?..

— И водички попить не дадут, хоть искиришься он весь, — уверенно предположила мать.

— Нет, вроде дают, — опровергла ее предположение Наташа. — Я кипяченую в бутылочке оставляю. Прихожу: когда половины нет, когда поменьше... Не на пол же они ее!

## 3

Так их, согласно плачущих, и застали явившиеся домой мужчины — молодой и постарше. Халабруй покашлял в кулак и бросил пустые мешки у порога. Витька, брат и сын, ухмыляясь радостно и удивленно, сообщил:

— На станции встретились. Я насчет пива пошел узнать, автобуса все равно ждать долго, гляжу — он, Федор. Вот так встреча! Те же у фонтана. Ну, один из совхоза «Мир», корешок мой, в армию вместе призывались, подбросил. Километров пятнадцать крюку дал! А, Федор?

Тот буркнул что-то неразборчивое — то ли возразил, то ли согласился. Он и вообще-то был неразговорчив, а тут еще и обиделся слегка: пасынок назвал его непочтительно — просто Федором, без «дяди» и отчества. Одно дело на станции, где они, не найдя пива, выпитого еще утром приезжими грибниками и рыбаками, заменили его бутылкой противного «Солнцедара», или под ветром и пылью, в кузове грузовика, другое — дома, при матери и падчерице! Поэтому он и сказал, обращаясь к жене:

— Хрюшка-то там... возится. Кормила?

Мать охнула и бросилась в сени, подхватив поганое ведро. Халабруй, солидно покашливая, подобрал с полу пыльные мешки и вышел следом. Витька тоже покашлял, удачно передразнивая его, и подмигнул Наташе:

— Рассерчал! А что ж его, «папочкой» величать? Нет, ты подумай, Наташ, — пятнадцать километров! Для друга! А?

Наташа вытерла глаза и улыбнулась.

— Наследника привезла? — спросил Витька, пытаясь проникнуть в комнату.

— Ш-ш, спит, — приложив палец к губам, предупредила Наташа.

— Ну пускай спит, — согласился Витька и сел за стол. — Говорят, они растут во сне. Не слыхала?

Нет, Наташа была с этим не согласна. В детстве, загоняя их с Витькой спать, мать обычно говорила то же самое. А кто из детей не хочет стать взрослым? Но однажды, в ветреный осенний вечер, когда слышно было, как, теряя свое золотое убранство, стонут деревья, Наташа спросила: «А они спят?» «Кто?» — осведомилась мать. «Деревья». «Нет». «Видишь, — рассудительно сказала маленькая Наташа, — они не спят, а растут! И вырастают выше дома!» Мать тогда отмахнулась от дочери, только велела помыть ноги, а Наташе надолго запомнился этот разговор.

Вернулись мать и Халабруй. Он оправдывался:

— ...делов-то всех — четвертинка! Устал, как черт! Мешки-то — попробуй поворочай!

— Надо было сто грамм взять, — наставляла мать.

Халабруй обрадовался:

— Так не наливают теперь! Не прежние времена! Что ж мне, в ресторан за ста граммами идти, да?

Но мать только отмахнулась, начала собирать на стол. Витька, предвкушая, потер ладони — огромные, темные ладони человека, имеющего дело с металлом и землей.

— Лучше бы помыл, — сказала Наташа.

Сказала — и осеклась. Подумала, что брат обидится. Но он засмеялся и встал:

— Правильно, сестричка! Чем вытереть, мать?

— Где рукомойник, там и утирка. Отвык? — ответила та. И Халабрую, с упреком: — Тоже б помыл, хозяин!

Тот молча подчинился. И слышно стало, как они там вдвоем гремят соском рукомойника, как с шумом падает в таз вода и как, что-то сказав отчиму, снова засмеялся Витька.

— Государственную пьете? — спросил он, усаживаясь за стол. — Указа испугались?

Халабруй вопросительно взглянул на мать. Она отставила поднятую было рюмку — мизинец остался оттопыренным, несколько капель упало на клеенку — и всхлинула:

— Оштрафовали нас, сынок! Ить сотню пришлось платить! По людям бегали — занимали!

Наташа охнула. Теперь все стало понятным: и сочувственный тон продавщицы Тони, и многозначительные недомолвки тети Нюси, и испыгующие взгляды других встречных, и почему мать оказалась должна старой учительнице Марье Гавриловне двадцать пять рублей.

— Мало им беды моей, так они позор мой под стекло повесили, — продолжала жаловаться мать. — Неделю уж у клуба висит, людям на смех. Хоть глаз на улицу не кажи! Толстая я там, на картине этой, а я в жизни толстая не была!

Халабруй осторожно кашлянул:

— Может, хватит, мать?

А Наташа вспомнила, что в первый — медовый, да? — месяц их совместной жизни мать и Халабруй, особенно по утрам, называли друг друга ласково и смешно: «дусеня», «дроля». Тогда Наташа, отрываясь от учебников, возмущалась: «И где они только набрались этих слов? А ведь, кажется, пожилые!..» Теперь, повзрослев, она вспомнила об этом с грустью.

— Как дело-то было? — спросил Витька.

Мать призналась, что гнала самогон не только для «внутреннего», так сказать, употребления — Халабруй не то чтобы пил, а любил пропустить стаканчик перед обедом, «для аппетита», — но и поторговывала им. Цена известная: рубль — пол-литра, а круг покупателей был строго ограничен.

— Подспорье все ж, — вздохнула мать. С годами она становилась скуповата.

— Ты давай рассказывай, — напомнил Витька. — Оправдываться в другом месте будешь!

— Да уж оправдывалась, — хлюпнула носом мать. — Чуть глаза перед ними не выплакала...

Далее события развивались так: явился однажды к матери Серега-айнцвай, Витькин ровесник, пьяный, хоть выжимай его. Потребовал бутылку — в долг, конечно, деньги у него бывали редко. По этой причине мать и не дала, пожадничала. «Ах так? — обиделся Серега. — Ну я тебе сделаю!» С тем и ушел, шатаясь.

А через часок-полтора к матери в дом явился Иван Поликарпович, участковый уполномоченный, привел понятых. «Нынче у нас какой лозунг на повестке дня? — спросил он, изымая зеленатовую аптечную

бутыль с самогоном.— «Пьянству — бой!» — вот какой у нас нынче лозунг! А также всемерная борьба с самогоноварением». Он сел писать бумагу. Понятые подписали ее, подписала и мать — а куда денешься? Аппарата участковый не нашел, а мать все боялась, что Нюся — она была в понятых и знала, где этот аппарат спрятан, — вспомнит старую обиду и проболтается. Но Нюся отводила глаза в сторону и молчала.

На прощанье участковый сказал матери: «Здорово не вой, не конец света! Ну, оштрафуют тебя. И ты умней будешь, и другим наука! Распустились, понимаешь...» Сунул розовую, сложенную вчетверо бумагу в планшет и ушел, стуча начищенными ботиночками. Мать действительно оштрафовали.

— Ведь сто рублей! — пережив все это заново, воскликнула она. — Деньги-то какие!

Мать не рассказала, что Иван Поликарпович заходил к ней еще два раза. Первый раз пришел через полчаса после обыска, уже без понятых, один. Мать как раз металась по дому — перепрятывала аппарат. Нюся-то знала, где он. «В глаза не сказала, за глаза может! Язык без костей», — рассудила мать. А когда участковый спросил с порога: «Можно? Карандаш у тебя забыл!» — она обомлела. Еще бы, ведь на самом виду, на столе, лежала улика, да какая! Змеевик! Суд, позор, тюрьма — все так и поплыло перед глазами! «Нет, вижу я, тебе не поумнеть, — сказал участковый, брезгливо отодвигая затейливо изогнутую трубку. — Что ж мне теперь — опять за понятыми идти, а?» Мать залилась в три ручья! Иван Поликарпович посопел-посопел и ушел. И неясным осталось, вернется он или нет. В тот вечер он не вернулся.

Во второй раз он пришел много позже, когда известен стал размер штрафа, который своей властью наложил на мать начальник районного отдела милиции. Он отказался войти в дом и, потоптавшись, сказал: «М-да, ударили тебя! Кто ж знал? Ну, рублей двадцать — тридцать. А то — все сто! Деньги-то есть?» — «Собрали! Внесли уж», — всхлипнула мать. «А то мог бы дать взаймы», — сказал Иван Поликарпович и закрыл за собой калитку.

— ...Наташа вот дрожжей принесла, — с сомнением в голосе сказала мать. — Затеять опять? Для себя только, немножко? Ох, не знаю я, ничего не знаю! Начальник так и сказал мне: «Еще раз попадетесь, поймаем за руку, передаю дело в суд». Молодой, а строгий! С ромбом. Ведь посадить может!

— Ну тогда не затевай, — сказал Витька и ударил по столу ребром ладони.

— Да, а дрожжи? — возразила мать.

— Пироги пеки!

Не очень веселое получилось у них застолье. Спас положение Халабруй. Выпив, он разговорился. Начал в лицах очень смешно и очень похоже изображать покупателей-горожан, с которыми сталкивался сегодня утром на рынке.

— Товарищ, — сюсюкал он, сложив губы куриной гузкой. — Почему же так дорого, товарищ? В магазине дешевле... Что из того, что вы работали? Мы тоже работаем... В конторе? Почему в конторе?.. Ах, да вы грубиян, товарищ! Не вам рассуждать, много или мало у нас в городе контор!

Витька покатывался со смеху.

А Халабруй серьезно сказал:

— Конечно, есть и хорошие. Которые понимают. Он, к примеру, на заводе, у станка, а мы — у земли, как и отцы наши. Друг друга мы не обидим, я так понимаю! Я, когда МТС еще были, тоже профсоюзный билет имел, рабочим считался...

Разбуженный шумом, проснулся Андрейка. Витька, усиленно стараясь не шуметь и потому задевая по пути все подряд, зашел взглянуть на племянника.

— Маленький какой! — удивился он, простая душа.

— Ничего, вырастет, — ответила за Наташу и внука мать. — Своих рожать надо было, тогда б знал, какие они на свет являются! Ты-то у меня еще меньше был. Семи месяцев родился, недоносок...

— Но-но-но! — Витька побагровел и смутился. — Ты полегче!

— Раз говорю — значит было, — отрезала мать. — В квашне держали, а выходили! Нюся на пекарне тогда работала, с хлебом-то в те поры было как?..

Витька засопел и, пригнувшись, чтобы не стукнуться лбом о при-толоку, вышел из полутемной комнаты на свет, к Халабрую. Разлил остаток водки — себе и ему. Они выпили.

— Телевизор поглядим? — нерешительно сказал Халабруй и подошел к громоздкому ящику с маленьким экраном.

Телевизор был старенький, звук у него — хриплый, а изображение, и без того бледненькое и расплывчатое, пряталось за белыми мельтешащими точками, и похоже было, что там, за экраном, шел снег, крупный, как в театре. Халабруй виновато покашлял и сказал:

— Алексия, попа старого, племянник приезжал хоронить. Из самой из Москвы! — Халабруй поднял палец. — Доктор телевизионных наук. И не то чтобы, скажем, чинить, а новые выдумывает. Ба-альшой человек! Хоть и неудобно, а я к нему подошел, спросил. «Новый, — говорит, — вам надо купить. Ваш морально старый стал. Вроде детекторного приемника. Вот вам и все решение проблемы». Так ведь не получается — новый-то! И штраф этот...

— Все! — Витька шлепнул ладонью по столу и поднялся. — Осенью куплю вам новый. Решено и подписано!

— Твоими бы устами... — с сомнением сказала мать.

«Может, долг за нее отдать?» — подумала Наташа. Она прикинула, сколько денег осталось в кошельке. Рублей десять она могла оставить матери, а больше — никак. Не получалось. Сама-то она могла перебиться, а вот Андрейка... И Наташа решила: «С Витей поговорю. Сложимся, а завтра отнесу Капитанской дочке...»

Когда ходики с кошачьими неутомимыми глазами показывали без нескольких минут десять, в окошко постучали. Мать отодвинула занавеску, всмотрелась, щурясь, и махнула рукой:

— Заходи!

Вошла продавщица Тоня. Алчно покосилась на туфли на платформе, стоявшие у порога, сказала:

— Здравствуйте все! — И — Наташе, с обидой и упреком: — Что же ты не сказала-то? Я дома жду, жду!..

— Мне показалось, хватит, — смутилась Наташа.

— А в чем дело? — осведомился Витька.

— Да вот, Витя, — заторопилась Тоня, теребя приколотую к платью брошку, — сказала ей, сестричке твоей, чтоб ты зашел, если вам не хватит, а она, видишь, забывчивая какая...

— Ну не знала я! — виновато воскликнула Наташа. — Не додумалась!

— Ладно, сейчас сходим, — сказал Витька, набрасывая на плечи пиджак.

Мать встрепенулась:

— Куда это?

— На кудыкину гору, — был ответ. — Или я арестованный?

— Ох, окрутит она его, — сказала мать, когда Витька и Тоня вышли. — Как пить дать окрутит!

— А и пусть,— отозвался Халабруй, безуспешно вращая ручки телевизора.— Там не получилось, здесь, может, выйдет что! Детей-то, слава богу, нету!

Мать не стала возражать — поправила занавеску на окне, задышала тяжело. А Витька с Тоней вышли за калитку, в теплую, стремительно сгущающуюся тьму. Оглядев безлюдную улицу, Витька обнял Тоню за плечи. Она сбоку заглянула в его лицо:

— На танцы пойдем? — и торопливо отстегнула брошку.

— Зачем? — удивился Витька.

— У нее края острые — рубашку порвешь,— пояснила Тоня и вдруг порывисто обняла его за шею.— Витенька, солнышко ты мое! Соскучилась-то я как!..

Мимо по самой середине улицы, выставив напоказ наручные часы, прошли три девочки с самодельными прическами, одна — на высоких, подламывающихся каблуках. Они шествовали медленно и чинно, но замечая, что сзади плетется орава мальчишек. Один из этой юной поросли свистнул, чтобы привлечь внимание девчонок, а второй, в белой рубашке, петушиным голосом запел:

Суббота, суббота,  
Хороший вечерок!..

Девчонки на миг потеряли чопорность: прыснули и оглянулись. Та, которая на каблуках, чтоб не упасть, схватилась за руки подружек.

## 4

— Занесли? — спросила мать о подушках и перине.

— Ну,— коротко ответил Халабруй.

— А теперь — обедать,— распорядилась мать.

Сначала пообедали взрослые. Водки на столе не было. Витька сидел хмурый, ел мало; Халабруй, по обыкновению, молчал. Зато уж мать говорила, говорила, говорила... Наташа, чтобы не слышать, как мать без устали бранит брата, считала про себя — от единицы до ста и снова от единицы.

Потом Наташа кормила Андрейку.

— Бесстыжие твои глаза,— бубнила за занавеской мать.— Кобель! Пал Николаич узнает, что будем делать?

Павел Николаевич — это Витькин тесть. Некогда он был видным в районе человеком, номенклатурным работником: директорствовал на кирпичном заводике, был председателем райпотребсоюза. Но это в прошлом. А теперь Павел Николаевич получал пенсию, возился на приусадебном участке — выращивал какие-то особенные цветы и раннюю, крупную, лишенную запаха клубнику. Наташе однажды попал в руки номер областной газеты. Заметка, помещенная в «Уголке садово-вода», была подписана: П. Н. Анучин, персональный пенсионер. «Родственничек! Андрейке ягодки не прислал!» — возмутилась тогда Наташа, забыв на миг, что сын ее еще слишком мал и что на личике у него то и дело появляются пятна диатеза, который, старухи говорят, хорошо лечить дегтем, да где его теперь добыть, деготь-то?

— Хватит, мама! — срывающимся голосом крикнула она сейчас.— Дался тебе твой Пал Николаич! Пусть Витя делает как знает! Тоня — хороший человек!

То, что у Витьки что-то есть с продавщицей Тоней, было для Наташи новостью. Она узнала об этом только сегодня утром. Оказывается, Витька не явился ночевать. Мать больше всего взбесило то, что Витькины шашни прикрыты ее именем. «Сказал, небось, что к матери едет, а люди и поверили,— кипятилась она.— А сам — к любовнице!

От живой жены! Поеду вот, Пал Николаичу все выложу! Пусть с ними решает как хочет. Останусь чистая перед ним...» «Ну будет тебе, хватит», — урезонивал ее Халабруй. Наташу же меньше удивила новость, а больше то, что о Лиде, Витькиной жене, не было сказано ни слова. «Пал Николаич, — думала она. — Пал Николаич! Дочь родную заслонил твой Пал Николаич».

— А ты молчи! — Разъяренная мать влетела в комнату, едва не сорвав ситцевую занавеску с двери. — Тебе слова нету! Все у тебя хорошие! Ивана твоего Ветрова такая ж Тонька увела! И-эх, фефела! Всю жизнь одна мыкаться будешь из-за характера своего! Тьфу! — Мать в сердцах и правда плюнула на пол.

«Иван Ветров? Какой Иван Ветров?.. Неправда!» — хотелось крикнуть Наташе, но она поняла, что в грубых и обидных словах матери есть изрядная доля истины, промолчала. Что они понимают все? Что они могут понять? И главным для Наташи сейчас стало — сдержаться, не заплакать.

А мать, растерев плевков пяткой и внезапно сменив гнев на милость, наклонилась над внуком и мирно, как ни в чем не бывало спросила:

— Спать положишь, да?

Наташа отвела глаза, молча кивнула. Говорить не было сил, и Наташа поняла, что никогда и ни за что она не вернется домой. Никогда и ни за что! Домой, как и в прошлое, возврата нет. «Иван Ветров! Сочетание-то какое... жеребиное, — думала она, уперев невидящий взгляд в стену. — И каждый день она Иваном этим меня бить будет! Без отдыха. Каждый день!..»

— Мух надо выгнать, — сказала мать, задергивая оконные занавески. — Ну, бери рушник, чего стала? И кашу из черемухи я варила, и липучки вешала, и этот в блюдах мочила — как его, «мухомор»? — ничего на них не действует, ничего не помогает! Заговоренные они, что ли?..

Наташа послушно схватила полотенце.

— Маши! — приказала мать.

Однажды в детстве Наташа спросила у нее, откуда берутся мухи. Пчелы собирают мед, осы тоже, но их мед есть нельзя, он ядовитый. Бабочки объедают капусту, майские жуки шуршат у мальчишек в спичечных коробках, комары кусаются. А мухи? Даже кусаться толком не умеют, противные — и все. Особенно когда залетит со двора большая, навозная, начнет биться об оконное стекло...

Мать была в добром настроении. Она рассказала, что жил давным-давно один человек, он выпил и уснул под кустом, а был он почему-то голый — «нагий», сказала мать, — тут подошел его сын и стал показывать на пьяного отца пальцем, глумиться. Смех разбудил отца, и тот, продрав глаза, проклял сына, имя которому было — Хам. Потому и появились мухи. «Вот в родительском проклятии какая сила!» — настаивательно заключила мать. «Как в атомной бомбе или сильнее?» — спросила Наташа. «И-и, бестолочь» — был ответ.

Вспомнив об этом, Наташа перестала размахивать полотенцем.

— Мам, — спросила она, — а ты меня не проклянешь, мам?

— Чего? — И мать остановилась на полувзмахе. — Совсем сдурела? Вас, идолов, клясть — слов не хватит! Одного весь день вразумляю, а ему хоть кол на голове теши! Вон дрыхнет!

Наташа выглянула на кухню. Витька прямо на пол бросил старый Халабруев полушубок и уснул, разбросав руки и ноги. Он тихонько посапывал и выводил носом жалобные рулады. Сказалась, видно, бессонная-то ночка!

— И ты поспи, — неожиданно предложила мать.

— Нет. Постирать надо Андрейке, — ответила Наташа.

— Ложись! Сама сделаю заодно. Тонька мне порошок иранского на дом принесла. А мне, дура старой, и невдомек, откуда такая милость! Ох и стирает хорошо! А пены-то, пены! Аж голубая. Глянешь — пиво! — Мать поглядела на свои руки, вздохнула. — Что ж это дальше будет, как все повернется-то? Ума не приложу...

Мать была горда тем, что породнилась с Павлом Николаевичем. Как же, большой начальник. Говорила соседкам, хвасталась: «Витька-то мой, а? Первую в районе невесту отхватил!..» Первую или нет — вопрос сложный, но свадьба была громкая. День здесь, вроде репетиции, два там, у невестиных родителей. Гостей было много, чванлые. А невеста Наташе не понравилась — жеманная, с первого дня принялась помыкать мужем: «Виктор, сделай то. Виктор, принеси это».

— Они разведутся теперь? — спросила Наташа, расправив снятое платье и вешая его на спинку стула.

Приятно было босой топтаться по нагретому солнцем полу.

— Не знаю я, ничего не знаю, — сказала мать. — За развод пятьдесят рублей платить! А кому? Ему, Витеньке! Кому ж еще? Выделят они ему чего из нажитого, а? Шиш с маком, а больше не жди от них. Порог покажут — и до свиданья, зятек дорогой! А уж он-то, как муравей, — все в дом, все в дом! Наживал, стремился, работал-то как!.. А вышел пшик! Опять без порток. Ладно, спи!

И Наташа уснула, подложив ладошки под щеку и тихонечко застав от наслаждения. Ей снились легкие, беззаботные сны. Повинна в этом была большая, знакомая с детства подушка. Без наволочки, в красном напернике она пахла вкусно и душно — недаром мать с утра жарила подушки и перину на солнышке во дворе, поставив Наташу возле — гонять кур.

## 5

...Наташа открыла глаза и вслушалась. Мужской голос тихо, но ужасно напористо проговорил за окном:

— Разбуди! Надо выяснить одно дело!

«Кто там?» Наташа торопливо натянула платье и босая, едва не наступив на Витькину ногу в сбившемся черном носке, через кухню, сенцы, мимо темного пахучего закута, где астматически пыхтел и похрюкивал поросенок, выскочила на крыльцо.

На заборе сохли Андрейкины пеленки; в корыте бесшумно лопались перламутровые мыльные пузыри. У окна, в тени, где высоко тянули головы желтенькие золотые шары, в жаркой форменной фуражке с полыхающим околышем и позолоченной кокардой — гербом страны — переминался Иван Поликарпович, участковый. Сияли его ботиночки, маленькие, как у подростка.

Участковый тихо требовал, упираясь в мать глазами:

— Разбуди! Кто ж это днем спит? Поговорить надо! Ведь не пьяный он, нет?

— Что ты! Господь с тобой! — уверила его мать. — Разве б я допустила?.. Да что случилось-то? — заметно волнуясь, спросила она. — Набедокурил? Айнцвая отлушил, что ли? Матери-то родной скажи, не прячь!

— Тут похитрей история! С применением технических средств, — вздохнул Иван Поликарпович и, обнажив голову с сырыми от пота серыми волосами, помахал фуражкой как веером.

Наташа торопливо одернула платье.

— Разбуди, — покосилась на нее мать, но Витька, всклоксченный и недовольный, сам показался за спиной сестры.

— Чего зудите? — Он зевнул, потянулся и потер глаза кулаками. — Здорово, Иван Поликарпыч! Как жизнь?

— Помаленьку, Витя, спасибо, — ответил участковый. — А врачи после обеда спать запрещают. Не слышал? Холестерин, а потом и того... склероз! Учти!

— Учту, — пообещал Витька и, почесывая спину, пошел в дальний угол двора.

Участковый терпеливо и безмолвно подождал, пока он вернется, пока напьется, подняв ведро и расплескав половину воды на грудь, и лишь тогда спросил, таинственно понизив голос:

— Чем открывал-то?..

Мать и Наташа непонимающе переглянулись. Тревога овладела обеими. Что он натворил ночью, их сын и брат?

— Подручными средствами, — ответил Витька. Он-то знал, он-то сразу догадался, что именно интересуется участкового. — Знаешь, Иван Поликарпыч, есть штатные средства, а есть подручные! Штатных-то не было при себе...

— Знаю, — ответил участковый. — Я в армии, Витя, тоже немножко послужил. Семь годочков! Два ранения имею. Через Днепр, между прочим, на подручных переправлялся. Штатных не было при себе...

Витька, поняв, что переборщил, опустил голову.

— Не обижайся, Поликарпыч! К слову пришлось!

— Да хоть ты, идол деревянный, скажи, чего натворил? — запричитала мать, едва не плача, и кулаком ударила Витьку по спине. — Неужели ж Пал Николаич... его рука?

— Погоди шуметь, — остановил ее участковый. — А зря ты, Витя, тратил силу и смекалку. Сегодня утром все окошко поменяли, вышел срок!

— И вешать не надо было, — сказал Витька.

— А указ? — напомнил участковый. — Указ от двадцатого июня прошлого года. Незнаком? — Он надел фуражку. — Пройдемся! Могу ознакомить!

— А что? Пошли, — расхрабрился Витька.

Но мать схватила его за руку:

— Никуда ты не пойдешь!

— Тогда пускай в другом месте почитает, — неожиданно согласился участковый. — А еще лучше, если бы вы его всей семьей, вслух! С карандашиком. Очень было бы полезно!

— Насчет пьянства, а? — прозорливо предположила мать.

— Вот-вот, — насмешливо подтвердил участковый. — А также насчет изготовления, хранения, сбыта и покупки. Арака, — участковый начал загибать пальцы, — чача, тутовая водка, самогон наш свекольно-сахарный, это само собой...

— Тутовая? — удивился Витька. — Нет, тутовой не пробовал, не довелось!

— А Серегу не троны! — Низкорослый участковый вдруг посуровел. — Он тоже оштрафован, с него хватит! Не веришь? Вот хоть мать спроси.

— Оштрафовали, — фыркнула мать. — Его на десятку, а меня на сто рублей!

Витька улыбнулся, застегнул мокрую рубаху на груди.

— Значит, и его? Не знал, не знал!..

Вчера они с Тонькой долго гуляли по селу, выбирая проулки потемнее, — ждали, пока заснут Тонькины старики. Когда очутились у клуба, окруженного, будто облаком, ревом оркестра, и остановились



у «Окна сатиры», Витька долго разглядывал толстую тетку, нарисованную в обнимку с граенной бутылью. Мать узнать в ней было трудно. Под карикатурой имелись стихи:

Я нагнала самогона  
И собралась продавать,  
Но милиции советской  
Не положено зевать.  
Меня за руку поймали,  
На сто рублей оштрафовали.

Тоня осторожно потянула его за рукав: «Пойдем, Витенька, они уснули уже». «Погоди,— ответил Витька.— Железочки никакой нет?» Тоня вытащила из волос шпильку. Открыть замочек, на который были заперты створки «Окна сатиры», оказалось плевым, секундным делом. Витька ногтем поддел кнопки и свернул гремящий лист в трубу. «Пошли, Витенька! Вдруг увидят?» — «Погоди! А запереть?» Ну, запереть оказалось еще проще.

— Значит, договорились насчет Сереги? — собираясь уйти, спросил участковый. За этим-то он, собственно, и приходил.— Когда домой думаешь?

— Ладно, договорились,— согласился Витька.— Нужен он мне... А ведь в школу вместе ходили, в один класс. Домой, спрашиваешь? Так вот он, Иван Поликарпыч, дом-то мой, дедово строение! Назад жить скоро приеду. Назятевался, хватит. Не возражаешь?

— А что мне возражать? По какой такой причине? Ты человек свободный. Приезжай. Без работы не останешься. И у Тоньки должность хорошая, и сама она ничего!

Витька вылупил глаза. Вид у него был такой потешный, что Наташа отвернулась, прикусив, чтобы не засмеяться, губу.

— Ну Поликарпыч,— выдохнул наконец Витька.— Ну жук! Скажи, чего ты не знаешь? Ведь в курсе всех окрестных дел, это надо же! Вроде Нюси. А, Наташ?

— Куда ж денешься? Должность такая,— ответил участковый.— Так я на тебя надеюсь в смысле Сережки. Смотри! Счастливо оставаться! — И, прикоснувшись к лакированному козырьку фуражки, маленький участковый выкатился за калитку.

Мать проводила его глазами.

— А ну вас всех! — сказала она, порываясь уйти, но Витька преградил ей дорогу и, ухмыляясь, сообщил:

— Ты куда? Ругаешься, слова не даешь сказать поперек, а я тебе подарочек приготовил!

Продолжая ухмыляться, он из-за стрехи сарая вытащил измятую бумажную трубу. С нее клочьями свисала серая паутина; изнутри посыпалась какая-то труха. Мать вырвала бумагу из рук сына — развернуть не позволила. На ходу разрывая лист на части, она подбежала к печке-временке, на которой грелся бак с водой, и сунула обрывки в топку.

— Вить,— сказала Наташа, отвернувшись.— Давай за маму долг отдадим, Вить! Капитанской дочке, а? Поможем. Я б сама, да у меня таких денег нету!

— А у меня... Постой! — Витька запустил руку в карман брюк и вытащил скомканные бумажки.— Сколько там? Не хватит, так я у Тоньки возьму. Даст, не откажет!

Но денег хватило. Пересчитав их, Наташа крикнула:

— Мам, я к Капитанской дочке схожу! Посмотрите тут, если Андрейка проснется!

Мать повернула к ней пылающее лицо, кинула щепкой в белого петуха, ответила:

— Не ходи! Ни к дочке, ни к внучке! Сказано вчера было!

— Ну чего орешь весь день? — вступился за сестру Витька. — Не с той ноги встала? Пусть сходит, не запрещай! Я за пацаном погляжу. Наташка за тебя долги раздать хочет, а ты глотку дерешь!

Мать, не обернувшись, буркнула:

— Иди! Ходите где хотите, делайте что знаете! — И с силой захлопнула чугунную дверцу тонки.

## 6

Помыв ноги и обувшись, Наташа поправила волосы, глядясь как в зеркало в оконное стекло. «Нет, не останусь я тут, — думала она, шагая к дому, где жила старая учительница Марья Гавриловна. — Если мать родная клюет, то другие-то как будут?..»

Да, грудной сын связал Наташу по рукам и ногам. А ведь его могло и не быть. Сколько ночей без сна провела Наташа, решая, появится ли он на свет или упадет в страшный окровавленный таз, так и не успев стать человеком. Отец-то его оказался подлецом. Это доктор Демидова Екатерина Степановна сказала про него так. Она сказала тогда: «Разве ребенок виноват в том, что его папа подлец? Не он выбирал себе родителей. Материнство — это счастье! Женщины, которые его липены, годами лечатся. И не всегда успешно. Годами, вы понимаете? У вас первая беременность, и я не советую вам, самым настоятельным образом не советую! Она может оказаться и последней, а впереди у вас — жизнь...» В тот день все и решилось: Наташа вышла из кабинета врача без соответствующего направления. А ведь за ним-то и явилась. И отправилась она не в больницу, а, погуляв по улицам, домой, в общежитие.

Да и потом, конечно, были сомнения и слезы — ого, сколько сомнений и слез! Но сроки миновали. Делать что-либо было поздно. Ребенку во второй раз была дарована жизнь. Ох и доставалось же его спасительнице, доктору Екатерине Степановне, — Наташа то благодарила ее пылко, то осыпала проклятиями.

А потом родился сын — с криком и болью явился на свет, и на руку ему надели резиновую бирку с номером. Имя Наташа выбрала ему поздней. И еще одна обязанность была у нее, печальная — выбрать ему отчество. Андрейка, звездочка ее, Андрей Викторович, ел, урча, пачкал пеленки, спал, кричал, кряхтел — рос, и чужие бабушки, вахтерши из заводского общежития, поили его кипяченой водой из бутылочки с делениями...

Войдя во двор, она постучала в окошко.

— А бабушки нет, — сообщил ей высокий и серьезный мальчик в очках, выйдя на крыльцо с паяльником и отверткой. — Она в библиотеке.

— В школьной? Спасибо.

«Бабушка... Она же бездетная, Капитанская дочка! Дальний какой-нибудь...» — подходя к школе, предположила Наташа. Мимо, отвернувшись, торопливо прошмыгнул Сережка-айнцвай. Сделал вид, что не заметил Наташу. Мало ли, мол, вас тут ходит? «Сто рублей — это, конечно, очень много, — подумала она, входя в школу. — Но надо же когда-то кончать! И я дура: с дрожжами-то...» Школа готовилась к ремонту. В длинном коридоре одна на другой громоздились парты. Библиотека находилась на втором этаже. Толкнув дверь с расколотой стеклянной табличкой, Наташа вдохнула пропахший пылью воздух.

— Здравствуйте, Марья Гавриловна, — сказала она.

Капитанская дочка захлопнула книгу.

— А, Наташенька! Здравствуй, дорогая! Рада тебя видеть. Вот во-

жусь, хочу составить каталог. Все ужасно запущено, перепутано, иных книг вообще нет! Я ведь библиотекарь теперь.

— А как же литература? — спросила Наташа. — Литературу разве не преподаете теперь?

— Нет, — вздохнула Капитанская дочка, поблескивая очками. — Для старших классов нужно высшее образование, порядок теперь таков, а у меня только, как ты знаешь, учительский институт. И возраст, Наташа, возраст!

Возраст, однако, не помешал Марье Гавриловне поступить на заочное отделение педагогического института. Девочка из приемной комиссии, принимавшая у абитуриентов документы, удивленно глянула на нее и, одернув коротенькую юбочку, побежала к своему начальнику — ответственному секретарю приемной комиссии. Тот пришел, почесывая пальцем под очками. «М-м, — сказал он, разглядывая Марью Гавриловну с неприкрытым любопытством. — Заочное — без ограничения возраста. Так в правилах. Не имеем права препятствовать. Вы на пенсии?» «Нет, работаю, — ответила Марья Гавриловна. — Сейчас библиотекарь, а раньше — русский язык и литература. Вела и старшие классы — в сельской школе». «М-м, — повторил ответственный секретарь, листая ее бумаги. Характеристика, подписанная директором школы, парторгом и председателем местного комитета, кончалась словами: «Выдана для представления по месту требования». — Ваша администрация не знает, стало быть, о ваших намерениях?» «Нет. Пока нет. Понимаете, я боялась лишних разговоров, — заторопилась Марья Гавриловна, прижимая руки к груди. — Ведь могли не так истолковать. Вы не подумайте, что это прихоть, что старуха выжила из ума! У меня много времени свободного, ведь я одинока, а фонд у нас небольшой — около семи тысяч томов...» «Да что вы? — замахал руками ответственный секретарь. — Поверьте, мы уважаем ваши стремления... У вас ведь учительский институт, да? Можно зачислить без экзаменов».

Но Марья Гавриловна пожелала сдать экзамены. Она боялась, что, воспользовавшись льготой, займет чужое место. Сдала удачно. Последним был иностранный язык — немецкий. «Экзаменационный лист я оставляю у себя, — сказала преподавательница, поставив Марье Гавриловне «хорошо» и размашисто подписавшись. — Поздравляю вас!...»

Ей выдали зачетную книжку и студенческий билет; почтальонша начала приносить ей объемистые пакеты с контрольными заданиями и методическими разработками, к которым Марья Гавриловна относилась с тем трепетом, с которым верующие относятся к священному писанию. Не было на заочном отделении студентки аккуратнее и старательнее, чем она. Каждую контрольную работу она переписывала дважды, а потом перепечатывала на школьной пишущей машинке; копии подшивались в скоросшиватель. Училась она с увлечением, жадно поглощала скучные книги. Это была вторая молодость. Зимой, в начале февраля, она успешно сдала свою первую экзаменационную сессию. Ее зачетка украсилась надписями: «зачтено», «отлично», «отлично»... К вниманию студентов, которые собирались толпами, чтобы поглазеть на нее, она притерпелась.

Приближалась летняя сессия, и уже пришел вызов на нее, заверенный гербовой печатью института. Марья Гавриловна колебалась, предъявить его директору школы для оформления и оплаты или воздержаться. Зимой она это сделать не решилась и ездила в областной город за свой счет — взяла отпуск без содержания. А теперь ее грызли сомнения. Жена директора школы была словесницей и работала на двух ставках — полторы и еще полставки по совместительству. Как

бы они не подумали, что она, Марья Гавриловна, на что-то претендует...

Переложив с места на место черную «Античную литературу», Марья Гавриловна спросила:

— Наташа, ты учишься?

Та зарделась:

— Нет! Я на заводе сейчас, вы же знаете. И, Марья Гавриловна, у меня ведь ребенок!

— Все равно.— Марья Гавриловна покачала головой.— Тебе обязательно нужно учиться. Какие сочинения ты писала!.. «Образ Катерины», я помню. Ты молода, а учеба так расширяет горизонты! Нельзя в наш век оставаться неграмотной...

«Неграмотной? У меня же десятилетка!» — хотела воскликнуть Наташа, а Марья Гавриловна продолжала:

— Тебе придется воспитывать ребенка, а как ты будешь формировать его мировоззрение?

«Мировоззрение,— горько подумала Наташа.— Непонятно, как мы со звездочкой будем дальше жить, а она про мировоззрение! Ничего-то она не понимает...»

— Расскажи, как живешь,— продолжала Марья Гавриловна.

И Наташа, вместо того чтобы пересказать привычную версию о муже-капитане, который служит в дальнем гарнизоне, куда ей, Наташе, нельзя из-за климата, вдруг заплакала, села и, всхлипывая так, будто получила двойку, рассказала Капитанской дочке все как есть... почти все.

Рассказала о том, что хотела сделать аборт, многие опытные девочки советовали, но врач из консультации, Демидова Екатерина Алексеевна, молодая и душевная женщина, отговорила ее... Интересно, а у самой Демидовой есть дети?

О том, как тяжело и трудно было рожать — двенадцать швов, это вам не шутка! — и как и обидно и горько было потом лежать в палате и слышать, как внизу, под окнами, вызывая жен, орут чужие счастливые мужья. Один даже полез на второй этаж по водосточной трубе и долез бы, наверное, до окон, если б не вышла пожилая сестра и не пристыдила его.

Другим — каждый день букеты и передачи, а к Наташе один раз пришла подруга Катя, сейчас они живут вместе, в одной комнате общежития, а в другой — какая-то незнакомая девица из заводского комитета комсомола, передала апельсины и книгу Серафимовича «Железный поток» — подарочная, огромная, с цветными иллюстрациями. Апельсины Наташе было нельзя, потому что у Андрейки с первых дней появился диатез, мучающий его и посегодня. Забирать Наташу в день выписки из родильного дома никто не пришел, и до общежития она добиралась сама с Андрейкой, завернутым в чужое стеганое одеяльце, на руках...

Она не посмела рассказать Марье Гавриловне о том, что еще в родильном доме подумала, а не отдать ли сына в Дом ребенка — есть, оказывается, и такой. Она ни с кем не поделилась этими планами и хорошо сделала, что не поделилась: одна, лежавшая в соседней палате, тоже первородка и одиночка, лишь заикнулась об этом, и женщины, соседки по палате, едва не отлупили ее. Ругались они, будто пьяные мужики на улице в праздник! Сбежавшиеся на шум сестры едва утихомирили их, едва растащили...

И уж тем более Наташа не посмела рассказать старой учительнице, какие страшные мысли посещают ее иногда, особенно по ночам. При свете дня их нельзя и вспомнить без содрогания...

— Он же маленький, ему не объяснишь,— говорила она, утирая слезы.— Заплачет ночью, а соседки в стену стучат, да как зло! Хорошо хоть, что у нас комната теперь угловая. Катька вскалывает, глаза злющие. «Да уйми ты его!» — кричит. Лучшая подруга, а чувствую — разорвать готова!..

Председатель цехкома, выписывая ей «помощь» — пятнадцать рублей,— сказал, не отрывая глаз от бумаг: «Гуляете, а мы помогай! Будь моя воля — копейки не дал бы!» Какой-то человек в галстуке, не из цеха, сидевший, развалясь, в кабинете, насмешливо пропел первые слова арии из «Фауста» прямо ей в лицо: «Мой совет: до обрученья не целуй его!..»

У него получилось «целуй», и это было особенно обидно. Наташа крикнула тогда: «Да не нужны мне ваши деньги! Подавитесь!..» Но за нее вступился старик Умихин, бригадир обрубщиков, весь осыпанный окалиной, словно пеплом. Он сунул ей в руки заявление — тетрадный лист с резолюцией председателя цехкома и, бормоча примирительно: «Ты иди давай, иди получай, не обращай внимания!» — вытолкнул ее из кабинета.

Наташа слышала, как Умихин кричал за закрытой дверью: «Зажрался ты, дорогой! Над людьми смеяться — это как называется? Эх ты, блюститель нравов! Алименты не ты платишь? Я по-омню! Погоди, дай срок! Да я на первом же партсобрании...» Потом стало слышно, как виновато забубнил председатель цехкома. «Ага! — обрадовалась Наташа.— Испугался? Так и надо тебе!» Она прибавила к пятнадцати полученным рублям еще пять и купила на них Андрейке коляску — по объявлению, подержанную, но еще в приличном состоянии...

— Марья Гавриловна, скажите честно, вы меня осуждаете? — робко спросила Наташа, косясь на блеклого Льва Толстого, который хмуро взирал на них с наклонно повешенного портрета.

— Но ведь ты любила его? — спросила Марья Гавриловна, перекладывая книги из стопки в стопку.

Наташа промолчала. Это и без слов было ясно. Еще бы! Особенно потом, когда... «Иван Ветров! — подумала она, вспомнив мать.— И никакой он не Иван Ветров! Его Владимиром зовут, если хотите знать!..» И Наташа пожалела вдруг, что ее Андрейка в свидетельстве о рождении записан не Владимировичем, а Викторовичем — по имени дяди. «Может быть, можно исправить?» — с надеждой предположила она.

— Как я могу тебя осуждать? — Старая учительница заговорила взволнованно и сердито.— Я тоже женщина, старая, одинокая женщина. Всех близких теперь — один внучатый племянник, но он ведь совсем еще мальчишка. Сейчас гостит у меня, весь день гитару терзает, спотыкается на каждой ноте. В вокально-инструментальный ансамбль — вот куда ему захотелось... Боже мой, и у меня ведь тоже могли бы быть дети, внуки! Но их нет, и виновата в этом я, одна я, а вовсе не обстоятельство. Мы, женщины, порой всю жизнь ищем человека, которому можем подарить свою любовь, отдать все. Что из того, что ты ошиблась в нем? Никогда не смей этого стыдиться! Да я тебе... я тебе завидую, если хочешь знать!

Пожилая, худенькая, рано увядшая женщина так разгорячилась, так размахалась руками, что Наташа невольно улыбнулась сквозь слезы. Она сказала, расстегивая кошелек:

— А я вам долг принесла!

Зашелестели деньги.

— Долг? Какой долг? А-а, твоей мамы!.. Она очень переживает, я знаю. Но это, ты прости меня, заслуженная кара! Пьянство — это такой бич! И особенно страдаем мы, женщины... — Говоря это, Капитан

ская дочка решила, что отдаст директору школы институтский вызов — пусть удивляются вкупе с женой, бог с ними! — и получит деньги. Она предложила Наташе: — Оставь эти деньги себе, хорошо? Купи что-нибудь сыну. Будем считать, что с твоей мамой мы в расчете! Как ты его назвала?

— Андрейкой... Нет, Марья Гавриловна, я так не могу!

— Хорошо. Тогда мы сделаем по-другому. Я скоро буду в городе, и долго, зайду к тебе, и мы рассчитаемся. Продиктуй мне свой адрес, как проехать... — Марья Гавриловна взялась за карандаш.

Наташа сказала ей адрес общежития. О том, что она собирается уйти оттуда, уволиться с завода, Наташа старой учительнице не сказала. Та ведь спросит: куда? Что ответить? А деньги пришлось бы Наташе сейчас как нельзя кстати. И, сделав небольшое усилие над собой, Наташа решила взять их. «Я ей пришлю... потом», — подумала она.

Еще немного поговорив об одноклассниках — кто из них сейчас где, — они распрощались. Наташа спустилась по знакомой, но почему-то сузившейся лестнице, прошла мимо нагромождения парт, заглянула мимоходом в пустой класс, увидела покрытую меловыми разводами доску, плакатик «Правописание безударных гласных», серый от старости и пыли, и на учительском столе, который одиноко стоял у окна, увядший цветок в бутылке от молока.

Наискосок от школы на улице, окруженная мальчишками-велосипедистами, топталась Маня-чепурная. Пыль, словно серые носки, покрывала ее босые, темные от загара и грязи ноги. Велосипеды были с моторчиками и без. Пахло бензином. Маня вдруг хлопнула себя по тощим бедрам и пронзительно заголосила:

Я еще молодая девчонка,  
Но душе моей тысяча лет...

Наверное, кто-то для потехи поднес ей стаканчик. Развеселилась. «Конечно, бич», — вздохнула Наташа и, низко опустив голову, чтобы не видеть страшного лица состарившейся дурочки, прошла мимо.

## 7

Нужно было сложить в сумку пеленки. Вжикнула «молния». Увидев промаслившийся сверток, Наташа вспомнила: халва. «Два дня лежит, а мама любит», — подумала она. — И как это я забыла?» В комнату заглянул Витька.

— Готова, Наташк? — спросил он.

— Да, — ответила она. — Сейчас!

Халабруй взглянул на свои прямоугольные — память о войне, трофей, часы казались игрушечными на его темном, цвета глины запястье — и сказал:

— Успеете! Еще времени — полчаса.

— Тогда покурим. — И Витька, зевая, вышел.

Эту ночь он провел дома. Мать ругалась, плакала, чуть на колени перед ним не встала, будто перед иконой, — уговорила. Когда Наташа, вернувшись от Капитанской дочки, стала собираться на вечерний автобус, Витька предложил ей: «Ты ж во вторую? Давай завтра поедем, утром! Народу сейчас — задавят запросто». Наташа подумала и согласилась. И вот оно настало, утро.

Наташа отнесла халву в кухню на стол, положила рядом с красивой коробкой от детского питания. Тотчас оживились мухи, и Наташа закрыла сверток газетой. Газета встала домиком. Наташа прочла заголовок: «Сельская жизнь». Ее-то сельская жизнь кончилась, по-видимому, навсегда. Раньше она немножко кичилась паспортом и городским

житьем. Ей казалось, что асфальт, по которому она ходит в областном центре, делает ее важнее, значительней тех людей, которые живут в селах и деревнях и ходят по траве или дорожной пыли, в пудру разбитой колесами грузовиков и мотоциклов. Приезжая домой, к матери, она любила повторять: «У нас в городе!..» Мать недоверчиво хмыкала, а Халабруй молча кивал-кивал да вдруг и ляпал: «Ага, знаю! У вас там всё, как в Москве. Только дома пониже и грязь пожиже».

Сейчас матери дома не было. Раню утром, едва успел прокричать белый мамин петушок, в окошко постучал бригадир, и мать после недолгих, но бурных препирательств ушла с ним — на работу. «Понедельник!..» — сквозь сон сообразила Наташа. Халабруй остался дома. Он всё утро топтался вокруг чужих взрослых детей, покашливал и глядел на стрелки своих прямоугольных часов.

Когда Витька вышел покурить, Халабруй вдруг сказал:

— Ты, дочка, того... Невмоготу станет — приезжай! Побрешут и отстанут, дело такое. А пацану все ж легче будет — бабка тут, дед... Она ворчит, а ты не обращай внимания.

Он впервые назвал Наташу дочкой, а себя дедом. Наташа вдруг подумала! «Остаться?..» — и снова вихрь сомнений закружил ее, будто ветер осенью палый листик.

— Вот, возьми... — Халабруй, бормоча, стал совать ей в руки какой-то сверток. — В любой сберкассе...

Наташа отстранилась.

— Что это?

— Облигации... старые... Их сейчас выкупают, я в газете читал. В любую сберкассу зайдешь, и сразу...

— Что вы! Я не возьму!

— Не обижай, возьми. У нас все есть, а тебе пригодятся.

Наташа взяла, сказала нерешительно:

— Спасибо...

— Вот и ладно, вот и хорошо.

Вернулся Витька, спросил:

— Пошли?

— Присядьте на дорожку, — предложил Халабруй.

— Вот еще китайские церемонии... — проворчал Витька, однако сел на табурет и несколько секунд просидел молча, уперев руки в широко расставленные колени.

Встали. Халабруй, опередив Наташу, взял сверток с Андрейкой на руки, локтем подтолкнул Витьку и глазами указал на сумку. Тот не сразу, но понял. Пришлось Наташе навесить на дверь замок, сунуть ключ Халабрую в карман и идти налегке. Халабруй нес Андрейку бережно, что-то шептал ему в кружева — неуклюжее, ласковое. «Своих-то не было никогда», — с жалостью сообразила Наташа. Витька подмигнул ей. Он размахивал ее сумкой так, что Наташа перепугалась:

— Воду прольешь... смотри!

Мимо с тяпкой на плече — из-под платка одни глаза — торопливо пробежала тетя Нюся. Буркнула, отворотив лицо:

— Здравьете!

— Здорово-здорово, — один за троих ответил Витька. — Соперница, а, Федь?

Халабруй на это даже не улыбнулся. Впереди, пыля, катил нагруженный грузовик. За ним во все лопатки бежали двое мальчишек. Один догнал машину, прицепился к ее заднему борту, повис, полез, а второй отстал, перешел с бега на шаг, остановился и побрел назад, разочарованно махнув рукой.

— Ага, — весело воскликнул Витька, — зелен виноград!

На этот раз улыбнулись и Наташа и Халабруй. Кашлянув, он сказал, виновато косясь на Наташу:

— В город покатали, не иначе. Мешки с картошкой! Вот баб с утра и послали — насыпать. Могли б тебя в город подбросить. Да кто ж знал?..

— Чего ж теперь? Да и радости-то — в кузове болтаться! — Витька сплюнул в траву. — Какой-нибудь хмырь в кабине засел вроде Агафьины, дулом его оттуда не достанешь. А чтоб женщине место уступить...

Из проулка, который вел к длинным и приземистым фермам, вывернулась вдруг Светка Чеснокова. В резиновых сапогах и мужских брюках с кнопками, крутобедрая — она, будто солдат, размахивала руками. Увидев Наташу, расцвела, заулыбалась:

— А, вон кто к нам приехал! — И крепко, словно медведь из цирка или борец классического стиля, обланила Наташу. — Что ж не зашла проведать? Ну как ты, что?

— В городе... К маме на денек приезжала, теперь назад, — ответила Наташа, с удовольствием вдыхая запах парного молока, пробивавшийся сквозь аромат каких-то духов, которыми Светка явно злоупотребляла.

Сначала Светка училась на класс старше Наташи, но в восьмом осталась на второй год, и им с Наташей довелось просидеть год за одной партой, за которой Светка едва помещалась. После обязательного восьмого класса, получив свидетельство, Светка вообще оставила школу — пошла работать на ферму в колхоз.

— Наташк, гляди, на автобус опоздаем! — предупредила Витька, взглянув на Халабруеву руку с часами.

— Что ж не зашла? — Светка снова упрекнула Наташу. — Зналась, а? Горожанка! Поговорили б... Учти, в следующий раз не прощу. И мужа привези — показать. Не тобою, не бойся! Куда своего деть, не знаю. Как твой маленький — растет?

«Тьфу-тьфу три раза», — суеверно подумала Наташа, но вслух сказала:

— Спасибо, ничего... А твой?

— А чего им? — Светка просияла. — Растут! Такие неугомонные, обеих бабок заездили совсем!.. Ладно, двигайтесь. Я и сама-то на минуточку прибежала — их проведать!

Они расцеловались на прощанье, и Наташа вспомнила, как много лет назад, весной, едва с полей сошел снег и чуть подсохло, на дальнем выгоне поставили «электропастуха» — техническую новинку: огородили выгон новенькой оградой из оголенных, под током проводов. Брат Витька — он ждал тогда призыва в армию, работал в бригаде, а по вечерам ездил в райцентр на какие-то курсы ДОСААФ, — первым прикоснувшись к проводу, отошел к трансформатору, который возвышался над выгоном на липких свежешкуренных столбах, подул на пальцы и объявил спокойно: «Вольт мало, а бьет сильно! Троньте! Ага! Это вам не батарейки лизать!» В памяти у Наташи тут же всплыл кисленький приятный вкус, который появлялся во рту, если кончиком языка прикоснуться, будто к мороженому, к контактам батарейки для карманного фонаря, и тихонько засмеялась. Вот дура-то была!

Но и у других сбежавшихся настроение было праздничное. Может, виной тому была весна? Мальчишки с ходу выдумали себе забаву — с гиканьем и посвистом начали прыгать через провода, как их предки некогда прыгали через костры в вечер праздника Ивана Купалы. Напуганное, отощавшее за долгую зиму стадо сбилось в дальнем углу выгона. Витька, который на уроках физики в школе обычно молчал или ляпал такое, что у учительницы уши вяли, гладил свежешкуру-



ренный столб, к которому дипла ладонь, и степенно рассуждал об устройстве трансформаторов. «Монтер! — шаловливо крикнула ему будущая продавщица Тонька. — Монтер, штаны протер, новые надел, а те...»

Закончить она не успела: кто-то из мальчишек помоложе, кажется Митя Бабушкин из Старых выселок, подкравшись сзади, толкнул Тоньку, большую уже тогда, заневестившуюся, а заодно и Светку Чеснокову и Наташу прямо на голые провода. Их здорово трягнуло. Наташа взвизгнула, а Светка, потирая ушибленную коленку, спросила: «Что ж, и коров так, да?!» В глазах у нее стояли слезы. Разъяренная Тонька погналась за обидчиком, оскальзываясь на мокром и схватив с земли добрую хворостину. А Витька обнял столб и хохотал, хохотал...

Ток, впрочем, скоро выключили, ограду сняли. Модернизировать древнюю профессию на сей раз не удалось: коровы — рогатые, бестолковые — слишком часто натыкались на провода, удои, и без того по весеннему времени не слишком высокие, упали еще ниже, очевидно, от коровьего недоумения и испуга перед неведомой, страшной силой, бьющей по ногам куда большей, чем привычный кнут пастуха. Сматывая длинный провод в кольцо, дядя Федя Халабруй — кто знал тогда, что он станет близким им человеком? — сказал загадочное: «Факир был пьян, и фокус не удался». А Светкины большие глаза, полные недоумения и слез, запомнились Наташе, как хорошие стихи:

Счастливы тем, что целовал я женщин,  
Мял цветы, валялся на траве  
И зверье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове.

— «Знак Почета» за телят дали, зимой ездила получать, — сказал Халабруй, когда Светка ушагала, размахивая, будто солдат, руками. — Работает девка хорошо!.. Коляска у них двуспальная. Как вывезут — широкая, автомобиль! Или бегунки, на каких до войны начальство ездило.

— Да, Наташк, ты отстала, — подхватил, похохатывая, Витька. — Нехорошо! Фамилию позоришь! В следующий раз давай сразу трех, обскачи подругу. Был я раз в городе на бегах. Рубль выиграл, а мог десятку! Как-нибудь еще съезжу... Тоже орденки на грудь схватишь — как его? — «Мать героиню»!

— Ты своих сначала заведи, — сердито ответила Наташа. — Рассуждаешь... Давай, дядь Федь, я сама понесу!

Халабруй безропотно передал ей Андрейку. Подошли к остановке. Автобус, как всегда, запаздывал. И было не совсем удобно топтаться под бурой буквой «А», нарисованной на погнутом жестяном листе, встречаться взглядами с любопытными прохожими, отвечать на вопросы. Витька насвистывал и, приложив ладонь козырьком ко лбу, с видом полководца оглядывал горизонт. Халабруй часто подносил к глазам часы. Все они томилась и, когда автобус наконец подкатил, почувствовали заметное облегчение. Верно говорят: долгие провода — лишние слезы! К счастью, в автобусе были еще свободные места. Наташа села на нагретое солнцем место и, помахав Халабрую на прощанье рукой, заглянула под кружево. Сухой Андрейка спал, личико его было страдальчески сморщено. Наташа вздохнула.

— Сверкуновским привет! — рявкнул водитель автобуса в хриплый микрофон, и ситцевая занавеска, которая скрывала его от глаз пассажиров, зашевелилась.

— А, Санек, ты? Здорово! — тем временем громко, на весь автобус, гаркнул Витька.

Пассажиры вздрогнули. Ну и глотка! Вот кому микрофон был бы совершенно ни к чему. А он сразу загордился, братец, грудь коле-

сом! С превосходством оглядел едущих. Словом, как в песне: «Шофер автобуса — мой лучший друг!» Наташа поморщилась:

— Тише, разбудишь!

Проехали Старые выселки, где когда-то жил Митя Бабушкин, Тонькин обидчик. Где он теперь? Мелькнули заколоченные досками окна. Какая-то старуха опускала журавель колодца.

Повернули. Солнце теперь светило прямо в лоб автобуса. Шофер протянул руку за темными очками. К Наташе и Витьке подошла кондукторша — губы покрашены, сумка на животе.

— Сам заплачу, — сказал Витька и вместе с мелочью и какими-то потертыми бумажками вытащил из кармана женскую брошку. Увидев ее у себя на ладони, хмыкнул и поскреб в затылке. — Счас.. минутку...

Кондукторша ждала, губы сердечком.

— Катя! — позвал ее водитель в микрофон и, когда кондукторша подошла, что-то сказал ей уже без микрофона.

Она было заупрямилась:

— Да, а если контролеры войдут?

— На мою ответственность, — последовал громкий ответ, и Наташа поняла, что они поедут без билетов.

— Тонькина, — смущенно пояснил Витька, вертя поблескивающую брошку-звездочку в толстых пальцах. — Дела! Подумает еще, что потеряла. — И бережно спрятал брошку под пиджак, сунул в карман своей кофтойки.

— Сверкуновский! — сказал шофер в микрофон. — Слышь? Иди, расскажешь что почем!

Витька поднялся и вперевалочку, хватаясь за ручки на спинках сидений, потому что автобус снова поворачивал и сохранить равновесие было трудно, двинулся вперед. Его место тотчас заняли — какой-то дяденька, спасаясь от солнца, которое стало бить в автобус с другой стороны, пересел туда, где тень. Наташа постеснялась сказать ему, что место занято. Да он и сам видел! А Витька до самой автостанции болтал со знакомым шофером, скалил зубы.

У автостанции рядом с разномастными автобусами стоял и грузовик с кузовом, набитым мешками, — тот самый, за которым гнались мальчишки в Сверкунове. Его кабина была пуста. У заднего борта топтался Серега-айнцвай.

Наташа вспомнила, что странное это прозвище Серега заработал еще в детстве. Когда босоногие мальчишки играли в войну — а во что ж еще могут играть мальчишки? — Серегу как самого слабого и безответного заставляли обычно изображать фашиста. Его убивали, брали в плен, а иногда, разгорячась, и лупили по-настоящему, до крови... С тех пор прозвище и прилипло к нему.

Заметив брата и сестру, Серега засуетился, стал поспешно натягивать какие-то веревки, перевязывать узлы. Один узел показался ему слишком тугим, и Серега, дурак такой, потянулся к нему зубами. «Ой, хоть бы Витя его не увидал!» — с беспокойством подумала Наташа и, чтобы отвлечь брата, спросила:

— Витя, а что это там такое?

«Там» — это в стороне, противоположной Сереге, конечно. Но хитрость не удалась.

— А? Где? Что? — Витька покрутил головой и, конечно же, увидел Серегу-айнцвая. Лениво проговорил: — Эге, а вот и он, моего сердца чемпион!

Серега замер, оставив злосчастный узел в покое. С вытянутой тонкой шеей он показался Наташе таким маленьким, таким жалким, что она дернула брата за рукав:

— Не трогай его, Витя! Не трожь, я тебя очень прошу!

— Нет, погоди! — Витька отмахнулся и Сереге: — А ну-ка, голубок, иди сюда! Айн, цвай, драй!

Серега подошел — тихий, скромный.

— Здравствуйте, — вежливо сказал он.

«Ага! А вчера отвернулся», — с обидой вспомнила Наташа. Теперь ей уже не было его жалко. Витька спросил:

— Ну, куда путь держишь?

— Я-то? А в город. Председатель команду дал. Привоза, понимаешь, не будет — понедельник же! А мы как раз тут как тут с картошечкой с последней. Вот тебе и деньжата для всяких нужд... — Серега поднял глаза. — Председатель у нас — голова! Картошка-то нынче — дефицит. Здорово соображает!

Витька заинтересовался:

— Торговать, значит, будешь?

— Я? Нет, — торопливо ответил Серега. — Я — сгрузить... Вообще на подхвате... Ты, Витя, не обижайся на меня! Я ведь по-глупому, пьяный был в дым. Это Поликарпыч все, его работа! Мог бы и не слушать: мало ли что по пьянке буровят! А он понятых собрал и пошел, он свой план выполняет! Меня тоже штрафанул...

— Витя, я на электричку опоздаю, — напомнила Наташа. — Ну Витька же! Ты что, глухой?

Но старший брат, не оглядываясь, ответил:

— А зачем тебе электричка? Эти друзья тебя прямо до места довезут! Как такси.

— Да-да, Витек, — преданно глядя ему в глаза, заспешил Серега. — Мы, конечно... Надо Агафьину сказать — Агафьин с нами за главного, втроем в кабине поместитесь, ребенка на руках, а я — я в кузове, на мешки сяду. В кузове хорошо — ветерок!

Наташа даже топнула ногой:

— В головах у вас ветерок у обоих! Тесниться еще, вонью бензиновой дышать! Агафьин слюнявый ваш за колени хватать станет! Нет уж! Еду электричкой.

— Ну, счастлив твой бог! — обращаясь к Сереге, воскликнул Витька. — Пошли, сестренка!

Когда они шагали по аллейке, пестрой от теней и совсем не страшной при ярком свете дня, Наташа вспомнила свои ночные субботние страхи, а Витька, помявшись, попросил:

— Дай пару рублей! А лучше три. У меня одна мелочь, понимаешь... Да я отдам!

Кошелек лежал в сумке, которую нес брат, но в нем деньги, от которых отказалась Марья Гавриловна, Капитанская дочка. («Ох, вернуть ей, вернуть обязательно!») Наташе не хотелось, чтобы брат увидел эти деньги — а вдруг узнает? — и поэтому она, повернувшись к нему боком, велела:

— Возьми в кармане. Да не в этом, в другом! На билеты приготовила, а нас бесплатно... Ну да, трояк! Ты побеги, возьми мне билет до города. Остальное твое, два рубля как раз с мелочью. Больше не могу, извини. Нет, сумку оставь. Оставь, сказано!

«Залезет еще ненароком, — подумала она. — Скандал! И не объяснишь сразу — не поверит». С Андрейкой на руках, с сумкой Наташа медленно поплелась вперед, проклиная Катькины туфли, а заодно и собственную тягу к водному. Они подошли к платформе одновременно — Наташа и электричка.

— Девушка, я вам помогу! — Какая-то женщина с портфелем приняла у Наташи сумку, протянула руку. — Опля! Вот и хорошо! — сказала она, когда Наташа очутилась в тамбуре.

Тут двери с шумом сдвинулись, и сквозь запыленное стекло Наташа увидела, как из станционного домика старинной постройки выбежал Витька. Покрутил головой, потом кинулся к первому вагону, размахивая голубой бумажкой — билетом. Но было поздно — вагоны дернулись и поплыли вперед. Последнее, что, боком привалясь к пыльному стеклу, увидела Наташа, — это то, как женщина в фуражке с красным верхом что-то сердито говорит Витьке, а тот сует ей под нос ненужный теперь билет.

— Спасибо, — с опозданием повернувшись к женщине, которая помогла ей войти в вагон, сказала Наташа.

Женщина улыбнулась, показав влажный золотой зуб:

— На здоровье! — Огляделась. — Загадили-то как!

На полу тамбура, особенно в углах, действительно было много окурков, бумажек, подсолнечной и тыквенной шелухи. Сто лет, наверное, здесь не подметали! И Наташа со стыдом припомнила давнее происшествие.

Она тогда была уже на шестом месяце, ехала домой, где ее ждало тяжелое объяснение с матерью, которая ничего еще не знала. От дум, страха и покачивания вагона Наташе вдруг стало дурно, к горлу подкатила тошнота, сперло дыхание. Наташа едва успела выскочить в тамбур, оттолкнула дядьку в берете, мусолившего сигаретку, открыла межвагонную дверь... Ее вырвало под оглушительный лязг и стук. Утирая рот дрожащей рукой, Наташа услышала, как берет с сигареткой сказал своему спутнику: «И бабы пьют! Видал? Сухой закон нужен, на двадцать лет, чтоб с корнем, навсегда...» «Сухой закон? В Штатах пробовали, ты вспомни! И — беременная она, разуй глаза», — был ответ, и второй мужчина, в черном глухом свитере, который зовут почему-то водолазкой, вежливо посторонясь, пропустил Наташу в вагон. Живот у нее был маленький, аккуратный, торчком, а вот пятен на лице — тех действительно было много.

И сейчас, поместившись на жесткой желтой скамье и устроив Андрейку поудобней, Наташа вытерла губы тыльной стороной ладони. Платочек лежал в сумке — сразу не достать. Женщина поставила на решетчатую полку над окошком свой шикарный, с золоченым, вроде зуба, замочком портфель, села напротив и спросила весело:

— Мальчик, девочка?

— Мальчик, — с тихой гордостью ответила Наташа.

— Головку держим уже?

— Начинаем помаленечку...

— А на кого похож: на папу или на маму?

Наташа замаялась, потом ответила:

— На всех понемножку...

— Это хорошо, — улыбнулась женщина, усаживаясь поудобней. — Никому не обидно! А?

— Да... — согласилась Наташа.

«А ведь без билета еду, — в смятении сообразила она. — Нагрянут ревизоры — беда...» И через малое время они нагрянули, легки оказались на помине.

Первый быстро прошел по вагону и занял позицию у противоположной двери. Потом в вагон, подгоняемые остальными контролерами, ввалились пойманные безбилетники: молодая пухленькая женщина прикладывала к покрасневшим, будто у белого кролика, глазам платочек; высокий, лохматый и тощий паренек в рваных кедах храбрился и огрызнулся...

— Я опаздывала и спросила, — твердила тетка с подвязанной щекой. — Мне машинист разрешил...

— Так машинист-то спереди едет, ведет состав, а тебя в хвосте обнаружили!

Она упрямилась:

— Там тоже машинист! Молодой. Садись, говорит, тетка. У тебя, что ли, зубы болят? Ох, болят, сынок, говорю. И села!

Наташа суеверно опустила веки, начала считать про себя, но все равно над ухом раздалось неизбежное:

— Билетики, граждане, попрошу!..

Разговорчивая женщина, сидевшая напротив, встала, щелкнула замком своего замечательного портфеля. Замок пустил зайчика. У нее то был билет! Нет, Наташе не жалко было трех рублей на штраф, то есть и жалко было, но срам, но позор... нет, невозможно! А что делать? И Наташа открыла глаза.

Сначала она увидела мужскую волосатую руку с ревизорскими блестящими щипцами, потом — стального цвета форменный рукав с тремя маленькими серебристыми звездочками. Наташа подняла глаза выше и увидела... того дружинника, субботнето, который рассказывал анекдоты. Теперь он был в летней железнодорожной форме, выбрит, трезв до прозрачности, и Наташа подумала: «Три звездочки — много это или мало?»

Дружинник улыбнулся ей, будто старой знакомой:

— Кемаришь? Шуруп-то небось ночью поспать не дает?

— Да нет, он тихий, — робко ответила Наташа. Решилась: — Товарищ ревизор, я...

Но дружинник махнул рукой:

— Сиди! Шурупа не тревожь, а то он тут даст жизни. Своих двое — помню! Тогда я это... насчет вил... не обиделась? Принял немного под выходной, ну, язык, сама понимаешь, развязался.

За светлый рукав его потянула заплаканная пышка:

— Гражданин контролер! Напишите мне штраф, мне сходить скоро! В город завезете, а назад как?

— Вот, давно бы, — удовлетворенно сказал контролер. Он расстегнул свой планшет и, чтобы написать акт, присел на краешек скамейки. — А то: «Денег нет!» Да по глазам видно — врешь! Москва слезам не верит. И ты, — он поднял глаза на лохматого, — зря жизнь себе усложняешь!

Лохматый пробурчал:

— Я студент! Откуда деньги? Отпустите!

— Имей студенческий билет, если студент, — наставительно проговорил контролер. — Это зимой, значит, старушка ехала по нашей ветке, ну, не старушка, а пожилая такая женщина, лет шестьдесят. Билет у нее — за полцены, льготный. Как так? А она — документ! Р-раз — и показала. Заочно учится, хоть и в возрасте, едет экзамены сдавать. Всё путем! Мы извинились и дальше пошли. А ты — сегодня студент, а завтра скажешь — папа римский... — Он поднял глаза на зареванную пышку: — Так! Фамилия твоя?

— Иванова, — ответила та, нервно комкая сырой платочек.

— Ну? Врать надо художественно, — сказал контролер. — А то — Иванова! Полет фантазии где?



---

ДМИТРИЙ ЖУКОВ



## ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Повесть

Смело дерзайте, но не на пользу себе.

*Авакум.*

### ПРОЛОГ

**Г**ородок в то апрельское утро заполнили люди пришлые. По льду Печоры и Пустого озера по укатанным зимникам загодя прибывали в санях хмурые мужики в необъятных тулупах, из которых торчали заиндевшие бороды. Из тундры на быстрых оленях примчалась «самоядь» — узкоглазые ненцы, да не одни: с женами и выводками ребятишек, скатывавшихся в своих меховых парках с саней, словно пушистые шары.

Велика тундра, но слухи облетают ее быстрее птицы. Посланный из Москвы стреманный, стрелецкого полку капитан Иван Лешуков, еще объявляя в Мезени опальному боярину Артамону Матвееву указ о разрешении вернуться ко двору, в Москву, а уж по кратчайшему пути, через Ому, рванулась ненецкая оленья упряжка, понеслась в снежном облаке, оповещая всех встречных да поперечных, что на знаменитых узников пустозерской темницы надвигается лютая смерть.

Ивану Сергеевичу Лешукову путь лежал кружной, долгий — по Мезени-реке да по Пижме-реке до самой Усть-Цильмы, а там уж вниз по Печоре к Пустозерску, к Городку, к крепости заполярной... Едет Лешуков с десятью стрельцами на трех санях, запряженных мохнатыми лошаденками, и чем ближе к Печоре, тем беспокойней на сердце у него. В Усть-Цильме и вовсе встревожился — мужики, бунтовщицкое семя, разинцы недобитые, волками смотрят, того и гляди красного петуха в постоянный двор выпустят да и в ножи...

Но недаром Ивашка Лешуков жалован не только в Стрелецком, но до того и в Тайном приказе, недаром посылали его не раз по слову и делу государеву воров отчаянных вязать и доставлять в пытошные избы. Отоспаться своим стрельцам он не дал, половину караулом расставил вокруг избы и сам глаз не сомкнул — все думал, как ему половчее исполнить наказ державы и церкви.

«Бывшей протопоп Авакум, распоба Лазарь, роздьякон Федор, бывшей чернец Епифаний» пятнадцать лет уж сидят в Пустозерске, и хотя тамошнему воеводе дан был царский указ строго «ныне и впредь... приказывать караульным стрельцам накрепко, под смертною казнею, чтобы они тех колодников держали в тюрьме с великою крепостью», по всему царству растекаются послания узников, хулящие самого царя и высоких церковных предводителей.

И кто разносит эту хулу? Стрельцы, которым надлежит недреманно справлять службу государеву. В Москве показали на одного стрельца, что вернулся из Пустозерска, и тот на дыбе сознался — верно, принес он грамоту в Москву от Авакума, сосуда дьявольского. В древке бердыша прокопал ему узник Епифаний дыру, так в той дыре скрыта грамотка была... И уж потом список с той грамоты нашли. Много

там было всякой блудословной укоризны покойному царю Алексею Михайловичу. «Бедной, бедной, безумное царикшко! Что ты над собой сделал?.. Ну, сквозь землю пропадай...» Аввакум-то из своей юдоли и в челобитной царю Федору Алексеевичу не усомнился хулить отца его покойного.

Сотник Акишев, который пятнадцать лет тому назад вез со стрельцами Аввакума в Пустозерск, говорил Лешукову, что здесь, в Усть-Цильме, неистовый протопоп к народу обращался.

Теперь вот вы — отговорился Аввакум.

В день крещения Аввакумов человек Герастий Шапошник в Кремле с Ивана Великого метал в народ воровские письма, а в январе в день водосвятия мятежники снова метали листки при самом царе и патриархе. Мало того, они же тайно вкрались в кремлевские соборные церкви и там церковные ризы и гробы царские детем марили. Тьфу, коцунники!

Повелел церковный собор по указке патриарха Иоакима казнить всех четырех пустозерских узников «без пролития крови», то бишь сжечь, чтобы не было впредь никаких посланий огнепальных, сеющих соблазн и смуту на Руси.

Ночевка прошла спокойно. Народикко хоть и поглядывал злобно из-под наспущенных бровей, а на дело не решился. Отбили охотку-то. Понавидались всякого люда: и как разинцев в железе в тот же Пустозерск везли, и как из Соловков людей волокли, и как односельчанам колодки на ноги набивали...

И чуть развиднелось (солнце не всходило, а так — жемчужный заполярный свет прибелил снега), потрусили лошаденки с Лешуковым и стрельцами дальше по обметанному ветром льду Печеры. Быстро ли, медленно ли ехали, а кончился низкий северный лес, и приехали в конце концов стрельцы в Пустозерск, в место тундряное, студеное и безлесное...

\* \* \*

Шумит Городок. И стар и млад тянется к площади перед острожком, толпится на льду Никольской речки, не отрывая глаз от борот, у которых расхаживают сторожевые стрельцы в малиновых кафтанах. Нынче службы нет ни в Спасской, ни в Введенской, ни в Никольской церквях, и торговый ряд в посаде опустел, хотя такого многолюдья Пустозерск еще не видывал. Своих в нем тысячи с полторы православных и немцев живет да столько же съехалось из двадцати деревень с берегов Печеры, с Большой и Малой тундры. Одних приманила торжественность зрелища (в те жестокие времена на казни ходили, как ныне ходят в театр... на скандальные премьеры), другие, последователи казнимых, собрались, чтобы услышать последнее слово ставшего уже легендарным Аввакума.

Только ли услышать слово? Страшно было Лешукову и пустозерскому воеводе Адриану Тихоновичу Хоненеву, не раз они, запершись, все прикидывали, как им расставить стрельцов, чтобы у толпы не появилось соблазна отбить осужденных. Стрельцов-то у них кот наплакал, гарнизонная сотня да десять пришедших с Лешуковым. Но в таком наплыве народа капитану приходилось винить только себя — не иначе сам он спяну проболтался в Мезени, зачем спешит в Пустозерск, а уж потом молву никакой силой остановить было нельзя.

Воевода косился с опаской на стрелецкого капитана, царского телохранителя. Уж небось доброты воеводские донесли тому о грабежах и притеснениях, что чинили торговому и промышленному люду служилые. До бога высоко, до царя далеко, думалось, — и вот пожаловал... Стрелец Омелька Микитин вздумал недавно срамить товарищей, что тоже стараются урвать и с диноватого и с правого, так они его избивали в караульном мало не до смерти. Стрельцы же скажут. Омельку упрятали с глаз подале. Да купцов капитану дела нет... Как бы челобитную в толпе не сунули... Ну-жен глаз да глаз!

Хмурый Лешуков встал с лавки:

— Кликни сотского.

Воевода степенно поплыл к двери и велел стрельцу привести сотского, который появился тотчас, будто за дверью ждал.

— Сруб готов? — спросил его Лешуков.

— Еще вперась сложили, цетыре на цетыре аршина,— процокал сотский.

— А людишки что говорят?

— Всякое... Святого, бат, целовека жазнить хотят. Это про Аввакумку. Чуда ждуть...

— Чуда?.. Святой?..— оборвал сотского Лешуков.— Вот грамота... За великие на царский дом хулы казнят. Поделом вору и мука. И скажи там, на посаде, чтоб языки прикусили. За такие речи велено «слово и дело» кричать!

Сотский съежился и попятился к двери...

Когда Лешуков с Хоцевцевым вышли с воеводского подворья, осужденные уже стояли у тюремного тына в окружении стрельцов. После тьмы земляных ям они моргали на свету воспаленными, слезящимися глазами.

— Прощайтесь! — приказал Лешуков.

Узники готовились к смертному часу, они раздали уже имущество, которое у них оставалось, книги. Нашлись для них и чистые рубахи. Но все равно смотреть на узников было тягостно — на обрубленные усохшие руки, на мычащие безязыкие рты. Один Аввакум сохранил свой язык.

Аввакуму подошел к Федору, перекрестил его, а потом уткнулся в плечо.

— Прости, Федор, и я тебя разрешаю от грехов и прощаю в сей век и в будущий. Един бог без греха, а человек немощен!

Потом он обнял Лазаря и подошел к Епифанию:

— Благослови, отче...

Заметив страх в глазах Лазаря, который больше всех их в прошлом любил и терпил плоть свою, Аввакум сказал:

— Воишься огня? Дерзай, плюнь на него, не бойсь! До огня страх-от, а когда в него вошел, тогда и забыла все. Сей огонь плоть снесает, души же не коснется. В огне том здесь небольшое время потерпеть, аки оком мигнуть, так душа и выступит!.. Помнишь, сам прежде хотел идти на судьбу божью в огонь. Говорил, аще не стору, то правы старые наши отеческие книги...

И он первый шагнул к выходу из острога. Заскрипел снег под сапогами стрельцов, суетливо бросившихся открывать ворота. А за воротами внизу было море голов, еще дальше — купола церквей и крутые крыши изб...

О чем думал Аввакум в те считанные минуты, которые оставались ему до огненной муки и вечного покоя? О жене и детях своих, прозябающих в далекой ссылке, о друзьях своих, о врагах, о земном испытании своем... Может, мелькнуло у него светлое воспоминание о родном селе Григорове, где уже весна, солнышко припекает. Скоро там зазеленеет все вокруг, как в ту весну, когда приглянувшись они друг другу с сиротой Настасьей и справили свадьбу с благословения матери. Ему семнадцать было, а ей четырнадцать. При выходе из церкви сваха осыпала их семенами льна, другие дергали Настасью за рукав, делая вид, что хотят разлучить ее с молодым, а она тесно прижималась к нему. Все сели пировать, их же отправили по обычаю проводить свою первую ночь в сенник, чтоб на потолке не было земли и спальня не была похожа на могилу. Настасьюшка сняла с него сапог, и как раз тот, в котором была спрятана монета, обещавшая ей счастье в замужестве. Они стали дурачиться, поднимая в сеннике пыль столбом, возились, как щенки, а когда их губы встретились в поцелуе, вдруг затихли, испугались чего-то...

Увы, Настасьюшка! Ластовица, заря, освещающая весь мир на поднебесной. Сколько доброго она ему сотворила! Жива ли еще?

Скоро тронется лед на Волге, подступит вода к самым стенам Макарьевского монастыря, где он испивал живой воды книжного разума вместе с Никиткой Минным, что патриархом Никоном учинился. Будь он проклят, носатый и брюхатый борзой кобель! От него начало всем бедам их в мире сем. Но ничего, он уже простился с этой жизнью, описал ее русским природным языком в своем житии, и слова его теперь не остановишь, идут они по Руси мученической, в души людские западая...

Четверых осужденных ввели в круг, образованный тяжело дышавшей молчаливой толпой, которую сдерживали стрельцы, вооруженные бердышами и пищалями. Аввакума, Епифания, Лазаря и Федора ввели в невысокий сруб без крыши, привязали по четырем углам, завалили середицу хворостом, берестой, дровами и подожгли. Ветер



подхватил пламя и взметнул его высоко, и вроде бы увидели люди в пламени руку поднятую и услышали последние Аввакумовы слова:

— Держитесь, не отступайтесь и за отеческое предание умирайте! А отступитесь, Городок ваш погибнет, песком его занесет, а погибнет Городок, тогда и свету конец!..

Народ снял шапки...

Легенда об этой казни затерялась где-то в истории. Забывчивы люди, да и недосуг им возвращаться в прошлое, откуда доносятся стоны и крики страдальцев. Люди уповают на будущее, не зная его, но надеясь на лучшее, сражаясь за царство справедливости. Мечта—это слово. Вначале было слово... Были иные мечты, иные представления о справедливости, иные слова. Но остается пример несгибаемости в борьбе за свои убеждения. И доносит его до нас великое Слово!

## 1

Я начал писать эту книгу давно, лет десять назад. Но начиная и даже заканчивая отдельные ее главы, я всякий раз оставался недоволен написанным и потому брался за другие вещи, заканчивал их и даже публиковал. В промежутках между книгами меня всякий раз влекло к тому, что я пишу сейчас. Словно какой-то недуг охватывал меня... неотступно преследовали строки, выходявшие неизвестным образом на внутренней стороне смежных век по ночам, когда я пытался уснуть, и по утрам, когда еще не наступало окончательное пробуждение, когда грезилась мне целые эпизоды ненаписанной книги, в которых участвовал я сам, одетый то в кольчугу, то в монашеский подрясник, то в однорядку, то в современный костюм. Я писал в этой полудреме, и каждая буква написанного светилась долго, как светится спиралька электрической лампочки, если взглянуть на нее и закрыть глаза. Но во всем этом была какая-то фрагментарность, разорванность, которая доводила меня до отчаяния, до болезни, упадка духа и бессонницы. Я проклинал день, когда в голове появился этот замысел. Теперь я понимаю, что и замысла-то не было. Была идея, мучительно бесплодная идея, отказаться от которой не позволяю самолюбие, упорство, упрямство — назовите как хотите.

Я не знаю еще, допишу ли эту книгу. Или со мной произойдет то же самое, что и с Владимиром Ивановичем, так и не сложившим в книгу главного труда всей своей жизни. Он готовился к работе над книгой десятки лет и подробно рассказывал о ней всем и каждому. Не надо рассказывать — выговориться, материал потеряет для тебя новизну, а потом, смотришь, писать-то уже нечего... неинтересно. Вот так и получается, что знанию твоему суждено умереть, остаться в литературном небытии из-за неуверенности, которая легко оправдывается боязнью несовершенства.

## 2

Нева была неспокойна. Почти черная вода ее билась о гранитную облицовку берега, покрываясь белой пеной. Ветер подхватывал брызги, нес их над водой, развевал в пыль. Она садилась серым налетом на пальто, холодила лицо.

На стрелке Васильевского острова зябла Биржа. Ее архитектура требовала яркого солнца, легкомысленно одетых древних греков, прохаживающихся или торгующих всякой снедью меж многочисленных колонн. За Биржей желтело здание Таможни с медными статуями Меркурия, Нептуна и Цереры — торговыми символами, неуместно венчающими то, что теперь называется Пушкинским Домом, а иначе Институтом русской литературы Академии наук. Там за толстыми стенами живут рукописные книги, иные из которых старше стен, старше камней, привезенных на ингерманландское болото по указу Петра I. Камни и те не выдерживают разрушительного напора времени, климата и человеческого равнодушия. Хрупким книгам уцелеть труднее еще и потому, что они не столь молчаливы, как камни. Книги донесли до нас голоса праотцев, их веру в высшую справедливость, их страсть. Книги хранят тепло их рук.

Может быть, поэтому меня захлестывает тревожная радость всякий раз, когда я прикасаюсь к их кожаным переплетам. Я предвкушаю это чувство, сворачивая с

влажной набережной, открывая тяжелую дверь, вдыхая теплый воздух, напоенный ни с чем не сравнимым запахом старых книг. Я даже знаю, что сегодня произойдет нечто совершенно невероятное, и подготовлен к этому пригласительной открыткой, составленной так, чтобы любопытство было разожжено и не утолено ни единой запятой.

А вот он и сам, отправитель открытки, за последней дверью, за стопой книг, смотрит на меня сквозь очки...

Владимир Иванович начинает священнодействовать сразу, без лишних слов. Он отпирает железный ящик и достает небольшую книгу в залоснившемся переплете из оленьей замши.

— Вот,—говорит он хриловатым от волнения голосом.— «Житие». Аввакум. Автограф!..

### 3

В свои молодые годы Владимир Иванович хотел стать литератором. У него не было своего угла в переполненном тогда Ленинграде, куда приехал он из тихого Наровчата, но были неприспособленность к неустроенному быту и вера в собственную незаурядность. Эти два качества и помогли ему, как мне теперь кажется, примириться с жизнью, пройти ее с достоинством, но счастья или хотя бы удовлетворения они не принесли. В нем странно сочетались мечтательность и трезвость мышления. Увлеченность делом не вытесняла до конца реальный подход ко всему существу. Оттого, наверно, у него бывали приступы зеленой тоски. В такие дни он отключал телефон, изымал себя из обращения. Никто не мог разгадать его мысли в минуты мрачного уныния, и тогда случались конфликты, вызывавшиеся какими-то его непостижимыми обидами. Он обнаруживал вдруг несносный характер, придирчивость, которую в наше время из-за непрерывного стремления сохранять шаткое равновесие не позволяется проявлять даже людям, облеченным сравнительно большой властью. А он я властью не обладал и был очень добр. И поскольку почти все имевшие с ним дело испытывали проявление этой доброты на себе не раз, вспышки неприязни воспринимались как позволительная странность.

Право отключать свой телефон в собственной квартире Владимир Иванович получил довольно поздно, когда ему было уже пятьдесят. До этого, говорят, он прожил очень много лет в узкой комнате, выходившей единственным окном в ленинградский двор-колодец, где было мрачно даже в солнечные дни.

Но совсем не ради себя, не ради себя он стал хлопотать о новой квартире. Он думал о своей матери. Он всегда называл матерью свою мачеху Александру Александровну. Родная мать Владимира Ивановича умерла, когда ему было всего три года. Отец вскоре женился на Александре Александровне, вдове врача с крейсера «Варяг», но в голодном двадцать первом году последовал за первой женой, завещав второй заботу о детях от двух браков.

Русский городок Наровчат, затерявшийся в море мордовских деревень, и сам не отличался по облику своему от села, тем более что весь трудовой люд его занимался земледелием и делал решета и бочки. Надобность в решетах и бочках была в те голодные годы небольшая, по пыльным дорогам брели исхудалые люди, забредали в городок и стояли часами у калиток в надежде на подавание. А горожанам самим нечего было есть, и Александра Александровна с тоской навещала к своим запасам — нескольким меркам ржи и картошки. Если у калитки стояли дети, она дрожавшей рукой выбирала картофелину и, воровато оглядываясь на собственную ораву, совала ее в худенькую, грязную, бесплотную руку с бугристыми суставами, казавшимися чудовищно большими. Вернувшись в дом, она падала на колени перед иконой, вглядываясь в отрешенные глаза богородицы, молила ее о заступничестве перед всемогущим сыном, молила о повторении евангельского чуда, о насыщении тысяч голодных считанными картофелинами...

Потом стало легче. В тринадцать лет Володя Малышев работал на маслобойке — погонял лошадей, приводивших в движение нехитрую технику. По вечерам ему давали зарплату — наливали в бутылку теплого подсолнечного масла. Пахло оно так

вкусно, что запомнилось на всю жизнь, и во время ленинградской блокады обаятельная память давала себя знать голодной спазмой пустого желудка.

Владимир Иванович любил рассказывать о своем родном Наровчатке, находя прелесть в окружающей городок равнине, изрезанной оврагами, в ветхих дөмишках с резными наличниками окон, в громадных вязах над речушкой Шелдаис. Ради этой любви Владимир Иванович, будучи студентом, пробился к вернувшемуся из эмиграции Куприну, но старец с трудом превозмогал свою дряхлость и не помнил частностей.

— Наровчат, — сказал он, качнув головой. — Даже цветы на родине пахнут по-иному...

Куприн думал о России, о своей большой родине.

Когда он умер, ему было всего шестьдесят восемь лет, но каждый год, прожитый на чужбине, следовало бы удвоить. Настоящий русский человек вне родины жить не может. Он доживает...

Владимир Иванович расстался с Наровчатом, своей малой родиной, в семнадцать лет. Он уехал в Ленинград. Александра Александровна благословила его и дала пирога на дорогу. Пятнадцать верст до станции Самаевка он проделал пешком.

Тридцать с лишним лет спустя он получил отдельную квартиру на Торжковской улице Выборгской стороны.

Владимир Иванович привез в свою квартиру Александру Александровну, мало-подвижную полную старуху, добрую и разговорчивую. Он водил к себе в гости знатных зарубежных ученых и отечественных академиков. Старая женщина ввергала их в тихий восторг уменьем разговаривать занятно и умно. Пять лет еще прожила она в полном покое, наслаждаясь обожанием Владимира Ивановича и уважением его друзей и учеников.

«Мама моя стала слабенькая (пошел ей 87 год), и оставлять ее боюсь. Это мой последний родной камушек на этом свете, и очень он дорог мне», — приписал он к деловому посланию.

Когда она скончалась, все стали опасаться, как бы Владимир Иванович не тронулся в рассудке. Он рыдал и смотрел на всех безумными глазами, никого не узнавая. Потом он замкнулся, стал неразговорчив, почти не включал телефон, не желая выслушивать слова сочувствия, бередившие сердце.

В квартире все оставалось так, как было при Александре Александровне. В комнате побольше по-прежнему стояла за ширмой ее полутораспальная никелированная кровать, в углу висела икона с теплившейся лампадкой, на подоконниках выстроились горшки с цветами, при которых был всегда особый чайник для поливки. В комнате поменьше Владимир Иванович устроил себе кабинет. Кабинет как кабинет, с книжными полками и письменным столом. Интересен в нем был журнал учета писем. А писал их Владимир Иванович не меньше десятка в день — крестьянам во все края страны, академикам, писателям. Не получив в должное время ответа, он проверял по своему журналу дату отправки и дело, с которым обращался, а потом настойчиво бомбардировал адресата открытками-напоминаниями. У меня хранится шесть таких его открыток, присланных в один месяц.

Представление о порядке в доме у этого закоренелого холостяка было особое. Не дай бог, если кто, даже при генеральной уборке, переставит что-нибудь с места на место. Любая перестановка приводила его в расстройство чувств и имела далекоидущие последствия. Ванная у него была забита всякими нужными для экспедиций вещами, а сам он признавал только баню, веря в целебные свойства пара и березового веника. Водку он настаивал на каких-то особых можжевеловых шишках. Любимым блюдом его была «соловецкая каша», обыкновенная пшенная каша, обильно заправленная жареным луком. Он угостил как-то нас с женой чечевичной похлебкой, едой, широкоизвестной... по литературным источникам.

В тот вечер случилось нечто почти непоправимое.

Ели мы, как водится, в кухне. Жене понадобилась соль, она открыла дверцу кухонного буфета и ахнула. Полки буфета были уставлены пакетами с крупой и прочей бакалеей. Но в каком все это было состоянии! Пакеты истлели и расплозились, а содержимое их, превращенное временем и вредителями в труху, высыпалось и от-

давало тлением. Редкая женщина равнодушно отнесется к такому беспорядку, а тем более если надо оказать услугу холостяку. Засучив рукава, моя половина принялась за уборку — выбросила пакеты, труху и отмыла полки.

Два дня из телефонной трубки доносились алчные гудки. Владимира Ивановича либо не было дома, либо он отключил телефон. На службе его тоже не видели. На третий день наш общий друг сказал мне:

— Что-то на тебя Владимир Иванович обиделся. Говорит, пришли в гости и маницу крупу выбросици..

И только тут я сообразил, что же мы натворили. Нет, не говорите мне, что это чудачество — хранить крупу целых пять лет после смерти обожаемого человека. Лучше подумайте о верности памяти Александры Александровны, о глубине сыновней любви, о горе, муке и тоске, длящихся годами. Не говорите, что жизнь должна брать свое, что существует на свете здравый смысл... А при чем тут вообще здравый смысл? Между здравым смыслом и чувством никогда не стояло знака равенства...

Но ведь хватало же у Владимира Ивановича здравого смысла отказаться от возникшего у него в молодые годы намерения стать литератором? До того, как наши отношения из-за злополучной крупы дали трещину, он мне показывал свои литературные опыты тридцатилетней давности — стихи, рассказ, вырезанный из газеты. В них была умелая книжность и не было живого человеческого дыхания. В них была претенциозность рубежа 20-х и 30-х годов, исстанивавшая бесследно, когда те же таланты стряхивали с себя дурман моды и брались за дело всерьез. Я сказал тогда Владимиру Ивановичу, что если бы он продолжал, ему бы многое удалось.

— Нет, — ответил он мне твердо. — Это была бы ошибка. Я это понял и перестал писать.

Я вглядывался в лицо Владимира Ивановича. Оно было обыкновенным. Казалось, выйди он сейчас на людную улицу — и толпа тотчас растворит его в себе без остатка. У него средний рост, чуть мешковатая фигура, несколько расплывчатые русские черты лица... Простые, с тонкими дужками очки придают ему вид пожилого заводского мастера, каких много было и есть в Питере... Ну а характер... характер должен же как-то отражаться во внешности? Он чувствуется в плотно сжатых губах и в цепком взгляде вечно настороженных глаз, который за добродушной улыбкой не сразу то и уловить...

Оглядываясь назад, я, кажется, начинаю понимать, почему мне не удавалось убедительно изобразить своего героя. Я пытался взгромоздить его на ходули, поднять его до уровня того подвига, который он совершил. Но почти крестьянская простота его образа жизни и манеры говорить, скудность и анекдотичность воспоминаний о нем требовали снижения жанра. Значит, либо идти проторенной дорожкой и рисовать портрет серьезного ученого по принятому шаблону. Либо... Что «либо»? Другого не дано! Меня бросает в жар, когда я представляю себе ужас коллег моего героя по поводу нанесения ущерба его научному авторитету изображением черт, нетипичных для ученого. В эпоху охраны авторитетов это звучит крамольно...

И все-таки мне хочется убедить себя и других в том, что самые обыкновенные человеческие черты и поступки не только не мешают высокой жизни, но каким-то чудесным образом способствуют ей, а в случае с Владимиром Ивановичем именно приземленность его и, скажем мягко, отсутствие оксфордской выучки помогли прийти к результатам, совершенно невероятным в наше время, и репутации его уже не может повредить ничто.

Дело сделано.

## 4

Мысль разорвалась...

Я задумал путешествие в чужую жизнь и начал рассказ с торжества, чтобы потом постепенно, шаг за шагом подойти к нему снова. Это схема, но жизнь была настоящая, не придуманная, и потому она не хотела укладываться в рамки, мной приготовленные.

Вмещалась смерть...

## 5

«2 мая 1976 г. скончался заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук Владимир Иванович Малышев. В советской медиевистике он занимал почетное место, на протяжении десятилетий возглавляя работу по собиранию древнерусских рукописей... Он не любил вспоминать раннее детство. Дату рождения, 23 мая 1910 года, менял произвольно...

В. И. Малышев был крупнейшим русским собирателем XX века. Он начал археографическую работу еще на студенческой скамье... Экспедиции в низовья Печоры создали молодому ученому заслуженную репутацию мастера своего дела. Война прервала эту деятельность...

Список его находок велик и великолепен. Он опубликовал второй список «Слова о погибели Русской земли». Он открыл повесть XVII в. о богатыре Сухане, обзорное исследование которой дал в одной из своих монографий...

Его интересовала прежде всего старинная крестьянская культура русского Севера. Поэтому В. И. Малышев выдвинул принцип сплошного и многократного обследования северных районов...

Он открывал неизвестные сочинения Авакума, устанавливал новые факты его биографии... Венцом этой работы было издание «Пустозерского сборника» (1975 г.). Но «Летопись жизни и творчества Авакума», которую В. И. Малышев готовил долгие годы, так и осталась незаконченной.

К древнерусским рукописям В. И. Малышев относился не как к музейным экспонатам, а как к «живой старине», важной и неотъемлемой части современной русской культуры. Он был неустанным пропагандистом этой «живой старины»...

Он был удивительно бескорыстным человеком. Он всегда внушал своим ученикам, что нельзя искать рукописи «для себя», что в государственных собраниях они будут и сохраннее и доступнее для специалистов. Это бескорыстие, эта подвижническая преданность своему делу позволили В. И. Малышеву создать своего рода прижизненный памятник: древлехранилище Пушкинского Дома, которое он основал четверть века назад и в котором собрано больше семи тысяч рукописей (из некрологов, написанных учениками В. И. Малышева).

## 6

Приступ настит его в больнице в праздничный день мая, и он умер. Не знаю, уместно ли говорить об этом, но к смерти Владимир Иванович был готов. Он уходил из жизни, как уходили из нее люди в допетровские времена, считая пребывание свое на грешной земле временным. Если даже бессмертие души — это добрая память, то к бессмертию он приготовился тоже. Трудно примириться с тем, что ты всего лишь кусок плоти, подверженной всяким химическим реакциям, и гниению в том числе. Смирись, человек! И зымай вместе с поэтом к будущему: «Воскреси!»

Похороны были многолюдными. На гражданской панихиде речи произносили академики и говорили о нем, Владимире Ивановиче, как о большом ученом, как о крупной личности, говорили искренне, забыв о своих несогласиях с ним, о том, что у покойного был нелегкий характер и обостренное чувство справедливости...

Он лежал, засыпанный цветами, в зале на втором этаже Пушкинского Дома, бледный, неузнаваемый без очков. Когда подошла минута молчать, все притихли, и те, что были в зале, и те, что не уместились в зале и заполнили три марша парадной лестницы. Затих весь дом с его старинной мебелью красного дерева, бронзовыми золочеными светильниками, картинами великих художников, личными вещами классиков русской литературы, их рукописями и письмами, древними книгами, родившимися за сотни лет до основания Петербурга.

Всего месяц назад он ушел из этого дома, окинув в последний раз тоскливым взглядом высокие полки со старинными рукописными книгами, открыл сейф, чтобы проститься с самыми ценными своими находками, путь к которым пролегал через тысячи городов и сел, через войну, через столетия родной истории. Он прислушался к страстным голосам, взрывавшим воздух и потрясавшим души, как только их вы-

пускали из-под кожаных переплетов. Это он вернул их из небытия, это он заставил их снова звучать, это он понимал их лучше всех сегодня. Ему хотелось, чтобы все услышали и поняли то, что услышал и понял он, но сил уже не оставалось...

Томимый самым тяжким предчувствием, Владимир Иванович притянул к себе настольный календарь и нарисовал размашисто, с угла на угол: «Иду в проклятую больницу!»

## 7

Мысль рвется и кровоточит...

Какая краснота! Но я сказал правду. Непрерывность мысли облегчает литературный труд. И тому, кто читает, легче катить свои глаза по рельсам строк, следующих за непрерывной мыслью. Легко ли примириться с тем, что тебя то и дело выкидывают из вагона и ты идешь по шпалам, нелепо осекая шаг? Расстояние между шпалами никогда не равно длине нормального человеческого шага.

«Ходить по путям строго запрещается!»

Я отведу глаза от строгой надписи и пойду. Со стороны будет видно, как я шкандыбаю. Что подумает наблюдатель? То ли я еще не научился ходить легко и быстро, то ли умел ходить, но захромал, то ли действительно не могу соразмерить шаги с заданными расстояниями...

Мое путешествие в чужую жизнь началось со знакомства с героем. А что было до знакомства? На этот вопрос не ответит ни длинный список найденных им древних рукописей, ни личное дело с несколькими автобиографиями. И друзья-товарищи не скажут ничего. Да, пили-говорили...

О чем?

Не помнят.

А что помню я? Куда исчезли наши разговоры с Владимиром Ивановичем? Видают, наверно, в эфире. Странно. Говорили что-то каждый день и не ценили слов. А потом мучительно вспоминаем. Наше поколение не помнит повседневности и удивляется старикам, которые подробно излагают давние разговоры: «Я ему сказал... А он мне отвечает... А я ему...» Иные романы так и пишутся, если у авторов их хорошая память. И читаются неторопливо, со вкусом, как слушаются дедовские рассказы летним вечером на скамейке у домика с палисадником, где застыл подоолнух в венчике протуберанцев и тонко пахнет цветами, похожими на крошечные грамофонные трубы. Я не знаю даже, как они называются, потому что меня пронесло мимо палисадника пахнущее бензином чудо. Много ли осталось городских жителей, для которых трава — это не просто трава, а десятки знакомых и забытых растений?

Я завидую неторопливым писателям и неторопливым читателям. У них были свои малые родины, где росли травы, мычали коровы и пели сверчки изо дня в день, из года в год. А меня возили с грудного возраста из города в город, и некогда было даже приглядеться к домам и кварталам, к трещинам на асфальте, всюду одинаковым. По детскому поверью наступать на трещины не полагалось, а это был кратчайший путь к земле. Стоило расковырять асфальт — и ладонь коснулась бы земли, почвы.

«Ковырять асфальт строго запрещается!»

Не расковырял — упустил время, упустил возраст, ничего не узнал, исчез, потерялся в сумятице лет, забыл даже то, что знал...

Остановись, говорю я себе. Что-то все-таки есть, что-то осталось. Хотя бы в наследственной памяти. Что-то заставило тебя забыть пряный вкус риска, бросить карьеру, длительные заграничные командировки, прогулки вдоль сияющих витрин Кертнер-штрассе и Оксфорд-стрит, кибернетические забавы, а потом и переводы пухлых романов о жизни, придуманной себе англосаксами и не англосаксами... Все бросить и читать книги по русской истории, любовно поглаживать покорябанные кожаные переплеты фолиантов, купленных по случаю у букинистов, зачистить в древние города России, вдруг увидеть Москву, полюбить и оплакать ее нарушаемую на глазах красоту.

Значит, я все-таки был подготовлен к этой встрече с Владимиром Ивановичем, я прокормился сквозь свой асфальт к истокам, испил живой воды и прозрел на-

столько, чтобы различать в тумане бытия не только врагов и друзей, но и равнодушных, отдающих на разграбление вечность ради сиюминутного покоя и благополучия.

Значит, у нас был общий язык, раз мы находили время друг для друга. Но он жил в том, что было тогда для меня откровением. Труд его называли подвижничеством. Подвижничество — это когда каждая минута пронизана убежденностью и требует жертвенного сосредоточения. Счастье это или навязчивая идея, не дающая жить раскованно, радоваться жизни, каждому ее проявлению?

Не всякий захвачен какой-нибудь идеей, а для счастья нужно иметь счастливый характер.

Всю войну Владимир Иванович провоял на Ленинградском фронте, которым командовал маршал Говоров, человек очень сосредоточенный и редко улыбающийся. Знакомый генерал рассказывал мне, как ему довелось уже в мирное время совершить вместе с маршалом инспекционную поездку. Они ехали в одной машине. Было начало лета, за каждым поворотом дороги открывались виды один другого краше. Генерал, любуясь синими озерами, березовыми рощами и красными соснами на золотом песке, осмелился обратить внимание маршала на эти красоты. Не повернув головы ни влево, ни вправо, маршал сделал генералу замечание: «На службе о службе думать надо!»

Людей общительных и восторженных пример этот, возможно, царапнет. Кто-то произнесет слово «черствость», а мне больше нравится слово «сосредоточенность», потому что именно такие люди выигрывали сражения и вообще обеспечивали успех любого дела. Не отвлекаться — это скорее характер, а потом уже привычка к самодисциплине.

Если бы я был психологом, я бы назвал характер Владимира Ивановича меланхолическим, поскольку он придавал большое значение всему, с чем сталкивался, во всем усматривал источники забот и трудностей, был вдумчив, обладал медленной восприимчивостью, но восприняв что-то, становился невероятно активным.

Если бы я был астрологом, то ему, родившемуся под знаком Тельца, я бы приписал твердость характера и заставил бы воздействовать на него Сатурн, который, как известно, «придает человеку задумчивый, сдержанный и рассудительный характер, стойкость, терпение и выносливость, расположение к рутинности, порядку и методичности». И хотя астрология слишком льстива, чтобы ее можно было воспринимать всерьез, формулировки ее за тысячелетия существования отработаны весьма внутренне. Обладая темпераментом холерическим, я завидую некоторым чертам характера своего героя, хотя бы терпению и методичности.

Я не веду дневника. Те случайные записи, которые я изредка делаю, обычно возникают в дни, не заполненные работой, в дни, когда дело не клеится, и содержат они главным образом жалобы на собственную неумелость, инертность, нерасторопность и связанное с этим дурное настроение. И еще я составляю для себя правила, предписывая самому себе, как надо жить и работать. И забываю эти правила в тот же час, когда настоящие жизнь и работа завладевают мной. Поэтому я напрасно искал в записях упоминания о продолжительном своем общении с Владимиром Ивановичем, исполненном поучительных разговоров. Вернее, одно упоминание было, но судите сами, можно ли извлечь из него что-либо путное?

«7 октября 1967 г. Вчера еще раз познакомился с Малышевым. Прелестный старик, влюбленный в свое дело — собиранье древних русских рукописей, увлеченный протопопом Аввакумом. На войне он был командиром батальона, старый холостяк, несколько лет назад лишившийся матери, избираемый своими домработницами, которым он подает завтрак в постель. Жаль, что он уже отказался от своих экспедиций на русский Север, на Печору. Вот бы поехать с ним!»

Теперь уже не важно, когда я познакомился с Владимиром Ивановичем в первый раз. С горькой усмешкой отмечаю я, что называл его, пятидесятисемилетнего, стариком. Ведь мне самому было сорок. Утешает меня одно — назван же в тургеневских «Отцах и детях» стариком сорокалетний Николай Петрович Кирсанов, «уже совсем седой, пухленький и немного спорбленный». Видимо, таким уж мне показался тогда Владимир Иванович, жаловавшийся на свое нездоровье, на то, что не знал он отдыха всю свою жизнь, мечтавший выйти на пенсию через три года и располагать временем по своему усмотрению.

И он действительно осуществил свое намерение — вышел на пенсию в тот самый день, когда ему стукнуло шестьдесят лет. Его уговаривали остаться, но он сердито отмахивался, настоял на своем, несколько дней отсутствовал, а потом появился на своем рабочем месте и взялся за дело. Так и ходил он на работу едва ли не каждый присутственный день до самой своей смерти.

— Это ли не чудачество! — говорили некоторые.

У них не укладывалось в голове, как можно отказаться от оклада, положенного доктору наук, и довольствоваться пенсией, выполняя прежнюю работу «на общественных началах». Он же был убежден, что уже не обладает должной энергией для осуществления круга дел, который, кстати, сам же и очертил в прежние годы.

У него было свое понимание свободы. Предаваться любимому занятию и делать это не по обязанности — таков, наверно, в идеале свободный труд. Здравомыслящим людям отказ Владимира Ивановича от больших денег казался блажью. Суть-то остается одна — человек работает. Но дело тут было не в сути, а в ощущении. Для Владимира Ивановича свобода определялась его внутренним состоянием. Чистая, без единого пятнышка совесть и была его свободой...

Но до ухода на пенсию Владимир Иванович успел получить заветную рукопись протопопа Аввакума и съездить еще раз на Север. Все это случилось на следующий год после моей записи о вторичном знакомстве. На Север я поехал вместе с ним, о чем еще расскажу. Во время этой поездки я начал понимать многое из того, что прежде для меня было сокрыто.

Но я до сих пор не совсем отчетливо представляю себе, почему Владимир Иванович занялся собирательством древних рукописных книг. Не то чтобы увлечение это было непонятным. У Мальшпева предшественников хватало. Чего стоил один граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Люди суетные уверяют, что богатым и чиновным графом двигало стремление прослыть просвещенным любителем российской истории и тем самым выиграть в общественном мнении. Оттого будто бы его люди обшарили монастырские кладовые и скупали где только можно было пожелтевшие манускрипты, среди которых оказались летописи Книга Большому чертежу и само «Слово о полку Игореве».

Современники в благородных побуждениях графа не сомневались и дарили ему книги, завещали. Подарила ему почти сотню старых летописей и Екатерина II, писавшая своему ученому корреспонденту барону Гримму: «У меня все недосуг благодаря делам и старинным летописям. Дошедши до 1321 года, я остановилась и отдала переписывать около восьмисот страниц, начерпанных мною. Представьте, какая страсть писать о старине, до которой никому нет дела и про которую, я уверена, никто из будет читать...»

Бедная история! Бедная старина! Кто тебя знал и знает, кроме книжников, листающих ветхие страницы в тиши своих кабинетов? Но они-то ценили упорство собирателей. Это один из них говорил, что при составлении своих исторических трудов он пользовался многими рукописями приятеля своего — «церемониймейстера Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, который, будучи крайних древностей наших любитель, великим трудом и иждевением, а больше по счастью, по пословице на ловца и зверь бежит собрал много книг весьма редких и достойных уважения от знающих в таких вещах цену».

О таком вот ловческом счастье я думал в древлехранилище Пушкинского Дома в тот самый день, когда Владимир Иванович сказал хриловатым от волнения голосом: — Вот. «Житие». Аввакум. Автограф!..

### 8

Владимир Иванович искал рукопись Аввакумова «Жития» тридцать с лишним лет. Едва ли не каждый год он брал свой потертый чемоданчик и ехал на Север — на Печору, Мезень, Пинегу, Урал... От села к селу, верхом и на самолетах, по болотам и лесам, от двора к двору... И всюду он находил древние рукописи в почерневших кожаных переплетах, относил на ближайшую почту, отправлял в Ленинград и снова искал. Собрание уже достигло четырех тысяч томов, но заветной рукописи там все же не было.



Книги, рукописные книги теснились на полках, уходящих вверх, под самый пятиметровый потолок. В них были заблуждения и мудрость, имена и деяния наших предков; в них боль и мечта, принявшая вид повестей, сказок...

«Велика польза от книжного учения: из книг учимся путям покаяния, в словах книжных обретаем мудрость и воздержание; это реки, навояющие всееленную, в них глубина бездонная, ими утешаемся в печали...»

Наши предки слагали гимны книге еще на самой заре нашей тысячелетней культуры. И на переписку каждой из них не жалели многих месяцев, а то и лет напряженного труда. Радость завершения его сравнивалась с радостью жениха, увидевшего невесту свою, с радостью кормчего, прибывшего к пристани, либо странника, возвратившегося в отечество.

Книга была государственной ценностью, ее хранили в казне наравне с золотом. Деревянные дощечки-крышки книг облекались в дорогую кожу, парчу, оковывались серебром, осыпались драгоценными камнями. Но не только переплетчики делали старинные изборники подлинными произведениями искусства, а и писцы, выводившие на пергаменте четкие прямые буквы, и художники, разрисовывавшие начальные буквы и заглавия киноварю, украшавшие книгу заставками, рисунками, узорами. Причудливо сплетаются змеи в заставках. Из клубков появляются драконьи головы. Головы или руки людей. Инициалы — это целый загадочный мир. Тут господствуют сказочные и реальные звери — грифоны, петухи, медведи, драконы... Птицы бьются со змеями. Звериный орнамент уходит корнями в древнюю индоевропейскую символику. Змея — это мудрость и одновременно воплощение зла. Птица, крылатое существо, — символ неба, солнца и света у древних славян. Страницы рукописных книг освещены тем же таинственным светом, что и рельефы на стенах Дмитриевского собора во Владимире. Источник этого света, пронизывавшего Древний Рим, Древнюю Грецию, Тибет, еще не найден. Птицы бьются со змеями. Добро одолевает зло.

Но книга — духовная ценность. Аристократический наряд еще не дает ей права возвыситься над книгой, написанной или переписанной в темнице, монашеской келье, крестьянской избе.

Захватанные, грязные, крошащиеся края страниц, а иные совсем черные, будто опаленные огнем... Потрескавшиеся, высохшие и даже спекшиеся до антрацитной ломкости кожаные переплеты... Самые ценные рукописи спрятаны в железный рундук, с ключом от которого Владимир Иванович не расставался никогда. Не раз рукописи бывали на краю гибели. Сложна, извилиста судьба каждой книги.

— Потомкам рукописи пригодятся больше, чем нам, — говаривал Владимир Иванович, окидывая взглядом полки. — Сохранить бы их, избежать обвинения потомков в равнодушии. Здесь хронографы, поучения, беседы, размышления, лечебники, травники, грамоты, челобитные, книги писцовые, дозорные межевые, повести и сказания, плачи...

Как заклинание звучал этот бесконечный перечень.

Но заветного названия он не произносил, хотя верил, что заветная книга существует, что она где-то ждет его.

## 9

Для меня до сих пор остается загадкой, почему Владимир Иванович занялся историей литературы, а потом и собирательством древних рукописных книг. Не то чтобы увлечение это было непонятным... Непонятно, каким образом он определил еще в молодости свое призвание...

Жизненный опыт у него, разумеется, был. Но какой! В своем тихом Наровчате он был председателем волостного бюро пионеров, а потом телеграфистом на местной почте.

Ленинград оглушил его звонками трамваев, поразил великолепием архитектуры, растворил в толпах рабочего люда, штурмовавших трамваи в сырые рассветные часы. Он явился к своему родственнику, работавшему на заводе оптического стекла, нежданно-негаданно, с чемоданом, обвязанным для крепости веревкой, явился в старую барскую квартиру и с трудом отыскал в списке из одиннадцати фамилий на ее двери фамилию своего родственника с пометкой «один длин. два кор.», что сложилось в привычное для телеграфиста обозначение буквы «д». Четко, будто работал с теле-

графным ключом, он трижды утопил кнопку звонка. Но общественное удобство не действовало, и только стук открыл перед ним двери в длинный темный коридор, уставленный большими купеческими сундуками, окованными жестью. Из полуоткрытых дверей высовывались головы в тьму и смрад коридора, но вид моего героя любопытства не вызывал. Напутствуемый указаниями и больно ушибаясь об углы сундуков, он разыскал комнату родственника, которого называл дядей. Семья дяди, состоявшая из четырех человек, жила превосходно от одного сознания, что имеет собственную жилплощадь в двенадцать квадратных метров, уставленных шифоньером, дубовым буфетом, обеденным столом, полтораспальной железной кроватью дяди и его жены и диваном, где спали валежом их дети.

Владимир Иванович (семнадцатилетнего, его следовало бы называть Володей, но мне трудно это делать по вполне объяснимой психологически причине) был встречен дядей и его семьей радушно. Обратной пропорциональной зависимости между гостеприимством и размерами жилой площади не существует, но с тех пор, как комфорт стал общедоступным, души обладателей отдельных квартир заметно почерствели, а страх перед сужением жизненного пространства привел даже к падению деторождаемости. Это социологическое наблюдение никоим образом не касается Владимира Ивановича, который в лучшие свои времена охотно предоставлял кров и хлеб странникам, напрасно обивавшим пороги ленинградских гостиниц.

Его напоили чаем с сушками и устроили спать на полу. По молодости лет и неприхотливости своей он уснул в жесткой постели, едва голова его коснулась подушки, одной из тех, что днем возвышались пирамидой на семейной кровати. И вскоре он тоже стал работать шлифовальщиком оптического стекла. Он быстро привык проходить по темному коридору бесшумно и огибать острые края сундуков без ущерба для ног и брюк. Он научился искусству шлифовки линз, доводя прозрачную чечевицу (технический термин) до идеальной формы с помощью наждака и красной окиси железа. Работа требовала терпения и методичности. Она была в полной гармонии с теми чертами характера Владимира Ивановича, которые дала ему природа.

Всякое гостеприимство имеет предел. Я не знаю, долго ли Владимир Иванович жил у дяди, но, немного оперившись, он стал снимать углы и койки у старушек, привык гасить за собой свет в туалете, чтобы не вызывать нареканий коммунальной общественности, ставил в очереди к единственной раковине в кухне, где шипела дюжина примусов. Года через три он поступил на рабфак, собираясь стать инженером-путейцем. Уж больно хороши у них были фуражки с молоточками на околыше.

К двадцать второму году жизни он оказался на подготовительном курсе... филологического факультета Ленинградского университета. Факультет тогда назывался Институтом истории, философии и лингвистики, но это дела не меняет. Загадка остается загадкой. С чего это он вдруг совлекся с пути к свету технических знаний, столь ценившихся в начале 30-х годов, и стал в скромные ряды гуманитариев? Спросить об этом Владимира Ивановича я не успел, но слышал от его однокашников, что он с первого же курса получил у студентов прозвище Аввакум. Он прожужжал всем уши, восторгаясь огнепальным протопопом. И тогда представилось мне, что еще на рабфаке в руки его неведомым нам образом попало «Житие» Аввакума...

Невероятная страстность этой книги, гениальная способность Аввакума двумя-тремя фразами воссоздать на бумаге красоту и вещественность мира, «мужицкие» слова его вполне могли заворожить Владимира Ивановича. Но книга, наверно, сказала ему очень много и очень мало. Достаточно много, чтобы развеять пылливость. Слшком мало, чтобы удовлетворить любопытство. Думается мне, что с «Жития» все и началось...

Пусть читателю поможет воображение, и он представит себе Владимира Ивановича, распаленного чтением, старающегося вникнуть в то ясный, то ускользающий смысл огненных строк... Уповая на помощь читателя, я сознаюсь в своей беспомощности и делаю это вовсе не из литературного кокетства. Просто я призываю поверить в то, без чего в повествовании образовалась бы дыра. И чтобы как-то оправдать такую условность, я расскажу историю, из которой станет ясно, что от прочтения одной книги может определиться судьба человека даже не столь молодого, каким был Владимир Иванович, когда читал «Житие» протопопы Аввакума.

В тот самый год, когда Владимир Иванович приехал в Ленинград, в Москве жил француз Пьер Паскаль. Он работал в Институте Маркса и Энгельса и разбирал рукописи Гракха Бабефа, судейского чиновника, вознесенного на страницы истории Французской революции требованием полной отмены частной собственности. В Россию Паскаль попал еще во время первой мировой войны. По образованию француз был филологом, знал русский язык. Призванный в армию, он стал офицером и получил назначение в союзную страну.

Революцию в России французский офицер встретил восторженно, отказался вернуться во Францию и вступил в Коммунистическую партию.

В 1927 году Пьеру Паскалю было тридцать семь лет. В таком возрасте уже редко меняют профессиональные увлечения. Препятствуют этому жизненная инерция и возрастная осторожность. Чтобы преодолеть инертность, надобно какое-нибудь уж очень сильное впечатление. И оно накатилось на Паскаля в России, где он нашел свою судьбу.

В подвале обшьяка, где протекала служба Паскаля, на полу была навалена целая гора конфискованных в свое время книг. Роясь в этой сокровищнице временно отверженных мыслей, Пьер Паскаль напал на «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» и зачитался...

От книги веяло простором русской земли; словно сухой морозный ветер, зарождавшийся над неоглядными равнинами, доносил запахи дремучих лесов и мужицких изб, дальний звон колоколов и неистовые вопли страдальцев. Паскаль вчитывался в книгу, то восхищаясь, то ужасаясь. Он находил многое из того, что писали западные философы о русском национальном характере, но не было там лишь смирения, а именно это слово склонялось на все лады кабинетными знатоками русского народа. Он сравнивал то, что читал, с тем, чему еще недавно был свидетелем. И ему казалось, что он лучше понимает русскую революцию и русских людей. Но все это было туманно и зыбко — чужая жизнь, хоть и светившая сквозь волшебный кристалл Аввакумова таланта, все-таки оставалась чужой жизнью.

Лучше всего можно понять произведение, когда его переводишь на свой родной язык, если, разумеется, переводить не буквально. Да, подумал Паскаль, необходимо перевести «Житие» на французский. Но сколько же надо знать, как надо знать русскую историю и филологию, чтобы донести до французского читателя силу и аромат великого произведения!

Паскаля занимала мотивировка поступков Аввакума. Строптивость и невероятная сила духа проявились уже в двадцатидвухлетнем священнике, который, подобно Савонароле, обличал злонравие начальников и нерадение духовенства, обрушивался на светские народные развлечения, разгонял скоморохов, вторгся в частную жизнь прихожан. Почему, ненавидимый всеми, избиваемый всеми — народом, попами, начальниками, — он оставался по-прежнему нетерпимым и злонравным? Почему собственные ощущения Аввакума в начале его деятельности не совпадали с народными и горячая проповедь его оставалась гласом вопиющего в пустыне? Почему уже через десяток лет те же нестигаемость и страсть привели к нему толпы приверженцев?

Аввакум был современником Людовика XIV, в блистательную эпоху которого галантные и надушенные священнослужители носили под рясами шпоры и охотно жаловали своим вниманием как светских дам, так и аппетитных пейзажков. Право же, этот случай, традиционно повторившийся в толстовском «Отце Сергии», был для французского марксиста явлением странным и требовавшим особого объяснения.

Паскаль думал о сибирских злоключениях опального Аввакума и спрашивал себя, что же это было за Московское царство, оказавшееся способным за какую-нибудь сотню лет освоить пространство, равное по величине десяткам и десяткам Франций? Что это были за люди, неудержимым валом устремившиеся к Тихому океану? Может быть, ответ следует искать в характере Аввакума, неистовом и яростном, в его стойком отношении к любым невзгодам и страданиям, в его убежденности, которой не могли сломить лишения и пытки?

И главное — раскол. Что это? Неужели только споры о форме крестного знамени и о числе поклонов? Нет и нет. За расколом, верно, стояло нечто более серьезное, ради чего люди принимали любые муки и шли на смерть. Видно, затрагивались и сами государственные основы, потрясались устои народной жизни...

Москва конца 20-х годов была раем для любителей книжной старины. Во множестве частных лавчонок продавались уникальные фолианты из бывших барских библиотек. Торговцы стали узнавать ученого, упорно рывшегося в развалах и методично скупавшего все, что относилось к России XVII века, — исторические сочинения, описания церквей, древние акты. За какую-то десятку можно было купить сразу «Кириллову книгу», «Поучения Ефрема Сирина», «Скрижаль», требники, грамматику Мелетия Смотрицкого... Даже древние рукописи покупал на базарах Паскаль в те времена.

Разумеется, скудного жалования служащего на такое роскошество не хватало. В вольном переводе Алексея Михайловича Ремизова воспоминание Пьера Паскаля о том времени звучит так: «Подтянул я поясок потуже — позабудь про пшеничную кашу! — и набросился на редкости. Вот когда мечтал я иметь златые горы!»

Паскаль добился разрешения работать в Московском древлехранилище. Это оказалось далеко не простым делом. Пришлось «облепиться рекомендациями, как горчичниками». В анкете, требовавшей указать тему работы, он писал: «Социальное и экономическое положение крестьян Верхнего Поволжья в XVII веке».

Архивариус показал Паскалю стол, за которым много десятков лет работал историк Сергей Соловьев, изучая писцовые книги. Паскаль тоже попросил их. Рассматривать свитки пришлось стоя. К неразборчивой скорописи он привык не сразу. Когда Паскаль уходил, архивариус ехидно спросил:

— Оставлять не нужно?

Но Паскаль возвращался снова и снова.

За писцовыми книгами последовали столбцы Сибирского приказа. Чередой проходили отчеты воевод, приказные грамоты, протоколы допросов, прошения, указы... Один из документов начинался как обычно: «Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Великия и Малыя и Белья России...». Но дальше Паскаль прочел: «Офонка Пашков челом бьет».

Афанасий Пашков, даурский воевода... Это с его полком велено было отправиться сыльному Аввакуму в Забайкалье. Именно Пашков, как рассказывается в «Житий», на реке Ангаре велел нещадно бить Аввакума кнутом, а потом долго держал в заточении. Так что же пишет жестокий воевода Пашков?

«Да по вашему же государеву указу послан ис Тобольского города в Даурскую землю распоп, что был протопоп, Аввакумко...»

Аввакум!

«И тот сильный распоп Аввакумко, умысла воровски неведомо по чьему воровскому научению, писал своею рукою воровскую составную память глухую, безымянную, будто везде в начальных людях, во всех чинах нет никакой правды. И иные многия непристойныя свои воровския речи в той своей подметной памяти написал, хотя в вашей государевой даурской службе, в полку моем учинить смуту.»

Отписка Пашкова была длинная и никем до тех пор не публиковалась. В ней говорилось о наказании Аввакума кнутом, назывались имена казаков, к которым зывал протопоп. Пашков сообщал, что предал бы Аввакума смертной казни, да без государева указа не смеет.

Паскаль нашел и другие ценные документы.

Пришла пора путешествий. Розыски продолжались в московских церквях и монастырях, в Сергиевом посаде, в нижегородском селе Григорове, где родился Аввакум, в Ростове, Ярославле, Костроме...

Пьер Паскаль вспоминал:

«Я предпринял путешествие по исторически знаменитой Верхней Волге, где на берегах виднеются то скромные деревушки, то ярко освещенные города, то высокие, столь любимые русскими колокольни, то многоцветные купола... Я видел Волгу, столь таинственную на заре, с застывшими лодками рыбаков, вышедших за стерлядью, и я снова видел ее, всю сверкающую в лучах заходящего солнца. Там, на другом берегу,

возвышался все еще величественный Макарьевский монастырь, а за ним без конца без края тянулись вдоль по Керженцу леса и болота... Охотно поехал бы я и на Ангару, где стал бы искать следы деятельности жестокого Пашкова, и столь же охотно предпринял бы путешествие на Мезень и Печору, где, может быть, натолкнулся бы на следы тайных вестников Пустозерских Отцов».

На Печору Паскаль не попал. В 1933 году он вернулся во Францию, захватив с собой богатую библиотеку, собранную путем жесточайшей экономии. Однако родина встретила его сурово — он был арестован, предан военному суду. Но времена уже были другие, и его оправдали.

Впоследствии Пьер Паскаль стал почетным профессором Сорбонны, автором многих трудов по русской литературе. Его перу принадлежит перевод «Жития» Аввакума на французский язык.

## 11

На Печору Паскаль не попал.

На Печору поехал Малышев. Ровно через год после отъезда Паскаля во Францию и через два года после поступления в университет.

Может быть, мне следовало подробно описать житей-бытие Владимира Ивановича (а жил он эти два года учения в университете скверно, на одну стипендию, впроголодь жил, больше на хлебе с чаем, если не случалось заработать рубль-другой на разгрузке угля, и носил он латаные-перелатаные штаны и косоворотку, смазные сапоги и драный, засаленный и немодный тогда дубленый полушубок).

Но Владимир Иванович всегда оберегал свой внутренний мир от соглядатаев, оставляя для обозрения лишь внешнюю канву своей жизни. Это и упрощает и обедняет рассказ. Но так ли уж важны бытовые подробности, если перед Владимиром Ивановичем возникал, рос, ширился роскошный мир мечты, опрокинутой в прошлое?.. Это был мир книжный, до которого он дорвался, в который он окунулся жадно, истоиво, который заставлял его забывать голод, собственную неказистость, навевал честолюбивые сны, преувеличенное представление о самом себе, о своих возможностях.

Однако буйство мысленное не всегда сопровождается развязным поведением. Даже наоборот. Мечтатели стеснительны, и потому, видимо, Владимир Иванович не донимал вопросами академика Александра Сергеевича Орлова, человека насмешливого и грубоватого. А вопросов было много.

Академик Орлов читал курс древней русской литературы и принадлежал по своим взглядам к старой могучей филологической школе Буслаева. Он был высок, грузен и глуховат. Впрочем, как гоголевский голова из «Майской ночи», иногда он слышал превосходно. Во всяком случае, толковые вопросы студентов он воспринимал, не подпирая уха своей мощной дланью. Нос его, весь в буграх и рытвинах, был похож на большую старую картошку. С его языка частенько срывались выражения не совсем академические и даже совсем непечатные, но в его крепких словцах было столько юмора, столько чисто народной русской основательности, что его собеседники лишь крутили головами, смущенно хихикали или шарахались в сторону, не забывая, однако, пересказывать слышанное всем и каждому, к вящей славы академика. Дураков академик не любил, особенно ученых. Припечатывал он их так ядовито, что его характеристики помнят и по сей день в Пушкинском Доме, где академик Орлов заведовал отделом древней русской литературы.

На ученых заседаниях в институте академик откровенно спал, но когда дело доходило до прений, то каким-то чудом оказывалось, что главное он все-таки слышал и готов сказать свое веское слово.

Академику было скучно слушать рассуждения бойких молодых людей, которые каждого русского писателя готовы были рассматривать как «продукт борьбы части дворянства, становившегося на путь развития капитализма, против консервативно-феодальных элементов русской реакции». Так объяснялось в начале 30-х годов появление всех гениев XIX века и даже XVIII. Творчество Ломоносова отражало борьбу прозападно настроенного дворянства вроде ступивших на прогрессивный капиталистический путь Шуваловых против аграрно-патриархальных феодалов, олицетворением которых были Разумовские.

Усвоив эту нехитрую формулу, можно было спокойно спать. И академик Орлов безмятежно поспавал, пока очередной докладчик не иссякал. Наступившая тишина будила академика. Вздрогнув, он открывал глаза, тер свой рифленый нос, брал в горсть бороду и густым басом говорил:

— Я, разумеется, человек древний, в семинарии учился, синодальной типографией заведовал и в науку пришел еще в прошлом веке... Может быть, я и не очень силен в марксистской методологии, единственно научной и жизненной, однако мысль вашу, глубокую и строго научную, я, кажется, ухватил.

Обращение к докладчику он произнесил скороговоркой...

— И хочу я эту мысль пояснить наглядно... Вот, скажем, ваш аграрно-патриархальный Разумовский. Представьте — зима, снег... Из дворца выходит граф в собольей шубе, подбитой чернобурыми лисами, в бобровой шапке, садится он в сани и тычет кулаком в необъятную задницу детины, что сидит на облучке в нагольном туалете: «Пошел!» Клубится снежная пыль вдоль набережной. И вдруг графа приспичивает. Замечает он большое здание и спрашивает: «Що це за хата?» Дитина поворачивает к нему зверскую рожу свою и рявкает: «Академия де сиянс, ваше сиятельство!» А в Академии наук переполох, господа академики к окнам бросаются, вниз по лестнице горохом сыплются, встречают вельможу, метут шляпами пол перед ним. Граф покровительственно улыбается и спрашивает: «Ну, хлопцы, а где у вас тут нужник?» — Переждав смех, академик продолжает: — А вот вам и другой... прозападно-капиталистический... Весна, солнышко греет. Из дворца выходит граф Шувалов в камзоле златотканом, кружева тончайшие тут и там, на свежей щеке мушка, штаны голубые, шелковые, ширинка на золотом замочке, а ключик у самой императрицы хранится. Садится в золоченую карету, стекла зеркальные, и кричит кучеру в ливрее, немду сухопарому: «Пошел!» И его тоже приспичивает. Видит он большое здание. «Это что за мезон?» — спрашивает он, высовываясь из окна кареты. «Академия де сиянс, экселец!» — отвечает кучер. А в академии переполох, господа академики к окнам бросаются, вниз по лестнице скатываются, парики поправляют, метут перед вельможей шляпами пол. Граф снисходительно улыбается и спрашивает: «Ну, братцы, а где у вас тут сортир?»

Лукавый был человек Александр Сергеевич Орлов и грубоватый, но дело свое знал как никто другой и лекции по древней литературе читал в университете блистательно. В аудиторию, где он выступал (да, выступал, не хочу исправлять, так артистично было его чтение), набивалась уйма народа, не имевшего даже косвенного отношения к филологии — лишь бы послушать.

— Знаете ли вы, что такое художественность? — спросил академик Орлов своих слушателей на первой же лекции. — Что значит художественные памятники, памятники художественной литературы?

Это был главный вопрос, и ответ на него должен был положить водораздел во всей жизни Владимира Ивановича, превратить его из потребителя литературы в ее знатока. Ему предложили расстаться с современными претензиями к художественности и уйти в глубь истории, проникнуться чувствами, восприятием читателя той эпохи, когда создавалось произведение древней литературы.

— Если бы мы стояли на своей современной точке зрения и имели бы очень большие требования к степени художественности, то нам пришлось бы количество памятников так уменьшить, что осталось бы, не знаю, разве только «Слово о полку Игореве», — говорил академик Орлов.

И Владимир Иванович начинал понимать, что любое свидетельство жизни наших предков ценно не только для историков, что оно бесценно и для литературоведа. А он решил стать литературоведом, прочитав «Житие» Аввакума.

Орлов предлагал вдумываться в скупые строки старинных завещаний. В них шла речь не только об имуществе, но и выражалась забота о том, «чтобы свеча не погасла», чтобы род и память о роде не пресекались. Он призывал своих слушателей увидеть разную красоту в русском «Домострое», советовавшем хозяевам не обращаться дурно и жестоко со слугами, ибо им, «в неволе заплакав», останется только красть, совершать преступления и развратничать.

— Читайте и перечитывайте труды Федора Ивановича Буслаева и вы увидите наш русский язык во всем его великолепии. Вы увидите, что наша наука — литературовед-

ние—может быть изящной, а ученый—подлинным художником. Федор Иванович был величайшим знатоком и романской и германской филологии, он соединил исследование литературы с исследованием живописи и скульптуры. Он создал первую у нас историческую грамматику русского языка. Когда академик Соболевский напечатал свои лекции по истории русского языка, мы, еще не зная Буслаевских трудов, недоумевали, откуда у Соболевского взялся букет таких примеров. И только потом мы убедились, что самые изящные из этих примеров взяты из исторической грамматики Буслаева....

Орлов говорил, зорко и насмешливо поглядывая на свою аудиторию. Насмешливо, так как не верил, что утомление, по его словам, «жажды историко-литературной осведомленности» приведет хотя бы одного из них к серьезной до фанатичности работе над древнерусской словесностью. И все-таки он старался пробудить в них честолюбие великолепными сплоскими, столь противоположенными художественной литературе.

В конспектах, которые Владимир Иванович вел своим очень разборчивым почерком, уже появились сведения о сборниках апокрифов, широко читавшихся на Руси еще на самой заре церковнославянской письменности, о старинных Евангелиях, о начальной русской летописи, что называлась «Повесть временных лет» и была настоящей повестью, искусно соединившей в себе быль и вымысел. И вместо того, чтобы возмущаться ненаучной вольностью древних историков, академик Орлов ликовал.

Академик радовался тому, что в старинных русских книжниках жило творческое начало, радовался их фантазии и той иронии, с которой они переосмысливали древние притчи. В житиях святых он усматривал массу любопытнейших подробностей, рожденных игрой ума безвестных русских переводчиков. Он видел в их трудах — в Прологах, Четвех-Минях, Патериках — собрание романов, пространных повестей, подлинную литературу. Спираясь на открытия великих русских филологов, он находил зерно легенды о Фаусте в житии Киприана и Устины, миф о египетском боге Горе — в житии Георгия Победоносца, народный сказочный сюжет о выборе царской невесты — в житии Филарета Милостивого, биографию Будды — в житии Варлаама и Иоасафа. Он рассказывал о хронографах, сборниках, хрониках, палаях и иных книгах, переписывавшихся на Руси в громадных количествах и переходивших из поколения в поколение. Он легко находил в произведениях Льва Толстого, Достоевского и Лескова не только следы их знакомства с древней литературой, но и подсознательное переосмысление нетленных сюжетов. Творческая мысль всего мира, всех народов, всех веков стекалась у него в единый могучий поток, прикинуть к которому и испить из него может всякий, имеющий голову на плечах...

Наверно, не было более благодарного слушателя, чем Владимир Иванович, который внимал академику трепетно и продвигался к своей цели подобно легендарному Китоврасу, никогда не отклонявшемуся от своего пути. А путь у Владимира Ивановича был всегда один — университетская аудитория, библиотека, где он проглатывал едва ли не все, о чем упоминал в своих лекциях академик, и столовая, где он проглатывал, не отрывая глаз от очередной страницы, лишь то, что мог позволить себе брать на свои скудные и редкие заработки. Спал он мало, отощал, высох, но цепко запоминал прочитанное.

Вскоре Владимиру Ивановичу представилась возможность поближе познакомиться с академиком Орловым. История этого знакомства звучит анекдотично, но я бы назвал ее апокрифической, пользуясь терминологией, уже освоенной Владимиром Ивановичем.

Знакомство состоялось в тот день, когда академик пересказывал апокриф о Китоврасе (Кентавре), как звали греки на свой лад индийского духа — гандарву. Эта легенда была переведена с греческого на русский в XII веке.

...Послал некогда царь своего боярина с отроками привести всеведущего Китовраса. Найбол боярин хитростью Китовраса выпом, надел на него оковы и повел в столицу. Но только нрав у Китовраса был особенный — не ходил он кривым путем. И стали слуги царские ломать перед ним дома... Идет Китоврас мимо рынка и слышит, как некий муж спрашивает, нет ли у сапожника сапог, которых бы хватил на семь лет носки. И рассмеялся на это Китоврас. Увидел он знахаря, который ворожил, и опять рассмеялся, а при виде веселой свадьбы заплакал...

В этом самом месте рассказа академика голова Владимира Ивановича склонилась на грудь, и он уснул.

В тот день с утра пораньше он отправился на товарную станцию, заработал немного денег, помогая грузчикам, и не отказался выпить с ними водки, спасаясь от промозглой погоды. стакан, принятый на голодный желудок, согрел студента. Ставшие легкими ноги послушно понесли его к университету, но там его сморило, и он уже не услышал, как пьяненький Китоврас смеялся над человеком, который искал сапоги на семь лет, ибо знал, что жить тому человеку осталось всего семь дней. Китоврас смеялся над знахарем, который сообщал людям тайны, а сам не ведал, что под ним был склеп с золотом. Китоврас плакал при виде свадьбы, потому что молодому мужу суждено было прожить всего тридцать дней. Не услышал Владимир Иванович и грузных шагов академика Орлова, гулко отдававшихся в притихшей аудитории. Академик сел с кафедры и направился к нему. Владимир Иванович проснулся только тогда, когда мощная рука академика потрясла его за плечо. Он вскочил с места. Втянув своим большим носом воздух, академик мгновенно сообразил что к чему. Диалог был краток.

— Что пили? — спросил академик.

— Водку, — ответил Владимир Иванович, сразу поняв, что заирательство бесполезно.

— Чем закусывали?

— Ничем.

— Закусывать надо, молодой человек. Зайдите-ка на кафедру после лекции. Мы с вами поговорим на эту тему...

Совершенно протрезвевший, терзаемый дурными предчувствиями, он предстал перед грозными очами Александра Сергеевича Орлова. Но если бы Владимир Иванович обладал провидческим даром Китовраса, он понял бы, что вытянул счастливый билет.

Академик прекрасно разбирался в людях и житейских ситуациях. И особенно, как поговаривали, в таких, в какой оказался элополучный наш Владимир Иванович. Приняв его объяснения с изрядной долей добродушной иронии, академик решил устроить студенту потехи ради форменный экзамен. Он предвкусал жалкий лепет студента-балбеса... а получился у них серьезный разговор и даже спор, потому что Владимир Иванович свирепо вцепился в утверждение академика, сказанное им еще во вводной лекции, о том, что древняя русская литература кончается в XVI веке, а XVII век — это уже кризис, это уже нечто, не заслуживающее внимания, это мешанина всяких иноземных влияний, эклектика...

— А «Житие» Аввакума? — возразил Владимир Иванович.

— Что «Житие»? Старообрядцы напрасно отстаивали Третий Рим и его творцов. На московском соборе тысяча шестьсот шестьдесят седьмого года все уважаемые писания старого обряда были признаны плодом нерасстойной простоты и невежества, это были идеи шестнадцатого века, ненужные, отжитые...

— «Житие» было написано позже, Александр Сергеевич, — возразил Владимир Иванович, наивно полагая, что он подловил академика на неточности, и глубоко обиженный за своего литературного кумира.

— Ты щенок, — сказал ему Орлов. Его «ты» означало, что он уже принимал Владимира Ивановича всерьез, едва ли не считал своим. — Ты щенок еще, потому что не отличаешь тенденции от частных. Мне твой упрямый дурень Аввакум самому нравится. Кстати, как тебя зовут?

— Владимиром.

Орлов внимательно посмотрел на студента, и от его взгляда не ускользнула ни аскетическая худоба Владимира Ивановича, ни поджатые сердито губы, ни отрешенный взгляд карих глаз, ни скверная одежка...

— Кто твои родители?

— У меня нет родителей, — не вдаваясь в подробности, ответил Владимир Иванович.

— Ага... Сирота-пролетарий, значит, тяготеющий к знаниям. Похвально. Жрать хочешь? — спросил неожиданно Орлов.

— Хочу, — просто ответил Владимир Иванович.

— Тогда, Володимир, пошла ко мне домой. Моя курица чем-нибудь нас накормит. До кулинарных познаний попа Сильвестра ей далеко, но... «Домострой» ты, надеюсь, читал?



— Читал.

— И водочки всякие найдутся. Сам настаивал, по старинным рецептам. Впрочем, с тебя на сегодня хватит...

Александр Сергеевич Орлов обитал тут же, на Васильевском острове, на первом этаже «дома академиков», что стоит и поныне неподалеку от Академии художеств, облепленный десятками литых чугунных досок с громкими учеными именами.

С тех пор Владимир Иванович часто навещался на квартиру к академику, сиживал в его кабинете, где книги стройной ратью стояли на полках, где они громоздились метровыми стопами на письменном столе и на полу. Слева от стола притулился токарный станочек, на котором Александр Сергеевич вытачивал всякие безделушки, питая особенное пристрастие к тростям, не нужным никому и лежавшим грудой меж книг. У Владимира Ивановича такое занятие академика вызывало высокие ассоциации, он вспомнил царя Петра и старика Болконского из «Войны и мира» и сказал об этом, наеда Орлова на воспоминание о Льве Николаевиче Толстом, с которым академик в свои молодые годы как-то пилил дрова в Хамовниках, потому что жил по соседству.

— И вы с ним разговаривали? — спросил Владимир Иванович, думая услышать о каком-нибудь откровении классика и тотчас устыдившись очевидной глупости своего вопроса.

— Разговаривали, — сказал Орлов, и глаза его засветились насмешливо и плотноядно. — О бабах разговаривали. Старик в этом деле знал толк. О девках деревенских рассказывал, об утехах плотских... Ты что думаешь, я всегда такой был?

Академик дотронулся до своего уродливого носа и испытующе посмотрел на зардевшегося Владимира Ивановича, уже насыщанного от других о том, что Орлов в молодости считался первым красавцем на Москве, не знал счета своим победам, но, кажется, во время гражданской войны заболел то ли черной оспой, то ли какой-то другой страшной болезнью, обезобразившей его лицо...

— А как у тебя, Володя, на сей счет? — спросил Орлов, забавляясь смущением Владимира Ивановича. — Ну-ну... Смотри рано не женись. И особенно берегись ученых дамочек...

Что дано человеку от рождения, то и остается в нем на всю жизнь. Никакое учение, никакие примеры не могут изменить характер человека. Не изменило Владимира Ивановича и общение с Орловым. Он не обрел ни лукавости, ни добродушного цинизма, ни вельможной неуязвимости академика. А словечки его подхватил и даже острить пытался, неловко защищаясь натужными шуточками от чужих поползновений на свое сокровенное, и за его вечными насмешками над «учеными дамочками» в те времена, когда я уже знал его, не было ни убежденности, ни зла...

Владимир Иванович нравился академику. Тому хотелось еще больше увлечь первокурсника своим делом, и, как прирожденный педагог, он не жалел прописных истин. Он расхаживал по кабинету и говорил:

— Палеографию должен знать всякий историк и филолог, имеющий дело с древними рукописями. Она и только она поможет ответить тебе на вопрос, где и когда возник письменный памятник. Возьми ту книгу... Что ты можешь сказать о ней? Ничего. Ты не можешь даже отличить старопечатную книгу от рукописной... Пока... Придет время, и ты перестанешь смотреть на книгу, как баран на новые ворота. Но это будет не раньше чем через твои руки пройдут тысячи рукописных книг. У тебя появятся собственные методы датировки книг, свои приметы... Ты научишься различать, какими чернилами выводил свои буквы писец, ты будешь узнавать его по почерку, ты даже узнаешь, где он сменил перо на новое, по нажиму, по толщине букв. Запоминай: первых четыре века русской письменности писали на пергаменте почерком, который называется уставом. Вот он... Славянский устав — это медленное, торжественное письмо; в нем красота, правильность и церковное благолепие. Это литургия, это архитектурное совершенство. Этим почерком написано Остромирово Евангелие и «Изборник» Святослава. А это полуустав. Буквы уже чуть наклонны и не столь красивы. Это деловое письмо писцов, работавших на заказ и на продажу. Спрос на книги растет, писец спешит, ему не до каллиграфической строгости. Он упрощает написание букв и все больше прибегает к сокращениям слов... С пятнадцатого века уже пишут чаще на бумаге и скорописью. Государство — это прежде всего

бумаги. Много бумаг. Горы бумаг. И тут уж не до выведения буквочек... Скоропись — это более размашистый и свободный почерк. Ею пишут грамоты, челобитные, письма и собственные жития. Твой Аввакум тоже писал скорописью. Не надо быть графологом, чтобы по его яростному, бегущему почерку понять его характер, его неуспокоенность, его порыв, непрофессионализм в писцовом деле, яркую индивидуальность... Запомни: московские рукописи четырнадцатого века встречаются крайне редко. В тысяча триста восемьдесят втором году кремлевские храмы до самого свода были набиты книгами, навезенными бежавшими от набега татар людьми. И все рукописи сгорели. Это был не первый и не последний пожар на Руси. Горели книги — горели во время вражеских нашествий, горели во время стихийных бедствий, горели от небрежения, от глупости, от злого умысла... Иконам у нас повезло больше, чем книгам. Прославленные и чудотворные иконы вроде «Троицы» и охранялись лучше и выносились первыми во время пожаров, а книги... эх!.. Внимательно приглядывайся, из какого дерева сделан переплет книги. Если доски сосновые — это север России, если дубовые, березовые или липовые — это средняя полоса. Смотри на орнамент тиснения кожного переплета... В семнадцатом веке доски переплета выдвигаются над обрезом, защищая его от трения.

Ты можешь узнать время переписки книги по вязи, по орнаменту, по фигурным заглавным буквам. Вглядись, как хороши они! Иной такой художник вкладывал в рисунок одной буквы содержание всей сказки. Помнится, видел я в Новгородской Псалтыри четырнадцатого века заглавную букву «М» в виде двух молодых в кафтанах, с сетью в руках, полною рыб, которую они держат за веревку. И над каждой фигурой киноарная надпись. Над первой: «Потяни, курвин сын»; над второй: «Сам еси таков». Вот стервецы! Украшенные таким образом книги назывались на Руси обряженными, а книги с миниатюрами, с раскрашенными рисунками — лицевыми... Уже в нашем, двадцатом веке научились узнавать время изготовления по водяным знакам. Погляди этот лист на свет, бумага здесь прозрачнее и фигура — голова шута в зубчатой пелеринке — вырисовывается. Это семнадцатый век. А вообще-то их тысячи. этих знаков бумажных фабрик, сам посмотришь в альбомах... И еще придется разгадывать тебе тайнописи, в которых сам черт ногу сломит. Есть тайнопись даже в русских рукописях двенадцатого века. Тут тебе и замена одних букв другими и математика. Царь тишайший Алексей Михайлович сам составлял тайные, «затейные», системы письма для своей переписки с послами, гонцами и доверенными лицами. Ты их увидишь, когда доберешься до архива Приказа тайных дел... Чтобы иметь дело с рукописью, ты должен знать родную историю как свои пять пальцев. А ну-ка скажи, к какому роду принадлежал патриарх Иоаким, который допек твоего грешного Аввакума? Не знаешь... К роду Савеловых! А как звали в монастыре царя Бориса Годунова? Ну когда он перед смертью постригся?.. Боголеп! Все, все сгодится, когда читать да различать научишься... Печатная книга имеет тираж, а всякая рукописная книга есть уник! Великое счастье найти новое, неизвестное ранее произведение. Но если даже это просто очередной список уже известной вещи, рукопись все равно уник. Почти всегда это вариант уже известного. Приписка какая-нибудь на полях и то может дать новые сведения об историческом факте. Это может быть неизвестная редакция, наконец...

Так или примерно так рассказывал мне Владимир Иванович о домашней лекции академика Орлова. И была тогда же сказана фраза, после которой в мечтах о собственной будущности у Владимира Ивановича появился намек на то, что его действительно ожидало впереди, тень мысли, разросшаяся потом в мысль, в устремление, в убежденность...

— Нас еще ждут большие радости, — сказал Орлов, — где-то под спудом лежат неизвестные нам рукописи, ожидая времени, когда чья-то рука бережно извлечет их...

Но тогда Владимир Иванович еще мечтал о карьере писателя, и притом писателя исторического, наивно полагая, что право на это даст ему знание истории. Он не ведал мук, приносимых этой профессией, не знал горечи каждодневных поражений в попытках выстроить лучшие слова в лучшем порядке и строчил начала поэм, рассказов, повестей с графоманской легкостью, но это было не графоманством, а дерзостью, которую может позволить себе молодость, не знающая сомнений. Хватаясь то за одно, то за другое, он не дошел до тех маленьких удач, которые одни лишь дарят

радости писателю и все вместе приносят творческий успех, но уже поторопился дать в студенческую газету «За пролетарские кадры» одно из таких начал с многообещающей врезкой: «Тов. Малышев работает над исторической повестью «Иконописец», посвящающей быт монашества. Место действия — Новгород (Северный), первая половина XVII в.».

Интерес тов. Малышева к быту монахов, да еще поддержанный газетой «За пролетарские кадры», на первый взгляд кажется странным, но когда за такой несообразностью обнаруживается желание создать антирелигиозную повесть о плотских утехах обитателей средневекового монастыря, все становится на свои места. Не надо быть особенно прозорливым, чтобы понять, что он заботился в первую очередь о «проходимости» своего произведения, и пойдя он дальше по этому пути, его, вполне возможно, ожидали бы материальные и административные успехи. Даже при маленьком таланте, но большой настойчивости, берясь за все новые и новые актуальные темы, он был бы вознагражден благополучием.

Но Владимиру Ивановичу не хватило тех деловых качеств, которые привели бы его к столь блистательной будущности, а главное — у него хватило совести, чтобы бросить задуманное и начатое и продолжать свои занятия историей литературы и палеографией с таким усердием, что к концу второго курса он достиг крайней степени истощения, у него часто шла носом кровь, и однажды, очнувшись после глубокого обморока, он понял, что пришел конец и еще одному его начинанию.

Было от чего прийти в отчаяние — пришлось бросить учение, не совсем, правда, как заверили его в деканате... Пусть он отдохнет, подлечится, его всегда будут рады принять обратно. Тем более что академик Орлов считает его подающим большие надежды...

Но у него не было ни здоровья, ни денег, ни жилья. Врач сказал, что ленинградский климат ему вреден, что ему надо поехать куда-нибудь на юг, устроиться в спокойном месте, подлечиться... Он раздобыл немного денег и поехал на Печору, где климат был еще более скверный. И пока палубный пассажир небольшого парохода, следующего из Архангельска на Таймыр с заходом в Нарьян-Мар, знакомится со спутниками и страдает от качки, попробуем разобраться в кажущейся нелогичности его поступка.

## 12

Раскол всколебал русскую землю.

Через две недели после сожжения Аввакума скончался царь Федор Алексеевич. И началась стрельцкая смута.

Стрельцы вошли в Кремль с развернутыми знаменами, с пушками, с барабанным боем. Они изрубили «на мелкие части» Артамона Матвеева и многих других бояр.

Царевна Софья Алексеевна, ставшая правительницей при возведенных на трон малолетних царях Иване и Петре, откупалась от стрельцов деньгами.

У восставших сами собой появились предводители: князь Хованский и стрелец-старовер Алексей Юдин. На третий день бунта в полках стали поговаривать о челобитной патриарху, чтобы власти вернули «старую веру», гонимую никонианами.

Даже князь Хованский растрогался.

— Я и сам грешный,— говорит,— вельми желаю, чтобы по-старому было в святых церквах единогласно и безмятежно. Хотя и грешен, но, несумненно, держу старое благочестие, чту по старым книгам и воображаю на лице своем крестное знамение двумя перстами. Рад вам, братия, помогать, а того и в уме не держите, чтобы по-старому вас казнить, вешать и в срубках жечь.

И была хованщина. Царевна Софья со всем царским семейством выехала в Троице-Сергиев, а потом жестоко подавила стрельцкий бунт. Кому руки и ноги велели сечь, кому носы и уши урезать, а кого и разослать по дальним гарнизонам.

На этом стрельцкая смута не кончилась. Пламя сбили, но головешки тлели долго. И от них занималось все, что могло гореть. Стрельцы уезжали, затаив мысль о мести. Крепко повязаны были они между собой и теми, кому удалось остаться в Москве. Готовились новые бунты под знаменем старой веры, но это были возмущения против государства, кончавшего с остатками старых вольностей. До народа доходили слухи

один страшней другого — о всешутейных и всепьянейших соборах молодого Петра, о нашествиях на Москву иноземцев, привороживших царя, трубокурах и кощунниках. Договаривались до того, что царя подменили в младенчестве и есть «печать зверя» на нем.

— Вот они, плоды посеянных Никоном плевелов, — нащептывали старообрядцы. — Софья и та лучше была, чем Петр.

Не раз еще восставали стрельцы. И сколько ни пытали их, ни вешали, они восставали снова, рвались к Москве:

— Немецкую слободу разорить и немцев побить!

Тысячами казнил их царь Петр, вернувшийся из Европы, а трупы развесил по стенам Белого и Земляного городов.

«Что ни зубец, то стрелец».

Австрийский разведчик Иоанн Георг Корб с ненавистью и страхом отписывал своим начальникам из Москвы о непостижимом упорстве русских, об их нечувствительности к пыткам:

«Пред царским путешествием один участник мятежа в 1696 году упорно выдерживал четыре раза пытки, отнюдь не сознавая в своем злодеянии. Заметив, что пытки не приносили никакой пользы, царь обратился к ласкам и, поцеловав допрашиваемого, сказал ему так: «Мне неизвестно, что ты был участником задуманного против меня злого умысла. Довольно подвергался ты наказаниям, признайся теперь добровольно по любви. Клянусь не только отпустить тебе всю вину, но, кроме того, в знак особой моей милости сделать тебя полковником». Необычная для слуха ласковая речь преклонила упорство этого в высшей степени твердого человека; набравшись смелости, он вернул царю его поделу и во всеуслышанье так ответил ему: «Это для меня самое высшее мученье. Ничем иным ты не одолеешь моего упорства». Затем он изложил по порядку все события заговора. Пришедши в восхищение оттого, что немого пред столь ужасными и зверскими мучениями человека можно было смягчить одним ласковым словом, царь спросил у него, как он мог выдержать столько ударов кнутом и столь бесчеловечную жестокость подпаливания огнем пораженной спины. Тогда тот начал другой, еще более изумительный рассказ: он и другие участники составили некое общество, в которое не допускался никто иначе как после предварительной пытки; кто мог вынести больше мучений, тому прочие определяли и больше почета. Подвергнувшийся пытке только раз становился простым сотоварищем и участником общего у всех имущества; если же кто стремился к почетным должностям, которые у них были различные, то он не мог добиться их, раньше чем преодолев новые мучения и достигнув сообразно с ними высших ступеней почета, не представлял этим доказательства своей способности к терпению. Лично он шесть раз подвергался пыткам и поэтому по решению всех сделан их главою. Для него ничего не значат кнуты, ничего не значит подпаливание после кнутов, ему приходилось выносить у товарищей гораздо более жестокие муки. «Именно, — продолжал он, — весьма острая боль бывает при вкладывании в уши раскаленного угля; не меньшая боль испытывается, когда с вышнего на два локтя места падает медленными каплями на бритую голову самая холодная вода». Он преодолел все это и оказался, таким образом, сильнее своих товарищей; тех же, кто желал попасть в их общество, но не мог выдержать сразу же первых мучений, они изводили ядом или умерщвляли каким-нибудь другим подходящим способом из боязни, чтоб те их не выдали. Насколько он может припомнить, он и его товарищи погубили по меньшей мере сорок подобных непригодных кандидатов в их общество. Таким образом, этот человек десять раз терпел неслыханные мучения: шесть раз от товарищей и четыре раза на допросе у царского судьи; он жив и доселе и, как я выше изложил, произведен по царской милости в полковники и пребывает в Сибири».

Может быть, это легенда, принятая Корбом за быль. Но во всякой сказке есть намеки...

Упорные люди противостояли царю Петру. Еще больше упорных людей привлек он к себе, впрягая в работу и осыпая почестями...

Многие бежали от наказания, многие были высланы. Беглый московский стрелец Филипп основал среди старообрядцев новый толк — «филипповское согласие». Разби-

лись старообрядцы на десятки течений, толков, согласий, сект, среди которых были и невиданно изуверские. Бежали они в дикие лесные места, а когда достигали их царские драгуны, сжигались.

Тайные секты охватывали тысячи и тысячи недовольных. В тайне искали выход из тягостной обыденности.

Притеснения и стремление к воле, которое многие русские крестьяне связывали с приверженностью к старой вере, породили центробежные силы, теснившие их на окраины, на Север, за Урал, на Кавказ, в Польшу, в Литву. Из них пополнялось казачество, что селилось на границах, обживало новые земли, расширяло пределы страны. Казаки были заводилами в восстаниях вроде пугачевского...

В лесах и дальних краях крестьяне на барщину не ходили, оброка не платили. Власти понимали, что не только приверженность к двуперстному кресту, дониконовским обрядам гонит их в дальние края. Было еще чувство собственного достоинства, непокорство. Уже при Екатерине II митрополит Платон писал старообрядцам:

«За веру вас не гонят, а посылают по вас команды для того, что вы, убегая в леса, государю служб не служите, даней не платите, дома сродников и помещиков оставляете, и для того государи наши посылают по вас команды...»

Связанные тайными узами, старообрядцы помогали друг другу по всей России, завели обширную торговлю, а потом и промышленность, имели своих агентов-«благотетелей» в правительственных верхах. Об одном из руководителей старообрядцев, Андрее Денисове, жившем еще в петровские времена, говорилось, что он «внимательно следил за всем в государстве и умел вкрадываться, можно сказать, в самые темные мысли и побуждения людей, стоящих во главе государства».

Братья Андрей и Семен Денисовы основали процветающий скит в глухих лесах на реке Выг в Олонецком крае. Они принимали к себе беглых крестьян и солдат, наладили хозяйство, завели иконописные мастерские. «Грамотные старцы» занимались перепиской старинных, дониконовских книг. Они создали свое красивое и четкое «поморское письмо». Путешествуя по торговым делам, старообрядцы покупали за большие деньги и выкрадывали из монастырей иконы и древние рукописи. Они поражали крестьян своей начитанностью, умением освещать мирские дела светом древней книжной мудрости.

— Предлагают чтение книжное и оттого простирают учение свое,— говорил о старообрядцах их враг Дмитрий Ростовский.

Великое множество старинных рукописных книг собрали старообрядцы в своих скитах, разбросанных по всем глухим углам России. А если правительственные чиновники закрывали скиты, книги продолжали храниться в раскольниковских семьях и передаваться из поколения в поколение. И сбереглись до наших дней обреченные было на гибель страницы истории.

До 1905 года работали в тайных мастерских на Выге и Лексе десятки девочек, начинавших учиться своему ремеслу с семилетнего возраста. В избах с маленькими окошечками, едва пропускавшими свет, а по вечерам при коптилках и свечах переписывали они гусиными и лебедиными перьями древние рукописи. Выводили заглавия вязью, а текст полууставом. В чернила добавляли толченую железную ржавчину, сажу и камедь, отчего у чернил бывал коричневый оттенок, как в старинных книгах. За девочками следили строгие надзирательницы, наказывавшие за каждую ошибку. Били линейками по щекам и ставили коленями на горox.

И расходились переписанные девочками книги по ярмаркам, продавались из-под полы, растекались по деревням. Но были среди книг не одни старообрядческие сочинения. Были и древние повести, стихи, сказания...

Где-то в скитах или крестьянских избах хранились, переписывались и распространялись и сочинения преданного церковью анафеме Аввакума. Руку его, «слог словес», знали и высоко пенили, но от ученых — филологов и историков укрывались эти рукописные книги лет полтораста.

Богословы его иначе как «мудрствующим мужиком» не называли. Для них он еретиком был, еретиком и остался.

Мелькнуло об Аввакуме упоминание в журнале «Парнасский щепетильник», издававшемся литератором Михаилом Дмитриевичем Чулковым. Была там в 1770 году, в майской книжке, статейка «Продается стихотворец лирический». И описан был в ней дед, одного бездарного поэта. Тот дед носил перстень с частью ногтя указательного пальца Аввакума и помнил все «Житие» Аввакумова наизусть.

«Рассказывал оное во всякой беседе с прегорькими слезами, а особливо как сей угодник их страдал под батогами и под всяким орудием, которым его за дурачество стягали».

Так бы и затерялось «Житие», а может быть, и стинуло совсем, как многое из написанного нашими предками, если бы оно не было найдено в библиотеке Московской духовной академии и не напечатано в 1861 году академиком Н. С. Тихонравовым. Но автографа у Тихонравова не было. Со списка печаталось «Житие», с копии, да к тому же неисправной.

Но замечено оно было людьми сразу. И какими людьми!

Федор Михайлович Достоевский прочитал «Житие» жадно, удивляясь способности Аввакума вмещать громадные мысли в считанное число строк. В характере Аввакума писатель увидел ту самую русскую черту, к которой он пристально пристраивался в собственных романах. Если русский человек в ладу со своей совестью, он необорим. Вина же, душевный разлад, угрызения совести опустошают его, заставляют искать наказания и даже гибели. Языком «Жития» Федор Михайлович мог восторгаться бесконечно. Как-то в своем «Дневнике писателя» он высказал сомнение, что Пушкин и Аввакум могут быть хорошо переведены на другие языки, и добавил при этом: «Нельзя не признать... что нашего-то языка дух — бесспорно многообразен, богат, всесторонен и всеобъемлющ...»

Сергей Михайлович Соловьев радостно включил в подоспевший том своей «Истории России с древнейших времен» множество страниц из «Жития».

Иван Сергеевич Тургенев не расставался с книгой Аввакума в своем затянувшемся до самой кончины пребывании за границей. В Париже зашел у него разговор о литературном стиле с русской писательницей Луконойной.

— Я вспомнил «Житие» протопопа Аввакума, вот книга! — сказал Иван Сергеевич. Он порылся в шкафу и достал первое издание «Жития» под редакцией Тихонравова. — Вот она, живая речь московская... — Он прочел вслух несколько страниц. — Сравните с этим языком книжный язык того времени, ну хоть как пишет боярин Артамон Матвеев, ученый человек... сухо, утомительно... У Аввакума не то, он живой речью писал.

Лев Николаевич Толстой часто читал «Житие» своей семье, говорил, что произведение Аввакума непременно должно быть в учебниках. В покое Ясной Поляны, в крахмальном уюте ее столовой он тосковал по мученическому венцу.

Мамин-Сибиряк вспомнил о «Слове о полку Игореве», прочитав «Житие». Он писал, что «по языку нет равных этим двум гениальным произведениям... первому же отдана приличная дань уважения, а теперь очередь за вторым...»

Чернышевский ободрял в ссылке своих товарищей:

— Вспомните протопопа Аввакума... человек был, не кисель с размазней...

Много было говорено об Аввакуме, и особенно Горьким: «Язык, а также стиль писем протопопа Аввакума и «Жития» его остается непревзойденным образцом пламенной и страстной речи бойца, и вообще в старинной литературе нашей есть чему поучиться».

Интерес к «Житию» был таков, что начались поиски автографа этого произведения. Но находили все списки с него. А по спискам выяснили, что не один раз принимался описывать Аввакума свою жизнь, а трижды. Три варианта «Жития» были опубликованы. Нашлись автографы некоторых писем мятежного протопопа. А вот автографа «Жития» не было.

Повезло археографу Василию Григорьевичу Дружинину.

Тот давно уже создавал свою знаменитую коллекцию поморских рукописных книг. Помогал ему в этом Федор Каликин, простой вологодский мужичок, пристра-

стившийся к старине. Он иконы реставрировал и книги переписывал. Приехав в Петербург, подружился с учеными-археографами и до такой степени навестился, что впоследствии, уже при советской власти, не имея никакого образования, был научным консультантом в Эрмитаже и Русском музее.

В 1912 году он съездил по поручению состоятельного Дружинина в Архангельскую губернию за книгами и как-то осенью разговорился со старообрядцем Николаем Визгуновым, служившим секретарем в брачной конторе старообрядцев-беспоповцев «федосеевского согласия», которая принадлежала богатому купцу Пылину. Перебирая старые бумаги, Визгунов наткнулся на небольшой рукописный сборник XVII века и сказал об этом Каликину. Пошли они вместе к старику Пылину. Прижимистый старик попыхтел-попыхтел и сказал:

— Продам. Только за сто рублей, не меньше.

Отнесли книгу Дружинину. Тот повертел ее в руках. Список «Жития» Аввакума. Интересно... Но таких много. Правда, этот самый старый. Больше пятидесяти рублей за него он не даст. Так и шла торговля. Носили книгу Каликин с Визгуновым то к Пылину, то к Дружинину. И никому из четырех и в голову не приходило, какую ценность они держат в руках.

Сошлись на шестидесяти рублях.

А незадолго до этого события вышла книга Я. Л. Барскова «Памятники первых лет русского старообрядчества», и был в ней снимок с подлинной челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу. О том, что случилось потом, сам Каликин рассказывал Владимиру Ивановичу так:

— На следующий день после покупки вечером прихожу я к Василию Григорьевичу Дружинину. А жил он тогда на Загородном проспекте, в доме семьдесят. Встречает он меня в своем небольшом кабинете, заставленном и заваленном снизу доверху книгами и рукописями. Настроение у него хорошее, и я сразу подумал: наверно, ценную рукопись приобрел. Попили чаю, а потом Василий Григорьевич и говорит мне: «А что, не автограф ли Аввакума мы с вами приобрели, давайте-ка посмотрим? Если рука протопопа Аввакума, вот это было бы прекрасно!» Он достал книжку Барскова и положил передо мной. Я почувствовал, что Дружинин уже сверял почерки и хочет, чтобы я подтвердил его надежду на автограф «Жития». Мы сели за стол и начали сопоставлять по алфавиту букву за буквой. После сверки двадцати букв все стало ясно. Сходство получалось поразительное, начертание почти всех букв совпадало. Так просидели мы за рукописью почти всю ночь, проверив все буквы алфавита.

На следующий день Дружинин созвал к себе крупнейших ученых столицы, и они тоже подтвердили его догадку. «Житие», которое они рассматривали, написано рукой Аввакума. Оно было в одном сборнике с автографом инок Епифания. Дружинин ликовал.

После публикации сборника к ученому явилась целая депутация московских старообрядцев. Купцы-богатей давали ему тридцать тысяч рублей только за то, чтобы он передал им рукопись на хранение. В 1922 году, когда Дружинин уже сильно нуждался, к нему снова обратились и снова получили отказ.

Дружинин передал рукопись Археографической комиссии, и она хранится в библиотеке Академии наук, где с ней и познакомился Владимир Иванович.

Но где же другие автографы «Жития»? Ведь известно, что существует, по крайней мере, еще два варианта автобиографии Аввакума.

Владимир Иванович решил, что скорее всего хотя бы один из них он найдет в Пустозерске, в том месте, где казнили Аввакума, где тот писал свое «Житие», где было некогда много сторонников великого писателя.

«Ход моих рассуждений был, как мне казалось тогда, безупречен,— писал впоследствии Владимир Иванович.— У меня не было и тени сомнений в том, что, раз Аввакум провел в Пустозерске пятнадцать лет своей жизни, там должны были сохраниться и до наших дней его автографы. Я был убежден в этом настолько, что позволил себе не посчитаться с мнением своего учителя Александра Сергеевича Орлова...»

Это было наивное предположение. Так ему и сказал академик Орлов, когда Владимир Иванович пришел к нему попрощаться.

— Ну куда тебя, Володимир, понесло? Мне сам фольклорист Фнчуков, объездивший всю Печору, говорил, что там нет ничего стоящего. Рукописей ты не найдешь и только попусту съездишь. Скажи положи руку на сердце — просто тянет тебя посмотреть на место, где великого упряма казнили. Есть у людей такое влечение — навещать исторические места. Смотри, путь у тебя нелегкий будет.

Владимир Иванович в душе не мог не согласиться с академиком. Угадал Александр Сергеевич, почему его потянуло в Пустозерск. Желание до сих пор было неосознанное — тянуло, и все тут...

— Я все же попробую, Александр Сергеевич,— упрямо настаивал Владимир Иванович.

— Твое дело. Поезжай. А я тебе бумажку от академии о содействии выправлю...

## 14

Несмотря на бумажку, торжественной встречи в Нарьян-Маре не было. Он сошел с пароходика, измученный штормовой качкой. Перед самым входом в устье Печоры пароход сильно потрепало. Даже твердь, на которую он ступил, уходила из-под ног, плыла куда-то, раскачивалась. Владимир Иванович взглянул на несколько барачков, составлявших тогда весь город, и лег спать тут же на пристани, положив чемодан под голову.

Проснулся он от холода. Со стороны моря дул ледяной ветер. Владимир Иванович стал прыгать, чтобы согреться, пробежался до ближайшего барака и обратно. У пристани он едва не сбил с ног малорослого, узкоглазого и кривоногого человека в штанах и длинной рубахе из вывернутых оленьих шкур. Человек увернулся и оторопело посмотрел на него.

— Ты пошто толкаешься, бляха-муха? Пошто бегаешь? Поди на пароходе приехал? Николаем меня зовут. Фамилия Тайбарей, пастух. Оленевод, нынче говорят, бляха-муха. Олешков пригнал продать. А ты кто?

— Малышев Владимир. Из Ленинграда. Хочу в Пустозерск попасть. Далеко это?

— Э, худо твое дело, парень. До Городка, почитай, верст тридцать будет, бляха-муха. На лодке туда надо, а кто поедет? Я поеду, на оленях тебя повезу. Замерзнешь ты тут. Пошто ночевать к кому-нито не попросился? До Устья дойдем, а там тебя в Городок перевезут.

— Ты в Пустозерске бывал? Книги там есть, не видал?

— Как не бывать в Городке, бывал. И книгу видел в церкви. Большую. Евангелие называется...

— Да нет, мне другие книги нужны. Рукой написанные...

— Это ты в Городке у Евдокии Ивановны Шайтановой спросишь. Она грамотная, почтальоном была. У нее и остановишься. Добрая женщина. Однако пошли, бляха-муха, к чуму.

В тундре это «пошли» оказалось мукой. Тайбарей, стремительный, как ненецкий нож в полете, прыгал с кочки на кочку, а Владимир Иванович увязал в раскисшем тундровом покрове выше колена. Порой сапоги застревали и ноги высакивали из них. В конце концов он их снял. Немилосердно стало печь солнце. Комары озверели и залетали в рот при каждом вдохе. Иногда налетал порыв ветра с Ледовитого океана, сдувал комаров, охлаждал тело сквозь пропотевшую одежду, и тогда Владимир Иванович блаженствовал и замечал крупаток и громадных белых полярных сов, медленно поворачивавших им головы вслед.

— Скоро придем? — спрашивал Владимир Иванович.

— Вон за той горой,— сказал Николай.

Никакой горы впереди не было. Гора оказалась торфяной кучкой метра в два высотой, но с нее Владимир Иванович увидел треугольник чума и лес оленьих рогов. Несколько десятков жердей, сходящихся конусом и обтянутых полотнищем из распаренной, а потом сшитой бересты, показались ему прохладным и роскошным дворцом. В середине чума курилась какая-то особая травка; дымок, которого смертельно боялись комары, исчезал в отверстии у скрещения жердей.



Олени, спасаясь от комаров, жались друг к другу неподалеку от чума. Летом рога их были мягкие, поросшие бархатистым пушком. Владимир Иванович взялся за рог и почувствовал тепло пульсирующей крови. Николай ловко срезал отросток рога и отдал своей молчаливой жене, чтобы испекла.

— Ешь,— сказал он Владимиру Ивановичу, показывая на вареное оленьё мясо и печеный рог.— От рога силы много будет...

— А сколько у тебя оленей?— спросил Малышев.

— Много. Они там.— Он махнул рукой куда-то на север.— Дети пасут. Сейчас мы с тобой поедим, бляха-муха...

Взлетел аркан. Пять красавцев оленей впряжены в нарты с длинными полозьями, и вот уже сидит Владимир Иванович позади Николая, судорожно цепляясь за нарты и удивляясь, как быстро несутся сани по летней бесснежной тундре и мелькают оленьи ноги, не проваливающиеся ни в какое болото...

В деревне Устье ненец нашел ленинградцу попутчика с лодкой. Осталась позади темная вода рукава Печоры, и Владимир Иванович оказался на острове, в селе, что некогда было многолюдным древним городом Пустозерском. Двадцать изб и церковь — вот и все село.

## 15

Сидит Владимир Иванович в уютной чистой горнице у Евдокии Ивановны и строит карандашом, записывает сказку про монашек-черноризок, что, встретив князя, много лет не бывшего дома, обоглали его женушку, опорочили, сказали, что деток без него прижила. Вернулся князь и зарубил невинную свою жену...

У Владимира Ивановича ни кола, ни двора, ни женушки не осталось позади. Не по кому тосковать, некого ревновать. Оттого и не воспринимает он глубоко жестокый смысл сказки.

Владимир Иванович доволен. Он исходил Пустозерск вдоль и поперек. Его хозяйку Евдокию Ивановну Шайтанову за какую-то провинность сослали сюда еще лет тридцать назад, когда она была красивой, обоглали его женушкой, веселой хохотушкой. В Пустозерске она вышла замуж, родила десятерых детей. Скромный ленинградский гость ей понравился; и она охотно делилась с ним всем, что узнала о прошлом Пустозерска. Владимир Иванович спросил ее, нет ли каких преданий у местных жителей об Аввакуме.

— Как нет,— ответила Евдокия Ивановна.— Рассказывают, как его тут сжигали. И крест стоит, что поставили староверы в девятьсот десятом году, на моей уже памяти. Это недалеко от избы, где Семковы живут. Старик тут был один, Кожевин Аким Григорьевич, он от родителей слышал и место указал. Хочешь, покажу?

Неподалеку от болота, из которого вытекал ручеек, носивший название Никольская речка, стоял деревянный крест. Но Евдокия Ивановна прошла от него еще шагов сто по лугу и показала Владимиру Ивановичу четыре обгорелых столбика, образовывавших небольшой квадрат и почти совсем не видных в высокой траве.

— Тут и сожгли Аввакума. В срубе. А это осталось от угловых столбов. Местные так их и называют — Аввакумовы пеньпки, пенечки, значит. Старики богомольные, бывало, как проходят мимо, всегда останавливаются и кланяются. «Простите нас, грешных, отцы Аввакумы!»,— говорят. А отчего так говорят, не знаю. Много их, что ли, было, Аввакумов?

Владимир Иванович рассказал ей коротко о пустозерских узниках и о «Житии», написанном здесь Аввакумом в его земляной тюрьме, и спросил, не сохранились ли у кого старинные рукописные книги.

— Книжки-то есть. Только рукописные они или какие еще, не знаю. Пспрошаю.

В тот же день в избу к Шайтановой пришла соседка и принесла старинную книгу в деревянном переплете, обтянутом кожей. Владимир Иванович был уже достаточно подкован, чтобы отличить полуустав. Это был «Пролог» XVI века. Сборник житий. Прекрасный исторический источник для знающего человека. Он попросил продать ему книгу.

— Нет,— сказала женщина.— Это дедова память. Книга досельная. Наши прадеды ее еще из России привезли, когда сюда переселялись. Непродажная наша книга...

Книга каши не просит, пусть себе лежит. Да и зачем она вам? Только порвете и бросите...

— Не бросит,— твердо сказала Евдокия Ивановна, уже знавшая, для чего и какие нужны книги ее гостю.— Продай, Матрена.

Женщина заколебалась, а потом протянула книгу Владимиру Ивановичу.

— Возьмите, ежели так. Только денег мне не надо. Грех за такую книгу деньги брать...

## 16

В Ленинград он вернулся с тремя десятками книг, собранных в Пустозерске и окрестных деревнях. Часть записанных сказок он тотчас опубликовал с посвящением академику Орлову. Кстати, ему и еще историку академику Б. Д. Грекову он отдал привезенные книги, в которых оказались произведения, неизвестные ученым. Об одном он жалел потом всю жизнь. В Пустозерске ему говорили, что где-то в селе Каменном есть Аввакумовы грамотки на бересте. Но он не поверил этому, не поехал посмотреть, да и деньги, которые он наскреб, урывая от стипендии и случайных заработков, подошли к концу. Едва добрался до Ленинграда — на пароходе мыл посуду в камбузе, за что и подкармливали его. И еще сунули на дальнейшую дорогу сверток с бутербродами.

Академический отпуск Владимира Ивановича начался. И продолжался он целых два года. Проследивая, как он поправлял свое здоровье, я заметил закономерность — он жил и работал только там, где могли найтись древнерусские рукописи или где бывал Аввакум. Он успел обрыскать Углич, Ростов, Ярославль, работал сотрудником краеведческого музея в Боровске. Недаром он в шутку назвал свою жизнь «одной несколько затянувшейся экспедицией». И всюду он разыскивал и отсылал в ленинградские научные учреждения редкие книги, приводя в тихий восторг знатоков древней словесности. Студент становился известным в их узком кругу.

И все это на свой кошт и в то время, когда никто собирательством не занимался еще, когда на старинные книги и древние прекрасные здания многие смотрели как на атрибуты культа, а не культуры.

В Боровск его потянул Аввакум, потянул огненными строками своего «Жития» и писем к боярыне Морозовой и ее подругам. В месте их заточения Владимир Иванович надеялся найти письменные свидетельства их жизни и смерти. Он часто ходил в Пафнутьев монастырь. Сразу за стенами его начинается сосновый лес. Меж стволов виден заросший ряской пруд, над ним крепостная башня и часть стены, еще выше — купола.

В Боровске жило много старообрядцев. Некоторые старались отвадить его от рукописных кладов, но он искал поддержки людей честных и находил ее. Здесь, в Боровске, он записывал у них легенды, спрашивал, где бы могли быть «темная палатка» и «студеная тюрьма» — места заточения Аввакума. Одни показывали вешу в монастырской кухне, другие — Круглую башню, Оружейную, Сторожевую...

Боровский Панфутев монастырь был всего в получасе ходьбы от главной городской площади, связанной с именем боярыни Морозовой. Проходя по площади, где в XVII веке была тюрьма, Владимир Иванович смотрел не на гостинный двор, не на старую церковь, а на большую каменную плиту, над которой шелестели листья старой березы. И в шелесте их ему слышался слабый голос Феодосии Морозовой, умиравшей от голода: «Помилуй меня, дай калачика...» «Ни, госпожа,— отвечал ей голос стрельца.— Боюсь». «Сухарика...» «Не смею».

Художник Василий Иванович Суриков сделал первый эскиз к «Боярыне Морозовой» в 1881 году, а картину начал лишь через три года. Очень трудно было найти лицо боярыни. «Ведь столько времени я его искал,— писал художник.— «Персты рук твоих тонкокопны, а очи молниеносны. Кидаешься на врагов, аки лев...» Это протопоп Аввакум сказал про Морозову». Суриков читал «Житие», ходил по рынкам, искал типы, делал эскизы. «А юродивого я на толкучке нашел... В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал...»

Владимир Иванович собирал все, что имело отношение к Аввакуму. По вечерам, собираясь на высоком берегу Протвы, парни и девки лугзали семечки и щели частушки. Как-то он услышал:

Недалеко и без шуму  
Где-то тут погребена  
Протопопа Аввакума  
Двадцать первая жена.

Владимир Иванович усмехнулся. Старая сплетня пережила века. Но действительно ли это могила Морозовой на площади старого города? Гробокопательство не очень почтенная затея. Но одолело любопытство. И он сам же в газетной заметке описал тогда, что нашел под каменной плитой, которую народная молва называла «могилой боярыни Морозовой»:

«Эта знаменитая раскобучительница умерла в Боровске. Никто не знал, где она похоронена. 70 лет тому назад, разбирая пожарное депо, в старом хламе рабочие нашли старинную надгробную плиту. Она была сделана братьями Морозовой...

Плиту как интересную историческую находку поместили в городском саду на видном месте, а старообрядческие попы не замедлили объявить это место «святым». С тех пор на могиле пошли совершаться молебны, затеплилась лампада «неугасимая». Обманутые попами крестьяне начали грызть камень — исцелять зубы...

В 1936 году Боровский краеведческий музей произвел обследование могилы. Никакой Морозовой, конечно, не оказалось. Под плитой нашли груды лошадиных костей, осколки водочных бутылок, медные деньги. С нами копал из любопытства истовый старовер-начетчик Головтеев. Когда дошли до нетронутого грунта, его спросили:

— Где же Морозова-то, Василий Никанорович?

— Обманули нас попы. Нам говорили — она тут нетленная лежит.

Старик сердито выругался и пошел прочь, а попы через старух и разных кликуш стали распространять всякую чепуху, что боярыня, мол, опасаясь богоотступных рук, ушла глубоко в землю.

Но им уже никто не верил».

Заметку Владимир Иванович поместил в университетской газете. Он вернулся в Ленинград, но на другое же лето снова поехал на Печору в Усть-Цильму за книгами. И еще, и еще побывает он там, в двенадцати экспедициях.

После университета Владимир Иванович стал работать в рукописном отделе библиотеки Академии наук. Он уже знакомился с ее фондами и собрался в экспедицию за книгами, как вдруг грянуло неожиданное... сокращение штатов.

Нет, Владимира Ивановича не уволили. Сократили одну женщину. Она тихо плакала в коридоре у окна. Владимир Иванович, не выносивший женских слез, увидел ее и поспешил пройти мимо. Но узнав у сослуживцев, что у женщины есть ребенок, он в тот же день настоял в дирекции, чтобы сократили его, а женщину оставили в библиотеке.

И все-таки он поехал в экспедицию. Еще в университете академик Державин, замечательный историк, дал ему совет поискать древние рукописи в Карелии и Поморье.

Это было на четвертом курсе. А в том 1938 году в Ленинграде пышно праздновалось семисотпятидесятилетие создания «Слова о полку Игореве». Большой зал здания Академии наук заливал ослепительный свет юпитеров, суетились киношники. Академик Александр Сергеевич Орлов, громадный, тучный, махал на них рукой:

— Вот что! Вы игрушки с этими своими солнышками прекращайте!

Его предложили избрать в президиум, но он буркнул с места:

— А вы моложе кого-нибудь, батенька, не могли найти?

Тогда поднялся со своего кресла совсем ветхий старичок, знаменитый археограф член-корреспондент Бычков, и проребезжал:

— А сам давно ли ко мне на лекции в коротких штанишках бегал?

Великолепное торжество было нарушено международным инцидентом. Среди съехавшихся именитых ученых-иностранцев был и представитель парижского университета Андре Мазон, доказывавший, что «Слово о полку Игореве» — ловкая подделка XVIII века. Непонятно было, зачем же он в таком случае приехал на празднество?

...Уволившись из библиотеки, Владимир Иванович уехал в Карелию и пристроился в Петрозаводске к академическому филиалу, как раз посылавшему экспедицию за древними рукописями. И нашел столько книг, что одно их перечисление составило бы целый том. Среди них были списки знаменитейших произведений древней русской литературы, а то и вовсе неизвестные повести и стихи.

— Погодите,— говорил Александр Сергеевич Орлов,— этот труженик еще найдет «Слово о полку Игореве»...

Владимир Иванович и в самом деле искал «Слово», о чем поведал в первой же статье после демобилизации из армии в 1946 году, опуская подробности своей предвоенной охоты:

«В Карелии среди колхозников есть предание о существовании там рукописи «Слова о полку Игореве». Как известно, список «Слова» погиб во время пожара Москвы в 1812 году. Между тем некоторые старики рассказывают, что видели рукопись этого произведения древнейшей литературы, описывают ее внешний вид и надеются, что она когда-нибудь найдется».

А во время войны он нашел то, чего не искал. И это тоже было «Слово...».

## 17

Владимир Иванович сидел в сквере у памятника Екатерине II и смотрел на дверь Публичной библиотеки. Ему давно уже надо было идти, а он все сидел и сидел, положив на колени полевую сумку.

Прошло четыре месяца с тех пор, как он демобилизовался и начал работать в библиотеке. Его приняли туда по старой памяти, проча на место хранителя отдела древних рукописей, которое до войны занимал легендарный для всех поколений ученых-книжников, белобородый и лысый старичок Иван Афанасьевич Бычков. Тот заботливо опекал Владимира Ивановича, еще студентом повадившегося ходить к нему набираться опыта в большой сводчатый зал со статуей Нестора-летописца.

Место было хорошее, спокойное, но не о нем мечтал Владимир Иванович, уходя «на гражданку». Ему уже тридцать шесть лет, возраст солидный, а жалование старшего библиотекаря мизерное... Но дело и не в жалованье, а в том, что на этой службе засасывала текучка. Пройдут годы, а он так и не станет настоящим ученым. Из этих «а» и «но» складывалась картина безотрадная, тревожная, мучившая его уже не первый день. Потому-то он и отпросился сегодня с утра пораньше.

«Попытка не пытка»,— подумал он и бережно поправил на коленях полевую сумку. Дверь библиотеки почти не закрывалась. Стайками небегали студентки. Неторопливо шагали молодые люди в выгоревших гимнастерках с расстегнутым воротом. Он невольно поднес руку к воротничку и пощупал позеленевшие латунные пуговицы. Солнце припекало все сильнее. В офицерской габардиновой гимнастерке было жарко. «Надо бы сходить на толкучку купить какую-нибудь рубашку полегче»,— мелькнуло в голове. Владимир Иванович вздохнул. Деньги, полученные при демобилизации, растаяли быстро. Друзей фронтовых пол-Ленинграда... Что ни встреча, то бутылка. Говорили всегда об одном: «А помнишь?..» Но о крови старались не вспоминать. Если послушать эти разговоры со стороны, то получится, будто вся война прошла в удачных похождениях — один хвастался успехом у сестричек из медсанбата, другой рассказывал, как целый месяц морочил голову снабженцам и переполучал со склада ПФС лишних двадцать литров водки. Командиры и начальники представлялись либо чудаками, либо самодурами. Несерьезно это, но серьезное не хотелось тревожить словами в разговорах за бутылкой. Чаще вспоминали счастливые случаи. О том, как однажды начальник штаба из каприза заставил прикатить и привалить к землянке громадный валун, как именно в этот валун угодил вражеский снаряд и спас всем жизнь. И начальник потом сказал: «С вас бутылка за это...»

Владимиру Ивановичу самому бывало потом неловко от своих рассказов, кое-что приходилось присочинять, вроде развязки с бутылкой, но впоследствии эти байки пообкатались и соскальзывали с языка без запинки, избавляя от необходимости вспоминать то, от чего саднило сердце. И все равно при одном слове «землянка» на какой-то миг

перед ним возникало лицо Веры. Она говорила: «Сокол» слушает, даю» — и протягивала ему телефонную трубку, а он брал эту трубку.

Когда новая телефонистка появилась в его землянке, Малышев сразу почувствовал, что в жизни его что-то переменялось. В первые дни он старался не смотреть на нее, не разговаривать с ней, хотя был уже адъютантом старшим, давно привык распоряжаться и уверенно говорить... по делу. Но она как-то не вязалась с его многочисленными делами, заставляла отвлекаться от них. Прежде он засыпал сразу как убитый от одного сознания, что могут разбудить в любую минуту. Теперь же он не мог заснуть, не помечтав о Вере.

Владимир Иванович был робок с женщинами, и если какая-нибудь из них выбирала его, то он относился к ней по-рыцарски, был внимателен, непрерывно думал о ней, ревновал, страдал и в конце концов оказывался снова один. Но это было до войны. Все последние годы обстоятельства складывались так, что выбирать его было некому. Ему оставалось только мечтать. Увидев впервые Веру, Владимир Иванович вздрогнул. Он смотрел в белое, молодое, полное лицо и почти не видел его, как почти не слышал голоса Веры.

— ...в ваше распоряжение!

Ловко зачистив концы провода, она присоединила его к клеммам телефонного аппарата, покрутила ручку индуктора и уже звала кого-то, докладывала о готовности...

Они стали работать вместе. Он углублялся в бумаги, но звук зуммера часто отрывал его от работы. Владимир Иванович поднимал голову и видел улыбающееся лицо Веры. Временами ему казалось, что она всегда была здесь, что он знал ее с незапамятных времен. Потом он стал замечать, что она нравится не ему одному. Батальонный писарь старшина Азарин, работавший в штабной землянке, рослый щеголеватый малый, быстро перешел с Верой на «ты». Казенную гимнастерку он ушил и то и дело менял подворотнички, на что уходило почти все его свободное время. Рядом с мешковатым Владимиром Ивановичем, у которого гимнастерка была длинна и собрана к пряжке, он казался особенно стройным и ладным, что вызывало у адъютанта старшего тщательно скрываемое раздражение. Но раздражение это не имело никакого отношения к строевому уставу, положения которого начинали доносить Владимира Ивановича только во время пребывания в тылу. В мужской компании Азарин любил поговорить о своих победах у женщин.

С появлением Веры в штабной землянке Азарин стал еще развязнее. Наглость штабных писарей известна всем, кроме начальства, которое обычно считает ее бойкостью, необходимой для хорошего солдата. Владимир Иванович страдал от развязности Азарина, но делать замечания не решался, боясь, что гнев его могут истолковать неправильно. Заранее, истолковать правильно, и тогда все увидят, что Вера нравится ему... Он совсем запутался и не обрывал Азарина, даже когда тот становился чересчур многословным.

Все это мученье кончилось в один прекрасный день, когда Владимир Иванович, спускаясь в землянку, услышал торопливый говорок Азарина:

— Верочка, а Верочка, приходи сегодня к нам в землянку. Мишки до завтра не будет.

Азарин жил вдвоем со штабным каптенармусом в землянке-каптерке. Владимир Иванович вспомнил, что каптенармус действительно уехал на дивизионный склад.

— Убери руку! — раздался голос Веры.

— Ну что ты, Верочка, ну что ты, Верочка, — шмыгая носом, торопливо бормотал Азарин.

— Убери руку!

Послышался шум борьбы. Звякнул телефон, упавший с ящика, за которым обычно сидела телефонистка. Владимира Ивановича начало трясти. Ему хотелось броситься в землянку, но он не знал, вправе ли он это делать. Он боялся самого себя, боялся своих пылавших щек и ушей, боялся дрожи и тошнотворного комка, подкатывавшего к горлу, боялся руки, невольно царапнувшей крышку кобуры...

В землянке опять стало тихо.

— Ты что? — раздался жалобный голос Азарина. — Не нравлюсь я тебе?..

— Слюни подбери, — твердо сказала Вера.

Владимир Иванович повернулся и, осторожно ступая, пошел прочь. Он не знал что и думать, но и оставаться там, у двери в землянку, больше было нельзя. «Война все спит», — мелькнула в голове расхожая фраза, но он твердо знал, что война ничего не спит, не зачеркнет ни одного его поступка, потому что он не может жить легко, не изматывая себя сомнениями, не может преодолеть своей стеснительности...

Отойдя шагов на сто от землянки, он остановился, постоял и нерешительно побрел назад.

Из землянки вышел Азарин. Владимир Иванович вдруг решился.

— Товарищ старшина, ко мне! — крикнул он, инстинктивно стараясь отдалить Азарина от землянки, где была Вера.

Азарин пошел навстречу. Шагов за пять он стал печатать шаг и подчеркнуто лихо отдал честь, поднеся к пилотке сжатый кулак и мгновенно выпрямив пальцы. Это было ответом на «товарищ старшина».

Владимир Иванович ответил на приветствие, как всегда, неловко, едва дотянув руку до уровня носа.

— Послушай, Азарин, — сказал Владимир Иванович, не снисходя до имени и не поднимаясь больше до официального обращения, — ты почему к телефонисткам пристаешь?

Множественное число было неуклюжей маскировкой, и он почувствовал это сразу.

— Никак нет, — следуя солдатской привычке отрицать любое обвинение, автоматически ответил Азарин. — Это вы насчет Верочки, товарищ старший лейтенант? Заходили? — добавил он, мотнув головой в сторону землянки.

От «Верочки» у Владимира Ивановича покраснела шея, потом щеки и уши. Азарин смотрел ему в лицо нагло и снисходительно.

— Если ты еще!.. Если вы еще!..

Владимир Иванович задохнулся. Ухмылка сползла с лица Азарина. Он почувствовал опасность и мгновенно надел на себя маску невинно обиженного. И даже по его длинной фигуре пробежала волна, преобразив ее в нечто рассчитанное на жалость. «Зачем все это?» — с тоской подумал Владимир Иванович.

— То-ва-рищ старший лейтенант, — с укоризной протянул Азарин, в котором как в зеркале отразился новый приступ неуверенности Владимира Ивановича, — если вы чего думаете... А она вам нравится?

На этот вопрос ответа быть не могло, и потому Азарин заговорил быстро, брызгая слюной:

— Девочка ничего, а? Так вы ее для себя, а? Товарищ старший лейтенант, я могу вам устроить ее... Нет, нет, она совсем не то, что вы сейчас подумали... Она хочет серьезных отношений. Я просто скажу ей, что вы положили на нее глаз...

— Прекратите, Азарин!

Владимир Иванович отпустил Азарина, жалея, что вообще затеял все это. У него было ощущение вины перед Верой, перед собой и страх перед Азариним, заглянувшим к нему в душу и расценившим его тревожения примитивно просто.

С щедростью пресыщенного сердца Азарин сумел что-то внушить Vere, и та, подперев лицо кулачком, все чаще и пристальней разглядывала Владимира Ивановича. Встретив его взгляд, она отводила глаза, чего не сделала бы прежде...

Владимир Иванович теперь уже не стеснялся разговаривать с Верой. Она утадала в нем человека положительного, честного. Доверчиво и просто она рассказывала ему о своей жизни, вся сознательная часть которой пришлась на войну. Она была из рабочей семьи, окончила десятилетку в Ленинграде еще до войны и вышла замуж за своего одноклассника, с которым дружила несколько лет. Владимиру Ивановичу показалось странным это, но он не спрашивал, зачем ей понадобилось выходить замуж так рано, за такого молодого человека и еще в такое тревожное время. Отвечая на его немой вопрос, она сослалась на уговоры Виталия, ее мужа, который хотел жениться на ней именно потому, что началась война, ему надо было идти в армию, всего-то и прожили они вместе месяц, а до этого только встречались... Виталий уехал и прислал два письма, а потом письма перестали приходить. В военкомате ей

обещали узнать про него, но, видимо, ничего не могли узнать, и она все ходила и ходила в военкомат, улицы вокруг которого были забиты семьями военных, бежавшими от вражеского нашествия в Ленинград из Прибалтики и других мест. Служащие военкомата, кроме исполнения своих прямых обязанностей, должны были успокаивать этих несчастных женщин и детей, подыскивать им жилье, добывать для них пропитание. Те тоже, рыдая, требовали сказать, где их мужья и отцы, и тогда появлялась спасительная для служащих военкомата формулировка «пропал без вести», которая звучала не так жестоко, как свинцовые слова похоронки. От хождений в военкомат была одна польза — к ней там пригляделись и пристроили ее на курсы связисток при штабе фронта, что оказалось потом, после пожара Бадаевских складов, в блокаду, спасением для нее и ее родителей. Она работала на коммутаторе, получала солдатский паек. Связистки жили на казарменном положении, но у многих в городе были родные, и девушки ходили в самоволку, чтобы отнести своим кусочек припрятанного тяжелого липкого хлеба. Вера пробиралась темными улицами, прячась в подъезды от комендантских патрулей. Дома горела коптилка, свет которой не достигал стен и углов комнаты, и туда ходили, как в лес за дровами, за остатками мебели, сжигаемой экономным пламенем буржуйки с непостижимой быстротой. Отец обычно отсутствовал, он тоже был на казарменном положении на заводе, а мать и брат-подросток жались к печке, почти не отрывали от нее рук, не обращая внимания на случайные ожоги. До войны мать была полная и веселая, теперь она пробовала шутить: «От меня осталась половина», но получалась не шутка, а простая констатация факта. Мать и брат с черными от грязи и копоти лицами не отрываясь смотрели, как Вера разворачивает хлеб. Брата тянуло в рост, но расти ему было не с чего, он мгновенно проглатывал свой кусок, который не только не утолял голода, но еще больше разжигал его. Весь сосредоточенный на этом ощущении, он не мигая смотрел на Веру и был бы совсем похож на старичка, если бы не глаза, ставшие громадными, в пол-лица. Как-то он вышел на улицу за водой и не вернулся. У матери не было сил плакать, она лежала неподвижно, дома появился отец, но Вера больше не видела их, потому что в подразделении начались строгости. Телефонистки падали в голодные обмороки и отлеживались на нарах в казарме, работать было некому, начальство сердилось и приказало заколотить все окна и двери на нижнем этаже, пугало трибуналом каждый новый заступавший караул, обещая полную катушку всякому часовому, выпустившему женщину в город без командировочного предписания (увольнительных не давали вообще). И еще состоялось комсомольское собрание, на котором поставили вопрос прямо: да, родные умирают от голода, но родина дает телефонисткам пищевое довольствие, чтобы они поддерживали бесперебойную связь, а делясь с родными и болея, они совершают военное преступление. Им предложили обсудить это и сделать вывод, оправданы ли морально их поступки и что весит больше — боль за родных или поддержание боеспособности фронтового города, героического Ленинграда, на который устремлены взоры всех советских людей... Отца с матерью эвакуировали по ледовой дороге, об этом Вера узнала, получив от них письмо из какого-то Бутуруслана.

Дальше в ее рассказах была неясность, пропуск, в котором душа Владимира Ивановича угадывала сложности, не имевшие отношения к обороне Ленинграда, и это неприятно жалило его, хотя он понимал, что расстраиваться глупо. Да он и не имел никакого права ревновать ее ни к прошлому, ни к настоящему, потому что их отношения не шли дальше разговоров.

От Веры он узнал ровно столько, сколько ему было положено знать. Как она оказалась в Кавголове, в полковой роте связи, почему ее прислали в батальон, когда ее место было у коммутатора где-нибудь в штабе повыше? Таскать по две, а то и по три тяжелых катушки с проводом да еще телефонный аппарат и винтовку, тянуть линию и разыскивать по ночам обрывы на ней — это совсем не женское дело, но ее никто и не заставлял нести тяготы связистской службы в полной мере. Давно уже было затишье, Вера лишь дежурила у телефона, при редких нарушениях связи на линию выходил ее напарник, мордастый невозмутимый парень, вся философия которого укладывалась во фразу: «От сна еще никто не умер». Дежурил у телефона он мало и, уступая место Вере, неизменно говорил:

— Пойду порубаю и покомарю минуток... шестьсот.

По всем соображениям Владимира Ивановича выходило, что пребывание Веры в батальоне случайно. Она что-то недоговаривала и даже лгала, как лжет всякая женщина любящему ее мужчине, щадя его, но Владимир Иванович этого не замечал, потому что Вера внушила ему преувеличенное представление о себе как о ценной специалистке, и он боялся, что ее каждую минуту могут взять из батальона...

О том, чем он сам занимался до войны, Владимир Иванович почти не рассказывал, потому что не усматривал в своей деятельности то ли библиотекаря, то ли архивариуса ничего интересного для женщины. Но она никогда не встречала военных с университетским образованием, это был совершенно неведомый для нее мир. Однако в рассказах Владимира Ивановича этот мир выглядел странно. Приоравливаясь к Вере, он рассказывал ей лишь анекдоты из студенческой жизни, описывал чудачества ученых, среди которых чаще всего упоминался академик Орлов.

## 18

...У Владимира Ивановича впереди был целый день. Он собирался сегодня пойти в Пушкинский Дом попросить взять его туда. И хотя университетские товарищи зазывали его и говорили, что ему не откажут, он волновался, оттягивал предстоящий разговор с директором, так как всегда испытывал некоторую растерянность от разговоров с начальством, будь оно военным или гражданским. Он понимал, что волноваться глупо, в воображении такой разговор представлялся непринужденным, но снисходительная начальственная вежливость всегда сбивала его с толку, он вытягивал из себя нужные слова как клещами, от стеснения становился надменным и в конце концов заставлял и собеседника испытывать неловкость и желание кончить как можно скорее.

Но фамилия Орлова, пришедшая на ум, когда он перебирал в памяти свои разговоры с Верой, подсказала ему иной ход, оттяжку аудиенции у директора института. Академик всегда относился к нему по-отечески и, кажется, даже любил его. Во всяком случае, с ним Владимир Иванович чувствовал себя свободно, да и обратиться к нему надо было потому, что именно Орлов возглавлял отдел древнерусской литературы в Пушкинском Доме, как и кафедру в университете, хотя, по слухам, в последнее время прихварывал.

Солнце было уже в зените. Владимир Иванович встал со скамьи и обошел памятник вокруг. Екатерининские вельможи, надменно задрав головы, глядели вдаль. Потемкин был мордастый. Минера на аттике главного фасада библиотеки таяла в полуденных лучах. Владимир Иванович пошел по Невскому в сторону Адмиралтейства.

Пересекая Садовую, он вспомнил, что до войны увидел валявшиеся на тротуаре исписанные листочки. Стал расспрашивать ребятшек, а те сказали, что на чердаке таких бумажек сколько угодно. Так он нашел собрание древних книг дореволюционного библиофила Петухова. В тридцать седьмом Владимир Иванович из Усть-Цильмы привез девятнадцать рукописей, одну даже XV века. Это он добыл списки «Книги нравочений и толкований» и «Книги бесед» Аввакума. Это он привез пятьдесят одну рукопись из Семенова и села Воскресенье, что на озере Светлояр. Он нашел даже автограф письма Аввакума и список «Слова Даниила Заточника». Это было его ловческое счастье, его удачи, которым завидовали, о которых говорили. Если бы он только мог рассказать Вере о том, как он ездил, что искал, что видел...

## 19

Владимир Иванович знал, что большое наступление на всем фронте 23-й армии начнется со дня на день. В ночь на 9 июня никто не спал.

В эту ночь Владимир Иванович сказал Вере, что любит ее.

К рассвету началась суета. Владимир Иванович, переполненный нежностью, говорил по телефону, выслушивал приказания и распоряжался, словно увязая в сладком тумане, вдруг разлившемся этой белой ночью. Он пошел на заранее выбранный наблюдательный пункт, куда мордастый напарник Веры протянул линию. Вере же Владимир Иванович велел не выходить из землянки весь день, опасаясь шальной пули или



осколка. Азарину, которому положено было остаться в землянке, он приказал идти на НП. И тот поплелся следом, вздыхая и бросая укоризненные взгляды в спину Владимиру Ивановичу.

Батальон Владимира Ивановича понес потери. Азарин был тяжело ранен и потом всю жизнь ненавидел Владимира Ивановича, ругался всякий раз, когда встречал его имя в газетах.

Разведка боем на многих участках позволила захватить языков и получить ценные данные. На следующий день все наши войска на Карельском перешейке перешли в наступление.

Весь день перед наступлением Владимир Иванович провел на переднем крае и потому не сразу узнал о своей беде, о случайной гибели Веры, о трагедии, которой не рассказывал потом почти никому, но никогда не забывал, терзаясь из-за собственной, как он думал, неосмотрительности.

## 20

Войну Владимир Иванович закончил командиром батальона 78-го запасного стрелкового полка. Дни проходили на строевом плацу, в казармах, на стрельбище, где тыловые сержанты отучали желторотых птенцов последнего призыва от гражданских привычек, заставляя их ползать по-пластунски, выполнять приказания только бегом и отдавать честь с максимально возможной лихостью.

Когда война кончилась и пришла пора отправлять солдат домой, капитан Малышев удивил командира полка, вызвавшись сопровождать эшелон с демобилизованными в Сибирь. Командир полка знал Владимира Ивановича как офицера, который от службы не отказывается, но и на службу не набивается. Командировка, которую взвалил на себя капитан, была не из легких. Подполковник удивился еще больше, когда узнал, что, покончив со служебными делами, капитан обследовал книжные хранилища Барнаула, Тюмени и Тобольска, что он устроил нагоняй архивным работникам, небрежно относившимся к древнерусским рукописям, что он привез толстую тетрадь, в которой были легенды об Аввакуме и описания рукописных книг, разнесенные по рубрикам: оригинальные русские повести, исторические произведения, переводные повести, апокрифы, стихи, русская житийная литература, сказания об иконах и старообрядческая литература. В Тобольске эту адскую работу Владимир Иванович сделал за два дня.

Все это рассказал и показал Владимир Иванович подполковнику, и тот, удивившись профессиональной страсти своего подчиненного, не отказал ему в новой командировке. На этот раз он побывал в Черновицах, в селе Белая Криница, где еще в XIX веке образовалась старообрядческая епархия, в Вильнюсе. В одном из своих трудов он выразился так: «Сама моя поездка в Северную Буковину и Прибалтику преследовала иные цели, и обстановка для археографической работы была малоподходящей, да и времени было очень мало».

Не будем претендовать на знание военных тайн, цели командировки Владимира Ивановича, выполнение которой он совмещал с описанием рукописных коллекций, и устремимся вместе с ним к Риге, где была старинная и богатая Гребенщиковская старообрядческая община, были книги, наверное...

Он вошел в большое здание, где у старообрядцев располагалась молельня, громадная, больше иной церкви, разделенная на мужскую и женскую половины, завешанные старинными образами. Появление человека с капитанскими погонами вызвало небольшой переполох, и вскоре к нему подошел благообразный старик с масляной улыбкой и суровыми, много позидавшими глазами.

— Чего изволит господин офицер?

— Видите ли, я археограф, интересуюсь древними рукописями. Слышал о вашем собрании. Не могли бы вы показать его мне?

— У нас книги только богослужебные. Думается, для вас нет ничего интересного.

— А вы все-таки покажите,— твердо сказал Владимир Иванович.— Пожалуйста! Мне и в Белой Кринице книги показывали. Я на Выге бывал..

— Мы рады гостям из России. Милости просим.

Владимира Ивановича провели в библиотеку. Старик остановил вошедшего следом мужчину средних лет с опухшим лицом:

— Вот Тимофей Степанович поможет вам.

Он ушел. Тимофей Степанович с явной неохотой раскрыл перед капитаном дверцы книжных шкафов и уселся неподалеку на стул. Владимир Иванович приступил к осмотру. Наметанным взглядом он окидывал полки и отбирал рукописные книги, выкладывая их на стол. Восемьдесят штук! Много! И какие! Сборники летописных известий... Судя по всему, начало XVIII века. А это что? Сборник слов и бесед Максима Грека. Середина XVI, ровесник Ивана Грозного! Владимир Иванович достал из полевой сумки толстую общую тетрадь и начал делать опись.

Тимофей Степанович дремал. Однако когда капитан вставал, чтобы поставить на место очередную книгу, глаза его приоткрывались.

Часа через полтора работы очередь дошла до большой книги в деревянном, крытом тисненой кожей переплете. Владимир Иванович почти равнодушно скользнул взглядом по надписи на крышке переплета, сделанной почерком XVIII века: «Сложник святых отец». Он открыл крышку, и внимание его удвоилось. Рукопись в лист, писана полууставом. Он поглядел бумагу на свет. Водяной знак — папская тиара. Вторая половина XVI века. Не ранее. В начале сборника было оглавление. Книги святого Антиоха, Касиана... Почти в самом низу оглавления взгляд его остановился: «Житие блаженного великого князя Александра Невского». Оно было на последних двадцати листах книги, но именно там бумага истлела и части строк выпали. На четыреста семьдесят второй странице он нашел начало, выделенное красной киноварной буквой «О», и замер потрясенный!

О светло светлая и украсно украшена земля Русская...

Владимир Иванович не поверил своим глазам и прочел снова, отделяя слова в слитно написанном тексте:

О светло светлая и прекрасная земля Русская!  
И многими красотами удивляешь ты:  
Озерами многими, реками и ключами местнотчимыми,  
Горами крутыми, холмами высокими,  
Дубравами частыми, полями дивными,  
Зверьями разнообразными, птицами бесчисленными,  
Городами великими, селами дивными,  
Монастырями процветающими, церквами громадными,  
Князьями грозными, боярами честными, вельможами многими,—  
Всего ты исполнена, земля Русская!..<sup>1</sup>

Владимир Иванович перестал ритмично постукивать рукой по столу... Ну да же! Это оно... «Слово о погибели Русской земли». Так оно называется в единственном списке, найденном Лопаревым в Псково-Печорском монастыре и опубликованном в 1892 году.

Единственн:

И споры о нем до сих пор не затихли. Кто считал его частью большого исторического сказания о нашествии татар, кто — самостоятельным произведением и даже приписывал его автору «Моления Даниила Заточника», а кто — предисловием к «Житию» Александра Невского... Теперь можно проверить. Псковский список, вошедший во все хрестоматии, оказался и не единственным!

У Владимира Ивановича пылали щеки, он радостно ерзал на стуле. Но думал он не о славе.

Он прочел все сорок пять строк, рассказывавших о былой величине и силе русской земли, о том, как половцы пугали детей именем Владимира Мономаха, а немцы радовались, что отсиживаются далеко за синим морем... И о том, как беда пришла...

«Слово о погибели», «Слово о полку Игореве». Как близки они по своему стилю! Сразу же за «Словом о погибели», в ту же строку начиналось «Житие» Александ-

<sup>1</sup> Для облегчения восприятия я частично перевел текст на современный русский язык. (Прим. авт.)

ра Невского, известное по многим спискам. Но теперь Владимиру Ивановичу не терпелось прочесть и это произведение, написанное в стенах владимирского Рождественского монастыря около шестисот лет назад монахом, бывшим воином князя, о котором он «слышал от отцов своих и сам был домочадцем и очевидцем жизни его». Владимир Иванович представил себе этого монаха в черной рясе, с черным же клобуком, всего в шрамах и отметиных, полученных в жестоких сечах, бесхитростно выражающего свое восхищение юным князем Александром словами Андреаса фон Фельвена, магистра Ливонского ордена рыцарей-крестоносцев: «Прошел я много стран и видел многие народы, но не встретил такого царя среди царей, ни князя среди князей». Этот магистр приказал своим рыцарям схватить князя Александра и доставить его живым. Судьба распорядилась иначе. Сам магистр попал русским в руки на Чудском озере.

У Владимира Ивановича зануло под сердцем, где еще сидел немецкий осколок, который не могли извлечь при операции. Он немного успокоился и стал читать по порядку, как король «от полунощные страны» собрал великое войско, посадил его на корабли, вошел в Неву и послал двадцатилетнему, только что женившемуся князю вызов: «Если можешь, то сопротивляйся мне,— я уже здесь и беру в плен землю твою».

Гремят колокола перед собором Святой Софии. Распалвшийся сердцем князь Александр выходит из церкви и ободряет своих дружинников: «Не в силе бог, а в правде!» И уже мчатся князь с дружиной к Неве, не дожидаясь, когда соберется большое новгородское ополчение. Уже докладывает старейшина земли Ижорской, морской дозорный Пелгуй, о высадке части шведов на берег... Уже разбили шведы златоверхий шатер для своего предводителя, королевского зятя ярла Биргера.

Благословляют епископы пять тысяч воинов, прибывших на ста кораблях, качающихся у берега, не зная, что князь Александр уже подошел к Ижоре и наблюдает за ними, рассчитывает, как ему одолеть врагов с малой дружиной.

«И бысть сеча велика...»

С двух сторон ударили дружинники. Скатываются с высокого берега пешие воины с новгородцем Мишей во главе, бегут возле самой воды, рубя корабельные мостки, отрезая шведам дорогу назад. А из-за леса берегом Ижоры мчатся конники, оцетинившись копыями. В самый угол, где сливаются две реки, прижимают они отборное рыцарское войско.

Вот уже князь Александр «возложи печать на лице острым своим копием» ярлу Биргеру. Шведы подхватили своего предводителя и стали отступать к кораблям. Гаврило Алексич, рубя шведов по головам, пробивался к кораблю, на который втаскивали королевского зятя, и даже по мосткам въехал на самый корабль. Шведы сбросили его с конем в Неву. Но он выскочил на берег невредим, снова бросился в сечу и зарубил знатного рыцаря.

Бегут, бегут шведы. Ловчий, слуга молодой княгини, половчанин Иаков прорывается к Александру, врубившемуся глубоко в строй врагов. Уже пал верный слуга князя Ратмир, и осталась бы открытой спина князя для коварного удара, если бы не ловкий Иаков и не могучий Сбыслав Якунович, бившийся одним топором, не имея страха в сердце своем. И похвалил князь воинов.

Младший дружинник Савва ворвался в златоверхий шатер Биргера и подрубил столб шатерный. Рухнул шатер, возликовали воины Александра и с новой силой ударили на шведов. Взвились русские стяги на трех кораблях, захваченных пешей дружиной. С остальных шведы сбросили мостки и поплыли в сторону своей полуночной страны. А вслед им поплыли три захваченных корабля. Их пустили по течению Невы новгородцы, набив телами самых знатных рыцарей. А русская дружина потедрала лишь двадцать человек. «Сия вся слышахом от господина своего Олександра и от всех иже в то время обретошася в той сечи», — приписал монах и бывший воин.

Это было 15 июля 1240 года.

Владимир Иванович оторвал глаза от желтых страниц, от наполовину выцветших строк. Его вдруг поразило странное совпадение. Да, да, тот бой был на Неве, совсем недалеко от устья Ижоры. 12 января 1943 года. Закрыв глаза, он вспомнил мгlistую и

морозную ночь, увидел, как взвиваются в воздух ракеты, освещая при падении лед Невы.

Ночь перед прорывом блокады Ленинграда.

И утро.

Вздыбившаяся чешуя торосов. Молочная белая даль, в которой едва намечался противоположный берег. А до него было всего восемьсот метров.

Серое небо придавливало засыпанную снегом землю, угадываемую по дымякам над землянками гитлеровцев. Глаза на морозном ветру слезились, и ему показалось тогда, что он видит свертание крутых склонов противоположного берега, возносящегося на десять метров вверх. Гитлеровцы полили его водой. Для преодоления этого вертикального катка и была выдана Владимиру Ивановичу пара особых башмаков, с острыми шипами на подошвах.

Он мог только догадываться, сколько сосредоточено наших дивизий и орудий на каждом километре, чтобы сколоть немецкое пятнадцатикилометровое «бутылочное горло», прижавшееся к Ладоге и отделявшее Ленинград от Большой земли.

Дрогнула земля. Тот берег заволочло дымом. Там рвались снаряды, разрывая колючую проволоку, разворачивая доты, заваливая траншеи трупами. Владимиру Ивановичу с его ротой противотанковых ружей пока было делать нечего. После очередного выздоровления его почему-то послали в морскую бригаду и дали эту роту, в которой не осталось уже моряков, но прочно жил морской жаргон. Владимир Иванович, воевавший еще на финской, посмеивался над своими салагами:

— Нас мало, но мы в тельняшках!

После залпа «катюш» артподготовка кончилась. Взвились в воздух ракеты. Пехота высыпала на лед. Владимир Иванович махнул рукой, и пэтэровцы побежали за ним, попарно неся ружья. Первая волна пехоты, бежавшая почти впритирку за огненным валом, проскочила лед удачно. Но теперь уцелевшие огневые точки на том берегу стали оживать. «Северный вал» стал изрыгать из глубины огонь и металл, косивший людей, разбивавший лед. Владимир Иванович оглянулся. В громадной польне барахталась половина его роты, кто-то кричал: «Полундра!» Но он знал лишь одно — на тот берег, вперед! Именно такую поставили ему задачу, именно там нужнее всего будет его «артиллерия». Сейчас начнутся вражеские контратаки из глубины оборонных... Он бежал, с хрустом обламывая торосы, ушибая о них ноги, но не чувствуя боли.

Крутой склон, изъязвленный воронками, они одолели легко, вскочили в траншею, уже занятые нашей пехотой. Справа из большого серого здания по траншеям били из орудий и пулеметов.

— Малышев! — услышал Владимир Иванович голос комбата.

Тот указывал на здание, и он сразу увидел две приземистые бронемшины, прикрывавшие контратаку гитлеровских автоматчиков. Голос командира пропал в громе разорвавшегося поблизости снаряда, но Владимир Иванович уже понял, что тот приказал. Взяв два расчета, он побежал с ними по траншее направо, к тому месту, где по его предположению должны были пройти близко броневики. Ход сообщения был глубокий, пришлось выбраться из него на снег. Один из расчетов, изготовившихся к стрельбе, накрыла мина. Владимир Иванович подполз к ружью, перевернул убитого, лежавшего на прикладе, и сам стал наводить длинный ствол, целясь в серо-зеленый борт броневика. Нажав на спусковой крючок, он увидел огонь, почувствовал сильную боль и успел подумать о том, какая сильная отдача у этих пэтэров...

Когда он очнулся, бой у серого здания уже вели наши танки. Весь левый бок у него был в крови, истерзанный мелкими осколками. Шерсть полушубка забило в раны, и оттого было еще больнее. Он пополз в сторону от боя, к Неве. Он сумел спуститься на лед и проползти еще несколько сотен метров. То и дело приходилось обползать тела убитых, вся одежда на нем пропиталась своей и чужой кровью...

Очнулся он уже в госпитале. Врач сказал, что один из осколочков сидел возле самой сонной артерии. Через шесть месяцев он стал на ноги. При выписке из госпиталя Владимира Ивановича нашел приказ от 25 марта 1943 года. Его наградили «за уничтожение бронемшины противника».

После того, что видел он, двадцать погибших в бою новгородцев могли вызвать

усмешку. Но Владимир Иванович, старый солдат, не улыбнулся. Александр Невский был великий человек и полководец. Он не уложил половину своей дружины, а изгнал врага малой кровью. В борьбе с врагом сильнейшим, с татарами, он оказался великим политиком. И снова заботился о сохранении живой силы, о единстве русских людей и победил руками своих внуков. Митрополит Кирилл сказал над гробом его: «Чада мои, зашло солнце земли Суздальской!» И вторили ему все люди: «Уже погибаем!» Не погибли и не погибнем!

«Слово о погибели», наверно, все-таки предисловие к княжескому «Житию». И переписано оно, как и лопаревский вариант, в том же Псково-Печорском монастыре. В тексте заметно влияние псковского цоканья. «Псковичане — чисто англичане, только нарецие другое», — вспомнил Владимир Иванович, как дразнили псковичей.

Немного разобраться в первом списке «Слова» ему помог найденный на одной из полок дореволюционный учебник по древнерусской литературе. На оборотной стороне обложки был приклеен экслибрис — рука, высунувшаяся из облака, подает книгу тощему, похожему на иконное изображение Аввакума человеку в длинном древнерусском одеянии. «Из книг Иоанна Никифорова Заволоко» — прочел Владимир Иванович и подумал о том, сколько же еще будет работы над описанием текста «Слова». Наскоро старый и новый списки не сравнишь, но разночтения уже видны. Что ж, один будет дополнять другой. Надо будет привлечь и другие произведения для выявления ошибок, которые делали писцы. Он вспомнил классический пример. Автор «Задонщины» Софоний подражал «Слову о полку Игореве», где говорилось: «О, Русская земля, уже за шеломенем еси». За холмом, а еще точнее — за рубежом, за валом. Переписчик же «Задонщины» в XV веке исправил похожую фразу, и получилось у него, что не за холмом русская земля, а за царем Соломоном...

Эти последние двадцать страниц толстого сборника отделились и лежали тетрадкой; нитки, прикреплявшие ее к книге, давно перепрели. Это и направило мысли Владимира Ивановича по иному, более практическому руслу.

Как быть с рукописью «Слова»? Ее нужно публиковать, над ней необходимо работать. Но отдадут ли ему сборник? Вряд ли. Оставить его здесь и потом добиться, чтобы его заполучили официальным путем? А вдруг что-нибудь случится? Исчезнет, сгинет сборник по небрежению, по незнанию. При переселении. Или при конфискации. Жизнь еще не устоялась после войны. А как пропадают рукописи, Владимир Иванович знал превосходно.

Но это похоже на воровство!

Какое же это воровство, если он возьмет не для себя, а для науки? Он уже нашел около тысячи рукописных книг и ни одной не оставил себе, все сдал в хранилища.

Владимир Иванович оглянулся. Его страж по-прежнему дремал. Владимир Иванович взглянул на его опухшее лицо и мгновенно оценил обстановку.

— Послушайте, Тимофей Степанович, — сказал он. — Принесли бы вы пивка, а? Голова болит чертовски. Вчера я фронтовых дружков встретил, хватил с ними лишнего... — Владимир Иванович щелкнул себя по горлу.

Он попал в самую точку. Тимофей Степанович оживился.

— И я того... С похмелья немного. Сижу мучаюсь. Сейчас сбегаю принесу. А вы уж того... подождите.

— Деньги возьми.

— Свои есть! — крикнул, отмахнувшись на бегу, Тимофей Степанович.

Он обернулся мигом. Владимир Иванович едва успел осторожно вложить в полевую сумку тетрадку со «Словом».

Они пили ниво и разговаривали как давние знакомые.

— А кто такой Заволоко? — спросил капитан.

— Иван Никифорович-то? Это наш, старообрядец, ученый. Все в библиотеке сживал до войны. Теперь живет где-то в Сибири...

Он покосился на капитанские погоны.

Александр Сергеевич Орлов за войну сильно сдал. Ему было уже семьдесят пять. Он похудел, ссутулился, борода не поседела, а даже пожелтела. Владимира Ива-

новича не хотели пускать к нему, но Орлов услышал его голос, заволновался, хотел встать...

— Пусти его... Заходи, Володя.

Он обнял Владимира Ивановича и троекратно, по-русски, поцеловал.

Владимир Иванович оглядел книжные полки, токарный станочек слева в углу. Видно было, что к нему давно не прикасались. На письменном столе, что стоял меж двух окон, глядящих на Неву, он заметил нерабочий порядок — книги и бумаги сложены в аккуратные стопочки. Академик кутал ноги в плед. Халат, шитый некогда на грузную фигуру, теперь казался невероятно широким.

— Видишь, Володя, какой я нынче стал. Немощи одолели. Из дома не выхожу, заседания отдела здесь проводим. Никаких радостей. Чувствую, помирать пора, что-то неизлечимое у меня. А скрывают... Рюмки водочки и той лишили. Впрочем, ты поищи вон там...

Академик понизил голос и показал пальцем на книжную полку, косясь одновременно на дверь, за которой осталась его бдительная супруга.

Владимир Иванович подошел к полке, вынул книгу, на которую показал академик, и за ней обнаружил початую бутылку.

— Вот! — громким торжествующим шепотом произнес Орлов. — Тайник мой. Стаканы на столе. В них гадость какая-то, якобы чудодейственная... Ты вышлеси ее в форточку. Опростаем с тобой посудинку по старой памяти. Жаль, закуски никакой! А ты помнишь, как я тебя на лекции застукал... тоже без закуски?.. Ну наливай... Со встречей!.. Уф! — Сделав глоток, Орлов закашлялся. — Плохо что-то идет... Но помогает, помогает. Бутылку ты на место поставь... Ну-ка давай рассказывай, как на войнечко пришлось.

Владимир Иванович был краток:

— Ранили три раза, поехал по свету, искал рукописи...

— Это на войне-то! Что нашел?

— «Слово о погибели». Список шестнадцатого века.

— Врешь!

— Смотрите сами, Александр Сергеевич.

Владимир Иванович вытащил из сумки и протянул папку. Орлов нетерпеливо дергал тесемки длинными пальцами с рыжеватыми старческими пятнами. Владимир Иванович помог ему. Орлов схватил со стола лупу и склонился над рукописью.

— Оно... «Слово»... Поздравляю! Где?

— В Риге. У старообрядцев-гребенщиковцев, Александр Сергеевич.

Орлов потер руки.

— Нет, это невозможно! «Слово о погибели»! Да знаешь ли ты, Володя, что ты нашел?!

Академик то и дело осторожно клал руку на листки, словно желал всякий раз удостовериться в их существовании.

— Будь я помоложе или поздоровее, мы бы сейчас такой пир с тобой устроили... Мусин-пушкинский текст «Слова о полку Игореве» тоже был переписан в Псковской области. Там тоже «лучи» вместо «лучи». Подделка! — передразнил он кого-то, как бы продолжая давнишний спор. — Я вам покажу подделку! Уважаемый Владимир Иванович, вы оказали необыкновенную услугу русской литературе... Подойди, дай я тебя поцелую! Вот так-то ты повоевал! — Он обнял Владимира Ивановича. — Значит, один список «Слова о погибели» в Пскове, а один будет у нас. В Пушкинском Доме. Иди ко мне в отдел работать. Или ты уже устроился?

— Да вот не знаю...

— К нам, к нам. Садись вон там и пиши заявление на имя Лебедева. Я сейчас же ему позвоню.

Пока Орлов звонил и ликовал над «Словом», Владимир Иванович сочинял заявление:

«Прошу включить меня в число сотрудников отдела древнерусской литературы Института литературы АН СССР... В годы Отечественной войны, которые я провел офицером на Ленинградском фронте, я не прекращал занятий по древнерусской лите-

ратуре и во время двух военных командировок попутно обследовал рукописи западносибирских хранилищ (1945), а по окончании войны во время командировки в Эстонию и Латвию произвел осмотр ряда частных собраний древнерусских рукописей, обнаружив среди них второй список „Слова о погибели Русской земли“.

Орлов взял у него листок и, прочитав, приписал внизу:

«По соглашению с директором Института литературы АН СССР И. Лебедевым-Полянским предлагаю включить как незаменимого работника. 1946.VI. 26. Заместитель директора академик Орлов».

— А «Слово» надо напечатать. И немедленно!

## 22

Затосковал Владимир Иванович после похорон своего учителя. Тоска его была вызвана не только научным сиротством. Он потерял близкого человека, и это была уже не первая такая потеря, но он еще не делился ни с кем своим горем, непреходящим и затаенным, и мы тактично подождем, пока он сам не скажет о том, что случилось в июне сорок четвертого года...

Несколько раз я начинал рассказывать, как Владимир Иванович искал забвения от горестных воспоминаний на дне бутылки, как ходил с друзьями на стадион и яростно болел за «Зенит», который все не мог выбиться на верх турнирной таблицы. Это тоже сопровождалось возлияниями и отвлечениями от тяжелых мыслей. Он даже брал на себя инициативу при виде опустевшей посуды и произносил фразу, ставшую знаменитой в институте:

— Непорядок, не вижу руководства!

Помня о существовании редакторов, я вычеркивал эти абзацы, пока не заметил, что даже авторы житий святых охотно описывали грехи молодости будущих постников. Не согрешишь — не покаешься. А покаяние тем угоднее, чем больше грехов. Есть чем оттенить подвижничество.

В ту пору Владимир Иванович хватался за самые разные дела. Душевное смятение мешало сосредоточиться на чем-то одном, но если ему все-таки удавалось преодолеть себя, то словно бы чудом, словно бы сама собой возникала какая-нибудь ценность, маленькая и временная, но утешительная. Всякий человек имеет право на ошибки, однако если их слишком много, возникает ощущение неправильно прожитой жизни, сознание того, что ты неудачник. От этого ощущения опускаются руки и дела идут все хуже, появляется робость перед всяким делом, начатое бросается из-за неуверенности в своих силах, и можно дойти до полного ничтожества, а слабому человеку — спиться, довести себя до белой горячки, если однажды не удастся взять себя в руки, не убедить, что ты еще способен на многое, а там, смотришь, маленькие удачи одна за другой помогут тебе остановить падение.

После «Слова о погибели» Владимир Иванович опубликовал новый список «Моления Даниила Заточника».

Это одно из самых интересных произведений русской литературы. И самых загадочных. Спор о нем продолжается уже не первое столетие.

Не известно, кто его писал, кому, когда...

Было в летописи упоминание под 1378 годом о каком-то Данииле, заточенном на озере Лаче, а в «Молении» говорилось: «Кому Лаче-озеро, а мне, на нем живя, плач горький». В одном из вариантов «Моление» адресовано князю Ярославу Владимировичу, жившему в XI веке, в другом — Ярославу Всеволодовичу, жившему в XIII.. А кто был автором «Моления»? Сам он называл себя холопом, сыном рабыни князя. Начитанного, образованного, одни его считали придворным, другие — рядовым дружинником...

Владимир Иванович нашел вариант, переписанный в Соловецком монастыре. Интересен он был только тем, что монахи осмысливали текст по-своему и смягчали те выражения Даниила, которые казались им слишком крепкими.

Жаловался Даниил, что живет вдали от князя, отлученный от света очей его, как трава, растущая в тени, на которую и солнце не бросит света и дождь не попадает. Он человек бедный. Богатого человека все знают; заговорит богатый — его слова до

облаков возносят, а убогий заговорит — все на него кричат. Чьи ризы светлы, тех и речъ честна. Но пусть князь не смотрит на его скудное одеяние, он хотя и возрастом юн, зато мудр, парит мыслью, как орел в воздухе... Просит Даниил князя вызволить его из напасти, из печали. Моль одежду ест, а печаль человека...

Владимир Иванович вчитывался в древние и мудрые слова небестрепетно. Настроение было такое...

«Злато плавится огнем, а человек напастями; пшеница, хорошо перемолотая, чистый хлеб дает, а человек в печали обретает ум зрелый...

Если кто в печали человеку поможет, то как студеной водой напоит в знойный день».

Куда Даниилу податься — то ли в монахи пойти, то ли к боярскому двору прибиться? Но лучше пить воду на дворе князя, чем пить мед на дворе боярском. А ежели князь посоветует жениться на богатой? Богатая — значит, злая, торговка плутоватая, кощунница бесовская, ослепление уму, заводила всякой злобе. Лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене поведать: дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит.

Долго еще находился Владимир Иванович под впечатлением своей работы над этой публикацией. Пригоршнями черпал он из «Моления» прибаутки, отбиваясь от приятелей, уговаривавших его жениться:

— Что ты мне все про эту ученую дамочку толкуешь? Что мне в ее квартире, если у нее улыбка медовая, а глаза злые! Знаешь, как Даниил Заточник говорил: лучше бы уж мне вола бурого ввести в дом свой, чем злую жену взять: вол ведь не говорит, ни зла не замышляет, а злая жена, когда ее бьешь, бесится, а когда кроток с ней — нос задирает... Кстати, у него это короче сказано и сильнее: «Зла жена бьема бесется, а кротима висится».

Цитаты помогали в разговорах с приятелями. Труднее ему приходилось, когда за него брались дамы. Их было много тогда в институте, военных вдов и засидевшихся в невестах девушек. О Владимире Ивановиче велись разговоры в институтских коридорах. Упорство его вызывало недоумение.

Владимир Иванович был общителен. Он охотно рассказывал, как ездил с эшелонном демобилизованных в Сибирь и не мог не заехать в Тобольск, где бывал дорогой его сердцу протопоп Аввакум. И как застиг его в Тобольске ледостав, прекративший навигацию до Тюмени, и ему лишь чудом удалось приехать из командировки в срок и избежать строжайшего взыскания.

Застольные приятели его часто бывали свидетелями неожиданных приступов грусти. Владимир Иванович подпирал голову рукой, глаза его увлажнялись. Все затихало, зная наперед, что он сейчас вздохнет и запоет приятным тенорком гурилевский романс:

Однозвучно гремит колокольчик,  
И дорога пылится слегка...

## 23

Марфа Ивановна была красивая и одинокая женщина. Она работала в Пушкинском Доме архивариусом. Владимир Иванович часто останавливался на ней свой взгляд, дарил по праздникам конфеты и называл ее полушутливо-полусерьезно Марфой-посадницей.

Однажды летом московский Институт мировой литературы имени А. М. Горького передал Пушкинскому Дому изрядную толику литературного архива, в котором были и древнерусские рукописи. Получать архивные богатства из Ленинграда в Москву выехали Марфа Ивановна и Владимир Иванович.

Марфа Ивановна потеряла на войне любимого мужа. А Владимир Иванович, как мы уже знаем, был застенчив в присутствии женщин. Тем более красивых. В вагоне они пили чай и разговаривали об институтских делах.

Добравшись в Москве до особняка на улице Воровского, где их ждали рукописи, они тотчас принялись за дело. Владимир Иванович был очень обрадован, возбужден даже тем богатством, которое пылыло в его руки или в руки его института, что все



равно. Подумать только! Восемьсот двадцать семь рукописных книг и документов начиная с XII века!

Он обегал ближайшие магазины в поисках картонок, достал большой моток шпагата, и они вместе с Марфой Ивановной стали увязывать рукописи. День был очень жаркий. Марфа Ивановна любовалась его радостными порывистыми движениями, той веселостью, с которой он носил тяжелые пачки, и сама заразилась его жадностью к этой работе.

Пришел директор московского института. Постоял, посмотрел на них и сказал:

— Завидно! С аппетитом работаете. Эх, мне бы сбросить годы...

Вскоре ладони и пальцы Владимира Ивановича и Марфы Ивановны были в ссадинах от тонкого шершавого шпагата, но они по молчаливому согласию продолжали трудиться до тех пор, пока не подготовили к отправке все до последнего листочка. Они устали, жгло израненные руки, но хорошее настроение не улетучилось. Дело было сделано, и они договорились на следующий день встретиться и поехать в Загорск.

...Они увидели синие с золотыми звездами купола, много куполов, раскрашенных и золотых, белые крепостные стены, зеленую колокольню, красно-белую трапезную Троице-Сергиевой лавры. Марфа Ивановна была здесь впервые. Она с любопытством вглядывалась в пеструю толпу туристов и богомольцев, переливавшуюся из храма в храм, в черных монахов, изредка пересекавших просторный двор, старых и неожиданно молодых, с жидкой кудрявой порослью на щеках и подбородке. Там Владимир Иванович рассказывал ей историю монастыря и житие Сергия Радонежского...

Слушая его, Марфа Ивановна представляла себе старца Сергия не пустынноиком, а государственным деятелем, дальновидным политиком, подготавливавшим вместе со всей страной уничтожение татаро-монгольского ига. Ханский ярлык, добытый церковью до Сергия, запрещал татарам не только разорять монастыри, но и появляться в их стенах. Сергей рассылал всюду своих учеников строить монастыри, чтобы копились в них оружие и обучались воины. Монастыри в глазах Марфы Ивановны становились училищами для подготовки офицерского корпуса русской армии. Облик Сергия, изображенного на иконах немощным, с узкими опущенными плечами, не вязался с образом, нарисованным Владимиром Ивановичем, с личностью, сильной духом. К Сергию прислушивались, с ним советовались могущественные князья. Он проповедовал единство Руси, а строптивых наказывал своей властью. Когда нижегородский князь отказался присоединиться со своей дружиной к московскому войску, Сергей закрыл все церкви в его городе, обратился к чувствам народа и заставил князя опомниться. Это он благословил молодого московского князя Дмитрия на решительные действия, послал к нему на поле Куликово иноков-богатырей Пересвета и Ослябю.

Владимир Иванович говорил Марфе Ивановне, что враг ни разу не вступал в стены Троице-Сергиева монастыря за всю его историю. Он рассказывал о шестнадцатимесячной осаде монастыря тридцатитысячным войском Сапеги и Лисовского в Смутное время.

— А в монастыре было едва больше тысячи защитников,— говорил Владимир Иванович.— Сапега пишет им послание: «Не покоритесь, так мы зараз возьмем замок ваш и порубаем вас». А они ему в ответ: «Мы приняли писание ваше... и оплевали его!» Сколько вон та Круглая башня их допекала. Они делали подкоп под нее, порох туда пригнали, но до самой башни не дошли. Наши сделали вылазку из тех Коношенных ворот и погнали панов. А двое крестьян, Шилов и Слота, спустились в подкоп и взорвали порох. Сами погибли и всех, кто вел подкоп, уничтожили. Всего в эту вылазку побили не меньше тысячи врагов. Келарь Авраамий Палицын писал, что монастырь защищали «не крепкие, но немощные, не мудрые, но простые, не множайшие, но малейшие». Зимой защитники монастыря гибли от голода, болезней. Хоронить мертвецов не успевали. Но народ был нестигаемый, выстоял до конца...

Владимир Иванович так увлекся, что не заметил, как к его спутнице присоединился один любопытный, потом второй, и вскоре вокруг них собралась большая тол-

па. Потянулись в эту толпу и богомольцы, а следом за ними приблизился и милиционер, однако сам заслушался и не осмелился пресечь нарушение порядка.

Заметив наконец толпу, Владимир Иванович смутился, подхватил под руку Марфу Ивановну и потянул ее в Троицкий собор, знаменитый своими иконами и росписью. От времени Рублева сохранились здесь деисусный, праздничный и пророческий чины иконостаса. Неяркие язычки пламени лампад и свечей раздвигали мрак, и глаза открывалась нежная красота «Троицы», задумчивое лицо и вишневый гаматий апостола Павла, высоко взметнувшиеся крылья ангела, сидящего напротив «Жен-мироносиц»... Почти все великие русские иконописцы от Андрея Рублева и Даниила Черного до Симона Ушакова работали на монастырь. Книги здесь переписывались красивейшим сергиевским почерком и украшались такими тончайшими миниатюрами, что каждая становилась произведением искусства.

Владимир Иванович испытывал острое наслаждение от всех этих чудес, созданных человеческим гением. Он вспоминал слова Павла Алеппского, антиохийского дьякона, побывавшего в России во времена Аввакума, о том, что русские живописцы «не имеют себе подобных на лице земли по своему искусству, тонкости и навыку в мастерстве». Он говорил о замысле Рублева, который хотел, чтобы люди, взирая на светлые одежды и одинаковые лики его «Троицы», ангелов, сидящих за трапезой с единой чашей на всех, побеждали страх перед ненавистной разделенностью мира. Он рассказал о решении Стоглавого собора, призвавшего художников писать иконы, «как Андрей Рублев и прочие пресловутые живописцы».

Он посвятил Марфу Ивановну в тайны цветовой символики древней живописи: золотой цвет означал славу и царственность; темный пурпур — кровь, пролитую мучениками; белый цвет — чистоту и вечную жизнь; голубой — девственность; зеленый — надежду, подвиг и жизнь.

Икона была молитвой живописца после долгого поста и размышлений. Красота ее сдержанна и величава.

И она раскрылась лишь в XX веке, когда научились снимать многовековые слои копоти свечей и лампад, счищать позднейшие поновления и записи. И все увидели волшебство искусства, дерзость гениев, которые не мечтали о посмертной славе и нигде не запечатляли своих имен.

— А нам их имена нужны, — сказал Владимир Иванович. — Нам нужны имена и тех, кто создавал нашу древнюю литературу. На Западе старинную русскую культуру объявляют молчаливой. Ее «заметили», когда были расчищены первые иконы. Мне бы хотелось, чтобы заговорили в полный голос наша древняя литература, чтобы мы сами заметили ее, ценили...

Марфа Ивановна с удивлением слушала разговорившегося Владимира Ивановича. Она знала, что он хороший человек, но то, что он еще и интересный человек, было для нее открытием. Она была опьянена впечатлениями дня, солнцем, рассказами Владимира Ивановича. Она испытывала нежность к нему, обычно такому нескладному, молчаливому. Она думала о его и своей неустроенной жизни, догадывалась о том, что он разговорился сейчас из-за нее. Она чувствовала, что нравится ему, и когда они зашли в ресторанчик пообедать, у нее после первой же рюмки вина появилось бесшабашное настроение.

Марфа Ивановна потянулась к нему, глаза ее сияли, она ласковым движением взъерошила его коротко стриженные волосы и спросила:

— А почему бы тебе не жениться, Володя?

Он помрачнел, долго молчал, а потом, решившись, стал впервые за все эти годы рассказывать о Вере, о своей телефонистке, о своей короткой любви, о том, что случилось в тот день, когда он оставил ее в землянке...

— Я вернулся туда вечером, — сказал Владимир Иванович. — И не нашел землянки. В нее случайный снаряд попал. Одна воронка осталась. Понимаешь, ничего не нашел, Марфа-посадница. А после...

Он не стал рассказывать, что было после. Оживление Марфы Ивановны и Владимира Ивановича угасло. Их придавило обоюдное горе, всплывшее в сознании, заставившее о себе мрачно и тоскливо.

Всю обратную дорогу в вагоне электрички они молчали.

Отказавшись от семейных радостей и подавив желание утопить горе в спиртном, Владимир Иванович искал спасение от тяжелых мыслей в запойной работе. Теперь он окунулся в тексты древних русских воинских повестей, в мир, где шум битв, гром пушек, лязг мечей, крики торжества одних и вопли отчаяния других заглушали шепоток жалости к самому себе.

И в Троице-Сергиев он поехал с Марфой Ивановной не случайно. Все, что так или иначе касалось обороны русских крепостей, крайне занимало его. Он готовил к публикации список «Повести о приходе короля Стефана Батория с великим и гордым воинством на великой на славный богоспасаемый град Псков». Об этой повести писал еще Карамзин. Отыскав в Вязниках, на Владимирщине, самый исправный и древний список повести, Владимир Иванович взялся за нее еще и потому, что над ней когда-то работал Александр Сергеевич Орлов.

Владимир Иванович писал обширные комментарии к повести, не чураясь художественных подробностей, которые в позднейших его трудах, к сожалению, исчезли совсем в угоду научной сдержанности, в угоду академической моде, засушившей ныне и обесцветившей ученые сочинения, будто и не было никогда живописных произведений великих русских историков и филологов.

И он выяснил, кто был автором повести об осаде Пскова.

Если бы академик Орлов был жив, он порадовался бы дотошности своего ученика. Обрел имя еще один безымянный автор известного произведения древнерусской литературы. Но я не назову этого имени. И не потому, что хочу заинтриговать читателя. Просто я придерживаюсь порядка, которому следовал Владимир Иванович в своем изыскании.

Что же было до осады Пскова? Ливонская война... Объединение Литвы с Польшей. Предательство командующего армией князя Курбского. Вступление на польский престол семиградского князя Стефана Батория, поклявшегося польскому дворянству вернуть все земли, только что отвоєванные Москвой.

24 августа 1581 года король Стефан Баторий подошел к Пскову «со всеми своими многими силами».

Владимир Иванович вместе с автором повести увидел вражеское войско со стен псковского Крома, увидел стоящего на холме короля в шляпе с пером и латах с высокими наплечниками, сурового, тонкогубого, окруженного наемными главарями. Теснились у холма отряды немцев, венгров, французов, шотландцев, бельгийцев, датчан, шведов, румын, итальянцев... Шестидесят тысяч искателей легкой наживы собрались со всей Европы пограбить Псков. На десяток верст вытянулся обоз, готовый принять добычу. И еще тут было сорок тысяч шляхетского войска, приструненного умным и властным королем.

Увидел Владимир Иванович град Псков и со стороны, глазами чужеземцев, увидел тройной ряд каменных стен, протянувшихся на девять километров, увидел золотые купола, множество орудий в бойницах стен и громадных башен. Велик и богат был город Псков. Одних лавок торговало в нем больше тысячи. По величине тогдашний Лондон и тот уступал Пскову.

«Любуемся Псковом,— прочитал Владимир Иванович в дневнике секретаря походной канцелярии Батория ксендза Пиотровского.— Господи, какой большой город! Точно Париж! Помогите нам, боже, с ним справиться!»

В посаде за рекой Великой догорали дома, подожженные псковичами, чтобы, как говорилось в повести, «врагам жилищами не были».

Баторий махнул рукой, и под грохот литавр мимо холма потекла пехота, конница, проталились осадные орудия...

Но и у русских в городе немалая сила. Семь тысяч конников, несколько десятков тысяч пешего войска, в которое вошли все, кто был способен носить оружие. Хватало пороха, ядер, пушек. Подготовлены к бою и два гигантских орудия — «трекотуха» и «барс».

Автор повести об осаде Пскова был человек начитанный, выражался пышно, книжно. Короля Стефана Батория ругал изысканно — «неутолимым аспидом» и

«злоядовитым змеем». Впрочем, устав от риторики, он насмешливо вопрошал: «Что же твоего ума, польский краю?.. Жестоко ты есть против рожна стояти!»

Всюду поспевал автор повести, все видел. И в глубинах политики разбирался — знал, что предатель Андрей Курбский со своими сообщниками спелся с немецкими баронами из Курляндии и склонял Батория к войне с Москвой: «Сии же христоненавидцы... на крестьянского царя помыслы воополчаются и иудейским советом на владыку своего воздвигнути ков обещаваютца».

Древний писатель не пропустил ни одной важной схватки, ни одного приступа, ни одной вылазки. Близок был и к самому воеводе князю Ивану Петровичу Шуйскому. Иначе откуда бы ему знать о подробностях разговора воеводы с царем Иваном Васильевичем Грозным? Посылая его в Псков, царь взял с Шуйского клятву умереть, но не сдать город врагу. А воевода привел всех псковичей к присяге «за град Псков биться с литвою до смерти».

После смотра «литва» бросилась на штурм. Она еще пыталась пробраться сквозь чеснок — острые дубовые колья, натканые у подножья стен, — как загремели псковские пушки, кося осаждающих, накрывая и сам королевский лагерь, валя суконные шатры за лесом, у реки Псковы.

Началась правильная осада. Под прикрытием навесов враги рыли «великие борозды» — траншеи. Со стен летели на навесы факелы и каленые ядра.

— Эй вы! — кричали со стен. — Похороним вас в ваших же ямах, кои вы, как псы, роете против нас!

На военном совете у Батория решено было идти на приступ, штурмовать стену между Покровской и Свинусской башнями.

«Спешно и радостно», как выразился автор русской повести, бежали к пролому одетые в белые рубахи лучшие из вояк Батория — венгры и немцы. За ними бросились другие, торопясь принять участие в разграблении города. Уже захвачены Покровская и Свинусская башни, уже реют над ними польские флаги. Только паны не спешат посылать к королю гонцов с известием о победе. За проломом возвышалась новая стена, возведенная защитниками города за одну ночь, и с нее лилась кипящая смола, сыпалась сеяная известь, падали бревна, утыканные гвоздями, палили пушки и пищали.

«Литовская же бесчисленная сила на градовную стену, яко вода многа, льющеся... И бе яко гром велик и шум мног и крик несказанен от множества обоего войска, и от гущегого звуку и от ручничного обоих войск стреляния, и от воинского крика».

Битва гремела и под сводами Пушкинского Дома.

Владимир Иванович забил вместе с псковичами заряд в громадную пушку «барс». Она изрыгнула пламя и обрушила верх Свинусской башни на засевших в ней венгров и немцев. К вечеру враги были вытеснены из пролома и побежали, потеряв во время всего приступа более десяти тысяч человек. Баторий запретил говорить в своем лагере о потерях.

В лагерь к Баторию приехал посол папы Григория XIII иезуит Антоний Поссевин, чтобы вести с русскими переговоры о мире. Теребя щетинистые усы, Стефан Баторий жаловался ему:

— Русские при защите городов не думают о жизни, хладнокровно становятся на места убитых, день и ночь сражаясь, едят один хлеб, умирают с голоду, но не сдаются.

Читая его слова, Владимир Иванович вспоминал осажденный Ленинград, думал о нестигаемости русского народа...

Баторий теперь уже не чаял, как ему выбраться из-под Пскова, «как и каким образом скрыть стыд и срамоту лица своего». Он уехал, оставив командующим канцлера Яна Замойского. Но пока Поссевин хлопотал о мире, псковичи сделали вылазку и убили восемьдесят знатных панов и несколько тысяч гайдуков.

«Злоусердный и великогордый поляк канцлер, — говорится в повести, — сие увидев — внезапную кончину своих великих панов, — в великую кручину впал. На государевых же бояр и воевод и особенно на князя Ивана Петровича Шуйского замыслил он совершить покушение».

Того же месяца, января в 9 день, пришел в Псков из литовского воинства русский полоняник и принес с собой великий ларец. Его приняли и привели к боярам и воеводам, он же отдал ларец и грамоту, сказав от себя, что она прислана королевским дворянином Гансумелером. В грамоте было написано:

«Государеву боярину и воеводе, князю Ивану Петровичу Шуйскому Гансумелер челом бьет. Бывал я у вашего государя с немчином, с Юрием Фрянбреком. И ныне вспомнил хлеб-соль вашего государя и не хочу против него воевать, а хочу на его сторону перейти. А вперед себя я послал с вашим полоняником свою казну в ларце, который он тебе принесет. И ты, государь, князь Иван Петрович, тот мой ларец возьми и посмотри мою казну один, другим не показывай. А я буду во Пскове в самом скором времени».

Князь Иван Петрович Шуйский прочел грамоту и, почуяв обман и посоветовавшись со своими товарищами, велел добыть таких мастеров, которые ларцы отпирают, а ларец отнести подальше от воеводской съезжей избы и отомкнуть, всячески остерегаясь.

Мастер отпер ларец и увидел, что он наполнен смертоносным грузом: в нем лежали двадцать четыре самопала, направленные на все четыре стороны; сверху было насыпано с пуд пороха, а курки были ремнями привязаны к личинкам ларца — стоило кому-нибудь открыть крышку, как взведенные курки самопалов сработали бы и порох взорвался бы...»

Этот эпизод предварял в повести полное торжество русских и уход посрамленных врагов из-под Пскова.

Подготовив к печати и прокомментировав древнюю повесть, Владимир Иванович занялся примерно такой же работой, какую выполнил один из героев рассказа «Золотой жук», написанного родоначальником детективной литературы Эдгаром По. Владимир Иванович расшифровал тайнопись в конце «Повести о приходе» и узнал, кто был ее автором.

Имя автора в свое время пытался прочесть и академик Орлов, но в концовке списка повести, которым он пользовался, было пропущено несколько слов. Поэтому Александр Сергеевич высказался неопределенно: «По цифровой тайнописи не следует ли читать имя писателя этой Повести псковского жителя живописца «Гри/го/ри?»»

В списке Владимира Ивановича, сличенного с другими вариантами, значилось: «Списана же бысть повесть сия в том же богохранимом граде Пскове, от жителя того же града, художеством зграфа, имя же ему есть сие: единица дважды, со едином, пятидесятицу же усугубити дважды, и четверица сугубо, десятирица же трижды и четверица сугубо, совершает же ся десятирицею, и всех обрящещи письмен семь».

Итак, повесть написал художник, живописец, «зграф» — изограф. Имея полный список, Владимир Иванович без особенного труда разобрался в тайнописи.

До XVIII века русские писатели ни арабских, ни латинских цифр не употребляли, а обозначали числа сочетанием букв: вместо 1 писали А, вместо 2 — В, вместо 3 — Г, вместо 4 — Д, вместо 10 — И, вместо 20 — К и т. д.

Владимир Иванович набросал на листке бумаги:

«единица дважды»	$1 \times 2 = 2 = В,$
«со едином»	$I = А,$
«пятидесятицу же усугубити дважды»	$50 \times 2 \times 2 = 200 = С,$
«и четверица сугубо»	$4 \times 2 = 8 = И,$
«десятерица же трижды»	$10 \times 3 = 30 = Л,$
«и четверица сугубо»	$4 \times 2 = 8 = И,$
«совершает же ся десятирицею»	$10 = I,$
«и всех обрящещи письмен семь» — всего семь букв.	

Выписав получившиеся семь букв, Владимир Иванович узнал имя автора повести: В А С И Л И Й.

Если русской литературе ровно тысяча лет, то на долю нашей древней словесности приходится из них семьсот с лишним...

Китайцы читают свои романы, написанные несколько тысяч лет назад, как современные и даже как руководство к действию.

Древнюю русскую литературу читают свободно лишь специалисты из-за того, что наш письменный язык сильно изменился. Русские гиганты XIX века властно приковали к себе внимание, оставив его очень мало для того, что было до них.

В древней русской литературе мало имен, но много произведений. Ее исследуют и воспринимают как единое целое, нечто вроде средневекового храма, строившегося сотни лет разными людьми, но по единому плану. Она очень оптимистична, потому что земля для человека была лишь юдолью скорби, местом испытания. Ее питали надежды человека на счастье, думы о вечности, высокие побуждения. В ней много таинственного для нас, потому что мы утратили понимание древней символики, которое было для наших предков одним из условий понимания всего сущего. Почти вся она была исторической, она не знала условных героев, подобных героям современной литературы, но, повествуя о реальных людях, давала волю фантазии и заставляла верить в нее как в факт. В древности любили положительных героев, олицетворявших светлое начало в извечной борьбе добра со злом.

Русская литература начинается с летописания. Но в летописных сказаниях есть отголоски еще более древних повестей, утраченных вместе с докирилловской письменностью. Национальное самосознание и национальное понимание прекрасного древнее христианской веры на Руси, и потому русские иконы и храмы столь отличались от византийских.

О церковной независимости от Византии заявил уже первый митрополит из русских Иларион в своем «Слове о законе и благодати».

Иларион был попом в княжеском селе Берестове под Киевом. Он «ходил из Берестового на Днепр на холм, где теперь стоит монастырь Печерский, и тут молился. А был тут лес. Выкопал он небольшую пещеру в 2 сажени... Он сделался митрополитом, а эта пещерка так и осталась».

В своем «Слове» Иларион, гордый своей родиной, славил не одного Владимира, крестившего Русь, и его сына Ярослава, но и князей-язычников Игоря и Святослава, которые «благодаря своему мужеству и храбрости прослыли в странах многих; и до сих пор вспоминается их непоколебимость и крепость. Не в плохой стране и не в неведомой земле были они владыками, но в Русской, которая ведома и слышима во всех концах земля».

Великий князь Ярослав умер в 1054 году. Он завещал своим потомкам жить в мире. «Если же вы будете жить в ненависти, в распри, в междоусобиях, то погибнете сами и погубите землю своих отцов и дедов, которую они отыскали трудом своим великим. Живите мирно, служа брат брату».

Об Иларионе как о митрополите в 1054 году летопись уже не упоминает. Можно предположить, что он удалился в монастырь, возникший на месте его пещеры. Летописный свод 1073 года составлен был первым известным русским летописцем монахом Никоном. Не Иларион ли это, сменивший имя, принимая схиму? В трудах ученого Приселкова было такое предположение. Через несколько десятилетий летописец Нестор составил «Повесть временных лет», вобравшую в себя труд Никона.

Вот первые имена. И первые загадки.

Поучал своих потомков Владимир Мономах, рачительный хозяин и храбрый воин, книжник и поэт.

Но неизвестны авторы «Слова о полку Игореве» и «Слова о погибели Русской земли». Утрачены песни великого Бояна.

Об авторе «Задонщины» Софонии известно лишь, что был он иерей и рязанец.

Кто написал «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Горе-злочастии», «Повесть о Савве Грудыне», «Повесть о Фроле Скобееве», воинские повести? Найти имя — значит сделать открытие.

Найти неизвестную повесть — значит пополнить тысячелетнюю сокровищницу литературы еще одной драгоценностью.

Владимир Иванович нашел неизвестную повесть о киевском богатыре Сухане.

Есть много вариантов былины о Сухане. А это была повесть. Владимир Иванович выяснил ее в самом Ленинграде и приобрел для Пушкинского Дома.

Такая небольшая была тетрадочка, в восьмую долю листа. Вид грязный, зачистанный, до махров заносены края листов. Писана скорописью, одной рукой, сперва убористо, потом разгонистой. Бумага плотная, шероховатая, с желтым оттенком. Водяной знак — голова шута в зубчатом воротнике с пятью бубенцами. Да и по почерку выходит, что исписали тетрадку в XVII веке. И писал повесть, видимо, человек военный, служивый. При царе Алексее Михайловиче сочинил. А при чем тут Владимир Мономах? И киевский богатырь? И татары? Ну, татары грабили и жгли Русь не только в XIII веке. При Иване Грозном крымцы доходили до Москвы. А в XVII веке ими было взято в полон двести тысяч человек, разрушены десятки городов. Только на «поминки», на выкуп пленных, русская казна истратила около миллиона рублей. Оттого, наверно, и написал свою повесть служивый по мотивам старинных народных былин. Переосмыслил их из патриотических побуждений, и получилась сказочная воинская повесть.

Написать бы об этой тетрадке книгу... Но с годами Владимиру Ивановичу писалось все труднее. Будто жернова ворочал. «Мнится, писание — легкое дело, пишут два перста, а болит все тело». Его ли дело писать? Пусть «проблемщики» пишут. Пусть себе обобщают, фантазируют даже, пренебрегая серьезными занятиями археографией и палеографией. А его дело собирать рукописные книги и описывать их. Глухое раздражение и презрительные высказывания о «проблемщиках» создавали ему репутацию человека трудного. И сам он понимал, что не прав. У каждого свой талант, свое дело. А вот заносит же...

Отношения у Владимира Ивановича с начальством были сложные. По несколько лет обходил он иных, забежал из коридора в первую попавшуюся дверь, чтобы не попасться на глаза. О находках своих говорил обиняками.

Однажды Дмитрий Сергеевич Лихачев заметил, что у Владимира Ивановича есть что-то новенькое. Только темнит он, говорит, сам не разобрался еще.

— Да покажите же наконец, что у вас? — не сдержался как-то Лихачев.

Владимир Иванович принес повесть о Сухане.

На другой день Дмитрий Сергеевич сказал ему:

— Владимир Иванович, вчера прочел и никак после этого заснуть не мог. Какая высокая поэзия! Можно поставить рядом с «Повестью о киевских богатырях». Ну чем не тема для диссертации?

Диссертацию на эту тему Владимир Иванович потом написал. И книгу издали.

Пока же он был недоволен своей службой. Он уже шесть лет в институте, а в командировки за рукописями ездил всего дважды. В сорок девятом на Печору, в Усть-Цильму, а в пятидесятом на Мезень. Да что это были за командировки! Денег ему на приобретение рукописей не дали. А он все равно из первой же поездки привез тридцать две книги. XVI века были рукописи среди них! На свои кровные купал. кое-что выпросил так. Благо свет не без добрых людей.

Варвара Павловна Адрианова-Перетц, заместившая академика Орлова, сделала Владимира Ивановича ученым секретарем сектора древнерусской литературы и всячески поощряла его. Но что толку, если денег нет и даже она не в состоянии выколотить их? Время идет, книги пропадают. В тридцать седьмом, когда он в первый раз попал в Усть-Цильму, ему посоветовали спросить книги у крестьянина Петра Григорьевича Чупрова. Высокий, сутулый, седобородый, тот встретил Владимира Ивановича холодно, долго рассматривал, изучал. Потом достал из сундука груду рукописей. И среди них — надо же! — «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. С цветными миниатюрами. На одной изображен какой-то индийский город и странник с посохом. Только художник сроду индийских городов не видал, и получился у него город, стилизованный под древнерусский, что, в общем-то, было правильно, такое родство есть.

Долго выпрашивал Владимир Иванович «Хождение за три моря», деньги сулил, давал нож в чехле, но Чупров ни в какую... Спрятал книги в сундук и сказал:

— Следи за мной. Как стану помирать — откажу тебе, а пока не обессудь, жаль расставаться.

В сорок девятом Владимир Иванович первым делом к Петру Григорьевичу наведася:

— Где «Хождение за три моря»?

Тот развел руками:

— Не знаю. Недоглядел. Дал на прочтение, а кому... запоматовал.

Так и не вспомнил старик. Понятное дело — за девяносто ему уже, дряхл. Зато дал сборник с рассказом о путешествии Трифона Коробейникова на Ближний Восток, сборник с повестью о смерти Тамерлана.

Походив по избам Владимир Иванович, поспрашивал книги. Есть, говорят, и показывают чистенькие печатные книги. А он в чуланы просится, на чердаки лезет с фонариком (он потом учеников наставлял, чтоб без фонарика никуда) и находит рукописные... Хозяйки изб только руками разводили:

— На что они вам, грязные да рваные?

Владимир Иванович ходил пешком в Замежное за пятьдесят километров и в другие села. В общем, поездка была разведывательная и показала, что Усть-Цилемский район богаче других рукописной стариной. Ровно сто лет назад на Печоре, Пижме и Цильме побывал этнограф Сергей Васильевич Максимов и писал о невероятном «богатстве здесь старинных памятников письменности». А через полвека фольклорист Ончуков «ничего выдающегося в смысле рукописей» не нашел и предостерегал знатоков от «ученых иллюзий». Оказался прав Максимов, а не Ончуков. Владимир Иванович в Замежном познакомился с деревенским грамотеем, рыболовом и охотником Тимофеем Михайловичем Мяндиным, таким старым, что он еще с Ончуковым встречался и былины ему пел. Мяндин тоже подарил Владимиру Ивановичу несколько книг.

— А отчего вы тут Ончукову ничего про книги не сказали? — спросил старика Владимир Иванович.

— Вишь, какое дело, — сказал Мяндин. — Ты вот по-простому пришел. Тихий ты человек, уважительный. Ончуков-то как приехал? В господской одежде, лошадей ему волостной старшина наряжал. Остановился он у попа. Старики, понятно, затаились — разве хороший человек станет якшаться с попом и со старшиной? А книги-то, они больше у людей старой веры... Вот они и не показали ему. А что былины спели? Отчего не спеть — от этого не убудет...

По возвращении в Ленинград Владимир Иванович рассматривал свою записную книжку, испещренную записями, адресами, предположениями, где могут быть еще книги. Усть-Цильма безусловно была рукописным раем, но врата его могли отпереть лишь хорошо подготовленные экспедиции.

Он готовился к серьезным разговорам в самых высших сферах. Листал страницы истории.

Печора упомянута еще в «Повести временных лет». Новгородские ушкуйники собирали «дани печерские». Около 1545 года предприимчивый новгородский кречатник Ивашка Дмитриев по прозвищу Ластка выхлопотал у своего тезки Грозного «слободскую грамоту» на печорские земли. Было предоставлено Ивашке право «в том лесу и впредь жити и двор ставити и людей призывати жити и копити».

Новгородцы принесли на берега Печоры свои обычаи и песни. И поныне жители Усть-Цильмы собираются на улице в праздничных ярких нарядах и устраивают горки — водят хороводы, поют старинные обрядовые песни, разыгрывают освященные столетиями представления... И в тех песнях величают они друг друга боярами. То и дело слышится слава Новгороду, упоминаются даже улицы и древние события новгородские, о которых в самом Новгороде и памяти не сохранилось.

Ну а древние книги еще, наверно, Ивашка Дмитриев с собой привез. Оставляли здесь книги служилые люди и сыльные. В Пустозерске была большая библиотека. И нет ее. Расползлась по деревням. Старообрядцы приносили много рукописей дониконовских, «досельных», как здесь говорят. Отвозя в Пинегу на Никольскую ярмарку рыбу, они покупали там из-под полы старинные рукописи, сами писали полемические сочинения против никониан, против курения табака, в защиту беспоповства и безбрачия... Наверно, много книг есть в Омелине, деревне, образовавшейся на том ме-



сте, где был Цилемский скит, закрытый в середине прошлого века. В скиту переписано много старинных книг, но Владимир Иванович еще до Омелина не добрался.

Грамотных на Печоре было много и в старые времена. Многие сами переписывали книги и составляли библиотеки. Старики еще помнили Ивана Степановича Мядина, умершего в конце прошлого века.

— Весь седатый был, подслеповатый, а крепкий. Писал красиво. Отец его еще суворовским солдатом был, четыре креста имел. Иван-то Степанович говорил с задержкой, заикался, а как петь начнет — заслушаешься. Он не только старую грамоту знал — мирские книги читал, журналы выписывал. Его по всей Печоре за ученость славили...

Вспомнив выговских малолетних тружениц, Владимир Иванович спрашивал, почему женщины на Печоре не занимались перепиской книг.

— Не бабье это дело, — отвечали ему.

Переписчики пользовались великим уважением. Они выработали даже свой почерк — печорский полуустав. Работали обычно, держа бумагу не на столе, а на колене — «сподручнее». Писали перьями глухаря и тетерева. В чернила из сажи добавлялась «для крепости» сера лиственницы. Владимир Иванович стал составлять списки переписчиков, научился различать их по почерку. Он удивлялся тому, как крестьяне хранят память о своих даже самых далеких предках, знают их поименно.

— Печорские рыболовы родовиты, как столбовые дворяне, — говаривал он впоследствии.

Он привез в сорок девятом году тридцать две книги и объявил о том, что ими положено начало хранилищу книг в Пушкинском Доме. Надежды на Печору были большие, но прошло еще три года, а он так и не добыл денег на поездку. Он ухитрился проводить большую археографическую работу в самом Ленинграде, находить древние рукописи, выпрашивать их, пополнять ими институтское хранилище.

У него был редкий дар понуждать людей расставаться даже с самыми бережно хранимыми рукописями и письмами. И этот дар нередко эксплуатировали научные сотрудники из отделов, занимавшихся литературой не столь отдаленных времен. Лезжат, например, письма на дне шкатулки у какой-нибудь старушки на память о ее матери, переписывавшейся с одним из русских гениев в середине XIX века. Годами выпрашивают у нее эти письма литературоведы, но старушка тверда как камень. Обратятся к Малышеву: помоги, мол, Владимир Иванович. Он придет, попьет чайку со старушкой, степенно поговорит о том о сем — смотришь, часа через два уже прячет письма в свою полевую сумку, а старушка еще со слезами на глазах благословляет его.

Прослышав о создании нового хранилища, люди дарили ему древние книги. Покупал сколько мог сам Владимир Иванович на свое скудное жалованье...

Назревал бунт. Владимир Иванович умел создавать и подогревать общественное мнение. Особенно когда дело касалось его кровных научных интересов. Он взывал к совести начальства, рассылал множество писем, ища поддержки писателей и ученых со стороны. Конечно, он предпочел бы решить конфликт мирным путем, то есть внушить начальству мысль исподволь, незаметно, чтобы оно приняло эту мысль за свою и начало действовать в нужном направлении. Но дело не шло на лад, и он расстроился.

Ему и прежде приходилось браться за перо и писать гневные статьи. В первый же год своего пребывания в институте он съездил на Выг, в село Данилово, основанное Андреем Денисовым, обнаружил в старинном красивом доме свинарник и, не встретив у местных властей сочувствия своему возмущению, написал в ленинградскую газету разгромное письмо, кончавшееся словами: «Это не единственный случай наплевательского отношения к охране памятников старины». Вместе с писателем Алексеем Юговым он выступил в «Известиях» и отстоял знаменитые Поганкины палаты в Пскове.

Но одно дело возмущаться нерадивостью людей малознакомых, абстрактных в некотором роде, другое — идти с открытым забралом против собственного начальства.

Нет, я не буду рассказывать ни о мыслях, лихорадочно пробегавших в голове Владимира Ивановича, ни о его досадах, подсказанных всей его жизнью, его горьким

опытом. Приведу самую суть его статьи, напечатанной в «Литературной газете» 17 июля 1952 года:

«Нерадивое отношение к сбору рукописного материала у населения проявляет и дирекция Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР. Несмотря на указания бюро отделения литературы и языка Академии наук СССР организовать поиски рукописей, дирекция Пушкинского Дома в течение ряда лет вычеркивает из сметы расходы на археографическую экспедицию...»

## 27

— Зло имеет тысячу лиц и миллионы проявлений. В одной из своих ипостасей оно ненавидит прошлое народа. Оно стремится исказить или замолчать историю, учительницу жизни. Скрыв корни, зло выглядит случайным сорняком, оно прикидывается полезным злаком, чтобы легче делать свое дело. А добро, оторванное от корней, слабеет. Но почему же зло не празднует своей окончательной победы в целом мире? Почему не смыкается круг зла, которое иногда символически изображается в виде змеи, взявшей кончик своего хвоста в пасть? Да потому что любая добрая инициатива размыкает круг зла, разрывает хитросплетения, порожденные мелочными умами. Вот почему зло старается сделать любую добрую инициативу наказуемой. И оно страшно боится широкого распространения исторических знаний. Злу помогает наша лень. Мы ленивы и любопытны, говорил Пушкин. И знаете, что я еще прочел недавно в одном старинном крестьянском сочинении? «Аще кто восхощет много знати, тому не подобает много спати, но всегда подобает ум бодро держати!»

Порой Владимир Иванович становился красноречив и не гнушался даже выпренностями. Я слышал это рассуждение много позже, но оно вполне отражало мысли и того пятьдесят второго года, когда его возмущение было поддержано обвалом писем, который погреб попытку представить Владимира Ивановича мелким вымогателем. Прошло еще два года, прежде чем он добился денег на ежегодные экспедиции.

Теперь уже года не проходило без экспедиции. «Список его находок велик и великолепен», — написал один из его учеников, а ныне доктор наук Александр Михайлович Панченко. Список географических названий вызовет зависть у любителей путешествий. Но больше всего он любил Печору, где в нее впадают желтая Цильма и светлая Пижма. Там он уговаривал какую-нибудь старушку, сидя с ней на завалянке:

— Бабушка, предки-то ваши в досельные времена с чем на Цильму пришли? С топором да книгой? А теперь кто эти книги хранить будет? Ведь молодежь другие книги читает. Она самолеты водит, техникой интересуется. Помрешь ты, не приведи господь, ребята книги издерут или в печи сожгут. А то вот в Усть-Цильме их в утиль сдавать начали. Я в утиле хорошую старогисьяменную книгу нашел. А в книгах славянских много полезного, и есть еще люди, которым они надобны. У нас их за стеклами хранят, а когда читают, то руками листы переворачивать не позволено, только особой палочкой. Мы эти книги читаем и выписки делаем, а иное печатаем.

А старушка, прежде чем дать книги, заставляет мыть руки. Потом растает и всем говорит:

— Владимир Иванович все славянские книги знает лучше наставников...

Знала б она, что не только он, но и его ученики понимают все с полуслова, с полувзгляда. Натаскивал он своих учеников дотошно — открывал первую же попавшуюся рукопись наугад, на любой странице, показывал, закрывал и требовал:

— Датируйте!

И тотчас получал ответ:

— Середина шестнадцатого века.

Теперь можно было проверять по альбомам водяных знаков, по образцам бумаги и почерков. И, как правило, ответ после взгляда, брошенного на рукопись, подтверждался. Это было похоже на фокус и на чудо. На фокус — потому что выглядело эффектно. На чудо — потому что никто из спрашиваемых не мог бы ответить сразу, почему он отнес рукопись к середине XVI века, а не, скажем, XVII. Интуиция! А за ней скрупулезное знание истории, тысячи прочитанных рукописных книг, навык...

Он учил доброте и мужеству. Ученики поначалу выпрашивали у него собирательские тайны, но их не оказывалось. Была несуетность, доброжелательность к людям. Было умение без искательства завязывать дружбу. Крестьяне писали ему в Ленинград наивные, обстоятельные и трогательные письма. И он всегда отвечал, никогда не путал имен, всерьез интересовался делами своих знакомых. На Печоре поговаривали, что он и сам из здешних мест, благо Малышевых в приречных селах было много. Никогда подарки не забывал привозить — кому клеенку, кому лекарства, кому галоши, а для детей всегда кульки с конфетами в карманах...

В один бывший скит никакого пути не было. И Владимир Иванович стал серьезно уговаривать усть-цилемских летчиков сбросить его с Панченко на парашютах, чтобы потом, по окончании дела, дойти до реки и сплавиться по течению.

— Ты, Саша, с парашютом прыгал? — спросил Владимир Иванович.

— Нет.

— Я тоже не прыгал. Но ничего... попробуем.

И уговорил летчиков. Народ пылкий, они его поддержали. Но их пожилой и осторожный начальник все-таки нашел выход. Связался по радию с геологической партией, бродившей в том районе, и геологи вскоре сплывили целый ящик книг. В одном из ветхих сборников оказались автографы Лазаря, сожженного вместе с Аввакумом в Пустозерске. Челобитные царю и патриарху.

Бывали и огорчения. Иван Степанович Носов из Канахина как зеницу ока хранил отрывок из послания самого Аввакума. Тоже автограф. Владимир Иванович годами держал его на примете и уговорил наконец Носова отдать рукопись. Возвращались Малышев с Панченко через тайгу верхом. А кругом болота, лошади по колено проваливаются. Панченко, непривычный к такому способу передвижения, уговорил Владимира Ивановича сделать привал. Усталых путников тотчас сморило, а лошади, которых донимали слепни и гнус, ушли в тайгу. Лошадей нашли через несколько дней, но мешков с книгами на них не было. Видимо, терлись о деревья и сбросили. Ищи свитчи в тайге. И сумка полевая, та самая, с заветной Аввакумовой рукописью, тоже пропала на веки вечные.

В деревнях сочувствовали, искали. Потом решили, что злую шутку с путниками сыграл Затей Михеев, чахоточный, вечно хмельной, слывший среди местных колдуном. Один старик в лицо ему упрек бросил:

— Над какими людьми шутить вздумал!

А Владимир Иванович не мог простить Панченко этого привала, всю жизнь вспоминал, зудел почти два десятка лет, хотя в руки ему уже плыло еще более ценное Аввакумово наследие...

## 28

В жизни все так переплетается, что и нарочно не придумаешь.

Бунт Владимира Ивановича, его победа, невероятно быстрое пополнение рукописями хранилища Пушкинского Дома — все это не могло не вызвать раздражения, по его словам, недоброжелателей. Разговоры были всякие, и снова всплыли обстоятельства находки и публикации «Слова о погибели Русской земли».

Нет, никто не поставил ему в вину «экспроприацию» рукописи. Более того, когда его слава собирателя и хранителя рукописной старины распространилась достаточно широко, у руководителей рижской Гребенщиковской общины хватило юмора, чтобы прислать в дар Пушкинскому Дому именно тот сборник, из которого Владимир Иванович изыал «Слово о погибели» и «Житие» Александра Невского. Этим самым они дали понять, что считают инцидент исчерпанным.

Не зная иностранных языков, Владимир Иванович не слишком пристально следил за публикациями в зарубежных научных журналах, но ему услужливо сообщили, что именно в тот год, когда он опубликовал «Слово о погибели», такая же публикация появилась во Франции и была подписана неким Мишелем Горлиным. При этом добавлялось, что Горлин, ученик Мазона, известного ниспровергателя гениального «Слова о полку Игореве», написал свою статью в 1940 году, а в 1942-м погиб в немецком концентрационном лагере.

Все это было очень странно и непонятно. Почему у Горлина оказался текст «Слова о погибели», когда вот он, протянуть руку и пощупать?. Отмахнуться бы от этой загадки и продолжать заниматься своим делом... Тем более что во всем мире на конгрессах славистов он, Малышев, признан первооткрывателем списка.

Но Владимир Иванович не мог допустить, чтобы хоть тень сомнения пала на его научную репутацию. И он сам предпринял расследование. Он посылал письма в Ригу, но ему отвечали, что ничего не знают. Наконец кто-то из рижан дал совет обратиться к Ивану Никифоровичу Заволоко, заведовавшему в то время медицинской лабораторией в сибирском селе Северном. Тренированная память книжника мгновенно высветила экслибрис, который Владимир Иванович видел на дореволюционном учебнике русской литературы, так пригодившемся при первой оценке «Слова о погибели».

Между Владимиром Ивановичем и Заволоко завязалась переписка, а в пятьдесят девятом они встретились. Заволоко переехал в Ригу, и тут Владимир Иванович настиг его в приземистом доме на городской окраине. Вот когда они наговорились всласть.

На широкую грудь Заволоко ниспадала дремучая седая борода, а на румянном лице не было ни морщинок. Он опирался на костыли, одна нога у него отнята выше колена.

Загадка «Слова о погибели» связана с причудливой жизнью Ивана Никифоровича, а эта жизнь стоит того, чтобы о ней рассказали. Он родился за шестьдесят с лишним лет до встречи с Владимиром Ивановичем в старообрядческой семье. Их было больше ста тысяч в Латвии, старообрядцев. В 20-е годы он учился на юридическом факультете знаменитого Карлова университета в Праге и даже окончил его со степенью кандидата права. Но увлекался он больше не юриспруденцией, а древнерусской культурой, иконографией, палеографией, посещал лекции русских профессоров из круга «Семинариум кондаковиум». Знаменитый историк искусства академик Никодим Павлович Кондаков еще ходил, стуча палочкой, по узким улочкам Старого Места, когда студент Заволоко примерил в первый раз студенческую шапочку.

Вернувшись в Ригу, Иван Заволоко стал собирать вокруг себя русскую молодежь. Он не только дал ей лозунг: «Счастье состоит в неуклонном труде на благо родины и старорусской культуры!» — но и сколотил «Кружок ревнителей старины», создал хор старинной русской песни, основал и редактировал журнал «Родная старина». Его патриотический порыв подхвачен почти всеми русскими, жившими в буржуазной Латвии, с жадностью духовно изголодавшихся людей.

Владимир Иванович с изумлением рассматривал пригласительные билеты на вечера памяти Андрея Рублева, Пушкина и Есенина, на выставки старинных костюмов, древних икон, предметов старинного быта, старопечатных и рукописных книг, на концерты самого старинного на Руси знаменного пения... Он с жадностью ухватился за второй номер журнала «Родная старина», целиком (!) посвященный протопопу Аввакуму. Иван Никифорович рассказал ему, как его кружок собирал фольклор и книги в Латгалии и районе Чудского озера, как он, готовя выставку книг, обнаружил в библиотеке Гребенщиковской общины в самой Риге сборник со «Словом о погибели». Он сообщил о своей находке в книге «Русские в Латвии» и собирался издать «Слово» в Париже с иллюстрациями художника Стеллецкого, но денег не хватило, а потом наступили тревожные времена. Горлин, видимо, наткнулся на его сообщение и попросил в письме прислать фотокопии листов. Он послал...

Слушая, Владимир Иванович размышлял о странной судьбе находок. Первый список «Слова о погибели» обнаружил лет за двадцать до Лопарева псковский археолог Лаврентьев, но слава находки досталась Лопареву.

Заволоко и только Заволоко должна принадлежать честь открытия «Слова о погибели Русской земли». Вот и Иван Никифорович говорит, что больше всего ему хотелось бы тогда сообщить о списке советским ученым, но в условиях улманисовского режима наладить такую переписку было бы «затруднительно и небезопасно».

Так Владимир Иванович и написал в своей статье, отосланной в пражский журнал «Славия». Он отказывается от чести открытия списка и требует восстановить

справедливость! В конечном счете, для науки важен результат, а не мелочные счета. Владимир Иванович, считавший найденные рукописи уже тысячами, был великодушен.

Чутье, необыкновенное чутье заставило его искать дружбы Заволоко. Замечательный человек Иван Никифорович! Был знаком до войны с писателями Шмелевым и Ремизовым.

Владимир Иванович и сам давно уже завязал переписку с Алексеем Михайловичем Ремизовым и другими русскими писателями, доживавшими свой век в Париже. Получивший советский паспорт Ремизов тосковал на чужбине, но из-за дряхлости не мог уехать на родину. А в последние свои дни даже писать не мог. За него писала Наталья Викторовна Резникова:

«Дорогой Владимир Иванович, я не знаю даже, сознаете ли Вы, какое добро Вы сделали Алексею Михайловичу и как писателю и как человеку, восстановив его живую связь с родной культурой, с родиной.

Все Ваши письма, как и все письма, за Вашим — от русских писателей и исследователей — последовавшие, мы наклеиваем в большую тетрадь, которая у нас называется «Россия».

Алексей Михайлович продолжает тихо дремать под кукушкой (часами), которая время от времени кукует и отбивает свои собственные, остановившиеся во времени часы».

А вот Иван Никифорович Заволоко в свои годы выглядит прекрасно. Мяса не ест и оттого будто бы не стареет. Насчет мяса у него заскок. Это от общения с Рерихом, видимо. Иван Никифорович знал его, всю жизнь переписывался и даже в Индию к нему до войны собирался съездить.

Есть у Владимира Ивановича с Иваном Никифоровичем и еще одна общая страсть. Тот тоже любитель футбола, за всеми играми следит. Говорит, когда его забросило в Сибирь, он и в сорок с лишним гонял мяч. Подковали его как-то. Сперва не обращал внимания на травму коленной чашечки. Потом сепсис, ногу отняли... Сорока восемь лет в Новосибирске получил еще одно образование, окончил медицинский институт, заведовал лабораторией, а теперь собирается в Ригу заняться проблемой предракowego состояния...

— Ну зачем вам это, Иван Никифорович? — говорил ему Владимир Иванович. — Вы же в нашем деле золотой человек. Вы же всю Прибалтику как свои пять пальцев знаете. А у нас есть деньги. В экспедиции будете ездить. На командировки у нас деньги найдутся. Я пенсию вам хорошую выхлопочу... Вы же природный археограф! Вы больше нужны стране как собиратель, а не как медик. Вы, наверно, знаете, как попал к гребенщиковцам и сборник со «Словом о погибели»?

— Думаю, сборник там еще с первого дня существования общины, с восемнадцатого века. Ее основатель Федор Никифорович Саманский был большой любитель и собиратель рукописной старины. — ответил Иван Никифорович.

— Вот видите! И я уверен, что именно здесь может найтись даже автограф «Жития» самого Аввакума. У меня есть сведения, что еще в конце восемнадцатого века у рижского купца Саввы Дьяконова был корабль под названием «Протопоп Аввакум». Нет ли тут каких-нибудь документов об этом в архивах? Может быть, поиски приведут нас с вами и к автографам Аввакума. Ведь упоминался же протопоп в книге рижского епископа Филарета Гумилевского, вышедшей еще в первой половине девятнадцатого века, когда и археографы о нем ничего не знали...

Уже через год Заволоко поехал в экспедицию от Пушкинского Дома в эстонское Причудье, и хранилище Владимира Ивановича пополнилось с его помощью многими рукописями. Самое главное нашлось еще через несколько лет...

«Глубокоуважаемый Владимир Иванович!

Спешу сообщить Вам приятную новость. Последние два года были для меня весьма удачными. В результате моих поездок в Новосибирск, Причудье у меня собралось свыше 40 рукописей... Но самое главное — это то, что я нашел автограф

«Жития» Аввакума. Это еще до сих пор не известная науке редакция «В» (!). Не список, а автограф (см. приложение при письме, сделанные мной фотоснимки). Вновь открытый «Пустозерский сборник» содержит одни автографы Аввакума и Епифания...

Водяные знаки и палеографические данные — все говорит, что вновь открытый «Пустозерский сборник» относится ко второй половине XVII в.

Я готов сделать у вас соответствующий доклад (изложение истории находки и краткое мое заключение об особенностях найденной рукописи) или написать статью, но в этом вопросе есть пока (!) большое «но». Владелец рукописи против широкой огласки. Пока могу сообщить, что, как и сборник Дружинина, и эта рукопись долгие годы сохранялась в федосеевской семье...

Пока о рукописи открытой знают только мои близкие знакомые. Несмотря на предложение приобрести рукопись для Гребенщиковской общины, я решил твердо — рукопись должна принадлежать науке.

Я очень рад тому обстоятельству, что судьба улыбнулась мне (не тщеславие говорит во мне — я рад, что сделаю свой вклад в науку), и именно в этом году (юбилейном для меня, т. к. мне исполнится 70 лет).

Но в этом году мне пришлось пережить тяжелые минуты, когда в Глазном институте имени Гельмгольца в Москве у меня признали глаукому. А зрение для меня все! И счастье и смысл жизни в чтении и работе над рукописями.

Я буду счастлив, если моя «лебединая песнь» оставит светлый след.

28 ноября 1967 г.

И. Н. Заволоко.

### 30

Владимир Иванович начинает священнодействовать без лишних слов. Он отпирает стальной ящик и достает небольшую книгу в залоснившемся переплете из оленьей замши.

— Вот,— говорит он хрипловатым от волнения голосом.— «Житие». Аввакум. Автограф!..

Я тогда жил Аввакумом, как и Владимир Иванович. И потому приехал сразу, как только он известил меня открыткой о событии удивительном, невероятном! А о каком — он не написал. Это когда Заволоко привез в Ленинград «Пустозерский сборник».

Владимир Иванович возбужден и начинает с конца:

— Я его сразу в сейф. Спать перестал. Ведь этой книге цены нет. Понимаете — одна! Одна-а-а-единственная! Прикинули мы и оценили очень скромно. В четыре тысячи рублей. Больше у нас и не было. Правда, я в президиуме Академии наук заручился обещанием, что нам на покупку еще четыре тысячи добавят. Ну а Ивану Никифоровичу говорю: «Не мучь меня, говори — сколько хочешь?» А он подарил. Просто взял и подарил. У него пенсия крохотная. Никак мне не удается выхлопотать побольше... От восьми тысяч отказался. Подарил... Теперь она у меня навсегда...

«У меня» — значит, в сейфе хранилища. На квартиру Владимир Иванович рукописи брал очень редко.

Он явно растерян, подавлен свалившейся на него ценностью.

### 31

Второй раз я его вижу растерянным за последних несколько месяцев. Недавно ему присуждали докторскую степень «по совокупности» заслуг. Диссертацию он так и не написал — все было недосуг. Из обеих столиц на защиту съехались гранды и перы страны Филологии, полные сил и совсем дряхлые, но одинаково величаво-снисходительные к чернорабочему от науки. Он встречал их в обшарпанном вестибюле филологического факультета, скрывая растерянность сумрачным выражением лица, со сжатыми в прочерк губами, при галстуже. Сбросив шубы на руки гардеробщиц, они поднимались наверх, в аудиторию, по правой или по левой лестнице, в зависимости от сложностей...

Над аудиторией витала гигантская тень Аввакума. Были упомянуты сорок сборников со списками его «Жития», найденных Владимиром Ивановичем. И среди них Приишниковский список, где обнаружены следы утраченной редакции с неизвестными эпизодами жизни Аввакума, его разговорами и спорами с патриархом Никоном и дьяком Косошиловым, с Симеоном Полоцким и Епифанием Славинецким. Владимир Иванович, роаясь в архивах, проверил и восстановил многие даты, факты, подробности ссылок и скитаний Аввакума, имена тех, кто судил и казнил его. Грамотки и «скаски», отписки и челобитные воевод, опубликованные Владимиром Ивановичем, раскрывали непреклонное бунтарство Аввакума.

Сын Артамона Матвеева, петровский дипломат Андрей Матвеев в «Истории о стрельцком бунте» написал, что Аввакум «сожжен за великие на царский дом хулы». Это отзвук формулировки не сохранившегося приговора. И подтверждение тому — разысканное Владимиром Ивановичем «Святейшаго правительствующаго всероссийского Синода... объявление», увидевшее свет в самом конце царствования Петра I: «Тот же (Аввакум) дерзнул и помазанников божиих, благочестивейших в то время царей, самодержцев и государей своих, бесчестным и сквернословным языком коснуться...»

Оратор, публицист, писатель, увлекший за собой много «тысяч простого народа», Аввакум к тому же рисовал. Когда не было бумаги, он рисовал на бересте. Рисовал карикатуры на своих врагов, делал надписи к ним весьма и весьма... незачатые.

«...он же сам (Аввакум), окаянный изверх, в то же время вместо слезного покаяния о тяжких своих гресех, истинного обращения к матери нашей церкви святых и достодолжного своего предержащим царской и духовной властью повиновения и рабского покорения, сидя в вышеозначенном юдоле, земляныя своя тюрьмы, на берестяных хартиях начертывал царские персоны и высокия духовные предводители с хульными надписаниями, и толкованиями, и... укорицами весьма запретительными...»

Где уж тут рабское покорство!

Владимир Иванович нашел в Центральном архиве древних актов документ о том, как в 1683 году на некую Мавру Григорьевну, жену стрельца Мартына Васильева, был послан извет, что она «в церковь божию не ходит». На допросе в съезжей избе она отвечала дерзко, была трижды вздернута на дыбу и допрошена «с великим пристрастием» — получила двадцать пять ударов кнутом. И показала Мавра под пыткой, что запретил ей ходить в церковь «отец ее духовный... Аввакум», что впервые она была у него на духу еще девкой в церкви села Лопатищи, что исповедовалась она у него и в Москве в доме боярыни Морозовой и не велел он покоряться, хотя «станут и мучить до смерти». И Мавра Григорьевна была «за ее богохульные слова... казнена смертью — в срубе сожжена».

Мавра упоминается в одном из посланий Аввакума из пустозерской тюрьмы в Москву. А была Мавра родом из имения боярыни Морозовой, из Большого Мурашкина, что находится неподалеку от Григорова и Лопатищ, где родился и служил Аввакум...

А не была ли эта Мавра «героиней» того знаменитого эпизода из «Жития», в котором Аввакум жег себе руку свечой, чтобы уберечься от соблазна? Могла же Мавра, тогда разбитая и красивая девица, по дороге из Работок в Мурашкино зайти в пустую лопатищенскую церковь и, увидев там молодого и красивого попа, отважиться на злую шутку. Стойкость Аввакума, наверно, произвела на Мавру такое впечатление, что она стала его духовной дочерью и верной помощницей, а через сорок лет отдала и саму жизнь по слову его и примеру.

— Ну и ну,— только и сказал, выслушав меня, Владимир Иванович.— Все это фантазия одна, а не научный факт.

Степень доктора филологии ему присудили за «научные факты». Торжество было полное, ни одного голоса против. Зачитывались отзывы именитых в науке иностранцев. Пьер Паскаль из Парижа прислал восторженное письмо.

А уже на другой день после банкета он сидел в своем хранилище.

— Этот сборничек чудом уцелел,— говорил он мне, ласково поглаживая толстую тетрадь.— Его написал Сильвестр Медведев. Монах, поэт, богослов. Он был замешан

в заговоре возмутителя стрельцов Федора Шакловитого, сообщника царевны Софья Алексеевны. Царь Петр казнил Шакловитого, а Сильвестр бежал, но его схватили в Дорогобуже. Патриарх Иоаким, что настоял на казни Аввакума, велел сжечь сочинения Сильвестра. А это уцелело. В сборнике стихи Сильвестра, «Алфавит о пьянстве» и многое другое.

Владимир Иванович говорил об исторических персонажах таким тоном, будто это были его старые знакомые, а сборник Сильвестра Медведева он сам выхватил из огня или купил у стражника, припрятавшего книжицу...

Раскрыв роскошное Евангелие XVII века с изящными миниатюрами, он с гордостью сказал:

— Лучшие художники рисовали. А переписала Евангелие сама царевна Софья Алексеевна. Взгляните...

Он показал на четкие буквы: «София трудилася царевна».

— Это ее подарок другу милому князю Василию Васильевичу Голицыну, красавчику неудачливому. Он не расставался с этим Евангелием до самой смерти, взял его с собой, когда царь Петр сослал князя навечно в Пустозерск...— При этом слове глаза Владимира Ивановича затуманились.— Надо, чтобы Аввакуму памятник в Пустозерске поставили... Голицын с семьей не доехал до Пустозерска. Ему разрешили остаться на Мезени, где сидела в тюрьме Настасья Марковна со всеми своими детьми, и малыми и взрослыми. Какая это была женщина! Помните эпизод из «Жития» Аввакума? «...«Связали вы меня!»— сказал он жене. А она ему: «Я тебя с детьми благословляю: деревай, проповедуй по-прежнему, а о нас не тужи...» Его сожгли, она же еще долго сидела в тюрьме. Голицын увидел ее там, пожалел. Он хоть и опальный, а силен был еще своими родственными связями. Голицыны ведь... Заступились за Марковну и освободили ее. Она умерла в тысяча семьсот десятом году, на восемьдесят шестом году жизни. На двадцать восемь лет пережила Аввакума.

— А дети их? — спросил я.— Что с ними стало?

— Дети? Не все дети в отца и мать пошли. Мне на Мезени рассказывали легенду про богатерское сложение и трубный голос Аввакума, а дети, мол, хилые были, худые замарашки. Дочь Аввакума с меньшими собирала милостыню и доходила до села Лампожни. Настасья Марковна тогда в земляной тюрьме возле собора в Мезени сидела с сыновьями Иваном и Прокопием. Дочери и еще один сын, Афанасий, жили там же на положении ссыльных. Афанасий бежал с Мезени, а через четыре года, в тысяча шестьсот девяносто втором, его посадили за пьянство, и он донес на братьев Ивана и Прокопия, что отец учил их гробницу царя Алексея Михайловича дегтем мазать. Про Ивана я нашел известие, что он седьмого декабря тысяча семьсот двадцать шестого года «за караулом умре» в Санкт-Петербургской крепости.

Владимир Иванович махнул рукой в сторону Петропавловской крепости. Она была рядом, от Пушкинского Дома ее отделял рукав Невы. Ее построили после смерти Аввакума.

Владимир Иванович сел на своего конька.

— «Житие» Аввакума перевели уже на десятки языков. И ни одно из наших изданий не найдешь даже у букинистов. Аввакум — это Пушкин семнадцатого века...

Я тоже славословил. И мы, как глухари на току, пели свою песню, слова которой были давно известны нам обоим.

Отчего у наших современников вдруг появился такой интерес к личности Аввакума, к его «Житию»? Разве дело лишь в литературных достоинствах его сочинений? Не ищем ли мы в примере исключительной стойкости и верности своим убеждениям опоры для собственных раздумий? Знакомясь с жизнью Аввакума, видишь и многогранность этого человека и силу духа его, понимаешь символичность этой фигуры, испытываешь горделивое чувство оттого, что принадлежишь к народу русскому.

Я тогда собирался писать книгу об Аввакуме, вживался в XVII век, учился языку по переписке царя Алексея Михайловича с патриархом Никоном, по документам Сибирского приказа, по старообрядческим сочинениям. Удивлялся замечательному



умению наших предков выражать свои мысли, высокой культуре народа, о котором долго и упорно говорили как о невежественном, выпедшем из дикарского состояния только под благотворным влиянием Запада.

Все было уже разложено как по полочкам, и все-таки книга не складывалась. Чего-то не хватало в ней. Простора, что ли? Тянуло к тем местам, где родился, жил и странствовал Аввакум. Но ведь, думалось, едва ли не вся страна это. Какие впечатления можно вынести из краев, совершенно преобразившихся за три столетия? Однако фаталистическое ощущение необходимости ехать заставляло меня опрометью мчаться на вокзалы и в аэропорты.

Владимир Иванович моих порывов не гасил. Уже повидавший все, что я мог увидеть, он относился к ним добродушно и только заботился о том, чтобы я не упустил рукописных книг, буде встретятся таковые по пути в деревнях.

— Запомните,— наставлял он,— пожилые крестьяне, у которых есть книги, к собирателям, являющимся к ним неожиданно-негаданно, относятся настороженно. Нельзя класть книги на пол, нельзя быстро перелистывать. Сами сельские грамотеи листают бережно, за правый верхний угол. Нельзя закидывать ногу на ногу и сверху класть книгу. Лучше всего смотреть ее на столе и не вступать в религиозные споры... А вдруг вам тоже автограф Аввакума попадется,— добавил он напоследок.

## 32

В 1966 году Иван Никифорович Заволоко возвращался из поездки в Новосибирск. Владимир Иванович не ошибся, завербовав его себе в помощники. Находки Заволоко исчислялись уже сотнями. На тысячах метров магнитофонной пленки записаны старинные крестьянские песни. Если Владимир Иванович был для старообрядцев все-таки коммунистом, человеком нерелигиозным, хотя и почтенным, то Иван Никифорович родился в старообрядческой семье, и одно это уже раскрывало перед ним многие двери, которые оказались бы закрытыми для Владимира Ивановича. Он мог свободно явиться на собрание старообрядцев «федосеевского согласия» и попросить их о помощи в собирании древних рукописей.

Так он и сделал, остановившись на пути в Ригу в Москве и зайдя в контору старообрядцев на Преображенском кладбище. Ветхий старичок Михаил Сергеевич Сергеев принес Ивану Никифоровичу небольшую книгу в переплете из еловых досок, обтянутых оленьей кожей.

— Возьмите,— сказал он.— Это «Поучения Дорофея» из книг Анны Васильевны Мараевой. Большая любительница старины была.

Ну как же ему не знать эту Анну Васильевну, дородную красавицу, которая, выйдя замуж за миллионщика, владельца мануфактуры в Серпухове, старообрядца Мефодия Васильевича Мараева, взялась догонять Третьяковых. У одного Юрия Васильевича Мерлина она купила на рубеже веков коллекцию произведений русских и зарубежных живописцев за двести тысяч рублей. Читал Заволоко о ней и знал, что собирала она старинные иконы и рукописи. Со всех сторон к Мараевой свозили старину. Она построила громадный дом для своих сокровищ, на которые ей в 1919 году дана была «охранная грамота» по распоряжению секретаря Президиума ВЦИК А. Енукидзе. Скончалась она в 1928 году, и теперь в ее доме историко-художественный музей.

Но «Поучения Дорофея» — книга не очень редкая. Иван Никифорович поблагодарил за подарок, вернулся в Ригу и... положил книгу на полку.

Год спустя он стал просматривать ее и обратил внимание, что поучениями исписаны лишь первые страницы, а дальше пошел совсем другой почерк и текст. Текст «Жития» Аввакума. Наверно, новый список, подумал Заволоко. Но тут он обнаружил, что сквозь бумагу, которой была заклеена внутренняя сторона обложки книги, просвечивают какие-то буквы. Отклеив бумагу, он увидел круг и в круге слова: «Аввакум протопоп понужен бысть житие свое написати иноком Епифанием, понеже отец ему духовный иннок...» Тройной круг и надпись были знакомыми. Такие же, как на сборнике Дружинина. А не автограф ли это Аввакума? Еще один? Уже первый палеографический анализ подтвердил догадку. Иван Никифорович сел писать письмо Владимиру Ивано-

вичу. В марте 1968 года Заволоко подарил книгу Пушкинскому Дому, и она стала храниться там под шифром «ОП, оп. 24, № 43».

...Я листал книгу в торжественной тишине и не скоро обрел способность слышать шелест страниц и дыхание Владимира Ивановича. Ровно триста лет назад, отогревая дыханием замерзшие пальцы, в своей пустозерской яме исписывал Аввакум эти листы. А эти...

...Епифаний. Из их «Житий» и составилась «Пустозерский сборник».

Часть одной из страниц Аввакумовой рукописи была аккуратно заклеена бумажкой, исписанной другим почерком — почерком Епифания. Что это? Неужели Епифаний правил писания Аввакума? Потом уже, когда удалось отлепить бумажку, выяснилось, что именно так и было.

Аввакум описал казнь, которой подвергся Епифаний. Старцу палач вырезал язык. Аввакум повествовал об этом так: «Палач же, дрожа и трясысья, насилиу выколулпал ножом язык из горла...»

Кроткому иноку не понравилась Аввакумова прямота и сочность языка. Он счел себя вправе заменить это описание словами о сошедшей на него во время казни «Христовой благодати»...

Был в книге и символический рисунок Аввакума. Круг, а в том круге мученики, единомышленники Аввакума, за пределами же круга Никон, восточные патриархи, враги...

— Вчитайтесь... Это живая речь. В ней сохранена благоуханность устной русской речи,— почти сладострастно, с придыханием говорил Владимир Иванович.— Это единственный случай за семь веков существования древней русской литературы, когда мы узнаем, как работал древний писатель, как создавал новые редакции своего произведения... Вы не отказались еще от мысли поехать на Печору?

— Нет,— сказал я.

— Тогда едем. У меня эта поездка будет двенадцатая, и, наверно, последняя.

Голос его дрогнул.

### 33

Уже в сыктывкарском аэропорту я услышал печорский говор. Народ цокал, говорил «цасы», а не «часы»...

В салоне небольшого самолета мое место оказалось занятым. На нем, отдуваясь, сидела толстая-претолстая старуха. Лицо ее было красно и потно. Она разомкнула щелочки глаз и взглянула на меня лукаво и весело.

— Твое, бат, место? Ульяны меня зовут. На самолет боюсь, так меня два милиционера на три лестницы вознесли. Вот села и никуда не пойду. Ты помоложе меня будешь, иди-ка себе другое место поищи.

Была в тоне, в повадке бабки Ульяны такая уверенность в своей правоте, что перед ней померкли все права, проданные мне в кассе вместе с билетом и указанным в нем местом.

— Хорошо, бабушка Ульяна,— сказал я растерянно.— Садитесь, Владимир Иванович.

— А, Владимир Иванович! — протянула бабка Ульяна.— Что-то вас давно не видать. Что нынче собирать будете?

— Книжки, книги... Здравствуйте, Ульяна Даниловна,— ответил Владимир Иванович.

— Не все собрал?

— Не все. А как Лагеев поживает?

— Это какой? Мореходка?

— Но.

— А что ему сделается? Глаза залил и пляшет. Как пароход на пристань придет, первый, бат, за пивом бежит. Давеча схватил ведро из-под солярки. Ему кричат, а он: «А, хрен с ним!»

— Вот уж не поверю, чтоб Василий Игнатьевич за пивом побежал,— усомнился Владимир Иванович.

Я устроился впереди, но, повернув голову до упора, разговор слышал.

— Пьют, дьяволы. А так ничего, в прежние времена больше пили. Ох, годы!

Седьмой десяток доедаю. Костоцки-ти болят. В Сыктывкаре врачу велели показаться — болезнь у меня редкую нашли. А молодая целовек какая была, завонна, здорова, в стенку брось — так от стенки проць! Ницего меня не брало — в воде не утонула, в траве не заплелась. Никогда в кулак не шептала, локти в кабинетах не прогирала. С мужиками на семужьей путине, бат, наравне с поплавами да переметами управлялась и на сенокосе первая... Сено метала — одна по семьдесят копен. А бедно жили. Замуж меня за нелюбимого отдали. Ницего, нужда заставит сопливого любить — утрешь да поцелуешь. Стерпелась. Я себя в обиду не давала. Как в песне... — Бабка Ульяна зятянула приятным и некогда, видимо, очень сильным голосом:

Я своего негодя к дубу привязала,  
Как я к дубу привязала, сама все гуляла...

А так ницего, трудливый старик был. Я с ним всюду ходила по Печоре. Как ветер, так на парусе бежим, а ветра нет, бедевой идем... Рано помер мой старик, — продолжала бабка громко, чтобы ее услышали сквозь гул. — Весной было. Я тогда только из декрета вышла. Детей сама подняла. Поцпальоном ездила. Мешки по сто двадцать килограммов кидала, а печати все целы. У меня Ворон был конь, оленей боялся, всё уши сводил. Еду, а дождь сильный ходит, туци. Ох, господи, пособи горе размыкаты! Хозяину хорошему поцгу привезешь, а он: «Ульянушка, скинживайся, малицу сьмай-ти. Щи есть, упрели, вкусны». На сыроварне шесть годов работала беспрогульно. Заведующий у нас там лопал так, цто масло с локтей текло, а нам не давал. Война тогда была, хлеба-ти ни крошки... Уж я его! Говорю: «Ты русский, я русский, а разговор промеж нас узкий...» Побили мы его с бабами. После меня на следствие вызывали. Да цто с меня возьмешь?.. А вонце ницего, была б копейка, так обуцья-одецья можно. Молодые-ти все нороят в город, кому робить? Вон Ивана Степаныча знаешь? — обратилась она к Владимиру Ивановичу. Тот кивнул. — Уццл-уццл его сынка колхоз, колхозники деньги платили, и он лягонул ножками-ти и ушел на завод...

И странно и весело было слушать мне речь Ульяны Даниловны. Где я? В самолете ли? А были бы декретные отпуска, так бы говорила Марковна?

У меня уже свело шею, когда Владимир Иванович проверил по старинным часам-луковке время посадки самолета на сырую землю рядом с приземистыми домиками усть-цилемского аэропорта.

### 34

Мерены-перемерены тротуары деревянные усть-цилемские — в один конец семь километров вдоль реки. Владимир Иванович с вечера обычно колдует над своей записной книжкой, просматривает записи даже пятилетней давности, сопоставляет слухи и факты, как заправский детектив, а чуть день — устремляется на поиски. Впрочем, день и ночь здесь в конце июня — понятия условные. Солнце не заходит. Полярный круг рядом.

Сегодня мы идем к Трифону Ивановичу Ермолину, который живет километрах в четырех от усть-цилемской гостиницы. На весеннее солнышко высыпали ребятишки (июнь — весна), слышится незнакомая считалка:

Шла собака через мостик,  
Четыре лапы, пятый — хвостик...

Между домами внизу тусклым свинцовым блеском отсвечивает вода Печоры. Сами дома большие, двухэтажные, бревенчатые, принявшие от северных непогод устойчивый графитовый цвет. По фасаду тесно посажены окошки — по шесть, а то и по восемь в каждом этаже да еще оконце светелки над ними. Светлые наличники на темном фоне придают домам щегольской вид.

Просторно живут устьцилемцы.

На дворе год 1968. Средства массовой информации, добившись мировой стандартизации одежды, выявляют серьезные разногласия между сторонниками мини и макси. Веяния моды веками не касаются вкусов устьцилемок, но их наряды явно льют воду на мельницу сторонниц макси. Длинные, до пят, тяжелые их юбки украшены черными кружевами, а у тех, кто помоложе, и золотой тесьмой с кистями. Мелькают красные шерстяные носки с желтым, зеленым, белым, черным узором — у каждой на свой вкус. Яркие кофты с парчовыми нарлечниками застегнуты пуговицами со старинной сканью.

У некоторых поверх всего еще кофта, бархатная или вельветовая, что-то вроде шушуна, обтягивающего талию, с пышными рукавами, сужающимися к запястьям.

Мужскому оку трудно разбираться в тонкостях женских нарядов, но, кажется, здесь существует какая-то иерархия, возрастные и даже географические различия. В первый же день хозяйка гостиницы, взглянув в окно, сказала:

— Вон из Замежного пошла...

В каждом селе женщины одеваются на свой лад. Это в наше-то время!

В просторном доме Ермолина, семидесятилетнего начетчика, нас встречает его моложавая жена Парася Семеновна, статная в своем ярком усть-цилемском наряде, и проводит в горницу, где иконы благополучно соседствуют с приемником и прикнопленными к стене открытками «Поздравляю с 8 Марта».

Хозяин сидел на лавке и, казалось, глядел в окно.

— Добрый день,— сказал, входя, Малышев.— Как поживаешь, Трифон Иванович?

— Худенько,— ответил хозяин, степенно встал и повернул голову в нашу сторону.

• Высокого роста, с густыми белыми волосами, с совершенно гладкой и розовой кожей длинного лица, он был картинно красив. И только заметив, что взгляд его больших серых глаз как-то странно направлен мимо нас, я понял, что старик нас не видит.

— Ну говори, Владимир Иванович,— поздоровавшись, спросил старик,— что тебе сказали про мои глаза твои ленинградские профессора? Худенько мне. Если я буду сидеть так, нзем, то это для меня уничтожение.

— Лекарство я тебе привез, Трифон. Капай. Говорят, поможет,— сказал Малышев.

А сам достал из кармана бумажку и протянул ее мне. Это было заключение ленинградских окулистов, которых обегал Малышев с анализами Трифона. В бумаге значилось, что теперь старику не поможет даже хирургическое вмешательство. Но Владимир Иванович был не в силах убить последнюю надежду. Утешительная ложь подобрала старика. Трифон стал подшучивать над Владимиром Ивановичем:

— Хотя и есть одиннадцатая заповедь «не зевай», ты у меня смотри... Я тебе не Андрониха, меня вокруг пальца не обведешь. Знаю, знаю, на что целишь. Пролог тебе нужен. Не дам книгу.

— А зачем она тебе, Трифон?

— Э нет. А если придут ко мне за справками? А если диспут? Я скажу старухе — открой там-то. И заткну их своим вопросом. И пойдут они у меня несолоно хлебавши...

Начинается разговор, который доставляет видимое удовольствие обеим сторонам. Начетчик щеголяет перед доктором наук своей начитанностью. Они вспоминают прежние встречи, о том, как «гуляли» вместе у Андронихи, что «против пасхи померла».

Владимир Иванович уже добыл у Трифона пятнадцать книг. Теперь ему нужен Пролог, переписанный в начале XVII века. Там есть приписка, что им пользовались заключенные Соловецкого монастыря.

Мы сидим в доме у Трифона час, второй, а дело о Прологе все не сдвигается с мертвой точки.

— Ведь пропадет все. Сколько я рваных книг находил,— убеждает Владимир Иванович.— А тут книга в надежных руках будет, науке она нужна.

— Пропадет,— соглашается Трифон.— Помирают старики, а дети книги не берегут, выбрасывают. Вот и я плохо чувствую — ходишь, а под ногами словно карусель какая...

— У нас в институте восемьсот ваших рукописей печорских. И каждая дорога нам, каждая — свидетельство крестьянской даровитости. Ради ваших отцов и дедов трудимся... И когда отказываются, нехорошо получается.

Трифон не сдается и даже делает вид, что сердится:

— И глядите не присвойте какую-нибудь книгу, а то вы у меня отгуляли...

Шутливая угроза содержит намек — про Трифона есть молва, что он может порчу навести, мужской силы лишить.

Пришел сын Трифона. Среднее, а тем более молодое усть-цилемское поколение относится уже к вопросам веры безразлично. Сын тоже уговаривает отца:

— Ну чего ты, отец, капризничаешь?

— Цыц! Хулу на меня?!

— Я знаю, где лежат книги,— вызывается принести их сын.

— Я сам пойду,— сдается Трифон.— Сын тут не хозяин.

Появляется на свет рукописный Пролог весь в закладках, читаный-перечитаный. Но Владимир Иванович книги так и не получает.

— Я сказал последнее слово,— почти торжественно возглашает Трифон.

Владимир Иванович делает последнюю слабую попытку:

— Как тебе не стыдно, Трифон. Я ведь научный работник, лицо известное. Имя мое еще не поминается всуе среди старообрядцев.

Услышав последнее упрямое: «Пока подожду», мы уходим...

Меряем километры по деревянным тротуарам, а досады у нас нет. Мне кажется, что старику в его небогатой теперь событиями, слепой жизни просто хочется еще раз встретиться с Владимиром Ивановичем, поговорить о том о сем, а то поедет дня через два Малышев дальше и поминай как звали... Доведется ли свидеться еще? Горестно покачивая головой, Владимир Иванович соглашается со мной.

— Да, совсем плохо у него с глазами. А какой красавец был помоложе, еще лет двадцать назад девки по нем сохли. Говорун, умница... Книгу он отдаст. Я и прежде к нему раз по пять ходил, прежде чем книгу отдаст. Зато и подсказывал он мне, у кого еще можно найти книги старые...

Ходили мы по раскисшей весенней дороге в деревню Гареву к бакенщику Ивану Федоровичу Дуркину, бородатому, с круглой плешью наподобие католической тонзуры, с угрюмым взглядом, упрятым куда-то внутрь. Он принял нас на втором этаже своего дома. Просторные апартаменты этого бобыля были так грязны и затхлы (в отличие от блиставших чистотой домов его односельчан), что я с трудом подавил сильное желание тотчас выйти и побродить по деревне, ниспадавшей с холмов к устью притока Печоры, посмотреть кладбище с его громадными деревянными крестами, в каждый из которых врезана медная иконка.

Однако Владимира Ивановича несколько не смущали ни грязь, ни запах, усугубившийся сверх всяких пределов, когда была внесена закуска к спирту — квашеная рыба по-печорски. Местные жители любят ее «с душком»...

Владимир Иванович с ходу приступил к уговариванию, налегая главным образом на тот урон, который потерпит наука, если Иван Федорович Дуркин будет упрямитесь. На этот раз речь шла о сборнике, в который входила пятая челобитная Аввакума царю, переписанная в XIX веке знаменитым Иваном Степановичем Мяндиным. Известный северный грамотей переписал печорским полууставом великое множество книг, и Малышев дорожил каждым образчиком его каллиграфического искусства, снабженным изящными орнаментами и миниатюрами в красках. Неведомыми мне путями наш доктор наук уже проведал, что сборник у Дуркина есть.

Оборотясь к иконам, старообрядец перекрестился двумя перстами, выпил спирт и достал книгу.

— На, посмотри. А совсем не дам. Я знаю, что теперь ты ученый, а помнишь, как ты до войны еще книги у старушки купил да на пол их положил?.. Ну ладно, ладно, дело давнее, покритиковать можно...

Владимир Иванович запнулся только на секунду, а потом продолжал приводить свои доказательства, не смущаясь повторениями. Замечено, что если тысячу раз повторять людям одно и то же, они начинают принимать сказанное за собственные мысли. Такова метода всех пророков и людей увлеченных — от Магомета до Малышева.

Эти доказательства я уже знал наизусть и больше смотрел в угол, где висели темные иконы, которые по манере, по ковчегам уже с первого взгляда можно было отнести к XVII и XVI векам. Завороженный их видом, я протянул было руку, чтобы посмотреть оборотную сторону иконы, рубашку, но вовремя опомнился и спросил:

— Можно?

— Посмотреть можно. Только руками не трогайте... Один вот так хотел взять, а икона ни с места. Эти иконы без веры не поднять...

Под угрюмым взглядом старообрядца мне как-то расхотелось смотреть иконы, но вскоре после нескольких порций спирта плешивый бобыль подобрел и даже стал словоохотлив. Пил он за святую троицу в порядке очередности — сперва за отца, потом

за сына, а за святого духа выпил дважды, позабыв, что один раз уже пил за него. Эта ошибка развеселила его окончательно, и мы услышали много притч, существенно дополняющих и развивающих священное писание. Особенно трогательно прозвучал рассказ о Ное. Ветхозаветный патриарх в нем, казалось, родился на берегах Печоры. Он и мережку робил (сеть плел), и рыба у него в мережку била (попадалась), и ковчег он свой рубил тем же инструментом, что и печорский рыбак. И, разумеется, выпить был горазд («Пьян да умен — два угодя в ем»).

Старообрядец разговорился и, по его же выражению, за словом под лавку не лазил. И, между прочим, зашла у нас речь о человеке, которого Малышев в шутку величал «архиепископом усть-цилемским и всея Руси», — о Василии Игнатьевиче Лагееве по прозвищу Мореходка. В юности он плавал матросом по Печоре; в гражданскую войну был красногвардейцем, гнал англичан, высадивших на нашем Севере десант, а потом, сойдясь с начетчицей Евдокией Ниловой, стал у старообрядцев наставником. Так он и по сию пору требы совершает, отвечает, крестит, исповедует, праздничные молебны служит... когда не гуляет. А гуляет он лихо, пляшет, несмотря на свои семьдесят лет, поет, и подпевает ему мать Ниловна приятным таким голосом, подперв голову ручкой. Дом у него современный, всякой электрической техникой уставленный. Сыновья в гражданской авиации служат, в усть-цилемском аэропорту.

С бородой веером Мореходка похож на Льва Толстого или даже на самого господа бога Саваофа, каким его представляли итальянские живописцы. Василий Игнатьевич владеет редчайшим уже ныне искусством былинщика. Поет он русские былины, держа перед собой книгу, но если зайти в это время со спины и заглянуть в страницу, то сразу увидишь, что он не следует слепо за текстом, поет варианты, которые удерживает его цепкая память еще с тех пор, когда певали былины его деды.

Малышеву он помогал много, дарил книги, говорил, где можно достать их. Старушки староверки отзываются о своем наставнике не слишком положительно по причине его лихости. К тому же человек он взглядов совсем не заскорузлых — верить в бога верит, но и все новое приемлет.

Я спросил Дуркина, почему именно Мореходка стал главным наставником всей округи. Бакенщик ответил коротко:

— Грамотный он, Василий.

— А что, грамотнее Василия Игнатьевича нет никого?

— Нету.

— А где ж они?

— Где-где! По какой реченьке плывешь, такую и песенку поешь.

Обратно в Усть-Цильму бакенщик доставил нас по Печоре в своей лодке с немилосердно гремящим и чихающим едким дымом мотором.

Районный центр встретил нас громом репродукторов, вывесками магазинов, афишами кино и антирелигиозных лекций. Старики староверы охотно посещают лекции и любят задавать такие вопросы: «Вот ты говоришь, что человек от обезьяны произошел. А почему это нынче обезьяны людей не рожают?» Спрашивают, разумеется, из озорства. Одного лектора попросили показать на карте, где гора Арарат находится, а потом с удовольствием следили за его тщетными попытками отыскать берег, на который ступила нога старика Ноя.

Стариковской утехой — вот чем показалось мне старообрядчество здесь, в Усть-Цильме, некогда считавшейся оплотом старой веры. Молодое поколение плыло по иной реченьке.

Он поднимался по лестнице Пушкинского Дома, отдыхая на каждой ступеньке. Сердце колотилось, временами в самой середине груди возникала боль. Зарождаясь в одной точке, она пугала своей неотвязностью. Валидол и нитроглицерин не всегда прогоняли чудовище со страшным именем стенокардия. Врачи не сулили ничего доброго, советовали отдыхать, а он не мог жить без своего хранилища и, выйдя на пенсию, все равно приходил сюда. Он превозмогал слабость, заставлял себя вставать с постели, умываться, бриться, прибирать комнаты, идти в магазин, завтракать, ехать на трамвае в Пушкинский Дом...

Никогда еще Владимир Иванович не чувствовал себя так одиноко. Он пережил всех — братьев, сестер, мать Александру Александровну. Ничего у него больше нет, кроме его рукописей, кроме картотеки «Летописи жизни и творчества Аввакума». А самой «Летописи» нет и не будет уже. Всю жизнь он собирался написать эту книгу, перерыл горы документов, но нет сил, нет сил... Надо бы опять поехать по архивам, уточнить... Столько надо уточнить! А нет сил даже проглядеть карточки. Усталость очень быстро рассеивает мысли.

И совсем не много лет ему. Шестьдесят с небольшим. Это ли возраст! Недавно он похоронил Федора Антоновича Каликина. Почти сто ему было. Всего за несколько дней до смерти просил включить в состав экспедиции... И Заволоко старше. Ему уже семьдесят. Все ездят, а он, Владимир Иванович Мальшев, сиднем сидит и уже помирать собрался. Принес в кассу взаимопомощи завещание на те взносы, что скопились там за долгие годы. Написал, чтобы на эти деньги помянули его по русскому обычаю. Смеются. Вот, говорят, чего придумал Владимир Иванович. Помирать собрался. Лучше бы пальто себе новое сшил, а то ходят в каком-то отрепье наш доктор наук. На что ему пальто? С собой не возьмешь... Он любит носить вещи старые, привычные, не привлекающие ничьих взглядов. В сберкассе тысяча рублей осталась. Надо завещать хранилищу на покупку рукописей... Сколько их еще по рукам рассеяно. И здесь, в Ленинграде, и в Москве. Держат. А зачем? Тешат тщеславие, показывают знакомым, а те тоже ничего в книгах не понимают, но делают вид, что им страшно интересно. Теперь все делают вид, что им интересно. Ходят в хранилище, расспрашивают, статейки пишут, «проблемщики» книги сочиняют, а он, Владимир Иванович, так и не мог написать свою книгу об Аввакуме. Затянул с ней... Все недосуг, успеется, и вот уже сил нет, сил нет...

Еще ступенька... Он стал на нее и отдыхал. Внизу, в вестибюле, мы опустили головы, чтобы он не заметил, как мы провожаем его взглядом.

Мы судачили о нем, говорили о его странностях, о его раздраженности, даже надменности в последнее время. Он стыдился своей слабости и доброты. О нем говорили уже в прошлом времени. Вспоминали, как он был председателем месткома и не щадил своего времени, хлопоча за людей, принимая близко к сердцу их неустраивенность. А труд его оставался незаконченным...

Кто-то вспомнил о случае с однокашником Владимира Ивановича. Этот человек в молодости поверил наветам на свою жену, родившую ребенка. Он решил, что девочка не от него, и уехал в Крым, где прожил лет двадцать, и о нем не было ни слуху ни духу. Но потом случайно узнал, что оставил свою дочь. Она выросла и стала вылитый отец. Он вернулся в Ленинград, убедился в этом, но жена не приняла его, и вообще он никому не был нужен со своими переживаниями. Один Владимир Иванович отнесся к нему с сочувствием, поселил у себя на квартире, ходил за несчастным как за малым ребенком, но так и не мог справиться с ужасающе быстрым разрушением личности.

В привязанностях к беззащитным была своя логика. Владимир Иванович прошел войну, он видел тысячи убитых. Убивали и его близких, самых близких и любимых. Тяжелей всего было хоронить маму Александру Александровну. Он ли не берег ее, не угадывал каждое ее желание, не сдувал пылинку?

Еще ступенька... Он поднимается в дирекцию договариваться об очередной выставке рукописной старины. К этому делу причастен и я. После нашей поездки в Усть-Цильму я рассказал о ней в популярном журнале, призывал беречь рукописное наследие и посылать книги в Пушкинский Дом. И в самом деле пришли посылки от десятков людей — неизвестные стихи сподвижника Аввакума инока Авраамия, сборники повестей и сказаний, сочинения Ивашки Пересветова... Я тоже отсылал Владимиру Ивановичу рукописи, находившиеся во время поездки по следам Аввакума.

Расстояния, которые наши предки одолевали за два-три года непрерывных усилий, пассажирский самолет пролетает за несколько часов. Но много ли увидишь с самолета? Светлую изнанку туч да темные массивы лесов в просветах... Больше я увидел из окон вагонов, автобусов, катеров, машин, которым я и счет потерял, добираясь дорогами Аввакума до Нёрчинска. На пути вставали корпуса заводов, нефтяные вышки, рудные карьеры, плотины электростанций, рукотворные моря.

Велика и обильна наша земля... Так начинали еще летописцы, но всякий раз, пересекая страну, повторяешь эти слова — и сердце переполняется восторгом. И чувство это усиливается, когда сознаешь, что протяженность пути измеряется не только километрами, но и веками. Дорога лежит в четвертом измерении — во времени. Она живое воплощение связи времен, и, кажется, летит по ней необгонимая гоголевская тройка.

Но что расскажешь Владимиру Ивановичу? Он всюду бывал, все видел, лучше меня знал, что ушло и что сократилось на этом пути. Для меня же все было вновь...

## 36

Поезд «Россия» пришел на станцию Приисковая в четвертом часу ночи. Высокая луна тускло светила сквозь рваную пелену облаков. Пристанционный поселок еще спал.

Первый луч солнца коснулся самых высоких, пушистых облаков, и они чуть засветились в черном небе. Проступали очертания холмов, ограждающих долину Шилки.

Небо постепенно желтело. На противоположном берегу прорисовывались лощины и овраги. Где-то там был первый русский острог. Воевода Пашков построил его заново в устье Нерчи. Не на этом ли плоском острове?

Сто семьдесят плотов приплыли к устью Нерчи, и на каждом было два-три казака. Плоты разобрали и стали ставить избы и стены крепости. Воевода Пашков торопился и не знал жалости к своим людям.

Тяжело давалось казакам освоение новых мест. Земля у острога хлеба не родила. Десятками умирали люди. У Аввакума скончались два маленьких сына. Вот по этим еще серым в неясном свете горам бродили Аввакум с Настасьей Марковной, собирая корешки и кости обглоданных волками животных.

«Стало нечего есть, — вспоминал я снова и снова слова Аввакума, — люди учили с голоду мереть и от работы в воде. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные: только начнут мучить человека — а он и умрет!.. И без битья насилие человек дышит, а с весны по одному мешку солоду дано на десять человек на все лето, а все равно работай, работай, никуда на промысел не ходи; вербы, бедной, в кашу ущипать кто сбродит — я за то палкою по лбу: не ходи, мужик, умри на работе!.. Ох, времени тому!»

Спрашивала жена Аввакума: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» И он отвечал ей: «Марковна, до самых до смерти!» И она, вздохнув, говорила: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

Но все превозмогли люди, покорили природу, подружились с местными племенами, которые страдали от набегов маньчжуро-китайских войск.

Уже полтора часа я сидел у слияния Нерчи и Шилки, наблюдая рассвет. На востоке показался краешек солнца.

## 37

...Я ступил на берег Сухоны в тот день, когда в Тотье поминали усопших.

На правом берегу у паромной переправы толпились сотни людей в праздничных костюмах, с узелками и сумками в руках. Кладбище было на левом берегу. Небольшой паром, который в обычные дни пересекал неширокую Сухону за несколько минут, теперь, набрав полную палубу пассажиров, целых полчаса стоял посередине реки, пока со всех получали плату за перевоз. Потом он приставал к берегу, где у сходней ожидал большой черный козел, бодавший кошелки.

— У, сотона! — кричали женщины и шли на кладбище.

Поминали не только тех, кто лежал под скромными могильными холмиками на тотьменском кладбище, но и тех, кто сложил голову на полях сражений... Расстелив возле могил рядна, женщины садились и, прижимая к себе детей и внуков, тихо причитали... Они называли имена, звали ласкательно тех, кто уже никогда не вернется. Не о великом вашем подвиге думают сейчас родные, они вспоминают вас живых, ваши привычки, слова, ласку.



Развязаны узелки, и появилась нехитрая снедь — пшенная каша, пироги с рыбой, бутылки с вином... Я принял приглашение участвовать в этой скромной трапезе и помянул Ивана, Прокофия, Василия, Андрея, Владимира...

## 38

Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар,  
Городок не велик и не мал...  
У Печоры у реки,  
Где живут олениводы и рыбачат рыбаки...

Нарьян-Мар встречал нехитрой песенкой, а в порту его стоял теплоход «Пустозерск», названный так хлопотами Владимира Ивановича. Это была его благодарность за первую удачу.

До Пустозерска еще тридцать километров водой, а у меня, как и у Владимира Ивановича в тот первый раз, нет лодки. Но имя Мальшева на русском Севере подобно магическому возгласу «сезам, откройся!». В который раз я вижу, как мгновенно просняется лицо, а голос начинает звучать торжественно. Еще один, зараженный бациллой собирательской страсти и любви к старине. Эти люди редки, как юродивые, и так же чтимы.

Александра Тунгусова изнурила какая-то хворь. Он бледен, худ и морщится от невыносимой головной боли. Он копается в книгах и бумагах и достает газетную вырезку.

— «Это единственный в мире средневековый город за Полярным кругом», — читает он. Голос его полон сарказма. — Мангазею прославляют. А на самом деле Мангазея основана на полсотни лет позже Пустозерска.

Лодка нашла у Александра Спирихина, радиста нарьян-марского морского порта и опять же почитателя Владимира Ивановича.

Мы отправились в путь глядя на ночь, которой за Полярным кругом не было. Три больших тулупа, сваленных на нос лодки, удивили. Дело шло к июлю, солнце грело изрядно. Но стояло нам выехать на речной простор, как дохнуло таким холодом, что потом и в тулупе пронизывало.

Дельта Печоры — это великое множество рукавов, протоков, озер. Кругом глазу зацепиться не за что — вода темно-свинцовая, низкое небо ей в тон, низкие берега поросли низкими кустами ивы. Заросли ее называют шубницей, она и в самом деле похожа на косматую шерсть.

После трех часов ходу мы прибыли в деревню Устье, куда, как оказалось, переселились последние жители Пустозерска. Там и передохнули, отогрелись в избе.

В семь утра наша лодка вошла в Пустое озеро, и вдали показался Городок. Вернее, показалось то, что осталось от него, — покосившиеся деревянные кресты на кладбище и единственный полуразвалившийся дом.

Лодка ткнулась в песок бухточки, от которой на километр протянулся странный берег, сложенный из необъятных бревен. Торчали из берега вейцы и целые срубы, являя собой как бы срез культурного слоя метра в четыре. Культурный слой обычно считают в глубину, но здесь он возвышался над водой, которая плескалась о берег, размывая его все дальше и дальше, угрожая начисто слизать следы средневекового города с его ушедшими под землю часточками, основаниями башен и других строений.

Спирихин сказал, что вода стала наступать уже давно и они в детстве находили вымытые ею россыпи старинных монет и всякую утварь. Я захватил лопату и ковырял бревна — они не сгнили, хотя пролежали в земле сотни лет. Что могла бы найти здесь настоящая экспедиция, которая занялась бы планомерными раскопками?

Потом мы пошли мимо обомшевших крестов к обелиску. На каменной плите были высечены слова:

«На этом месте находился город Пустозерск, основанный в 1499 г., — экономический и культурный центр Печорского края, сыгравший важную роль в освоении Крайнего Севера и в развитии арктического мореплавания. Отсюда выходили промышленники на освоение Новой Земли, Шпицбергена и сибирских рек.

Пустозерск был местом ссылки борцов против крепостнического гнета и царского самодержавия — участников восстаний Кондратия Булавина, Степана Разина, Емельяна Пугачева и др. Здесь в XVII в. находились в заключении писатель протопоп Аввакум Петров (сожжен в 1682 г. за «великие на царский дом хулы») и дипломат Артамон Матвеев. На мысе Виселичном казнили ненцев, восставших против пустозерских воевод.

Весной 1918 г. в Пустозерске состоялся первый волостной съезд Советов, провозгласивший советскую власть в низовьях Печоры».

Посетители Пустозерска по достоинству оценят это произведение Владимира Ивановича, воздавшего каждому свое, отметившего и смерть и зарождение новой жизни.

Вокруг «скрижали истории» все заросло низким кустарником. Я вертел план Витсена, пытался привязать его к местности. План, наверное, был неточный — судя по всему, Витсен начертил его со слов сына Артамона Матвеева, с которым встречался в Амстердаме.

В тот день, продираясь сквозь низкие заросли, обходя Бесово озерко и прогретую солнцем Купальницу, плутая в низкорослом сюрреалистическом березовом «бору», выросшем на месте Пустозерска, я непрерывно зывал к теням забытых предков, силясь проникнуть в великую тайну, питающую могущество моего народа...

И не стало времен, соединились воедино прошлое, настоящее и будущее.

...С дымком кадильниц улетают в небо и звуки наутственного молебна. Стоят без шапок на пустозерской площади стрельцы, казаки и поморы-кормильцы, а на воде уже ждут их, покачиваясь, легкие суденышки. Поплывут они вверх по Печоре, потом по Усе, переволокут их в приток Оби — и вот она сама, великая сибирская река, принимает суденышки на свою широкую грудь. Попутный ветер гонит их все дальше и дальше, и остаются за кормой тысячи верст, могилы на высоких берегах...

...На космодроме прекратилась предстартовая суэта. Кончился обратный отсчет, и громадное тело ракеты, подрагивая, уперлось в землю огненным столбом. И вот уже ослепительная точка тает в небе. А за ней вторая, третья... Первые поселенцы на далеких планетах воздвигнут памятники Циолковскому, Королеву, Гагарину, а в их библиотеках будут книги Аввакума.

«Люблю свой русской природной язык».

Писал Аввакум отсюда, где брожу я теперь, раздвигая скрюченные стволы полярных березок, разыскивая несуществующие Аввакумовы пенышки. Да, был он здесь, сидел в грязной яме, писал, упорный русский человек. Громовый голос его доносится через века...

Он доказал всем, что человек может оставаться человеком в любых условиях, если есть у него цель, если он борется, а не просто живет, чтобы есть, и ест, чтобы жить...

И я понял, почему Владимир Иванович не раз возвращался сюда, к Аввакумовым пенышкам... Здесь хорошо думается. И главное — в здешнем воздухе разлита какая-то могучая нервная энергия. Она вливается в тебя, рождает планы, побуждает к действию...



# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЮРИЙ ЖУКОВ



## НИЩИЕ ДУХОМ

«ИТОГ ГОДА — ОЦЕНЕНИЕ»

**К**анули в вечность слащавые панегирики свершенному и самоуверенные прогнозы на будущее, которые когда-то публиковала из года в год буржуазная пресса. В старом мире, которому, как писал Маяковский, «история — пастью гроба», нынче не до похвалы. Вот почему предновогодние статьи буржуазной прессы последних лет, публиковавшиеся в последних числах декабря, были выдержаны в угрюмом тоне. Мне вспоминается, например, горестное признание французского академика Жана д'Ормессона, тогдашнего главного редактора парижской газеты «Фигаро», который писал в одном из последних ее номеров за 1976 год:

«...Времена улыбок и грациозных жестов миновали. 1977 год будет трудным годом, быть может еще труднее года уходящего. Конечно, и 1976 год был одним из серых годов — таким его сделали экономические и валютные трудности, инфляция, безработица, посредственный социальный климат, политическая неуверенность. Крупных катастроф он не принес (если не считать Ливана, Анголы, Камбоджи, нефтяного кризиса, смеси насилия и лицемерия, столь характерной для нашего времени), но и доверие, надежда, национальная сплоченность, коллективное счастье отсутствовали. Собственное интимное ощущение каждого человека лучше, нежели зондажи, хотя и они красноречивы, подсказывает: весь год прошел под знаком угрюмости. Нет, право же, у нас не было бы оснований сожалеть о 1976 году, если бы 1977-й не начинался — увы! — в атмосфере столь же мрачных предзнаменований. Порожденный уходящим годом, новый год будет его продолжением. Какого же терпения, стойкости и храбрости потребуют предстоящие двенадцать месяцев!»

Прошел год, и тот же академик д'Ормессон, но теперь уже не главный редактор «Фигаро», а всего лишь обозреватель — так как хозяин газеты капиталист Эрсан теперь сам ее редактирует! — выступил 31 декабря с очередным предновогодним обзором, и вновь в его голосе прозвучала тоска:

«Как хотелось бы сегодня, в этот последний день года 1977-го, стряхнуть с себя ветхое былое и оставить позади все то, что прилипло к нашей шкуре: угрозу инфляции, безработицу, страх перед будущим, раздоры между французами. Но будущее, увы, — а быть может, это и к счастью? — неотделимо от прошлого; будущее вытекает из прошлого; оно порождается им; оно представляет собой его следствие и необходимое продолжение... Все наши ошибки, все наши недочеты, все наши слабости, все наши безумия останутся при нас. Мы не избавимся от них лишь потому, что год заканчивается. Завтра, как и сегодня, мы будем и в общественной и в частной жизни нести на себе их бремя».

И бросая очередной ретроспективный взгляд на 1977 год, почтенный академик снова видел перед собой тяжкое зрелище: в ушах у него звучало, как он выразился, «долгое жалобное стенание» соотечественников. «Когда-то французы слыли, — писал он, — легкими и беззаботными, всегда остроумными и очаровательными людьми. Теперь они стали брюзжащими ворчунами, недоверчивыми людьми — их слишком долго обманывали! — неприятными в обращении, ипохондриками».

Д'Ормессон призывал соотечественников перестать «ненавидеть и бояться», «со-

противляться смятению, сопротивляться насилию», проявлять терпение в ожидании лучших времен. Но эти призывы звучали бледно и неубедительно на фоне все ухудшающегося экономического положения и вытекающего отсюда обострения внутриамериканской обстановки.

Гораздо более содержательный и убедительный анализ итогов года дала парижская газета «Монд», посвятившая 20 декабря 1977 года этой теме четыре страницы статистических выкладок и комментариев к ним. Общий аншлаг гласил: «Итог года 1977 — оцепенение». И вводная статья к этому разделу газеты начиналась такими горькими словами:

«Четвертый год кризиса, переживаемого западным миром, заканчивается без того, чтобы появились признаки, возвещающие лучшую зарю. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, которые в 1977 году дважды исправляли свои прогнозы, снижая их, сейчас настроены чрезвычайно осторожно. По правде говоря никто не предвидит, что 1978 год выведет экономику капиталистических стран из того оцепенения, которое охватило их почти всех.

Правда, Соединенные Штаты и Япония пока еще составляют исключение: они обеспечили прирост производства в 5 процентов и 6 процентов. Но такие темпы роста раньше рассматривались как средние, а сейчас они считаются рекордными. К тому же эти рекорды тают: оба «гиганта» в этом году чувствовали себя хуже, чем в 1976-м, и в 1978-м их экспансия рискует пойти под откос. Повсюду в других местах средний темп роста составляет 2 процента против 4,5 в 1976-м, которому предшествовали два года спада. Результат — число безработных в странах, входящих в ОЭСР, возросло с 16 до 17 миллионов...»

Размышляя о причинах этих становящихся хроническими бедствий, известный американский политический обозреватель Джеймс Рестон обронил еще в 1975 году весьма знаменательное признание: «Суть проблемы заключается в том, что Запад перестал играть ту роль, которая ему принадлежала в мире вчера и позавчера».

### СУТЬ ДЕЛА

Да, суть дела именно в этом: Запад, а точнее говоря капиталистический мир, навсегда утратил командные позиции на земном шаре. Он уже не может безнаказанно грабить целые континенты, как это делалось до 7 ноября 1917 года. Его вселенская вотчина из десятилетия в десятилетие, из года в год сокращается.

Одним из первых открыто признал это, будучи президентом США, Ричард Никсон — в послании «Внешняя политика США в семидесятые годы», которое он направил в конгресс:

«В последние двадцать пять лет произошли важные изменения в соотношении стратегического могущества. В период с 1945 по 1949 год мы были единственной страной в мире, имевшей арсенал атомного оружия. В период с 1950 по 1966 год мы обладали подавляющим превосходством в стратегическом вооружении. С 1967 по 1969 год мы сохраняли значительное превосходство. Сегодня Советский Союз обладает могущественными и совершенными стратегическими силами, приближающимися по своему уровню к нашим собственным». И далее тогдашний президент США писал: «В 70-е годы русские, вероятно, будут обладать такими стратегическими силами, которые будут приближаться к нашим, а по некоторым категориям будут превосходить их».

Примечательные признания насчет коренного изменения военно-стратегического положения США можно было прочесть в ту пору и в одной из статей крайне реакционного американского журналиста Дж. Олсопа, напечатанной в газете «Вашингтон пост»:

«Менее чем 181 год, точнее с 1776 по 1957 год, географическое положение обеспечивало нам свободу действий. Два океана делали нас недостижимыми для всех других великих держав. Все другие страны в нашем полушарии были небольшими государствами по сравнению с нами. Мы имели возможность пользоваться как нам заблагорассудится всей землей и всеми ресурсами на 75 процентах территории континента, не имея других противников, кроме несчастных индейцев. Именно

это подразумевал Бисмарк, когда пошутил: «Бог всемогущий заботится о младенцах, пьяницах и американцах». Этот счастливый период начал заканчиваться в последние месяцы 1957 года, когда Советский Союз запустил свой первый спутник в космос. Еще задолго до этого наша собственная территория была уже заселена. Спутник, для которого океаны не преграда, кроме того означал, что вскоре технические достижения аннулируют все наши остальные географические возможности безнаказанно делать ошибки. Теперь мы должны сами о себе заботиться».

В этих условиях претензии на роль «мирового жандарма», которые столь часто и столь активно выдвигались Соединенными Штатами в 40-е и 50-е годы, утратили свою основу. И чем дальше, тем яснее становилось, что осуществлять подобные претензии все труднее даже внутри сообщества капиталистических государств.

28 октября 1976 года об этом со всей откровенностью заявил видный американский общественный деятель, бывший представитель США в Организации Объединенных Наций Чарльз Йост. В статье под заголовком «Померкший облик Америкы» он писал, цитируя вывод, сделанный американским информационным агентством ЮСИА в итоге очередного опроса общественного мнения в Западной Европе, о том, как там относятся к Соединенным Штатам: «Хотя в Западной Европе по-прежнему существует значительный запас доброжелательства к Соединенным Штатам, сейчас это доброжелательство находится на самом низком уровне за все 22 года истории опросов ЮСИА». И далее: «Какая это отрезвляющая и печальная мысль, что... «хорошее мнение» о Соединенных Штатах в Великобритании, Франции, Италии и Западной Германии — на самом низком уровне: его придерживаются менее 40 процентов опрошенных в первых двух странах, 41 процент в Италии, 57 процентов в Западной Германии».

Напомним, что в прошлом престиж США среди союзников был неизмеримо выше, Йост заявил: «Упадок репутации Америки объясняется чем-то гораздо большим, чем просто течением времени».

«Хотя Соединенные Штаты постоянно расточают риторические комплименты по адресу демократии,— продолжал Йост,— самую последовательную поддержку, причем настолько упорную, что ее нельзя считать случайной, они, судя по всему, оказывают многим самым деспотическим режимам во всем мире просто потому, что те придерживаются антикоммунистических настроений. Называть эти режимы частью «свободного мира» значит лишить всякого смысла концепцию, которая должна была бы быть сердцем и душой внешней политики Соединенных Штатов. Это «прагматическое» искажение действительности завело нас в трясину Вьетнама, которая опасно ослабила нас в нашей стране и за границей... Американские торговцы оружием действуют бесконтрольно во всем мире, подкупая политических деятелей и официальных лиц. Само американское правительство экспортирует «грязные трюки», напоминающие об Уотергейте...»

До поры до времени, пока США обладали преобладающей грубой силой, их союзники как-то терпели все это. Теперь же попытки действовать в том же духе приводят к ослаблению собственных позиций США, да и всего капиталистического мира в целом.

И не случайно чем дальше, тем чаще — и притом уже открыто, публично — руководящие деятели капиталистического мира с тоской и тревогой обсуждают «проклятый вопрос», которым еще недавно они задавались лишь в бессонные ночи шепотом наедине с собой: что их ждет в обозримом будущем?

Первым позволил себе вынести этот вопрос на публичное обсуждение один из крупнейших деятелей мирового капитализма, председатель правления «Чейз Манхаттан банк» Дэвид Рокфеллер. В марте 1973 года, когда очередной циклический кризис еще не наступил, он опубликовал в «Нью-Йорк таймс» статью, которая называлась «Капитализм: хорошо это или плохо? Необходимы поиски среднего пути».

Предупреждая, что в ближайшие годы потребуются применить «гибкость», «чтобы капитализм не отставал от жизни», Рокфеллер писал: «Нам особенно необходимо срочно найти средства, чтобы преодолеть отчуждение, которое чувствуют многие люди, между нашим экономическим прогрессом и достижением социальных целей... Что-

бы американский капитализм сохранил и увеличил свою жизнеспособность, он должен лучше увязывать свои экономические и социальные функции».

Два года спустя во время своего визита в США эту тему затронул президент ФРГ Вальтер Шеель. В речи, с которой он обратился к американскому конгрессу, признав, что «коммунистические идеологии эффективны в Европе и в странах третьего мира», президент ФРГ подчеркнул, что «коммунизм достигает успехов там, где господствуют несправедливость и нищета», и что «политическая свобода превратится в фарс без материальных возможностей». «Мы предадим наши старые основные идеалы демократии,— заявил Вальтер Шеель,— если всегда будем находиться там, где состояние и привилегии защищаются в ущерб социальным требованиям, которые порождены нищетой и голодом». Он призвал «найти эволюционное решение», но признал, что «так или иначе это нелегко».

Такого рода рассуждений, окрашенных нескрываемыми пессимистическими нотками, в последние годы на Западе становится все больше. На самых различных уровнях там проводятся десятки и сотни международных и национальных конференций, семинаров, симпозиумов, участники которых упорно ищут ответ на все тот же «проклятый вопрос»: как найти некое «эволюционное решение», которое излечило бы капитализм и предотвратило опасные для него социальные волнения?

В конце мая 1975 года в древнем японском городе Киото состоялась важная сессия влиятельной «трехсторонней комиссии», в которую входят американские, западно-европейские и японские политические деятели, бизнесмены и ученые. Ее готовил американский специалист по такому рода вопросам Збигнев Бжезинский. Он рассказывал мне, когда мы вскоре после этого встретились в Москве на советско-американской встрече общественных деятелей, проводившейся в рамках так называемых Дартмутских конференций<sup>1</sup>, что ради подготовки заседаний «трехсторонней комиссии» ему пришлось на несколько месяцев освободиться от «своей основной работы». Збигнев Бжезинский в то время был директором Нью-Йоркского научно-исследовательского института по проблемам коммунизма; теперь же, по его словам, название изменилось, оно звучало после очередной реорганизации так: Институт по проблемам перемен<sup>2</sup>.

Так вот, в Киото тогда собрались, как писал 16 июня 1975 года еженедельник «Ньюсуик», «сливки» высшего общества США, Западной Европы и Японии. Там были американские сенаторы, западноевропейские парламентарии, академики, представители деловых кругов — Дэвид Рокфеллер, бывший губернатор штата Джорджия Джеймс Картер, который полтора года спустя стал президентом, сенатор Мондейл, ставший впоследствии вице-президентом, руководитель итальянской компании «Фиат» Джованни Аньелли, руководитель бельгийского банка барон Ламберт, многие лидеры японского финансового и промышленного мира.

Участники встречи, по словам журнала «Ньюсуик», обсуждали весьма деликатный вопрос о том, как должны складываться в дальнейшем отношения между «богатыми» капиталистическими государствами и «бедными» странами при условиях огромных социальных перемен, происходящих на нашей планете. «Снова и снова,— говорилось в статье «Ньюсуик»,— ораторы, представлявшие дюжину наций, возвращались все к тому же пункту: в нынешней международной системе что-то должно быть изменено, чтобы приспособиться к непрерывно растущим требованиям бедных наций, требующих большей доли мирового богатства и власти».

Небезынтересно отметить, что специальная исследовательская группа, созданная комиссией, заявила в своем докладе, что «коммунистические партии, которые все более и более утверждают свою репутацию партий порядка и которые доказали свое организационное превосходство, могут стать прозой альтернативой капиталистической системы».

«Трехсторонняя комиссия» так и не нашла ключа к решению проблем, волнующих ее организаторов. Как иронически заявил, подводя итоги встречи в Киото, про-

<sup>1</sup> Эти конференции, проводящиеся регулярно вот уже около двух десятилетий попеременно то в США, то в СССР, названы так по имени Дартмутского колледжа, в котором состоялась первая из них.

<sup>2</sup> Как известно, сейчас Збигнев Бжезинский является советником по национальной безопасности у нынешнего президента США Дж. Картера.

фессор Франсуа Дюшен из Британского университета в Сассексе, «было выявлено полное согласие о необходимости улучшить мир и полное разногласие насчет того, как это сделать».

Комиссия все же решила продолжать свою деятельность — слишком велика была озабоченность ее организаторов, чтобы ее участники опустили руки. Но вот вопрос: удастся ли им найти искомое лекарство, способное укрепить (или хотя бы сохранить!) позиции капитализма в современном мире?

В октябре 1977 года, в канун 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, «трехсторонняя комиссия» собралась вновь — на сей раз в Бонне. Ее создатель и вдохновитель Збигнев Бжезинский, оставив срочные дела в Белом доме, прилетел, чтобы вместе со своими коллегами обсудить вопрос о том, что же надо делать, чтобы добиться, как он выразился, «достижения отдаленной и трудной цели — придания определенной формы миру, который внезапно (?) пробудился в политическом отношении и стал беспокойным (!) в социальном плане».

Напомнив о том, что «сейчас одна треть человечества живет в государствах с коммунистическим строем», Бжезинский признал, что в изменившейся обстановке Соединенные Штаты уже не в состоянии в одиночку осуществить роль всемирного полицейского, который защищал бы интересы капитализма на нашей планете. Мечта об «американском веке», которая столь усердно рекламировалась в 40-е годы, рухнула.

«Если мы исполнены решимости вновь утвердить руководящую роль Соединенных Штатов в мировых делах,— сказал Бжезинский,— то мы представляем ее себе как коллективное руководство. Ни одна страна сегодня не может иметь монополию или хотя бы рассчитывать на превосходство в том, что касается мудрости, инициативы или ответственности».

О каком же «коллективном руководстве» он повел речь? Все о том же: о сотрудничестве трех бастионов капитализма, сохраняющихся в современном мире,— Соединенных Штатов, Западной Европы и Японии. Но вот что особенно знаменательно: говоря об основных целях, которые ставит перед собой новая администрация Соединенных Штатов, и корректируя старый тезис об их «руководящей роли», на первое место Бжезинский поставил задачу «преодоления кризиса духа». Признав, что в капиталистическом мире возник «кризис исторической веры в собственные силы», он отметил, что наиболее глубоко этот кризис сказывается в трех крупнейших бастионах капитализма, представленных в «трехсторонней комиссии»: «В своем специфически американском варианте кризис духа стал результатом вьетнамской войны и конституционного и нравственного кризиса, известного под названием Уотергейта. В Западной Европе и Японии свою роль, вполне возможно, сыграли сами темпы усилий по преодолению болезненного наследия второй мировой войны».

О чем свидетельствуют такие горькие признания? О том, что нынче стало уже невозможно поддерживать на страницах печати фальшивый показной оптимизм, как это делалось еще в недавнем прошлом, когда буржуазная пресса пыталась начисто отвергать анализ состояния системы капитализма, который был дан XXIV съездом нашей партии: «Общий кризис капитализма продолжает углубляться. Государственно-монополистическое развитие ведет к обострению всех противоречий капитализма, к подъему антимонополистической борьбы».

Когда в Москве были опубликованы Отчетный доклад ЦК КПСС, с которым выступил на XXIV съезде партии товарищ Л. И. Брежнев, и резолюция съезда, содержащая только что процитированные мною строки, буржуазная пресса бурно реагировала на этот анализ в свойственном ей бездоказательном стиле: «Этого не может быть потому, что не может быть».

Ну что ж, прошло несколько лет, и даже те, кто пытался опровергнуть наш партийный тезис о неуклонном развитии всеобщего кризиса капитализма, вынуждены были заговорить совсем по-иному. Уже в конце 1975 года западногерманский литератор Георг Вюрц взялся за перо и написал статью для журнала «Штерн», содержащую далекоидущие признания. Послушайте-ка:

«Экономика капиталистического мира являет мрачную картину... Производится меньше, чем в 1974 году, машин, холодильников и телевизоров, меньше строится за-

водов, дорог и квартир... Форд ли в Америке, Жискара д'Эстен во Франции, Вильсон в Англии или Шмидт в Западной Германии — все они обеспокоены (кроме инфляции и застоя) еще и другими проблемами, которыми сегодня болен капитализм: безработицей среди молодежи, ростом банкротства, загрязнением окружающей среды, энергетическим кризисом и безнадежным положением с государственными финансами. Напрашивается вопрос: не изжил ли себя капитализм, можно ли еще спасти эту систему? Большинство (!) граждан ФРГ склонно считать, что эта система не имеет больше будущего» (разрядка моя. — Ю. Ж.).

О, конечно же, «Штерн» не был бы «Штерном», если бы напечатал статью, подтверждающую это мнение граждан ФРГ. Георг Вюрц, лихо козырнув столь смелой постановкой вопроса, попытался, конечно, доказать, что капиталистическая система все же сумеет выкарабкаться из той ямы, в которой она находится, хотя его прогнозы на будущее крайне осторожны. И все же сам факт, что «Штерн», да и многие другие органы буржуазии в Европе и Америке ставят на рубеже последней четверти XX века вопрос о том, выживет ли капитализм, говорит о многом. Вера в его будущее в буржуазном обществе действительно глубоко подорвана.

В том, что болезнь неизлечима, наглядно убедился пожаловавший в Западную Европу из Соединенных Штатов Джозеф Фромм, заместитель редактора американского журнала «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт», известного своими связями с американским военно-промышленным комплексом. Перед ним была поставлена деликатная задача — так сказать, измерить политическую температуру западноевропейского капитализма. Посетив страны — союзницы США по НАТО, он опубликовал 17 октября 1977 года большую статью, проникнутую духом величайшей тревоги и пессимизма.

«Во время моей недавней поездки по столицам стран — союзниц США в Европе, — писал Джозеф Фромм, — я отчетливо увидел, что в этих странах наступил кризис доверия. Во всех без исключения (!) крупных государствах НАТО политическое положение неустойчивое. Ни одно (!) из правительств не пользуется поддержкой твердого большинства. Большую часть правительств поддерживают слабые коалиции, или же они удерживаются у власти благодаря негласному содействию оппозиционных партий. Повсюду люди поглощены серьезными внутренними проблемами. Они все больше разочаровываются в находящемся у власти политическом руководстве, которое, видимо, неспособно справиться с трудностями, стоящими на пути европейских демократий (читай — западноевропейских капиталистических государств! — Ю. Ж.), в особенности с острым экономическим кризисом, который вызвал стремительную инфляцию, безработицу, равной которой не знали со времени «великой депрессии» 30-х годов, и экономический застой».

Один «высокопоставленный официальный деятель», которого Фромм не назвал по имени, откровенно сказал ему: «Мы страдаем от кризиса веры в будущее. Никто не готов вкладывать капитал в завтрашний день».

### БОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Весной 1976 года, вскоре после крупной победы левых сил на кантональных выборах, напугавшей французскую буржуазию, газета «Фигаро» в ряде номеров опубликовала большую серию статей и интервью, подкрепленных опросом общественного мнения, под многозначительным общим заголовком «Недомогание либерального общества».

О чем шла речь в этих материалах рупора французской крупной буржуазии? Газета показала и доказала, что так называемые средние классы Франции, то есть мелкая и средняя буржуазия и высокооплачиваемые руководящие кадры администрации и экономики, утратили веру в способность капиталистической системы справиться с переживаемым ею кризисом и могут верить судьбы страны левым силам, руководствуясь таким соображением: хуже не будет, а быть может, станет даже лучше!

«Фигаро» была тревогу: слои населения, которые около двухсот лет безоговорочно служили опорой капитализма, теперь могут капитулировать перед теми, кто про-



возглашает идеи социализма! В статье, которой газета начинала эту поистине необычную для нее серию выступлений, уже упомянутый выше тогдашний главный редактор «Фигаро» академик Жан д'Ормессон писал:

«Мы открываем сегодня взрывчатое досье, досье, в котором запечатлены тревоги и глухое недовольство средних классов, кадров руководителей [предприятий]. Каждый знает об этой тревоге и об этом недовольстве, каждый их ощущает. И все о них говорят. Кадры нации больше не счастливы. Нарастающее скольжение к угрюмости представляет собой одну из основных особенностей сегодняшней французской ситуации...» Д'Ормессон говорил, что редакции удалось снять «своеобразный рентгеновский снимок с несчастливой (!) буржуазии».

«Что же происходит? Этот вопрос мы ставили перед директорами предприятий, перед их руководящими работниками, перед теми, кто несет ответственность, перед представителями свободных профессий, перед матерями семейств, которые не в состоянии сладить со своими детьми. Их ответы вызовут у вас шок... А между тем они не представляют собой сюрприза: то, что они говорят, в сущности, известно всем уже давно, да вы и сами высказываетесь в этом же духе».

И далее редактор «Фигаро» уточнил, что именно «вызовет шок» у читателей, когда они познакомятся с настроениями, господствующими в рядах пресловутого среднего класса.

«Первая очевидность: обстановка меняется. Правда, она всегда менялась — нет вечной цивилизации, вечной культуры или общества. Но сейчас обстановка меняется так быстро, что значительная часть общества испытывает головокружение. Люди помоложе хорошо переносят головокружения и иногда даже стремятся искусственно вызвать его. Но те, кто постарше, ощущают при головокружении тошноту. В этом меняющемся и зачастую испытывающем упадок мире у них появляется ощущение, что все идет к чертям».

«Все идет к чертям,— повторил д'Ормессон, выделяя эти слова курсивом, и продолжал: — Эти слова немного грубовато, но достаточно хорошо передают ту тревогу, которая распространяется в правящем классе. Семья, мораль, уважение, власть, патриотизм, любовь к труду — все идет к чертям. Порядок был одним из божеств у французского среднего класса. Его подорвали, взорвали, высмеяли, разрушили. И вот своего рода мучительный парадокс: не является невозможным, что семья, мораль, уважение, власть, любовь к труду живут по ту сторону [границы между двумя противоположными социальными системами], в том мире, который был объектом ненависти,— в коммунистических странах... Надо признаться, что есть отчего упасть в обморок. Нет ничего более ужасного, чем завидовать (!) своим врагам. Буржуазия больна, ее моральные ценности рушатся. Ее святыни растоптаны, отравлены».

Но это не все. Д'Ормессон бил тревогу еще и потому, что дают перебои пришедшие в расстройство экономической и социальной механизмы капиталистического общества.

«Дух инициативы,— вещал он,— умирает, так как он не поощряется... Нужно быть малость сумасшедшим, чтобы желать руководить сегодня предприятием. И нужно быть совершенно безумным человеком, чтобы задумать строить новый завод... Все разладилось. В результате руководящий класс, в свою очередь, охватывает чувство безразличия ко всему... Это похоже на то, как больной, уставший страдать, начинает мечтать о смерти».

Что и говорить, сказано сильно. Даже чересчур сильно. Испытавший шок в столкновении с реальной действительностью всеобщего кризиса капитализма главный редактор «Фигаро» явно хватил через край: большой капитализм отнюдь не «начинает мечтать о смерти». О нет, скорее он мечтает о том, как бы удушить всех тех, кто выходит у него из повиновения,— социальная борьба в странах капитала все обостряется.

И все же признание, сделанное академиком д'Ормессоном, дорого стоит. Не так уж часто со страниц крупнейшей буржуазной газеты звучат такие откровенные заявления о банкротстве капиталистической системы. Не эта ли серия статей послужила толчком к тому, что владелец «Фигаро» Эрсан некоторое время спустя добился ухода д'Ормессона с поста главного редактора газеты?

Но обратимся к содержанию этой большой серии статей о «недомогании либерального общества». Первая из них была посвящена анализу настроений руководящих работников промышленности — директоров, главных инженеров, конструкторов и т. д., которые, между прочим, 18 декабря 1975 года не поколебались провести забастовку (!), единственную в своем роде, чтобы заявить о недовольстве ухудшением своего материального положения в результате экономического кризиса, падения стоимости валюты, роста цен и даже безработицы — она начала затрагивать даже эту привилегированную часть общества.

О, конечно же, ее трудности далеко не те, какие испытывает рабочий люд. Но и эта публичка недовольна. Вот послушайте-ка. Говорит некий «Ж. М., 45 лет, руководящий работник высшей категории, отец троих детей, который живет хорошо и этого не скрывает», как представляет его «Фигаро»:

«В 1974 году мои расходы на питание составляли 2000 франков в месяц. Сейчас не хватает и 3000... Летом мы снимали раньше резиденцию на курорте на месяц, теперь приходится довольствоваться пятнадцатью днями. Десять лет назад я покупал новый автомобиль каждые два года. Но сегодня машины невероятно подорожали и мне приходится ездить на автомобиле, который уже прошел 120 000 километров. Я давно собирался пристроить к своей даче террасу. Три года назад с меня запрашивали за это 10 000 франков, два года назад — 20 000, а в нынешнем году — уже более 40 000 франков. Пришлось перечеркнуть этот проект...»

Пока кризис наносил удары только по рабочим, эти господа молчали, считая, что все в порядке вещей: так было — так будет! Но когда кризис затрагивает их самих, они встают на дыбы и начинают проклинать все на свете, в том числе и собственное правительство, которое поставлено к власти, чтобы оберегать интересы привилегированных классов.

«Некоторые готовы даже согласиться на приход к власти левых сил, — писала об этих господах «Фигаро». — Что это: интеллектуальный вызов? вкус к провокации? смелость на словах? желание вызвать катастрофу? Понемногу всего этого, по-видимому. Люди, которым мы даем слово, доказывают на практике, что политика, как и любовь, представляет собой сложную смесь страсти, упреков, страха и необдуманности...»

И вот еще одно интервью, подтверждающее опасения редакции «Фигаро». Говорит директор предприятия, на котором заняты пять тысяч рабочих:

«Я спрашивал себя — будет ли социализм Миттерана хуже того, что мы сейчас имеем? Если он скажет французам: товарищи, капитализм оставил нам катастрофическое наследие, нам нужно засучить рукава и работать, — так почему бы мне не закричать в таком случае: да здравствует Миттеран!...»

Корреспондент «Фигаро», кажется, ошеломлен такой ересью, звучащей из уст «патрона». Он осторожно переспрашивает: «Вы говорите это искренне?» И тот отвечает, криво улыбаясь: «Я встревожен, но мой темперамент требует действий. Быть может, еще не все потеряно, но если драться, то нужно драться сейчас...»

В газете был опубликован еще целый ряд интервью в том же духе с представителями буржуазии.

«Нет больше власти» — так драматически была озаглавлена одна из страниц газеты, посвященная теме «недомогания». На этот раз слово было предоставлено начальнику генерального штаба Франции генералу Мери, который упорно утверждал, что «все еще можно командовать, но при условии (!) сохранения веры [в достоинство капитализма] и умения ее распространять»; хозяину нескольких металлообрабатывающих предприятий Рубаху, который, по определению газеты, «утратил веру», «уже не может командовать», «опустил руки» и говорит: «Пусть все идет, как идет, — поживем, увидим, что получится»; и наконец, убежденному и упорному защитнику капитализма — «страстному патрону», по определению газеты, Антуану Рибу, который руководит большой группой предприятий и отнюдь не собирается капитулировать.

Такой пестрый подбор участников обсуждения проблемы упадка «либерального общества» был, конечно, не случаен. Тем, кто вынес эту острую проблему на обсуждение читателей ультраконсервативной газеты «Фигаро», хотелось, с одной стороны, показать, сколь опасна для самих основ капиталистической системы утрата веры в

ее достоинства, а с другой стороны, дать понять, что не все еще потеряно и что с такими людьми, как Антуан Рибу, можно спасти власть капитала, действуя, пока не поздно.

Еще две газетных страницы «Фигаро» посвятила упадку семьи и морали в буржуазном обществе. Они назывались «Нет больше семьи» и «Нет больше морали». «Все согласны, что общество, как и рыба, гниет, начиная с головы», — с горечью констатировала газета, обобщая многочисленные, зачастую откровенно циничные признания представителей буржуазии.

Как и следовало ожидать, этот откровенный до предела разговор об упадке капитализма, затеянный редакцией «Фигаро», вызвал самую настоящую бурю в среде читателей этой газеты, представляющих собой наиболее консервативную часть французского общества. Газета была вынуждена опубликовать целую страницу откликов; в редакцию было прислано более тысячи писем — случай, не частый в буржуазной прессе.

Наиболее упорные защитники капитализма яростно обрушивались на газету: как она смела приподнять покров, «крывавший столь страшные язвы? Вот что они писали: «Фигаро» превратилась в предприятие деморализации в национальном масштабе», «Вы льете воду на мельницу тех, кто рвется к власти» (намек на левые силы. — Ю. Ж.), «Вы проведете отчаяние».

Но были и другие письма, подтверждавшие пессимистический анализ морально-политического состояния буржуазного общества в последнюю четверть XX века. И доминирующей чертой всех этих откликов было явственно дававшее о себе знать ощущение растерянности перед назревающими глубокими переменами, неотвратимыми, как судьба.

Мрачную картину гниения буржуазного строя, которую нарисовала «Фигаро», основываясь на беседах с деятелями французской буржуазии, можно было бы без труда и с еще большим эффектом изобразить на основе данных любой капиталистической страны, и прежде всего Соединенных Штатов.

Об этом на страницах «Фигаро» справедливо напомнил 26 мая 1976 года академик Жан Фурастье, обобщая итоги проведенного газетой социального исследования. Но газета консерваторов не была бы сама собой, а академик, которому она предоставила трибуну для завершения дискуссии, не был бы буржуазным ученым, если бы они не попытались, что называется, под занавес исказить суть обсуждавшейся ими коренной проблемы фальшивыми ссылками на то, будто та же проблема «недомогания» относится не только к либеральному, то есть капиталистическому, обществу, но и... к социалистическому. Совершенно бесосновательные ссылки эти прозвучали бледно и неубедительно. А вот признание морально-политического краха капитализма в статье академика Фурастье выглядит весьма ярко. Вот что он написал:

«В былые времена социальная ткань общества<sup>3</sup> эволюционировала медленно, и ее основа оставалась неизменной на протяжении жизни целого поколения. Сегодня она рвется на наших глазах, превращаясь в лохмотья. Растерянность, которую в результате этого испытывает средний человек (точнее было бы сказать: буржуа! — Ю. Ж.), тяжела и болезненна. Она может в ближайшем будущем вызвать ужас и даже душевный паралич у тех, на ком лежит экономическая, социальная, семейная ответственность... Мы не понимаем, что с нами происходит, настолько разнообразны и неожиданны конкретные проявления кризиса».

Выступая с таким саморазоблачением, «Фигаро» рассчитывала на спасительный «эффект шока», о котором писал, начиная эту публикацию, ее главный редактор д'Ормессон, полагавший, что такая острая постановка вопроса заставит французскую буржуазию, что называется, встряхнуться и ринуться в битву за спасение самих основ существования капитализма, против левых сил. Замысел этот, видимо, не удался, и д'Ормессону пришлось оставить свое редакционное кресло. Хозяин газеты Эрсан взял ведение газеты в собственные, весьма жесткие руки и больше не допускал таких экспериментов...

<sup>3</sup> Под «социальной тканью» Фурастье, по его словам, подразумевает «сплоченный ансамбль общественных установлений, юридических норм, моральных ценностей и религиозных верований, которые, вместе взятые, составляют социальный контракт».

## ОБ ОДНОМ ШУЛЕРСКОМ ТРЮКЕ

А вот фальшивая идея, подброшенная на заключительном этапе дискуссии академиком Фурастье, — намек, будто нынешнее «недомогание» капитализма является все не проявлением болезни, присущей лишь обществу, построенному на эксплуатации человека человеком, а «любому развитому индустриальному обществу», в том числе и социалистическому! — кажется защитникам капитализма заслуживающей внимания и полезной.

Эта идея подхвачена многими буржуазными социологами и пущена в оборот буржуазной пропагандой. Политические шулеры в тысячу первый раз пытаются перевернуть карты в своей политической игре: подменить всем очевидный социальный кризис отжившей свой век капиталистической системы мнимым кризисом цивилизации вообще и индустриальной цивилизации в частности и при этом не просто замуфлировать свою эксплуататорскую систему, а как-то прицепить ее к нашей, социалистической системе, не знающей эксплуатации человека человеком. Они пытаются заключить эти различные, как небо и земля, миры, противостоящие друг другу в непримиримой классово-расовой борьбе, в общие скобки, представив их как якобы единую «машинную цивилизацию».

И что же вы думаете? Эта, в общем, нехитрая и больше того — грубая шулерская комбинация воздействует на чьи умы. Я с горечью прочел, например, в августе 1974 года в журнале «Пари-матч» два интервью с ныне уже покойным французским писателем Андре Мальро, который попался на удочку теоретиков, проповедующих вред «машинной цивилизации».

Да, представьте себе, Мальро с пафосом атаковал «цивилизацию, рожденную машиной», видя в ней причину всех бед человечества. «В сущности, — заявлял Мальро в этих интервью, — машина стала хозяйкой мира. С помощью машины зарабатывают много денег. Но что вы делаете с заработанными деньгами? Либо вы на эти деньги делаете другие машины, либо вы вкладываете свои деньги в банк. Но это чисто символический жест, поскольку банк, в свою очередь, вкладывает деньги в машины... У вас власть, основанная на машине. Значит, происходит борьба между вами и машинами. Эта цивилизация, начавшаяся во времена Наполеона, находится в состоянии кризиса. В этом нет сомнения...»

Что сказать на это? Все увидел Мальро: и машины, и деньги, заработанные с помощью машины, и вложения в банки. Не увидел только того, кому все это принадлежит, кто приводит в действие этот цикл и в чьих интересах, по чьей вине страдают люди, угнетаемые системой, сложившейся еще «во времена Наполеона». Так что же делать? Борьбаться против машин, как предлагали когда-то, на заре капитализма, луддиты, а сейчас, на его закате, предлагал Мальро?

Публицисты буржуазной прессы нередко вспоминают горькие слова Верлена: «Мы узнали, что наша цивилизация смертна». Но при этом умышленно затемняется главный вопрос: о какой цивилизации идет речь и, больше того, что надо понимать под цивилизацией вообще.

Развитие человеческого общества происходит по восходящей линии, и на каждом новом этапе люди, создавая новое, используют все то лучшее, что было накоплено предыдущими поколениями в области науки, культуры, общественного развития. Цивилизация социалистического общества, которая сложилась в мире за последние полвека, является поистине венцом человеческой культуры. Но как можно утверждать, будто эта цивилизация и цивилизация буржуазного общества — одно и то же, ссылаясь на тот формальный довод, что и там и здесь используются машины?

Одряхлевшая цивилизация буржуазного общества действительно смертна, ибо она отравлена гнилым ядом своекорыстия, жадности к наживе, эксплуатации людей. Молодая и полная сил цивилизация социалистического общества свободна от этих пороков, и потому ей принадлежит будущее. И как тут не вспомнить гордые и сильные слова М. Горького, сказанные им еще на рубеже 20-х и 30-х годов, когда теория мнимого единства «машинной культуры» начинала пускать первые ростки за океаном. Отвечая на анкету одного американского журнала, он писал:

«Лично я держусь, разумеется, того мнения, что истинная цивилизация и быстрый рост культуры возможны только при условии, если политическая власть всецело принадлежит трудовому народу, а не паразитам, живущим за счет чужого труда». Вот так-то!

### КАК ОНИ МОРОЧАТ ГОЛОВЫ ЛЮДЯМ

Но уж коль скоро речь зашла о буржуазной цивилизации последней четверти XX века, то тут уместен такой вопрос: ну а что же представляет собой та духовная пицца, которую эти господа предлагают сейчас своим народам, в чем суть тех идейных концепций, которые они стараются привить людям?

О, конечно же, было бы немыслимо перечислить все те рецепты в идеологической области, которые рекомендуют современные буржуазные философы, экономисты, социологи, политологи, писатели, деятели искусств. Да в этом и нет необходимости, поскольку такие темы сравнительно широко освещаются в нашей прессе. Но выделить некую главную закономерность в этой области можно и должно.

О чем же идет речь? Чем больше приглядываешься к разносторонней и лихорадочной деятельности наших противников на идеологическом фронте, тем яснее становится, что они руководствуются испытанной формулой, отработанной еще более тысячи лет назад философами христианской религии, ревностно служившей на протяжении многих столетий всем власть предержащим, удерживая эксплуатируемую массу в страхе божьем.

Я имею в виду ключевую формулу одного из основных теологических документов христианской церкви — так называемой Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Евангелие от Матфея).

Но вот что характерно: если еще не так давно буржуазная пропаганда, следуя давней традиции, расхваливала на все лады псевдодемократический характер капиталистического мира, ссылаясь на применение формального принципа большинства (дескать, как проголосует 51 процент избирателей, так оно и будет!), то теперь там все более открыто и цинично провозглашается принцип деления общества на так называемую элиту, призванную хозяйничать и править, и массу, призванную безропотно подчиняться и трудиться.

Любопытно, что тот же Андре Мальро в интервью американскому журналу «Ньюсуик» заявил, что демократия, родившаяся в былые времена, «когда еще не говорили о борьбе классов», отжила свой век, поскольку в наше время большинство, которым располагает правящий класс, все больше сокращается и «становится ничтожным».

Андре Мальро не сделал вывода из этого действительно «очень серьезного» факта. Это сделали за него присяжные социологи Соединенных Штатов, которые, без стеснения отбрасывая истрепавшийся миф о буржуазной демократии, все громче требуют ныне публично узаконить деление общества в капиталистическом мире на тех, кто правит — на элиту, и на тех, кто повинуется.

Кто же эта элита? Корпорации богатейших людей, отвечает американский экономист Милтон Фридман, который, по определению газеты «Уолл-стрит джорнэл», отражает точку зрения «большого бизнеса». Их смысл жизни и цель всей их деятельности, утверждает Милтон Фридман, — это «обеспечение максимальной прибыли при любых (!) социальных правилах поведения, устанавливаемых в каждый данный момент».

А кто состоит в подчинении у элиты? Те, кто производит материальные ценности; им-то и надлежит быть «кроткими» согласно евангельскому тексту. И вот что знаменательно: те, кто предлагает эту новую модель «общества частной инициативы», уделяют особое внимание идеологической обработке человеческой массы, часто именуемой «молчаливым большинством». Их задача состоит в том, чтобы заглушить у этого «молчаливого большинства» классовое самосознание, превратить его в безликую толпу, толпу одиноких, разрозненных людей, пассивных и аполитичных.

В. И. Ленин писал, что без масс капиталистам не обойтись, а вести их за собой они не могут без разветвленной «прочной оборудованной системы лести, лжи,

мошенничества, жонглерства модными и популярными словечками, обещания направо и налево любых реформ и любых благ рабочим — лишь бы они отказались от революционной борьбы за свержение буржуазии»<sup>4</sup>.

В последнее время буржуазная социальная наука открыто и без стеснений обсуждает пути и методы манипулирования сознанием этих масс — да-да, в ход пущен совершенно открыто термин «манипулирование»! Разработана доктрина так называемого массового общества, суть которой сводится к изучению способов держать «молчаливое большинство» в повиновении, формировать его образ мышления и поведения. Здесь и тенденциозная буржуазная пропаганда, представляющая, по выражению Ленина, гигантский аппарат «лжи и обмана, массового надувания рабочих и крестьян»<sup>5</sup>, и влияние церкви, и индустрия дешевых развлечений, оглуляющих человека, и стандартизация человеческого мышления.

А тем временем американские и английские футурологи, вынашивающие долгосрочные планы воздействия на массы, все более активно разрабатывают средства, с помощью которых можно было бы влиять на развитие человеческого мозга, заранее программируя создание касты послушных рабов. Писал же сотрудник широкоизвестной американской исследовательской корпорации РЭНД Б. Хэйвен в книге «Двухтысячный год», что элита планирует добиться «тотального (!) манипулирования» личностью с помощью электронного контроля и применения лекарственных средств, воздействующих на психику. В том же духе высказывался в беседе со мной другой видный американский футуролог, Герман Кан, о чем я подробно рассказал в книге «Отравители».

Эти зловещие замыслы папахивают фантастикой, но мы ошиблись бы, если бы недооценили действия тех, кто их вынашивает. Борясь за спасение своего давшего течь корабля, буржуазия способна на все. И не случайно именно теперь она прилагает лихорадочные усилия, чтобы спасти свою систему. Об этом напомнил товарищ Л. И. Брежнев, выступая на Международном совещании коммунистических и рабочих партий в Москве в 1969 году:

«...ежечасно, и днем и ночью, трудовой народ почти всего земного шара подвергается в той или иной мере воздействию буржуазной пропаганды, буржуазной идеологии. Наемные идеологи империалистов создали специальную псевдокультуру, рассчитанную на оглушение масс, на притупление их общественного сознания. Борьба против ее развращающего влияния на трудящихся — важный участок работы коммунистов».

Эта борьба является актуальнейшей задачей, от успешного решения которой во многом будет зависеть конечный успех всемирно-исторического противоборства двух антагонистических социальных систем — капитализма и социализма. И как ни стараются буржуазные идеологи изобрести новые модели старого общества, как ни напрягают свое воображение американские футурологи в поисках эффективных средств манипулирования человеческой личностью, можно не сомневаться, что в конечном счете мир насилия и угнетения рухнет под тяжестью своих преступлений.

Будущее принадлежит социализму, который в эту эпоху всеобщего одичания, озверения и отчаяния буржуазии выступает перед всем миром как самый передовой и прогрессивный общественный строй, как носитель высших духовных ценностей и гарант подлинного расцвета человеческой личности в мире, свободном от эксплуатации!

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 176.

<sup>5</sup> Там же, т. 40, стр. 15.



---

---

# 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

## ВЕЧНО ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

### *Листая новомирские страницы*

**В**оздействие его образов и идей, самого жизненного примера неизменно ощущали на себе поколения советских писателей, вся наша литература социалистического реализма с момента своего зарождения. В творческих дискуссиях и спорах о путях молодого пролетарского искусства, о характере его связей с революционной действительностью и значении для нравственного воспитания масс, в раздумьях о критериях идейно-художественной требовательности, реальном воплощении художнического идеала и задачах постижения «диалектики души» современника, в разработке принципов партийности и народности нашего искусства — всегда и везде органично возникало имя Н. Г. Чернышевского, великого революционера-демократа, художника, всего себя отдавшего служению народу, родному искусству. И по сей день его наследие остается неотъемлемой частью широкого идейно-эстетического процесса современности. Общую нашу мысль выразил еще в 20-е годы Дм. Фурманов, назвавший Н. Г. Чернышевского одним из тех великих, чьи книги и мысли в жизни целого человечества «сыграли огромную прогрессивную роль как художественные стимулы».

К творческому наследию Чернышевского как к художественному, идейному и нравственному стимулу обращалась и обращается наша литература в течение всего своего существования. Более полувека это замечательное наследие изучается и пропагандируется и на страницах «Нового мира»: в статьях и публикациях, в литературоведческих исследованиях и рецензиях на новые издания произведений, на книги о замечательном писателе...

В журнале стало своего рода традицией время от времени возвращаться к наиболее примечательным материалам прошлых лет, чтобы бросить взгляд на то, как развивались отдельные темы и идеи в годах, десятилетиях вместе с самой советской действительностью. И в эти дни, отмечая стопятидесятилетие Н. Г. Чернышевского, мы публикуем несколько небольших фрагментов (насколько позволяют журнальные возможности) из статей разных лет. Сегодня они выглядят сколками одной большой темы: Чернышевский и современность.

В 1928 году, предпринимая публикацию в те времена поистине сенсационных глав из неизданного романа Н. Г. Чернышевского «Повестия: в повести», видный советский исследователь П. Щеголев писал на страницах «Нового мира»: «Николай Гаврилович Чернышевский был арестован 7 июня 1862 года и сразу же был отправлен в секретнейшую государственную тюрьму — Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. Здесь он провел 688 дней и отсюда 20 мая 1864 г. был отправлен на каторгу. Все время заключения Чернышевский провел за тюремным столом; он почти не гулял и, если не спал, сидел за столом и писал. Он знал два положения: «сизжу» и «лежу», и два занятия: «читаю» и «пишу», — больше пишу, чем читаю. Писал он действительно много, так много, что другого примера такой литературной деятельности не найти в истории знаменитых «заключений». По подсчету, сделанному мною, Чернышевский исписывал ежемесячно до 11½ печатных листов — при непрерывности работы (22 месяца подряд!) количество непредставимое. Чернышевский делал переводы, составлял компиляции, писал научные работы и занимался беллетристикой. В тюремном литературном наследии знаменитого публициста на беллетристику приходится 68

печатных листов... из которых и по настоящий день нам известны только жалкие отрывки. Все они хранились под строжайшим секретом в архиве III отделения, и только революция открыла их исследователям, но в печати они еще не появлялись». Читая слова о том, как велик был тогда долг перед замечательным наследием, отнятым у народа царизмом и с трудом возрождающимся, сегодня с особой благодарностью думаешь о советской литературной науке, так много сделавшей с той поры, чтобы дать вечную жизнь буквально каждой строке, вышедшей из-под пера Чернышевского.

И еще бросается в глаза при чтении этих статей. В работе ли Н. В. Богословского, талантливого литературоведа, посвятившего едва ли не всю свою творческую жизнь изучению великого наследия, в фундаментальном ли исследовании И. С. Новича, публиковавшемся в нескольких номерах журнала, в интересном ли по теме и решению материале Б. С. Рюрикова, касающемся непосредственно личности Чернышевского, его поистине героической жизни, одно бросается в глаза непременно: насколько естественно все эти раздумья о Чернышевском оказываются всякий раз проникнутыми духом времени, живыми отголосками забот и насущных интересов, волновавших нашу литературу в те или иные периоды ее развития. И вместе с тем сколь цельной и нерушимо высокой остается всегда фигура замечательного художника-революционера в глазах благодарных потомков, какая неслыханная сила заложена в его остро социальных и вместе с тем глубоко общечеловеческих идеях, в художественных образах и теоретических открытиях. И впрямь Чернышевский — это имя на века!

#### **Н. БОГОСЛОВСКИЙ. Эстетика Чернышевского.**

Из всех статей Чернышевского по эстетике главное место занимает его диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности». Остальные статьи играют вспомогательную роль...

Готовясь защищать диссертацию, Чернышевский не видел достойных оппонентов. Он прямо говорил, что едва ли образ его мыслей будет понятен господам здешним профессорам словесности, которые совершенно не занимались эстетикой и философией: «...им показалось бы даже, что я — приверженец тех философов, которых мнение оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Потому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого»...

Трактат Чернышевского сыграл колоссальную роль в борьбе с идеалистической эстетикой. Это была первая в истории материализма попытка создать систематическую, научную эстетику с материалистической точки зрения. Во многих частях диссертация сохраняет все свое значение и для нашего времени. Вместе с тем эстетическая теория Чернышевского несвободна от целого ряда недостатков, обусловленных тем, что Чернышевский был последователем фейербаховского материализма. «Чернышевский — единственный действи-

тельно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса», — говорил Ленин.

Само собою разумеется, что эстетика Чернышевского, как первая материалистическая эстетика, должна представлять для нас первостепенный и не только исторический интерес. Многие стороны эстетического учения Чернышевского близки нашему времени. Когда мы всматриваемся в тезисы его диссертации, мы видим, что в целом ряде их затрагиваются проблемы, волнующие наше сегодняшнее советское искусство.

Строя свою эстетику на страстном возвышении действительности, жизни, природы, Чернышевский тем самым закладывал основы реалистической эстетики. Этой своей стороной она особенно родственна нашей современности. Чернышевский отрицал искусство, оторванное от жизни, тяготеющее к призрачным образам бесплодной фантазии, он отрицал тепличные цветы искусства для искусства. Он призывал художников к полнокровному воспроизведению жизни во всем ее мно-



гообразии. Но Чернышевский не ограничивался этим — он не был сторонником пассивного воспроизведения действительности, он искал в произведениях искусства «объяснения жизни». «Нельзя быть только художником, — писал Чернышевский, — поэт, достойный своего имени, обыкновенно хочет в своем произведении передать нам свои мысли, свои взгляды, свои чувства, а не исключительно только созданную им красоту».

Мало того, Чернышевский считал необходимым условием для всякого большого художественного произведения дать ответ на запросы современности, «ибо истинный художник в основание своих произведений всегда кладет идеи современные».

Писатель должен быть в гуще жизни, его не могут не волновать вопросы, порождаемые действительностью, и тогда «в его произведениях сознательно или бессознательно выразится стремление» дать свою оценку, «своей живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными)». Тогда его «произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью... тогда художник становится мыслителем».

Нет надобности доказывать, что эти положения Чернышевского должны быть близки каждому подлинному художнику наших дней. И несомненно, что лучшие из произведений советской литературы — произведения М. Горького, А. Толстого, М. Шолохова, Н. Островского и других — отвечают рассматриваемым требованиям эстетики Чернышевского.

Вместе с тем ложные течения в искусстве, которые мы всячески стремимся изжить, — формализм и натурализм — решительно осуждались Чернышевским. Строго говоря, впервые философски обоснованная критика формализма и натурализма дается в диссертации Чернышевского. Не останавливаясь подробно на разборе этой части диссертации Чернышевского, мы хотели бы на ряде примеров показать, насколько верно и четко умел судить о явлениях искусства Чернышевский. Формализм, как мы его понимаем, начинается там, где, по определению Чернышевского, «искусство переходит в искусственность». Формализм там, где «господствует мелочная сделка подробностей, цель которой не

приведение в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности». Формализм там, где «господствует мелочная погоня за эффективностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расщепление лиц и событий не совсем натуральными, но резкими красками».

И разве сегодня не этими же признаками мы характеризуем те явления искусства, которые пронизаны формализмом? Чрезвычайно важно отметить, что многие возражения Чернышевского против формалистических ухищрений обращены вместе с тем и против бессмысленного, ничем не одухотворенного копирования, когда мелочное выписывание отдельных черт и бесконечных мелочей заводит художника в дебри натурализма. Натурализм, или «мертвая копия», «дагерротипное копирование», бесполезное подражание, как выразился бы Чернышевский, порождается пассивным «воспроизведением действительности», против которого он предостерегает в своей эстетике.

Чернышевский вовсе не был сторонником примитивных форм в искусстве, как думали многие из его противников. Он отлично умел ценить все трудности, какие преодолевает художник, создавая полотно, поэму, драму или роман. Но наряду с этим он не принимал искусства, «обнаженного от содержания». «Содержание... одно только в состоянии избавить искусство от упрёка, будто бы оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто: художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: «да стоило ли трудиться над этим?».

Просты эти положения Чернышевского и просты эти слова его, но очень часто мы забываем о них, не всегда спрашиваем художника, поэта, писателя: да стоило ли ему трудиться над этим?

Когда наша критика ставит перед читателями вопросы о реализме, формализме, натурализме, вопросы об идейности в искусстве, о роли сознания художника в творчестве, об искусстве как об одном из орудий преобразования действительности, она не должна обходить молчанием дис-

сертации Чернышевского, этого ярчайшего документа революционно-материалистической эстетики домарковского периода...

«Новый мир», 1938, № 7.

#### И. НОВИЧ. Н. Г. Чернышевский.

Может быть, никто в истории России добольшевиcтской, досоциалистической эпохи не выражает духовный облик русского народа с такой полнотой и силой, как выражает его Чернышевский. Недаром Ленин поднял имя Чернышевского как символ великорусской демократической культуры.

Мировоззрение Чернышевского, революционера и демократа,— его характер, весь его духовный облик — превосходное порождение культуры народа, веками накапливавшего в себе силы освободительной борьбы.

Чернышевский соединил в своей деятельности два могучих революционно-освободительных устремления в истории России — передовую общественную мысль от Радищева к декабристам, к Герцену и Белинскому и исторический опыт непосредственной борьбы народа за свое освобождение, символизируемой именами Болотникова, Разина, Пугачева.

Чернышевский вырос на почве всего лучшего, что рождали до него передовые русские мыслители, черпавшие силу в народных стремлениях, но еще непосредственно не обращавшиеся к массам, боровшиеся за их интересы и в то же время знавшие массы в известной мере теоретически; на почве крупнейших достижений западноевропейской революционной и социалистической мысли домарковской эпохи; на почве могучего порыва самих масс к свободе, поднимавшихся с оружием в руках на борьбу, но еще не возвысившихся до передового политического сознания.

Чернышевский стоял на уровне самой передовой предмарковской западноевропейской общественной мысли.

Чернышевский был идеологом и стратегом крестьянской демократической революции...

Сын своего народа, Чернышевский как никто до него в истории русской культуры был интернационалистом по мировоззрению и мироощущению. Он признавал право наций на самоопределение, протестовал против угнетения одной нации другой нацией, защищал национально-освободи-

тельные движения во всех странах, негодовал против захватнических действий как русского царизма, так и западноевропейских буржуазных, «демократических» правительств того времени...

Гуманизм Чернышевского ярко сказался и в позиции, занятой им в вопросе о войнах. Он, указывая на обременительность войны для трудящихся, однако, неизменно подчеркивал, что для них «полезна... та война, которая ведется для отражения врагов от пределов отечества», защищая отечественные войны в истории, имевшие целью защиту национальной независимости народов. Он отличал войны захватнические от войн за национальную независимость.

Гуманист Чернышевский глубоко верил в силу исторического прогресса. Он верил, что человек, видоизменяя те явления действительности, которые несообразны с его стремлениями, достигнет исполнения своих желаний.

«Будем оптимистами», — любил говорить Чернышевский. Он знал, что время торжества социалистических идеалов настанет.

Исторический прогресс, полагал Чернышевский, совершается медленно и тяжело, но он совершается. Лучшие люди своего поколения находили жизнь своего времени чрезвычайно тяжелою, и мало-помалу, когда хотя бы немногие из их желаний становились понятны обществу, оно шло вперед. Оно прогрессировало, по мысли Чернышевского, в короткие периоды — очевидно, он имеет в виду периоды революций, хотя не говорит об этом ясно по цензурным условиям. В короткие периоды благородных порывов общества многое в его жизни бывало изменено. Изменения, переработки шли наскоро, и общество снова впадало в застой, потом снова прислушивалось к голосу передовых людей и прогрессировало в периоды «усиленной работы», в периоды революций.

«Ход великих мировых событий, — писал Чернышевский, — неизбежен и неотвратим, как течение великой реки: никакая скала, никакая пропасть не удержит ее, не говоря уже о плотинах, произвольно устраиваемых: плотиной ничья сила не пересыплет Рейна или Волги, и всеильная река одним напором выбросит на берег все свои и весь мусор, которым дерзкая рука безумца хотела преградить ее течение; единственным результатом безрассудной попытки будет только то, что берег, который спокойно напоялся бы рекою и зеленел

роскошным лугом, будет на время истерзан и обезображен гневом оскорбленной волны,— а река пойдет-таки своим путем, зальет все пропасти, прорвет хребты гор и достигнет океана, к которому стремится.

Неистребимым оптимизмом веет от произведений Чернышевского-революционера, любившего говорить: «Будет на нашей улице праздник!»

Он был великим русским патриотом, во всей своей деятельности больше всего заботился о благе и славе родины. Все его произведения пронизаны этой заботой, ярко обнаруживая связь революционно-демократического мировоззрения с подлинным патриотизмом...

Чувство патриотизма он называл прекрасным и священным, понимал его как беспредельное желание блага родине. Это желание одушевляло всю деятельность Чернышевского.

Он указывал в «Очерках гоголевского периода русской литературы», что историческое значение каждого великого русского человека измеряется его заслугами перед родиной, силой его патриотизма. Он писал: «Для измены родине нужна чрезвычайная низость души»...

Любовь к родине была страстью Чернышевского. Она пронизывала его жизнь на всех этапах — и в годы, когда Чернышевский еще только готовился к будущей деятельности, и в пору ее высшего расцвета, и в период ее заката. Любовь к родине и сознание принесенной пользы ей служило Чернышевскому, быть может, единственным действительным утешением в конце его жизни, если можно еще говорить о каком-либо «утешении».

Самым страстным желанием Чернышевского, с которым он во второй половине сороковых годов приехал в Петербург учиться, было желание, чтобы Россия внесла в духовную жизнь человечества свое спасительное дело. «Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу отечества: что может быть выше и вожделеннее этого?» Так начинал Чернышевский сознательную жизнь.

В период расцвета своей деятельности, в пору борьбы за действительное освобождение крестьян от крепостной неволи, он указывал, что на эту борьбу его не призывает никакая официальная обязанность. Интерес личной выгоды диктовал бы молчание. Но Чернышевский был борцом, не мог молчать и не молчал. «Мы,— писал

он,— не изменники родине». Он говорил, движимый национальным чувством, желанием помочь родине...

В «Письмах без адреса» он писал, что, «когда люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел», то есть когда народ убедится, что только от него самого должен он ждать изменения своей жизни, они, люди, «непреренно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел. Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки», то есть трепещут перед грядущей революцией. Ее великим идейным предшественником был Чернышевский.

Она пришла спустя почти три десятилетия после смерти Чернышевского, победоносная Великая социалистическая революция, возродила в ряду величайших имен человеческой истории имя Чернышевского — гениального русского революционера-демократа, мыслителя, писателя и ученого, гордость русского народа...

«Новый мир», 1939, №№ 10—11,

#### **Б. РЮРИКОВ. Н. Г. Чернышевский как личность и характер.**

О Чернышевском существует большая литература; подвергнуты анализу его политические, философские, экономические, исторические, эстетические взгляды. Среди этих работ есть много интересных и содержательных. Опыт мысли Чернышевского имеет непреходящее значение. Но, помимо этого, Чернышевский воплощает собой тип личности, представляющей для последующих поколений огромный интерес. Это человеческий характер, заслуживающий самого пристального внимания...

Николай Гаврилович был необычайно и разносторонне талантлив. Он был одарен блестящим умом и великолепной памятью. От древних форм славянского языка до проблемы вечного двигателя — все его интересовало. Когда он учился в семинарии, о его работах учитель словесности говорил: «Так развивать тему сочинений могут только профессора академии».

Демократический литератор и педагог И. И. Введенский считал молодого Чернышевского какой-то загадкой: «...он, несмотря на свои какие-нибудь двадцать три — двадцать четыре года, успел уже овладеть

такой массой разносторонних познаний вообще, а по философии, истории, литературе и филологии в особенности, какую за редкостью встретить в другом патентованном ученом... беседуя с ним, поверите ли, право, не знаешь, чему дивиться, начитанности ли, массе ли сведений, в которых он умел солиднейшим образом разобраться, или широте, пронзительности и живости его ума... Замечательно организованная голова!»

Редкостная широта интересов и познаний помогла Чернышевскому стать в центре всей умственной жизни своей эпохи. Строгая дисциплина логического мышления сочеталась у него с дерзковенно-смелым полетом революционной мысли. Он в высокой степени обладал даром синтетической мысли, смело применяющей общие начала революционного мировоззрения к ряду областей общественной жизни. Его живая, страстная, пытливая мысль была целеустремленно обращена к одной главной проблеме — освобождения народа, завоевания им счастья...

Впечатления отечественной действительности, благородное влияние русской литературы и публицистики (Пушкин, Гоголь, Белинский, Герцен), опыт революционного и социалистического движения на Западе — все это формировало личность Чернышевского, не позволяя застыть в научной отвлеченности, укрепляя в ней общественные интересы. В одной из своих статей он писал: «Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что остается наблюдать мне? В чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или своих забавах»...

Личность человека тем богаче, тем полнее развита, чем больше в ней при сохранении всего отдельного, индивидуального воплощено общее, чем значительнее общественные силы, стоящие за ней, чем прогрессивнее то дело, которое она осуществляет. Сознанием Чернышевского с ранних лет владели гуманные, человеколюбивые идеалы; позднее они определились как

идеалы революционные и социалистические. Это было формирующим началом личности великого писателя и мыслителя. Благородная сила идеалов придавала целеустремленность и определенность всему направлению его духовного развития.

Есть люди несомненно талантливые, но не осуществившие полностью возможностей своего таланта. Большой частью (если не говорить о внешних препятствиях) им мешало то, что талант не сочетался с энергией, целеустремленностью, решительностью. Чернышевский выработал в себе сильный, уравновешенный характер. Он был цельной, собранной личностью, и эту цельность Николаю Гавриловичу придавала прежде всего ясность и определенность идеалов.

Чернышевский знал свои духовные силы. Двадцатилетним юношей он писал в дневнике, что считает себя человеком, «в душе которого есть семена, которые если разовьются, то могут несколько двинуть вперед человечество в деле воззрения на жизнь». Это признание, заслуживающее пристального внимания. Чернышевский, который стремится сказать новое слово, чувствует себя представителем своей родины и своего народа.

Революционное движение требовало деятеля, обладающего силой теоретической мысли, ясностью взгляда, решительностью и смелостью в борьбе, знанием и верным пониманием жизни и реальных задач. На это требование Россия ответила Чернышевским.

Чернышевский жил предчувствием великих перемен, он понимал, что в России совершаются события совсем не частного значения, и стремился к новому порядку вещей, создаваемому в борьбе, в которой он принимал активнейшее участие. «Таково стремление идей века, и поэтому моя идея превосходнее», — записывает он. Он был представителем и выразителем новой общественной силы — революционного разноточия, за которым стояла огромная растущая мощь крестьянского протеста. Называя Чернышевского и Добролюбова мужицкими демократами, Ленин точно определил их историческое место.

В обстановке сложной и напряженной борьбы революционных сил против реакционной идеологии и практики Чернышевский был примером ясности, определенности, последовательности убеждений...

Чернышевский знал, что нельзя двинуться вперед без резкого противопоставления нового, революционного старому, отжившему, он требовал обнажения противоречий, отчетливого определения позиций. Половинчатость, либеральная умеренность, межеумочность были ему не по душе, и недаром в студенческие годы его прозвали Сен-Жюстом, сравнивая со знаменитым прокурором эпохи Французской революции...

Говоря о Добролюбове, которого любил горячо и сильно, как самое ценное в нем он выдвигал характер, неспособный идти на какие-нибудь компромиссы. Но эта же черта в высокой степени отличала и самого Чернышевского...

В одном из писем последних лет Николай Гаврилович писал, что с годами он не стал уступчивее в идейных и нравственных требованиях: «Глаза у меня очень разборчивые, а мои нравственные и умственные требования еще гораздо разборчивее, чем мои глаза». К Пьпину он обращался со словами, которые заставляли вспомнить Чернышевского молодых лет: «Ты любишь сдерживать себя. А я не охотник падать то, что не нравится мне, когда речь идет о вопросах науки, или литературы, или чего-нибудь такого, не личного, а общего»...

Жизненный путь Чернышевского от студенческих лет до последнего успокоения в саратовском изгнании был прямым, как полет стрелы. Сорок лет жизни отдал он делу освобождения народа. Было бы наивно полагать, что за сорок лет он не изменился. Время неизбежно оставляет свой след на человеке. Меняются обстоятельства, жизнь выдвигает новые вопросы, по-новому встают вопросы политики, стратегии, тактики. Но неизменными остались в Чернышевском его революционное, демократическое, материалистическое мировоззрение, любовь к народу и стремление служить ему.

И своим талантом, и всей своей многогранной деятельностью, своеобразием своей личности, своим характером Чернышевский представлял собой явление редкое, исключительное. Но при всей исключительности это характер совершенно народный, русский. Сам Николай Гаврилович не раз возвращался к мысли о том, какие замечательные умы и характеры выдвигаются народом, когда этого требует историческая необходимость.

«В простом народе,— писал Чернышевский,— встречаются люди энергического ума и характера, способные обдумывать данное положение, понимать данное сочетание обстоятельств, сознавать свои потребности, соображать способы к их удовлетворению при данных обстоятельствах и действовать самостоятельно... нельзя сомневаться в существовании таких людей».

«Сочетание обстоятельств», которое сформировало и выдвинуло Чернышевского, это борьба народа за освобождение, подъем революционно-демократического движения. Напряжение сил передовых людей, острота общественных конфликтов — все это содействовало тому, чтобы силы и способности борца раскрылись быстро и полно.

В «Очерках гоголевского периода» содержится блестящая мысль о том, что такое гений.

«Гений — просто человек, который говорит и действует так, как должно на его месте говорить и действовать человеку с здравым смыслом; гений — ум, развившийся совершенно здоровым образом... Если хотите, красоте и гению не нужно удивляться; скорее надобно было бы дивиться только тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для этого человеку нужно только развиваться, как бы ему всегда следовало развиваться. Непонятно и мудрено заблуждение и тупоумие, потому что они не естественны, а гений прост и понятен, как истина: ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде».

Эти великолепные строки направлены против индивидуалистического и субъективистского понимания природы гения. Гений порожден народной жизнью, он выражает собой ее мощь и красоту. Нормальное, здоровое развитие народа — это освобождение от всего, что сковывает и задерживает это развитие. Освободительная, революционная борьба народа создает условия для нормального, естественного развития человека, для появления новых талантов и гениев.

На каторге в Александровском заводе Николай Гаврилович беседовал с политическим заключенным П. Г. Усенским:

«Помните пословицу, Петр Гаврилович: «терпи, казак, атаманом будешь»? Не сейчас, конечно, а в будущем, далеком будущем; не мы, так дети наши или внуки... Атаманами будут не всегда генералы с

регалиями, а явятся атаманы великого ума, убеждения, непреклонного желания в другую сторону, поверх всей настоящей жизни...» И обратившись к примерам прошлого — к мужественному поведению протопопа Аввакума («...человек был, не кисель с размазней»), к раскольникам, отстаивающим свои взгляды, — он добавлял: «Верят и действуют, вот в чем суть их жизни, верят и не опускаются... Естественно, за такими сила и будущее, а откуда они? Из простого, неграмотного народа, — вся сила в народе».

Народ выдвигает «атаманов» ума и таланта, а они своим примером, силой знания, убеждений, твердой волей поднимают народ, указывают ему путь вперед, ведут его выше и выше по неизведанным тропам истории.

Создатель образов Рахметова, Волгина, Левицкого, «новых людей» сам был воплощением нового типа личности — личности свободной, творческой, многогранной, живущей всей жизнью своего народа, неразрывно связавшей свое счастье со счастьем всей страны.

«Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: как **ким** должен быть революционер, каковы **должны** быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и **средствами** добиваться ее осуществления», — говорил Ленин...

«Чернышевский, — говорил А. В. Луначарский, — одна из прекраснейших по сво-

ей законченности и широте человеческих натур, которая когда-либо жила на свете. И на всем его мирозерцании, как и на всей его жизни, лежит отпечаток силы, красоты и человечности».

Чернышевский был революционером до-марксистской эпохи, и научный коммунизм дал ответы на те вопросы, которые не мог разрешить старый, утопический социализм. Марксизм представляет собой новый, качественно отличный этап развития социализма. Но марксизм высоко ценит своих предшественников.

Великого революционера и писателя, вождя «мужичьих демократов» шестилетних годов, силой ума и воли победившего своих тюремщиков и палачей, мы вспоминаем в эпоху победоносного движения к коммунизму, в век спутников и космических ракет, изумительных достижений труда и мысли человека. Чернышевский мечтал о прекрасных людях будущего, развивающихся вполне здоровым образом, свободно развертывающих все способности ума и таланта. Эта мечта сбылась, и светлый, достойный человека мир, о котором великий гуманист писал почти сто лет назад, стал явью, крепнет и растет.

Прекрасный человек мира социализма формируется всей советской действительностью. Весь опыт человечества приходит на помощь в его развитии... вечно живое сердце Чернышевского стучит в такт с сердцами его внуков и правнуков, осуществляющих на земле вековую мечту народов об обществе всеобщего счастья.

«Новый мир», 1969, № 6.

---

УРАН ГУРАЛЬНИК,  
доктор филологических наук



## ХУДОЖНИК РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ

*Литературное наследие Н. Г. Чернышевского и современность*

Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожденнее этого?

*Н. Г. Чернышевский.*

1

**Ч**еловек-легенда, Николай Гаврилович Чернышевский был сыном своего времени, сыном своего века. Люди такого масштаба, как он, рождаются на крутых виражах истории, в эпохи больших социальных катаклизмов.

60-е годы XIX столетия в России были годами переломными. После долгой ночи николаевской реакции страна жила в ожидании коренных перемен. Созрела революционная ситуация.

Это время нуждалось в героях, не только готовых на высокое самопожертвование во имя освобождения народа (героями были декабристы и петрашевцы), не только в мыслителях, способных вскрыть причудливую логику общественного развития, познав его объективные закономерности. История выдвигала на авансцену идеологов, умеющих активно воздействовать на сам общественный процесс.

Разночинец по происхождению, вчерашний студент Петербургского университета, учитель саратовской гимназии, начинающий литератор, сотрудник некрасовского «Современника», Н. Г. Чернышевский за считанные годы становится совестью, надеждой, знаменем русской революционной демократии, властителем дум целого поколения

Идейные противники Чернышевского — от Н. Стрехова до веховцев, от ренегатствующих либералов до Н. Бердяева, от М. Каткова до нынешних советологов, специализирующихся, в частности, и на фальсификации классического наследия, — пытаются дискредитировать лидера разночинной русской демократии, приписывали ему безудержное тщеславие и безграничное самодовольство, желчность и нетерпимость. Его обвиняли в непочтительности к авторитетам, бесцеремонной прямолинейности, чудовищном догматизме, в эстетической глухоте, духовной ограниченности и многих других смертных грехах.

В статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» Ленин иронически комментирует письмо К. Д. Кавелина, одного из столпов либерального лагеря 60-х годов, к Герцену. Клянясь в любви к Чернышевскому, Кавелин говорил о нем как о задире, сварливом, неуживчивом, самоуверенном и бестактном человеке, сеющем раздоры... Этот, с позволения сказать, «портрет», нарисованный густо-черной краской, естественно, не имеет ничего общего с оригиналом. Вождь революционной демократии завоевал любовь и признание всей передовой России. «Нельзя его не любить», — утверждал Н. Некрасов, по словам которого репутация Чернышевского — публициста и литературного критика росла не по дням, а по часам. Фрида

рих Энгельс писал, что «вокруг Чернышевского, главы революционной партии, собралась целая фаланга публицистов, многочисленная группа офицеров и учащаяся молодежь»<sup>1</sup>.

Н. Г. Чернышевский был шестидесятиком в самом точном, доподлинном смысле — настойчивым и целеустремленным, самоотверженным и бескомпромиссным. Связанный крепчайшими узами с определенным этапом в истории России (напомним, что активная и энциклопедически многогранная деятельность Чернышевского, в сущности, ограничена несколькими годами), он смотрел далеко вперед. И, чувствуя Чернышевского сегодня, мы говорим о нем как о провозвестнике будущего, нашем современнике.

О социалистическом будущем России он не только мечтал, о путях достижения этой цели не только размышлял. Заботе о приближении победы социализма было подчинено все его творчество — научно-теоретическое, публицистическое, литературно-художественное. Нужно было обладать несокрушимой верой в неодолимость социального прогресса (сознавая притом, что путь истории извилист, зигзагообразен, крут), чтобы обратиться из каземата Петропавловской крепости к читателям с призывом жить и трудиться во имя будущего: «...будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести; настолько будет света и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы успеете перенести в нее из будущего».

Авторы новейших исследований, советские историки русской общественной мысли, вносят, на наш взгляд, существенные коррективы в традиционные, чтобы не сказать — хрестоматийные, тем не менее упрощенные представления о философских и социально-политических воззрениях лидера революционных шестидесятников, его концепции будущего<sup>2</sup>.

Н. Г. Чернышевский, безусловно, понимал, что социализм невозможен без революции. Призывая приближать светлое и прекрасное будущее, он «предупреждал о тяжести, дли-

тельности борьбы, о необходимости для борьбы «холодной», «беспощадной» к «пустым и вредным» фантазиям теории», пишет Е. Плимак.

Советская наука о Чернышевском сегодня убедительно трактует проблемы его жизни и творчества, не приукрашивая историю, не «поправляя» ее. Мы исходим из ленинского указания: «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»<sup>3</sup>.

К Чернышевскому, «самому большому и талантливому представителю социализма до Маркса», относятся эти ленинские слова о невероятной энергии и беззаветности искания подлинно революционной теории. Вряд ли нам сегодня следует искусственно «выпрямлять» путь мыслителя-шестидесятника.

Думается, увлеченные критическим пересмотром отмеченных печатью догматизма концепций, некоторые современные исследователи подчас перегибают палку. Так, нет никакого резона обходить молчанием «утопические основы идеала» Чернышевского, писателя-социалиста. Порой приводится целая система доказательств, чтобы убедить нас в «трезвости и реализме» исторического мышления Чернышевского-революционера, который в отличие от своей героини Веры Павловны, увидевшей во сне идилию будущего, отчетливо осознавал драматическую сложность ситуации...

Идиллические картины «Четвертого сна Веры Павловны» действительно нельзя непосредственно, во всех деталях, как это было принято делать, отождествлять с собственными представлениями автора романа о социализме и коммунизме. Эта мысль представляется бесспорной и доказанной рядом авторов<sup>4</sup>. Но, признавая «элементы утопического социализма» во взглядах Чер-

ма к. Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50—80-х годов XIX века. М. «Мысль». 1976; Е. Плимак, «Испытание временем» («Вопросы литературы», 1978, № 2).

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 8.

<sup>4</sup> Помимо упомянутой книги «Чернышев-

<sup>1</sup> «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» в двух томах. М. «Искусство». 1957, т. 1, стр. 543.

<sup>2</sup> См., в частности, публикации: А. И. Володин, Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Пли-



нышевского, скажем, на русскую крестьянскую общину, не следует отрицать и другие очевидности.

Напомним, что в статье «Попятное направление в русской социал-демократии» Ленин полемизировал с теми, кто стремился доказать, «будто Чернышевский не был утопистом», и здесь же писал об их «неумении дать сколько-нибудь «взвзную и всестороннюю оценку Чернышевского, его сильных и слабых сторон»<sup>5</sup>.

Известно, что сам Н. Г. Чернышевский (как до него и Герцен) писал о «неудовлетворительной форме», в которой у Фурье и Сен-Симона выражались идеи социализма. Он трезво судил о том, что «первые проявления новых общественных стремлений всегда имеют характер энтузиазма, мечтательности, так что более походят на поэзию, чем на серьезную науку». Но прав был Плеханов, который в этой связи утверждал, что, поднявшись «до сознания неудовлетворительности утопического социализма», русские революционеры-демократы сами не вышли за пределы утопии. пытаясь предложить конкретные рецепты социалистического переустройства России»<sup>6</sup>. Это достаточно отчетливо проявилось и в образном строе романа «Что делать?» — не только в «Четвертом сне Веры Павловны», но и в других ключевых эпизодах.

Тем большую ценность сегодня приобретают те поистине пророческие предвидения Чернышевского, которые подтверждены всем ходом исторического развития за последние сто с лишним лет. Идеал Чернышевского в главных своих очертаниях созвучен нашей программе коммунистического преобразования общества по законам высокого гуманизма. И в этой связи представляется перспективным анализ «общих идей» Чернышевского, которые «причудливо преломились в сновидениях героини романа «Что делать?» («Чернышевский или Нечаев?»). Речь идет о гармонии отношений

человека с природой и гармонии отношений между людьми, о предельной свободе личности, освобожденной любви, свободном труде как основе развития общества.

Октябрьская социалистическая революция, победившая в России спустя полвека после жесточайшей расправы самодержавия над Чернышевским, своим успехом в немалой степени обязана историческому подвигу ближайших предшественников российской социал-демократии, их поискам и открытиям. Подчеркивая преемственность двух этапов в русском революционно-освободительном движении, В. И. Ленин свою программную книгу о теоретико-организационных основах партии нового типа, способной возглавить «движение самих масс», позести их на последний, решающий штурм старого мира, назвал «Что делать?», как и знаменитый роман Чернышевского.

## 2

«Великий русский ученый и критик» (Маркс), «великий мыслитель, которому Россия обязана бесконечно многим» (Энгельс), Н. Г. Чернышевский оставил глубокий след в философии, социологии, исторической и экономической науках. Но, пожалуй, с наибольшей силой характер и темперамент этого гениального мыслителя-борца, убежденного материалиста, с оптимизмом, невзирая ни на что, смотревшего в будущее через хребты столетий, проявились в его собственно литературном творчестве. Не будет преувеличением, если скажем, что как писатель-беллетрист, как литературный критик и теоретик искусства он нам особенно близок и дорог именно сегодня. В этой весомой части своего наследия Чернышевский всего полнее реализовал себя как личность неповторимая, раскрыл свой эмоционально насыщенный мир, воплотил в зримых образах свой идеал.

В. И. Ленин говорил о Чернышевском как о «великом русском писателе», «действительно великом русском писателе»<sup>7</sup>. Наряду с многочисленными суждениями о Чернышевском — публицисте, философе-материалисте, революционном демократе мы находим у В. И. Ленина безоговорочно положительные оценки его художественного творчества и литературно-критических работ.

ский или Нечаев?» сошлемея также на работы литературоведов Н. Наумовой («Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — Л 1972) и Ю. К. Руденко («Образы «новых людей» и вопрос о принципах типизации в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — «Русская литература», 1977, № 3).

<sup>6</sup> «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М ГИХЛ. 1957, стр. 155.

<sup>7</sup> Г. В. Плеханов. Сочинения. М.—Л. Государственное издательство. 1926, т. XXIII, стр. 408.

<sup>8</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 381, 384.

Широко известен отзыв Ильича о романе «Что делать?». Эта характеристика многозначна. Она важна для понимания не только данного сочинения, но идейно-эстетического своеобразия целого этапа в истории русской классической литературы, славного именами Некрасова и Салтыкова-Щедрина, Помяловского и Решетникова, Глеба Успенского и Слепцова, целой когорты писателей-демократов 60—70-х годов XIX века.

Оценка, данная Лениным роману Чернышевского, позволяет вскрыть логику историко-литературного процесса второй половины XIX — начала XX века, установить преемственную связь между «Что делать?» и горьковской «Матерью» — двумя вершинными явлениями, характеризующими два качественно отличных и вместе с тем родственных этапа в истории нашего искусства. Начало такому изучению было положено в книгах Б. Бурсова «Роман М. Горького «Мать» и вопросы социалистического реализма», И. Новича «М. Горький в эпоху первой русской революции» и ряде других. Однако до сих пор остается почти не разработанной проблема наследования традиций Чернышевского многонациональной советской литературой.

Чем объяснить постоянный интерес вожды русской революционной демократии к современной ему художественной практике?

Известно, что при жизни Н. А. Добролюбова, ведавшего в «Современнике» литературно-критической частью журнала, Чернышевский выступал преимущественно в качестве публициста. Следовательно, рассуждают иные авторы, занятие литературной критикой представлялось ему делом второго плана, а возвращение на это поприще было вынужденным: преемники Добролюбова в «Современнике» не обеспечивали должного уровня литературно-критических выступлений. По не преодоленной до конца инерции имеет хождение версия, согласно которой само обращение великого мыслителя к литературно-художественному творчеству также объясняется стечением ряда обстоятельств. К беллетристике он-де обратился в силу необходимости, надеясь ее использовать как подцензурную форму инскапательной пропаганды своей социально-политической программы, как способ доходчивого, доступного широким читательским кругам изложения политических и организационных идей. Другими словами, роман

«Что делать?» объявляется плодом вынужденного ничегонеделания публициста, поставленного, так сказать, в специфические условия.

Характерно, что уже в первом скороспелом отклике на роман реакционнейшая «Северная пчела» (май, 1863), стремясь с ходу дискредитировать произведение узника Петропавловской крепости, утверждала, что Чернышевский не беллетрист и, следовательно, на «изготовление романа» его вызвали обстоятельства, от него не зависящие: потребность деятельности и невозможность ее в другой форме...

К сожалению, подобного рода представления, в корне неверные, ведущие к недооценке эстетической значимости художественных произведений Чернышевского, органической части его литературного наследия, довольно живучи. С их рецидивами сталкиваешься по сей день — даже в иных публикациях, авторы которых вносят заметный вклад в исследование этого наследия. Поэтому заслуживает внимания и поддержки та основанная на объективном анализе фактов концепция идейно-творческой эволюции писателя, которую развивают в своих трудах о Чернышевском-романисте Г. Тмарченко, Ю. Руденко, Н. Наумова, Н. Вердеревская.

Так, рассматривая беллетристику Чернышевского, и прежде всего роман «Что делать?», в контексте всей его интеллектуальной деятельности, Н. Наумова убедительно итжит: «Это было особым образом организованное сознание: научные открытия, политическая борьба, познание жизни — все это подспудно трансформировалось в нем в художественные образы». Ранним беллетристическим сочинениям Чернышевского, скудно исследованным, посвящены работы Ю. Руденко и Б. Морозова.

Трудно согласиться с авторами ряда работ, где отведена служебная, вспомогательная, подсобная роль в системе воззрений Чернышевского его эстетической теории, литературно-критическим взглядам и историко-литературным представлениям. «Очерки гоголевского периода русской литературы», «Русский человек на rendez-vous», «Не начало ли перемены?» — документы выдающегося социально-исторического значения, а роль «Эстетических отношений искусства к действительности» в утверждении на русской почве философского материализма трудно переоценить.

Ссылаясь на предисловие Чернышевского к третьему, не состоявшемуся из-за цензурного запрета изданию его магистерской диссертации, В. И. Ленин писал, что Чернышевский «единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантовцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»<sup>8</sup>.

Можно найти в работах автора исследования «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (1856) суждения, вроде бы подтверждающие тезис: внимание идеологов революционной демократии в России середины прошлого века к проблемам литературы и искусства объясняется специфическими историческими условиями. «Литература у нас пока (разрядка моя.— У. Г.) сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведывание других направлений умственной деятельности». Об этом же писал и Герцен в «Развитии революционных идей в России».

Но было бы заблуждением сводить вопрос к переходящим конкретно-историческим условиям. Нельзя недооценивать веру Чернышевского и его единомышленников в неугающую действительность слова.

Демократы-шестидесятники, делая ставку на социальную революцию, оставались при этом просветителями. В их понимании движущих сил социального прогресса были, как известно, свои слабости, присущие и другим идеологам домарксова периода. Чернышевского отличала убежденность в том, что просвещение с его мощными орудиями — наукой и искусством даст «начало новому направлению человечества», окажет могучее воздействие «на развитие нашей общественной жизни», послужит «для блага человека». Эта убежденность в неисчерпаемости творческих созидательных возможностей человека нам дорога в наследии просветителей. Нам близка по духу их страстная вера в преобразующую энергию «здоровых идей», которые, как мы знаем, становятся материальной силой, овладевая массами.

Просветители — и Чернышевский в их числе — видели назначение литературы и искусства прежде всего в том, чтобы внушать «здоровые идеи» возможно большему числу людей. Научить, что делать и чего не делать. Раскрыть (воспользуемся определением Лессинга) «истинную сущность добра и зла».

Конечно, во многие из понятий этого ряда мы вкладываем сегодня более конкретный смысл. Но разве литература социалистического реализма, отстаивающая непреходящие общечеловеческие духовные и нравственные ценности, не занята раскрытием истинной сущности добра и зла в нашем понимании этих категорий?

Можно — и нужно! — трезво относиться к заблуждениям просветителей. В их исторических построениях было немало ложного. Революционный демократ Чернышевский успешнее других своих предшественников и современников, соратников и единомышленников преодолевал иллюзии «исторического романтизма». Но в свете тех сложностей, с которыми человечество сталкивается в наш суровый XX век, иные его представления о будущем выглядят наивно-идиллическими.

Не претендуя на всестороннее освещение проблемы, отметим, что принципиально по-новому ставится в обществе развитого социализма вопрос об «улучшении человеческой природы». Однако, как и наши предшественники, мы исходим из веры в способности личности к совершенствованию. А это одно из важнейших завоеваний революционно-демократической литературы, эстетики и критики.

Ратуя за «улучшение человеческой природы», Чернышевский, как известно, развивал идеи, заложенные в его статье «Антропологический принцип в философии» (1860). О тесной связи излагаемых в статье общеприципов с эстетическим учением Чернышевского, об ожесточенной борьбе вокруг этой статьи написано немало. Обратим, однако, внимание на то, что в отличие от «классических просветителей» он вовсе не полагал, что процесс совершенствования, мы бы сказали — воспитания нового человека безболезнен, протекает легко, чуть ли не автоматически. Более того, судя по ранним дневниковым записям Чернышевского, он уже в начале избранного им пути отчетливо понимал, как трудно бывает «всякому человеку» следовать своим

<sup>8</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 384.

убеждениям в жизни. Тем не менее он настаивал, что гарантией духовного развития личности является осознанная целеустремленность. Близка или далека цель, все равно ее нельзя «выпускать из мысли». Нельзя потому, что, как бы далека ни была она, ежеминутно представляются и в обыденный, нынешний день случаи, в которых надобно поступать одним способом, если имеете цель, и другим способом, если вы не имеете ее.

Этих правил придерживался в жизни сам Н. Г. Чернышевский, им следуют «новые люди» — герои его романов. Тема самовоспитания личности, диалектика взаимоотношений индивида и социальной среды в центре внимания автора «Что делать?». Эстафету Чернышевского подхватил Горький. 23 ноября (5 декабря) 1899 года он писал И. Е. Репину: «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он — все... Искусство же есть только одно из высоких проявлений его творческого духа, и поэтому оно лишь часть человека. Я уверен, что человек способен бесконечно совершенствоваться, и вся его деятельность — вместе с ним тоже будет развиваться, — вместе с ним из века в век».

Ленин видел величие заслуг Чернышевского-писателя в том, что он показал, каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как должен он идти к своей цели, какими способами и средствами ее осуществлять.

Преображая действительность, мы заняты революционным делом. Помогая партии воспитывать нового человека, формировать его сознание, советская литература учится этому искусству у наших предшественников, наследует и обогащает лучшие традиции революционно-демократического «человековедения».

### 3

Беллетристика Чернышевского, а чтобы быть совсем точными — романы «Что делать?» и «Пролог», несомненно, важнейшая часть его обширного литературного наследия.

Казалось бы, сказанное не нуждается в аргументации — настолько оно очевидно. Тем более что история создания «Что делать?» и его «жизнь во времени» изучаются довольно интенсивно. Сама по себе эта ис-

тория могла бы явиться канвой увлекательного и поучительного повествования о всепобеждающей силе вдохновенного слова, воплощающего высокий идеал.

Однако беллетристическое творчество Чернышевского до сих пор еще остается в значительной мере неисследованным материалом.

Вокруг «Что делать?» — и это сегодня ведомо каждому старшекласнику — вот уже более ста пятнадцати лет не утихают страсти, идет борьба. Роман породил целую библиотеку книг-исследований, комментариев. И все-таки идейная концепция великого романа, зашифрованный подтекст его, «глубокий реалистический пласт», в существенной своей части только теперь начинает перед нами раскрываться. Докопаться до главного смысла бессмертного создания Чернышевского непросто. Как свидетельствует историк русской общественной мысли Е. Г. Плимак, сокровенная суть «Что делать?» раскрывается лишь в контексте с ее деятельностью Чернышевского, его публицистики, автобиографических заметок и дневников, других документов эпохи.

С другой стороны, хотя написаны десятки серьезных работ, в той или иной мере касающихся творческого метода и поэтики Чернышевского-писателя, только с недавних сравнительно пор началось изучение этого круга проблем с применением современных исследовательских приемов. Свообразие романов Чернышевского как явления отечественной и мировой художественной культуры далеко еще не изучено.

А ведь вопросы художественности применительно к прозе Чернышевского приобрели значение принципиальное еще при жизни писателя. Враги идей, воплощенных в «Что делать?», представители крайне правой консервативно-охранительной критики (Аскоченский, Катков, Цитович и иже с ними), сразу же ринулись в атаку на роман, объявив его безнравственным, опасным и бездарным. Эта триада, о которой авторы новейшего исследования пишут, что «жизнь давно перечеркнула ее» («Чернышевский или Нечаев?»), на деле оказалась весьма жизнестойкой, особенно в последней своей части. Эта версия имела хождение даже среди иных критиков, в целом разделявших пафос книги.

«Как в голову может прийти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышевского, само-

го большого и талантливого представителя социализма до Маркса? — возмущался В. И. Ленин. — ...недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делали резолюционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перелачал... Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было нигуда не годное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а неделю. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь»<sup>9</sup>.

С репидивами снобистского, высокомерно-го отношения к литературно-художественному наследию Н. Г. Чернышевского подчас встречаешься и ныне. И проявляется оно по-разному. Авторы даже специальных филологических работ нередко вопросы художественности — применительно к романам Чернышевского — если не обходят начисто, то свертывают, ограничиваясь попутными малозначимыми общими замечаниями декларативного свойства. «В большинстве книг и исследований о художественном творчестве Н. Г. Чернышевского, в частности о его романах «Что делать?» и «Пролог», — справедливо отмечается в одной из публикаций Саратовского университета, — первоочередное внимание исследователей привлекала и привлекает историческая основа этих художественных произведений. Обращаясь к эпохе 60-х годов XIX века, авторы многочисленных работ о Чернышевском стремятся выяснить, как решает Чернышевский-писатель в своих произведениях важнейшие проблемы современности, как отразилась в них политическая борьба 60-х годов, прежде всего борьба революционных демократов и либералов; какие, наконец, конкретные исторические события, обстоятельства, факты упоминаются на той или иной странице романа... Тема «Чернышевский-художник» в

нашем литературоведении до сих пор остается еще в известной степени «белым пятном»...»<sup>10</sup>.

Несколькими годами раньше А. Лебедев в своей монографии «Герои Чернышевского» тоже писал о «вполне реальном противоречии между декларативным признанием Чернышевского — замечательно интересного художника и фактически отсутствием почти всякого внимания именно к художественной стороне его творчества». И как бы в подтверждение этого тезиса одновременно с лебедевой работой появилась книга, один из авторов которой, историк, в статье «Владимир Обручев — герой романа Н. Г. Чернышевского «Алферьев», по сути, настаивал на том, что произведения этого писателя представляют интерес прежде всего с фактографической стороны и должны поэтому рассматриваться как своего рода исторический источник»<sup>11</sup>.

Откровенно «утилитарный» подход к прозе Чернышевского без должного учета ее эстетической природы восходит к вульгарно-социологическим схемам и противоречит подлинно марксистско-ленинской методологии. Классики марксизма, оценивая «Человеческую комедию» Бальзака или творчество Льва Толстого, видя в первой реалистически воспроизведенную историю французского общества, а во втором — «зеркало русской революции», не забывали притом, что речь идет о произведениях художественных, о своеобразном, эстетическом отражении реальной действительности.

Между тем в романах и повестях Н. Г. Чернышевского не только историки русского общества и общественной мысли, но и иные литературоведы все еще склонны видеть лишь беллетризованное изложение, «пересказ» теоретических положений, политических тезисов, организационных планов и замыслов революционеров-шестидесятников, почти документальные свидетельства. Эта «традиция» восходит к Плеханову, который говорил об огромном общественном значении романа «Что делать?», о его благотворном влиянии на читателя, о нравственной чистоте главных действующих лиц, но

<sup>10</sup> «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы». Вып. 5. Саратов. Издательство Саратовского университета. 1968, стр. 117.

<sup>11</sup> См.: «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М. Издательство АН СССР. 1962, стр. 468.

<sup>9</sup> «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М. «Художественная литература». 1967, стр. 653.

одновременно оговаривался: «...художественных достоинств в нем (в романе.— У. Г.) очень мало». И даже делая в этом отношении исключение для «Пролога», полагал, что «он представляет собою нечто вроде воспоминаний, облеченных в беллетристическую форму»<sup>12</sup>.

Надо ли удивляться долгожитию так называемых прототипической или автобиографической версий? В персонажах романов Чернышевского искали не художественные обобщения, жизненные типы, а параллели с реальными лицами, находили черты «аэтиопоррета», намеки на определенные общественные и интимные ситуации и т. п.

Кто будет оспаривать наличие автобиографического элемента в беллетристике Чернышевского, во многом определяющего ее художественное своеобразие? Установлены прототипы ряда персонажей его романов и повестей. Академик М. Храпченко имел основание утверждать, что «первоначально толчком (разрядка моя.— У. Г.) для создания образа Рахметова могли послужить биографии Некрасова, Герцена, Огарева, которые рано порвали духовные связи с взрастившей их социальной средой. Переход на сторону народа и революции выдающихся людей из привилегированных кругов общества во второй половине XIX века стал весьма заметным явлением. Вспомним Софью Перовскую, В. Фигнер, Н. Морозова, а позже большевиков — Г. В. Чичерина, Е. Д. Стасову, Инессу Арманд и других. В этом смысле образ Рахметова не был исключением, в нем заключена определенная жизненная тенденция»<sup>13</sup>.

Такая точка зрения ничего общего не имеет с гипертрофированным интересом к историческим реалиям, за которыми теряется самый художественный образ. Прототип может явиться первоначальным толчком к созданию художественного образа-типа. Но последний ведь несводим к прототипу.

Н. Г. Чернышевский едко иронизировал над людьми, «не умеющими читать и не понимающими, что «роман надобно читать, как роман». «Они все ищут: с кого срисовал

автор вот это или вот то лицо? с себя? или с своей кухни? или с своего приятеля? Они не могут успокоиться, пока не отыщут чего-нибудь такого». Писатель решительно возражал против метода такого «анализа» произведений искусства, когда учитывается все за исключением творческой фантазии — «главного в поэтическом таланте».

Другими словами, гиперболизация автобиографизма и прототипичности в конечном счете приводит к тому, что героям Чернышевского отказывается в значении художественных обобщений, а сами романы выводятся за пределы «высокого реализма».

За последние десять — пятнадцать лет появился ряд серьезных исследований, в которых «прототипическая» версия развенчивается. Сделана попытка понять действительную природу романов и повестей Чернышевского. При этом расшифровка прототипов и раскрытие исторических реалий становится началом, а не концом, одной из предпосылок, а не итогом, отправной точкой при анализе текста, а не фактором, подменяющим анализ<sup>14</sup>.

Опыт Чернышевского-писателя поучителен. Его осмысление актуально в свете задач, стоящих перед литературой нашего времени. Пожалуй, никогда еще так остро, как теперь, не ставилась проблема соотношения факта и вымысла в художественном произведении. Диалектика взаимосвязей правды факта и правды вымысла, жизненного багажа писателя и отражения его личного опыта в гворчестве сложна. В ходу однобокие решения этого круга вопросов, решения, зачастую дезориентирующие как писателя, так и читателя.

Заслуживает внимания в этой связи трезвая мысль Андре Моруа, художника, успешно работавшего в жанре литературной биографии и много думавшего над вопросами психологии творчества. «Вопреки точке зрения Пруста,— писал А. Моруа,— жизнь романиста оказывает существенное влияние на его творчество, хотя, в противовес взглядам Сент-Бёва, произведение бесконеч-

<sup>12</sup> Г. В. Плеханов. Сочинения. М. 1924, т. V, стр. 114; Г. В. Плеханов. Н. Г. Чернышевский. СПб. Издательство «Шиповник». 1910, стр. 70.

<sup>13</sup> М. В. Храпченко, «Реалистическое обобщение и его формы» (в книге «Художественное творчество, действительность, человек». М. «Советский писатель». 1976, стр. 110).

<sup>14</sup> Помимо названных выше работ, сошлемся на содержательные публикации Н. А. Вердеревской «Становление типа разночинца в русской реалистической литературе 40—60-х годов XIX века» (Казань, 1975) и С. А. Рейсера в академическом издании «Что делать?» («Литературные памятники». Л. «Наука» 1975).

но глубже и шире биографии самого писателя».

Именно это обстоятельство игнорируется сторонниками «прототипической» версии и ее всевозможных вариаций.

Анализ творческого метода и поэтики Чернышевского-романиста неизбежно будет поверхностным, неполным и приблизительным, если он проводится без учета основополагающих концепций Чернышевского — теории искусства и литературного критика.

Еще Пушкин призывал судить художника по законам, им самим над собою признанным. В меру своего таланта Чернышевский как писатель стремился реализовать многие из тех эстетических требований, которые он сформулировал как теоретик.

Не будем здесь повторять азы эстетики реализма, выдающимся пропагандистом которой был Н. Г. Чернышевский. Обратим внимание на те положения его эстетического кодекса, которые являются своего рода ключом к поэтике романов Чернышевского.

«...высочайшая красота, — писал он, — форма, развившаяся совершенно здоровым образом. Если хотите, красоте и гению не нужно удивляться; скорее надобно было бы удивляться только тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для этого человеку нужно только развиться, как бы ему всегда следовало развиваться».

С идеей развития «совершенно здоровым образом» и гармонии как цели развития тесно связано и отстаиваемое Чернышевским представление о художественности. Первым условием художественности в широком смысле признается внутреннее единство всех компонентов беллетристической формы и подчинение их идейному замыслу: «Как бы замысловата или красива ни была сама по себе известная подробность — сцена, характер, эпизод, — но если она не служит к полнейшему выражению основной идеи произведения, она вредит его художественности».

О романах Чернышевского подчас рассуждают чуть ли не как об ученых трактатах. Существуют десятки определений жанровой природы «Что делать?», причем преобладают такие, в которых подчеркивается аналитический характер книги. Кто будет отрицать предельную насыщенность прозы

Чернышевского идейно-философским и социально-политическим содержанием? Но можно ли недооценивать ее высокий эмоциональный накал?

Чернышевский-теоретик утверждал: «Истинная жизнь — жизнь ума и сердца» (разрядка моя. — У. Г.). Здесь же сказано, что «в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа». В другой связи он подчеркивал, что поэзия «требует воплощения идеи в событии, картине, нравственной ситуации, каком бы то ни было факте психической или общественной, материальной или нравственной жизни». В противном случае «идея остается отвлеченною мыслью, потому остается холодною, неопределенною, чуждою поэтического пафоса». Если социальная тенденция не воплощается в полнокровных живых образах и типических ситуациях, сочинения стоят вне искусства, оставаясь голлою дидактикой.

Этим постулатам Чернышевский оставался верен не только в своих теоретических и литературно-критических работах — он стремился им следовать и в своей художественной прозе.

Автора «Что делать?» его идейные противники обвиняли в плоском рационализме, заданности, схематизме. Между тем его проза создавалась по законам новой художественности, которым подчинены все формообразующие элементы этого оригинального, истинно новаторского произведения.

«Своеобразие «Что делать?», — сказано в предисловии П. Николаева к изданию романа в «Библиотеке всемирной литературы», — заключается в том, что книга эта органично и естественно сочетает строго продуманную и логичную революционно-философскую систему, стройное учение о социалистическом переустройстве общества, с глубоко личной, местами лирической интонацией рассказа о частных судьбах частных людей; она реализует в неповторимом художественном целом открытый публицистический пафос злободневности, пафос политического воззвания, революционной прокламации и высоту великих общечеловеческих идеалов, непреходящих нравственных ценностей человечества.

Это случай необычайный и в истории литературы, и в истории освободительного движения.

Печатью необычайности отмечено в романе все».

Однако как бы высоко мы ни ставили роман «Что делать?», активно внедряя его идеи и образы в сознание подрастающих поколений, неизменно включая его в школьные программы по русской литературе, многократно переиздавая, не должно забывать, что наследие Чернышевского-писателя отнюдь не исчерпывается романом «Что делать?». Среди дошедших до нас незавершенных сочинений, написанных им на каторге и в ссылке, выделяется роман «Пролог», пока недостаточно исследованный. Комментарии к нему чаще всего беглы и не всегда вняты. Между тем речь идет о выдающемся самобытном явлении в истории русской классической литературы.

В речи «Чернышевский как писатель», произнесенной полвека назад, А. В. Луначарский заявил: «Чернышевский написал... изумительный роман — «Пролог»... я эту книгу читал с неподдельным восхищением, я не мог от нее оторваться... Будет преступлением с нашей стороны, если мы не ознакомим сейчас с Чернышевским нашу молодежь, я глубоко убежден в том, что молодежь проходит мимо него потому, что просто не знает его...» Здесь же сказано: «Пролог» в целом — литературный шедевр, к сожалению, незаконченный (правда, он прерывается, когда все основные линии и основные фигуры уже ясны)».

Первый советский нарком просвещения, говоря о беллетристическом и литературно-критическом наследии Н. Г. Чернышевского, считал, что мы должны к нему «относиться... как к живой силе, к которой нам нужно опять прибегнуть...»<sup>15</sup>.

В этом направлении сделано уже немало. Но, как мы видели, еще недостаточно. Литературоведение в долгу перед Чернышевским-писателем. Наука о литературе призвана вооружить современного читателя объективными критериями, суммой знаний, необходимых для понимания и оценки как идейного содержания, так и эстетического своеобразия его произведений.

Противники Чернышевского обвиняли его в пропаганде узко понимаемого реализма на грани натурализма, реализма в формах са-

мой жизни, унылого копиизма. Его объявляли адептом имитации действительности, ее скоропреходящих интересов. Соответственно его проза объявлялась (скажем, Н. Страховым в книге «Из истории литературного нигилизма 1861—1865») сугубо дидактической, плоскоморализаторской, якобы канонизирующей и регламентирующей героя, его поведение, психологию с позиции искусственно сконструированного догматического идеала. Ту же точку зрения навязывают читателю и авторы современных зарубежных сочинений, посвященных Чернышевскому-писателю.

Поэтому полон глубокого смысла тот факт, что замечательный советский прозаик-новатор Чингиз Айтматов, выступая против имитации реализма в форме хронологического поствозвония, отчета, «деловой прозы», назвал имя Чернышевского первым в ряду «выдающихся писателей всех времен и народов, для которых вообще не мог стоять вопрос: к а к ему надо писать, какими приемами пользоваться, чтобы лучше выразить волнующую его мысль». Ссылаясь на Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Бальзака, Булгакова, Томаса Манна, Твардовского, Хемингуэя, Маркеса, Апдайка, Чингиз Айтматов утверждает: «Истинный писатель создает, открывает новую художественную реальность на основе общечеловеческого и личного духовного опыта — философского, нравственного, эстетического, пользуясь для этого всеми необходимыми и доступными ему изобразительными средствами» («Литературная газета», 29 марта с. г.).

#### 4

• Наследие Н. Г. Чернышевского-критика сохраняет сегодня отнюдь не только историко-литературное значение.

Как литературный критик он последовательно развивал методологию своего великого учителя В. Г. Белинского. Называя критику «движущейся эстетикой», «неистовый Виссарийон» утверждал, что «каждое произведение искусства непременно должно рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической современности, и в отношениях художника к обществу; рассмотрение его жизни, характера и т. п. также может служить часто к уяснению его создания. С другой стороны, невозможно упускать из

<sup>15</sup> А. В. Луначарский. Собрание сочинений в восьми томах. М. «Художественная литература». 1963, т. 1, стр. 252, 257, 259.



виду и собственно эстетических требований искусства».

Но достаточно ли мы внимательны к урокам Чернышевского — литературного критика? Вопрос вовсе не праздный.

Подчас, следя за спорадически возникающими у нас дискуссиями о предмете и задачах литературной критики, ее роли и месте в общем литературном процессе, о степени воздействия на читателя, наконец о самом искусстве («технологии») критического анализа, прямо диву даешься.

Читая некоторые статьи участников обсуждений, людей, видать, образованных и даровитых, можно подумать, что мы «голые люди на голой земле». Будто и не было в России до нас таких гигантов критической мысли, как Белинский, Чернышевский, Добролюбов и Писарев, словно не трудились на критическом поприще Валериан Майков и Аполлон Григорьев, в конце прошлого века — Михайловский, а в предреволюционные годы — славная когорта критиков-марксистов: Воровский, Луначарский, Ольминский...

Считается в порядке вещей каждую очередную дискуссию начинать, как говорится, с нулевого цикла — с вопросов, казалось бы в принципе давным-давно решенных самой жизнью, практическим опытом наших предшественников: что же это все-таки такое — литературная критика? кому она нужна (если нужна) — читателю или писателю?

Так, в дельной и в целом содержательной статье Казбека Султанова «Поголок или небо?» («Литературная газета», 15 марта с. г.) наряду с проблемами, действительно еще не решенными, наряду с мыслями, безусловно заслуживающими поддержки, выдвигаются и тезисы, отвергнутые всей историей критики, отечественной и мировой.

Ну кто будет спорить с тем, что критику надлежит «быть личностью»? «Личность — не манера письма, — резонно пишет К. Султанов. — Личность находит себя на собственном уровне миропонимания, на уровне определенной системы ценностей. Залог удачного приближения к существу творческой индивидуальности художника — в творческой индивидуальности самого критика».

Сказано точно, без обиняков.

К. Султанова тревожит (и не без оснований), «личностная недостаточность критиче-

ских работ», «подозрительная синхронность мышления разных критиков». Ссылаясь на Белинского, автор итожит: «Мы же как будто стыдимся обнаженности душевного движения. Читатель соскучился, ждет статью как откровение, как решение собственной сокровенной задачи».

Согласны. Иной раз стоит еще и еще раз вернуться к истинам беспорным, но позабытым.

Однако жаль, что участники дискуссий, пытаясь ответить на вопрос «как и для кого пишет критик?», подчас забывают об уроках Белинского и его преемников.

Думающему читателю, по словам К. Султанова, «критика вопрошающая ближе критике отвечающей, тем более поучающей писателя. Поучать — это отрезать себя от обязательного воздействия литературы на критику. Сама литература — источник жизнеспособности критики».

С другой стороны, нередко утверждается превосходство «исповедальной критики» над критикой аналитической. Поэтому уже не удивляет, хотя и огорчает, когда, скажем, в «Литературном обозрении» (1978, № 3) критик начинает разговор о романе с оговорки: «Он (роман. — У. Г.) вызывает споры, домыслы, различные толкования. Меньше всего мне хотелось бы стать толкователем...»

Слов нет: эффективность догматической, дидактической, назойливо поучающей критики, навязывающей писателю и читателю свои необоснованные толкования, равна нулю. Но не менее бесплодна и критика вопрошающая — только ставящая вопросы, но избегающая отвечать на них, опираясь на знание самой жизни и законов ее отражения в искусстве.

Вот такая, с позволения сказать, «критика», которая принципиально освобождает себя от миссии судить о жизни и о литературе, наверняка никому не нужна. И, думается, Владимир Шапошников в своей реплике на страницах «Литературной газеты» (29 марта с. г.) вовремя напомнил о том, что статьи «Когда же придет настоящий день?», «Что такое обломовщина?», «Мыслящий пролетариат», «Русский человек на rendez-vous» не только великолепные образцы собственно литературно-критического анализа, но и шедевры яркой публицистики. «Сколько в этих статьях дерзких (иначе не скажешь) «лирических отступлений», сколько страниц в них посвящено не

литературе, а самой жизни, самым насущным, самым больным ее проблемам».

Ленин говорил о «могучей проповеди» Чернышевского, умевшего своими подцензурными статьями, в том числе и литературно-критическими (о повести Тургенева «Ася», о рассказах Николая Успенского и др.), воспитывать настоящих революционеров.

Чернышевскому как литературному критику было дано, опираясь на творчество писателей-современников (Тургенева и Толстого, Островского и Огарева, Щедрина и Успенского), влиять на политические события его времени.

Всей своей деятельностью он утверждал дух свободного исследования литературы и жизни в их многообразных взаимосвязях.

Русская революционно-демократическая критика в лучших своих образцах была критикой и вопрошающей и отвечающей. Она училась у литературы и литературу учила (не поучала — учила!), направляла и в этом видела свой гражданский долг.

Статьи Чернышевского подводили к выводу: великое предназначение искусства заключается в том, чтобы научить людей видеть и понимать прекрасное в самой жизни, помогать им умножать подлинную красоту жизни. Следовательно, искусство должно мобилизовать силы общества на борьбу против всего, что стоит на пути к этому идеалу. Источником силы литературы как искусства является верность интересам народа, жизненным потребностям нации. Место писателя — в авангарде борьбы за достойное человечества будущее.

На языке эстетических категорий проводилась, таким образом, мысль о необходимости и закономерности коренного переустройства социального бытия.

Сошлемся для примера на статью Н. Г. Чернышевского «Не начало ли перемены?». Формально перед нами рецензия на издание «Рассказы Н. В. Успенского. Две части. Спб. 1861 г.». На деле это манифест революционеров-шестидесятников. В центре внимания критика качественные сдвиги, происшедшие в сознании народа, в самой действительности. Говоря об их своеобразном отражении в литературе, Чернышевский призывает писателей смелее преодолевать инерцию прошлого. «Гоголевское направление» неисчерпаемо, заслуги его велики, а возможности безграничны. Однако

новые времена требуют и новых песен. В литературе народ представлен как объект истории, пора взглянуть на него как на активную силу. Еще в статье о «Губернских очерках» Щедрина было заявлено: щедринская сатира — необходимо новая по сравнению с гоголевской ступень в развитии критического реализма на русской почве.

Что касается «невнимания» или «безразличия» Чернышевского к эстетической природе, художественному качеству анализируемых им литературных явлений, то совсем нетрудно убедиться в беспочвенности подобных упреков. Стоит обратиться хотя бы к его статье о Льве Толстом.

Даже среди признанных шедевров русской и мировой критической мысли мало найдется образцов такого глубокого проникновения в самую суть творческого процесса. Чернышевский-критик был наделен абсолютным художественным чутьем.

О «Детстве» и «Отрочестве», о «Военных рассказах» Толстого было сказано немало лестного и до появления в восьмой книге «Современника» за 1856 год рецензии Чернышевского на первое отдельное издание этих произведений. Немало о них написано и в последующие годы. Незаурядность таланта молодого прозаика признавалась всеми. Но никому не удавалось тогда на основе ранних сочинений Толстого (автору «Детства» было двадцать четыре года, «Севастопольские рассказы» он написал в двадцать семь лет) определить с такой точностью отличительные особенности дарования писателя, предсказать направление, в котором будет развиваться его творчество.

В пятнадцатистраничной рецензии Чернышевского впервые отмечено поразительное умение графа Толстого воспроизводить на языке искусства понятия русских крестьян. Критик, таким образом, подметил тенденцию, которая, со временем разившись, приведет к перелому в мировоззрении и творчестве Льва Николаевича Толстого. Спустя полвека, подводя итоги противоречивой идейно-художественной эволюции гениального писателя, В. И. Ленин скажет, что Толстой явился выразителем силы и слабости протеста многомиллионного русского патриархального крестьянства, протеста против антинародного социального и политического строя, против жестокого гнета помещиков и буржуазии.

Н. Г. Чернышевский писал о редкостном таланте Толстого-повествователя, раскрыл

особенности его психологизма. «Психологический анализ,— читаем мы на первых же страницах статьи,— может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином». Далее речь идет об «изображении внутреннего монолога», которое, по словам критика, надобно без преувеличения назвать удивительным.

Н. Г. Чернышевский утверждал, что «чистота нравственного чувства» есть сила, сообщающая толстовским произведениям «совершенно особенное достоинство». Шаг за шагом критик приближает нас к пониманию природы «совершенно оригинальных черт таланта» Толстого; этого писателя всегда отличал повышенный, обостренный интерес к моральной стороне явлений. Социально-этические проблемы, вопросы нравственности, жизнь человеческого духа во всех ее переплетениях и переливах, как известно, составляют один из главных нервов творчества зрелого Толстого.

Статья о Толстом, как и другие литературно-критические выступления Чернышевского, отличалась боевым, наступательным духом. Она была направлена против эстетствующих либералов, в том числе из окружения молодого писателя. Эти «друзья» Толстого, превратно истолковывая пафос его рассказов и повестей, пытались причислить его к «бессознательным представителям» теории свободного, отрешенного от общественных интересов и забот творчества.

И хотя отношения автора «Севастопольских рассказов» с журналом «Современник», ставшим с приходом в редакцию Чернышевского трибуной революционной демократии, складывались отнюдь не безоблачно и Толстой бывал несправедлив в своих суждениях о Чернышевском, великий писатель отдавал должное уму критика, силе его выступлений. Об этом свидетельствуют некоторые дневниковые записи Толстого.

Н. Г. Чернышевскому-критику не нужна была «дистанция времени», чтобы вынести свое суждение о литературном явлении. Он не ждал, пока оно станет историей. Почти все его литературно-критические статьи

явились откликом на книги, только-только увидевшие свет. К современности были повернуты и его историко-литературные исследования, в том числе фундаментальные «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855—1856).

Критик шел в ногу с жизнью, решительно поддерживая произведения, в которых, как в «Губернских очерках» Н. Щедрина, было «очень много правды, очень живой и очень важной».

Особого разговора заслуживает филигранное мастерство Чернышевского-критика, в совершенстве владевшего богатой палитрой красок, умевшего облечь свою мысль в форму, соответствующую цели данной литературно-критической акции и характеру художественного произведения, о котором речь.

Кажется, никто так определенно и ясно не сформулировал задачи, стоящие перед критикой, этой специфической областью литературного творчества, как Н. Г. Чернышевский в самом почти начале своей журнально-публицистической деятельности.

Статья «Об искренности в критике» (1854) имела, естественно, свой конкретный полемический адрес: она была нацелена против господствовавшей в русской периодике первой половины 50-х годов узкоэстетической, «мягкой и уклончивой» критики. Традиции Белинского предавались забвению — само имя «неистового Виссарiona» все еще находилось под строгим цензурным запретом.

Но это блестящее выступление двадцатипятилетнего Чернышевского шире своего конкретного задания. Канули в прошлое полемические адресаты. Остались принципы, выраженные критиком с предельной отчетливостью. И принципы эти по сей день живы. Их подхватила дооктябрьская марксистская критика, утверждая ленинское учение о партийности литературы и искусства. Им верна наша советская многонациональная литературная критика.

Уступчивость, уклончивость, «мягкосердечие» критиков-либералов свидетельствовали об их бессилии, безразличии, оппортунизме. Чернышевский призывал прямо, ясно и без всяких недомолвок высказывать свое мнение о достоинствах и недостатках произведения независимо от того, насколько громким именем оно подписано.

С течением времени все изменяется. Изменяется, говорит Чернышевский, и положение писателей в отношении к понятиям читателей и критики. И справедливость требует при переходе от суждений об отдельных произведениях писателя к общему суждению о значении всей его литературной деятельности эти изменения квалифицировать объективно.

Не будем излагать содержание этой богатой идеями работы Н. Г. Чернышевского. Протицируем еще только один абзац, составляющий, как нам кажется, сердцевину концепции Чернышевского:

«Критика есть суждение о достоинствах и недостатках какого-нибудь литературного произведения. Ее значение — служить выражением мнения лучшей части публики и содействовать дальнейшему распространению его в массе. Само собою разумеется, что эта цель может быть достигаема сколько-нибудь удовлетворительным образом только при всевозможной заботе о ясности, определенности и прямоте». В переводе на современную терминологию речь идет о партийной принципиальности критики, ее идейной последовательности.

Литературное наследие Н. Г. Чернышевского и наша современность — проблема многоаспектная. Мы коснулись лишь некоторых ее сторон.

Ученые — литературоведы, историки и философы, собравшиеся года два назад за «круглым столом» в редакции «Вопросов литературы», чтобы обсудить состояние и перспективы исследования русского революционно-демократического наследия в свете задач современности, единодушно признали вредоносность «иллюзии изученности» духовных богатств, оставленных нашими предшественниками.

В одной солидной современной работе сказано о диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», что ее историческое значение «следует соразмерять не с сегодняшним уровнем наших представлений, а с ее подлинной ценностью в период появления».

Историко-ретроспективный подход к наследию Н. Г. Чернышевского, в том числе к его эстетической теории, важен и нужен, но недостаточен. Подлинная ценность его вклада в сокровищницу русской и мировой духовной культуры по-настоящему осознается именно с высоты «сегодняшних наших представлений» о литературе и искусстве, их предназначении.

Недавно в одном из журналов мне довелось прочитать, что современная молодежь видит в романе «Что делать?» уже не столько программу на будущее, сколько рассказ о прошлом.

Жизнь во времени классического литературного произведения полна неожиданно нежданностей. На то она и жизнь. Со временем нередко меняется самая точка зрения на произведения, признанные классическими. Ведь они не музейные реликвии!

Но многое, очевидно, зависит и от нас самих — исследователей и пропагандистов классической литературы. Все ли сделано, чтобы идейно-нравственная программа жизни, блистательно развернутая Чернышевским «в действии, в конкретных характерах и типах, в столкновениях с враждебными силами», не воспринималась нынешними читателями всего лишь как отзвук давно минувших дней?

Н. Г. Чернышевский не относится к числу тех писателей прошлого, которых обычно вспоминают — с уважением и признательностью — преимущественно в дни их юбилеев. Есть литераторы, чьи творения в свое время волновали, будоражили общество, а сегодня представляют интерес разве что для дотошных соискателей ученых степеней.

Не то Чернышевский.

Характерно, что, например, юные читатели «Комсомольской правды», споря о моральном облике молодого человека эпохи развитого социализма, обращаются за аргументацией к автору «Что делать?». Не менее симптоматично второе рождение этой книги на театральных подмостках и телеэкранах.

Не так давно в печати промелькнуло сообщение о съемках в Италии многосерийного художественного фильма по роману Чернышевского. «Мы остановили свой выбор на этом романе, — сказал режиссер, — потому, что поднятые в нем вопросы, казавшиеся во времена Чернышевского чуть ли не утопическими, поразительно актуальны в наши дни. Роман этот необычайно современен, так как в нем автор говорит о необходимости активного участия в борьбе за лучшую жизнь, о преимуществах кооперации, о свободе личности и эмансипации женщины» («Литературная газета», 19 октября 1977 года).

...Н. Г. Чернышевский не был создателем «оптимистических произведений» в их облегченном, идеалистическом варианте. Он знал,

что исторический путь «не тротуар Невского проспекта». Ему было чуждо безответственное квазиреволюционное фразерство. Убежденный революционер, он выступал против экстремизма «справа» и «слева», против скороспелых решений, поспешных акций, играющих на руку врагам социального прогресса. Держа руку на пульсе своего времени, он слышал сердцебиение Истории.

Сегодня становятся реальностью многие дерзновенные его предвидения, некогда казавшиеся фантастическими.

Он мечтал: «Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира... выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества». Он твердо, всею

силою души споспешествовал этому.

Родина Н. Г. Чернышевского, первая страна победившего социализма,— в авангарде современного мира.

«...наша с тобой жизнь принадлежит истории,— писал своей жене Ольге Сократовне заточенный в Алексеевский равелин Петропавловской крепости «государственный преступник» Чернышевский,— пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью...» (письмо от 5 октября 1862 года).

В этих словах ни грама самохвальства.

Время подтвердило право Н. Г. Чернышевского на признательность и любовь народа.

---

С. МАШИНСКИЙ



## В ТРАДИЦИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО РОМАНА

Г. Е. Тамарченко. Чернышевский-романист. Л. «Художественная литература». 1976. 459 стр.

**Н**иколай Гаврилович Чернышевский принадлежит к числу тех русских писателей, изучению которых советская наука давно уделяет особенно пристальное внимание.

Но при безоговорочном признании масштаба личности Чернышевского и значения его деятельности (в том числе и его романов) в истории русской общественной мысли роль этого писателя в художественном развитии, и в частности в развитии русского романа, все-таки недооценивалась. Значение его романов сводилось к пропаганде передовых идей — последовательного революционного демократизма, того, что составляло главное содержание во всех областях его деятельности. Чернышевский как романист словно бы выпадал, таким образом, из русской литературно-художественной классики.

От этой тенденции несвободна была и прежняя книга самого Г. Тамарченко («Романы Н. Г. Чернышевского». Саратов. 1954).

Своеобразие новой работы Г. Тамарченко заключается в том, что Чернышевский-романист исследован здесь в контексте развития русского романа той поры, когда он достиг своего величайшего расцвета и мирового значения, когда в качестве романистов выступили Толстой и Достоевский. Речь идет не о том, что автор рецензируемой книги считает романы Чернышевского такими же вершинами русского искусства, как «Война и мир» или «Преступление и наказание». Речь о другом...

Постановка исследовательской задачи в книге Г. Тамарченко определяет и ее структуру. Особенно пристальное внима-

ние исследователя привлекает, во-первых, история формирования тех граней личности и мировоззрения Чернышевского, которые нашли выражение именно в его романах; во-вторых, те особенности поэтики его произведений, которые ставят их у истоков русского интеллектуального романа; в-третьих, характер влияния, воздействия романа «Что делать?» на литературный процесс, понятый как процесс активного взаимодействия, творческой полемики между величайшими романистами первого преформенного десятилетия и Чернышевским.

В последних двух главах книги Г. Тамарченко размышляет над теми поисками новых романских форм, которые вел сам Чернышевский после «Что делать?». Автор показывает, как, преодолевая просветительскую ограниченность, породившую некоторые художественные слабости «Что делать?», Чернышевский намечал свой собственный путь в том процессе создания новых жанров романа, который развернулся во второй половине 60-х годов.

Такой аспект исследования оказался вполне плодотворным: он привел к пересмотру многих издавна сложившихся в литературоведении представлений. В работе привлекает как раз смелость и последовательность научной мысли, не останавливающейся ни перед авторитетом традиции, ни перед решительным пересмотром некоторых трактовок, выдвинутых в прежних работах автора.

Книга «Чернышевский-романист» полемична по существу, а нередко и по форме. Автор строго учитывает все, что за последние двадцать — тридцать лет было сделано в изучении беллетристического наследия

Чернышевского. Благодаря тому, что автор учитывает все сделанное в области конкретного анализа поэтики Чернышевского-романиста, тщательно рассматривает аргументацию других исследователей и столь же тщательно аргументирует собственную точку зрения, возникает то новое, что вносит его работа в изучение прозы Чернышевского.

Первый раздел, названный «Путь к роману», охватывает эволюцию личности и жизненных представлений Чернышевского на протяжении пятнадцати лет — от поступления в университет до ареста. Однако это не суммарный пересказ известных фактов. Г. Тамарченко здесь исследует те особенности личности и идейного становления писателя, которые закономерно привели его к форме романа и сказались в его работе романиста. Формирование целостного мировоззрения Чернышевского раскрывается в этом разделе как многолетний и противоречивый процесс. При этом неизменным остается внимание исследователя к нравственному максимализму Чернышевского и его острому интересу к нравственно-психологической проблематике. Нам становится яснее, почему Чернышевский начал с беллетристических опытов и кончил возвращением к беллетристической форме. В книге доказывается, что новое обращение к художественному слову после десятилетнего опыта литературно-критической, философской и политико-публицистической деятельности было вызвано не внешними причинами (невозможностью продолжать публицистическую работу после ареста), но вызреванием проблематики, которую можно было разрабатывать только в романе.

В этом разделе по-новому освещены и литературные отношения Чернышевского с Некрасовым — не как одностороннее влияние идеолога революционной демократии на литературную позицию и творчество поэта, но как активное взаимодействие; в первые годы журнальной работы влияние поэта и редактора на молодого сотрудника было особенно значительным, а начиная с 1856 года Некрасов и Чернышевский совместно вырабатывали творческие принципы нового — революционно-демократического — литературного направления. Опыт совместной работы с Некрасовым и влияние творчества поэта чрезвычайно обогатили духовный мир будущего романиста.

Впрочем, названный раздел, довольно об-

ширный по объему, мог быть теснее связан с основной проблематикой книги. Сейчас эта связь больше подразумевается, нежели реально присутствует. В самом деле, довольно подробно прослежены здесь личные отношения Некрасова и Чернышевского, выявлен характер воздействия Чернышевского-критика на Некрасова, а также Некрасова — редактора и поэта на Чернышевского-критика. А вот какое влияние оказал Некрасов на Чернышевского-романиста — эта тема, к сожалению, только намечена здесь, но не получила сколько-нибудь существенного развития.

Специалисты давно обратили внимание на принципиальное значение статьи «Не начало ли перемены?» в развитии социально-политических взглядов Чернышевского; в эзоповских иносказаниях этой статьи известный саратовский ученый Е. Покусаев в свое время раскрыл тщательно замаскированную мысль о перспективах революции в России. Г. Тамарченко, однако, нашел тут нечто новое, существенное для выяснения интересующей его темы. Он показал, что суждения Чернышевского о возможностях массовой крестьянской революции не однозначны, а заключают в себе новый шаг в направлении диалектики — то, что автор книги называет «вероятностным мышлением» Чернышевского. Кроме того, он убедительно показал, что сама эзоповская форма, к которой Чернышевский обращается в этой статье, тоже содержательна: она вносит в статью новый круг проблем (взаимодействие общественной истории и психологии, роль духовно-психологического фактора в общественном развитии и т. д.), разработка которых требует художественного анализа действительности. Это еще раз подтверждает закономерность обращения Чернышевского к форме романа.

Целый раздел книги посвящен анализу «Что делать?». Автор стремится выделить то новое, что внес этот роман в развитие отечественной литературы как со стороны содержания, так и со стороны формы. Поэтому две главы посвящены детальному анализу сюжетной структуры романа («Семейно-психологический сюжет» и «Эзоповский» сюжет и организационно-политические идеи Чернышевского). Еще одна глава посвящена внесюжетным элементам его композиции и проблеме жанра.

Весь материал конкретного анализа является развернутым доказательством того,

что своеобразие Чернышевского как художника создает «поэзия мысли», которая пронизывает текст, определяя целостность композиции романа, структуру сюжета, особенности психологизма и каждый микрорезультат образной структуры.

Центральное место занимает во втором разделе глава об «эзоповском» сюжете «Что делать?». Сопоставление первого романа Чернышевского с работой В. И. Ленина «Что делать?» не только объясняет, почему Ленин заимствовал заглавие у Чернышевского, но неожиданно оказывается ключом, открывающим новый пласт проблематики и сюжетного движения романа. Это приводит исследователя к совершенно новому прочтению финала, смысл которого он видит не в предсказании победы революции в 1865 году. В главе «Перемена декораций» вовсе не заключена претензия на пророчество или точный прогноз. Это только намек, авторский перст, указующий на возможность революционного решения исторической коллизии, новых путей и судеб как для героев, так и для автора. Роман кончается большим вопросительным знаком; ответа не дала еще история, а романист отвечает: «Надеюсь дождаться!»

В такой «открытой развязке» исследователь видит один из наиболее ярких примеров «вероятностного» мышления, одинаково плодотворного как для Чернышевского-мыслителя, так и для Чернышевского-романиста.

Конкретный анализ всех элементов художественной структуры романа показывает несостоятельность упрощенного и схематического его восприятия, которое возникло сразу после выхода «Что делать?» и не изжито до сегодняшнего дня, особенно в школьном преподавании. По мысли Г. Тамарченко, страстный, напряженный интеллектуализм составляет одно из главных поэтических достоинств романа, во многом определяя также и «форму целого», то есть жанр. Появление острополитического романа характеризуется как знамение времени — как отражение в искусстве слова резко возросшей роли идей в общественно-историческом развитии страны.

Очень важное место занимает в книге типологическое исследование русского романа 60-х годов, процесса возникновения новых жанровых структур. Автор не просто сопоставляет или противопоставляет

романистов, но раскрывает взаимодействие творческих индивидуальностей, которое предстает как своеобразный драматический диалог между крупнейшими мастерами русской «большой прозы». Художественная полемика между ними по коренным вопросам русской общественной, нравственной и эстетической жизни эпохи осмысливается в работе Г. Тамарченко как живой процесс, в котором возникают все новые жанровые разновидности русского романа, включая сюда и крупнейшие художественные открытия первого пореформенного десятилетия — «роман идей» Достоевского и «роман-эпопею» Толстого.

Картина получается довольно выразительная. Новая эпоха русской истории, когда все «переворотилось и только укладывается», когда резко возросла роль сознания, роль идей в историческом развитии общества и в судьбах отдельного человека, находит свое специфически художественное отражение в развитии русского романа — в том бурном процессе рождения новых жанров, который происходил в 60-е годы.

Значение романа «Что делать?», прежде недооцененное, заключается, по мысли Г. Тамарченко, в том, что под его воздействием сложился целый ряд новаторских художественных структур в области романа, появились произведения, по масштабу и влиянию на дальнейшее художественное развитие человечества существенно превосходящие «Что делать?». Чернышевский первый поставил центральные вопросы новой эпохи и ввел их в структуру романного повествования.

Другие романисты того времени (в том числе Достоевский и Толстой) решают эти вопросы иначе, и каждый по-своему. Поиски решений порождают творческие открытия — приводят к дальнейшему углублению художественного историзма и психологизма, к возникновению тех особенностей русского романа, которые позволили ему сыграть столь выдающуюся роль в развитии мировой литературы. «Попутно» автор пересматривает литературные репутации, имеющие уже вековую традицию. Так, например, идейный и нравственно-этический смысл первого романа Лескова «Некуда» оказывается сложнее и противоречивее, чем до сих пор было принято считать.

Г. Тамарченко отмечает, что Чернышевский видел некоторые художественные



слабости и недостатки своего первого романа. Более того — что дальнейшие художественные искания писателя несли в себе сознательную полемику с собственным романом, неразрывно связанную с углублением мировоззрения Чернышевского, с новым решением вопроса о роли народных масс не только в общественной истории, но и в духовном (в частности, и в художественном) развитии человечества.

Опираясь на немногие существующие работы о синтезе двух культур — фольклорной и литературной — в прозе Чернышевского, Г. Тамарченко по-новому раскрывает замысел незавершенного романа «Повести в повести». Идею «объективного романа» (по терминологии М. Бахтина, «идею полифонии») со множеством «авторов» и «соавторов» исследователь связывает с представлением Чернышевского о том, что нравственные и духовно-эстетические ценности, дающие содержание искусству, исторически создаются массами простых людей. Художники слова — хотя бы речь шла о самом Гёте — только «записывают», находят этому содержанию адекватное образное и словесное выражение. В этом смысле прототипы любого романа являются «соавторами» романиста. Это новая, прежде не отмеченная грань в эстетической системе Чернышевского. Здесь он как бы предвосхищает некоторые мысли Горького о творческой роли людей труда в историческом развитии духовной культуры. Вспомним горьковское: «Знаешь, чьею волею и духом все государства строились? На чьих костях храмы стоят? Чьим языком говорят все мудрецы? Все, что есть на земле и в памяти твоей, все народом создано, а белая эта кость только шлифовала работу его...» (слова одного из героев «Исповеди»). Позднее эта тема встречается и в «Моих университетах», где сказано, что многие мысли Горький черпал в прямом общении с людьми и лишь потом находил их в книгах. Наконец, полнее эти идеи развиты в докладе Горького на Первом съезде писателей.

Г. Тамарченко не устанавливает здесь между Чернышевским и Горьким прямой связи. А это следовало бы сделать, тем более что, по собственному признанию исследователя, некоторые идеи и художественные находки Чернышевского получили дальнейшее развитие только в XX веке.

Эволюция взглядов Чернышевского заключалась, по мысли исследователя, в обо-

гащении и дальнейшей разработке его представлений о диалектическом взаимодействии духовного и социально-практического факторов в истории, а поэтому и в более глубоком понимании связи противоречий психологии с противоречиями истории.

Эволюция художественного метода Чернышевского была поэтому вовсе не движением «от романтики к иронии» (как это утверждал кое-кто из исследователей Чернышевского), но гораздо более сложным и содержательным процессом. В «Прологе» Чернышевский, по утверждению Г. Тамарченко, сознательно отказывается от изображения «новых людей» преимущественно в их собственном кругу; здесь задача романиста — в художественном осмыслении основных трагических коллизий эпохи, которые становятся трагическими коллизиями сознания и судеб его персонажей.

Не случайно за характерами и судьбами центральных персонажей «Пролога» угадываются реальные черты и обстоятельства жизни самого Чернышевского и близких ему людей. Романист ничем не облегчает положения своих героев в очень суровой социально-политической ситуации. Наоборот, он подвергает художественному анализу всю трагическую сложность этой ситуации, а значит, и трагические противоречия нравственной жизни, психологии героев.

Интересна попытка Г. Тамарченко теоретически осмыслить найденное Чернышевским в «Прологе» соотношение между документальностью и вымыслом. Автобиографичны в романе, во-первых, воспроизведение социально-политической ситуации накануне реформы и, во-вторых, переживание этой ситуации главными положительными героями — Волгиным и Левицким, что, по мысли исследователя, и составляет подлинный сюжет «Пролога». Действие романа, однако, разворачивается в придуманной романистом внешней обстановке, в некоторых присочиненных эпизодах, что и составляет вымышленную фабулу произведения.

Следует отметить: роман «Что делать?» проанализирован несравненно тщательнее и разностороннее, с привлечением гораздо большего исторического и литературного материала, комментирующего его текст, чем роман «Пролог». Но мы помним утверждение автора о художественном превосходстве «Пролога» над первым романом. И

резонен вопрос: если «Пролог» художественно более совершенен, не заслуживает ли он более полного и тщательного анализа?

Рассуждение о документализме, обогащающем в «Прологе» жанр интеллектуального романа, следовало бы развернуть и вывести за рамки чистой полемики (с А. Лебедевым), используя факты истории, реалии биографии Чернышевского и т. п.

Недостаточно широко аргументирован и тезис о художественной полемичности «Пролога» по отношению к «Былому и думам» Герцена. Остается неясным, была ли эта полемика сознательной, входила ли она в намерения Чернышевского. Или оказалась неожиданным для романиста результатом его особого подхода к автобиографическому и документальному материалу.

Как мы уже упоминали, в этой книге основательно аргументируется тезис, согласно которому в романах Чернышевского заключены зародыши тех форм художественного мышления, которые (через головы нескольких литературных поколений) получили дальнейшее бытование и развитие лишь в литературе XX века (художественный интеллектуализм, сочетание документальности и вымысла, «открытая развязка» и т. д.). Автор, однако, останавливается каждый раз на определенной грани, не развертывая подобные «выходы» к современности. Эти соображения было бы интересно развить и проверить. По-видимому, исследователя останавливала здесь академическая верность границам темы. Впрочем, последнее замечание не столько претензия к сделанной работе, сколько пожелание на будущее.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**ГЕННАДИЙ СКОБЛИКОВ.** *Наша старая хата. Повести.* Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 1976. 247 стр.

В книге Г. Скобликова две повести — «Наша старая хата» и «Варвара Петровна». Написаны они, как говорится, в одном ключе. Цитируя одну из повестей, составивших сборник, одновременно даешь представление о материале, интонации, настроении другой.

«Насколько помнила Варвара... в песнях матери было всегда про одно и то же: про нее, Варю, про хату со всей ее утварью, с мышами в подполе и сверчками в кухне за печкой, про землю и солнце, про корову и птиц, про вечер или утро... В песне матери... все так хорошо и мирно сочеталось и уживалось между собой, все согревалось таким хорошим теплом... что Варя, закрыв глаза, часто будто и не слышала мать, а просто жила в окружении этих простых и понятных ей явлений...»

Все это вспоминает женщина за несколько дней до своей неизбежной смерти. Болезнь, ожидание смерти — причина и как бы обязательное условие яркости, рельефности, живости этих воспоминаний. Понятно, что на самых радостных картинах, которые память Варвары Петровны восстанавливает, лежит пронзительный свет неизбежного. Замысла своего автор не скрывает. Напротив. Вот как начинается повесть с первой же строки: «На сорок шестом году, за несколько дней до смерти, Варвара говорила соседке бабке Насте, что ночью вспомнила, как мать Прасковья кормила ее, маленькую, грудью». Здесь не только традиционное сближение рождения и смерти — здесь обозначены пределы, в которых будет развиваться повесть. Недлинные сорок шесть лет, а также рискованное, решительное (средний читатель этого не любит) «оставь надежду...».

Впрочем, всякий читатель не любит, когда у него с самого начала отнимают надежду. Чтобы спереживать, сочувствовать, надо надеяться. Утверждая столь решительно свой замысел, автор рискует. Ему предстоит побороть отчуждение, которое сам же в нас

вызвал. И Г. Скобликову это удается. Свою художественную задачу он решает с таким напряжением истинной страсти, с такой силой родственного переживания, что Варвару Петровну, именем которой названа первая повесть сборника, видишь как живую. Страсть эта обращена не только на одного хорошего человека, но и на весь жизненный уклад, порядок, при котором «и хата, и солнце, и ветер, что гудит в трубе, и мыши, живущие в подполе... — все так хорошо и мирно сочеталось и уживалось между собой...». Память подсказывает, память и сопротивляется.

Но тоска по ушедшей деревне приобрела у Г. Скобликова поэтическую силу, поэтическую убежденность, и на то есть свои причины. Варвара Петровна считает, что после войны люди отошли от земли, перестали понимать ее простые и ясные законы. Разучились ценить язык обрядов, народных поверий, празднеств, без которых нет в этой деревенской жизни красоты, без которых прерываются традиции... Все это легко понять: до войны Варвара Петровна была молода и мир воспринимала по-детски, по-девичьи. Самые сильные страницы повести связаны с ее детским восприятием мира. Плохое в повесть приходит так, будто не из этой жизни выросло. Будто привнесено со стороны, а не на своих корнях держится.

Повесть, давшая название сборнику, автобиографична. «И солнце, и ветер, и мыши в подполе», и все остальные элементы деревенской жизни в «Нашей старой хате» уже не так хорошо уживаются друг с другом. Гармония между ними отнесена в такое раннее детство, когда жизнь еще благожелательна к каждому из нас. Да и не гармония это, а нерасчлененность жизни. Память о ней — телесная память о непрерывном источнике добра и благожелательности, о материнском тепле. Даже естественное возрастное отделение от этого источника не бывает безболезненным. Энергия, страстность и пристрастность авторских воспоминаний порождены ранним сиротством. Любовь к матери, эта первая наша истинная любовь, заставляет рассказчика трудиться для того, чтобы из памяти исчез туман ранней нерас-

ченности. По всему видно, что труд этот для Г. Скобликова на всю жизнь. Разумеется, пишет он не только о своей матери, но отпечаток этого труда, его ответ лежит на обеих повестях сборника.

Виталий Семин.

Ростов-на-Дону.

★

**А. А. ДЕЛЬВИГ. Стихотворения. М. «Детская литература». 1976. 174 стр.**

Растущая популярность стихов, ставшая в последние годы одной из заметных черт духовной жизни нашего общества, выражается в интересе как к поэзии современной, так и — может быть, в не меньшей мере — к поэзии классической. Причем не только к величайшим ее создателям, на следие которых давно стало вечным спутником человечества, но и к меньшим художественным величинам, прежде привлекавшим к себе внимание относительно узкого круга специалистов и любителей. Отвечая этому интересу, наши издательства выпускают все большее число поэтических сборников, рассчитанных на самого широкого читателя и приобщающих его к богатствам отечественной поэзии.

Дельвиг! Одна из самобытных, значительных и волнующих глав в истории русской лирики. Оцененный при жизни лишь немногочисленными своими поклонниками и друзьями, познавший длительные периоды забвения, Дельвиг вернулся к читателю. Больше чем кто-либо другой сделал для этого Б. В. Томашевский. Итогом его изысканий стало первое текстологически полноценное собрание стихотворений поэта, легшее в основу всех поздние выходящих сборников, в том числе и выпущенного ныне издательством «Детская литература».

Несколько десятков стихотворений, отобранных для этой книги, дают разностороннее представление о даровании их создателя, о его «лица необщем выраженьи», о своеобразии его творческих исканий. Здесь и идиллии, которыми восхищался Пушкин («Идиллии Дельвига для меня удивительны», — признавался он), и русские песни, простота и безыскусность которых почти не имели аналогий в тогдашней литературе. Здесь сонеты и эпиграммы, элегии и романсы, стихи меланхолические и шуточные, подкупающие непосредственностью и искренностью послания к собратьям по перу, и произведения философские, хранящие следы напряженных раздумий.

Составитель нового издания Дельвига В. И. Коровин давно зарекомендовал себя не только как вдумчивый исследователь русской классической поэзии, но и как ее умелый пропагандист и популяризатор. В присущей ему манере, соединяющей науч-

ную основательность с ориентировкой на запросы наиболее широкого круга читателей, сделана и эта книга. Вступительная статья В. И. Коровина рисует исторически достоверный и запоминающийся облик Дельвига, поэта и друга поэтов, сыгравшего заметную роль в пушкинской биографии, «подружившего с музой» певца пиров Баратынского. С полным основанием автор возражает против представления о Дельвиге как беспечном ленивце. «Леньность Дельвига — особенная, — говорит он. — Это не леность ума или воображения, а черта характера, граничащая с удивительной сосредоточенностью, с исключительной погруженностью в размышления над самым заветным и дорогим», черта, выразившаяся и в том, что «Дельвиг долго и тщательно, иногда годами, отделявал свои стихотворения, прежде чем отдать их в печать». К этому стоило, может быть, добавить, что лень, столь часто упоминавшаяся поэтами пушкинского круга, — спутница вольномыслия, черта характера, чуждого официозным кумирам: потому и Пушкин говорил о «гордой ленисти своей». Не принадлежавший к тайным обществам, Дельвиг был, однако, плотью от плоти передовых, оппозиционно настроенных кругов русского дворянства, и его альманах «Северные цветы», первоначально соперничавший с «Полярной звездой», стал после разгрома восстания хранителем и продолжателем декабристской традиции.

Лаконично, но выразительно и точно охарактеризованы и другие стороны творческого облика Дельвига: своеобразие его песен, его понимание античности. И статья и аппарат книги подготовлены тщательно, со вкусом и чувством меры. Мне бросилась в глаза лишь одна неточность: деятельность Дельвига как издателя «Северных цветов» ограничена почему-то датами 1825—1829. В действительности Дельвиг осуществил еще два выпуска альманаха — на 1830 и на 1831 годы. И лишь последняя книжка «Северных цветов» была издана Пушкиным в память о покойном друге. В целом же представляется бесспорным, что издательство «Детская литература» сделало хороший подарок читателю. Новый сборник стихотворений Дельвига будет оценен по достоинству и школьниками, которым он адресован в первую очередь, и взрослыми, которым поможет обогатить духовный мир творениями замечательного русского лирика.

**Л. Фризман.**

Харьков.

★

**Г. МУНБЛИТ. Рассказы о писателях. М. «Советский писатель». 1976. 192 стр.**

Один из рассказов этой маленькой книги начинается так: «Читая стихи, он по временам прикрывал глаза и по-птичьему находивался. Так, вероятно, выглядит, если посмотреть на него вблизи, пожилой соловей,

поющий не для дамы и не для публики, а для одного только себя.

И дело здесь было не в одном только внешнем сходстве. Такой чистой от примесей, такой самозабвенной любви к стихам, какая владела этим человеком, мне не случалось видеть ни у кого другого».

Нелегко бывает автору книги найти поэтический образ, чтобы определить суть личности своего героя (в данном случае Багрицкого). Здесь этот образ найден. Он таит в себе много значений, в нем слиты воедино точный портрет с оттенком дружеского шаржа, невысказанный, но ощущаемый намек на любовь Багрицкого к птицам и оценка сущности поэта — безграничная его преданность поэзии. Все дальнейшее, что сказано в этой книге о Багрицком, впечатляет такой же образностью.

О Багрицком написано много. Некоторые из воспоминаний, ему посвященных, принадлежат таким мастерам, как Катаев, Олеша, Паустовский, Бабель, Славин. Страницы, написанные Г. Мунблитом, становятся в этот ряд и выдерживают такое сравнение.

Я выбрал из книги рассказ о Багрицком по принципу часть за целое. Его достоинства хорошо представляют всю книгу. Герои книги Г. Мунблита — мастера, художники слова. Очень разные. От Бабеля, мучительно бившегося неделями над шлифовкой короткого рассказа, до Германа, писавшего, по-видимому, легко, но обладавшего тайной увлекательного повествования, завораживающей обаятельностью манеры, которые не могли не таить за собой большого труда. В книге есть рассказы о М. Зощенко, И. Ильфе, Е. Петрове, А. Макаренке, адмирале И. Исакове. О мастерах Г. Мунблит пишет мастерски. Характеристики его метки, детали точно отобраны, слог экономен. И нет того, что порой раздражает в литературных воспоминаниях, — автор вспоминает о писателях, которых знал, а не о себе самом. Тем не менее лирическое и автобиографическое начало присутствует в книге, но с ним связано неотъемлемое качество Г. Мунблита как человека и литератора — ирония, обращенная прежде всего на самого себя.

На страницах, открывающих книгу, продуманно и веско сказано о работе литератора. подчеркнута та сторона литературы, без которой ее просто нет, — словесное искусство, мастерство выбора слова, строение фразы, абзаца, музыка страницы, композиция целого.

Небольшая книга Г. Мунблита содержит много новых сведений. Они есть и во всех перечисленных рассказах и в рассказе, стоящем несколько особняком, — «Поиски не увенчались успехом». Действие его происходит в Париже, где автор, пользуясь кратким пребыванием в этом городе, пробует пройти по следам молодого Хемингуэя. Признаться, я начал читать

страницы с предубеждением. Мне случилось, и тоже недолго, бывать в Париже, и казалось, что всякая попытка написать о нем по мимолетным впечатлениям — попытка несостоятельная. Однако Г. Мунблиту удалось и тут сказать нечто свое. Вероятно, потому, что он поставил перед собой четко очерченную частную задачу и рассказал о том, как и почему ему не удалось ее решить, а именно это оказалось интересно.

Хочется особенно отметить рассказ об адмирале Исакове. Здесь найдены прекрасные слова о прекрасном человеке. Трогает переданное в рассказе трепетное отношение Ивана Степановича Исакова, поздно начавшего писать, к литературе. Его литературные опыты заслуживают высокой оценки — это были настоящие произведения словесности. История вмешательства Исакова в судьбу знаменитого подводника, сложившуюся трагически, — сжатый конспект повести, которая, вероятно, могла бы быть написана по этой канве.

Закончу лирическим отступлением. Книгу Г. Мунблита я раскрыв случайно в доме друзей на проникновенной странице о Зощенко. Уходя, попросил книгу. Читал ее в вагоне метро, выходя, присел на скамейку на станции, чтобы дочитать страницу. Очнулся, когда мимо меня прошумел уже не один десяток поездов, поглядел на часы и ахнул — поздняя ночь! Хотя я и заядлый книжечий, но так зачитаться книгой в дороге мне давно не случалось. Дочитанная и перечитанная дома спокойно и внимательно, она подтвердила первое ощущение и вызвала желание написать эти строки.

Сергей Львов.



**В. К. КУЗАКОВ. Очерки развития естественнонаучных и технических представлений на Руси в X—XVII вв. М. «Наука». 1976. 316 стр.**

Долгое время под влиянием идей славянофильства были широко распространены искаженные представления о древней Руси как о чем-то косном и неподвижном. Эти черты механически переносились на всю древнерусскую культуру, особенно же на науку древней Руси. Развитие естествознания в допетровскую эпоху, а тем более в X—XI веках, казалось для многих еще в XIX веке несущественным и лишенным интереса.

Поставив перед собой задачу дать развернутую картину развития естественнонаучных представлений на Руси в X—XVII веках, которые, по мнению автора, имеют не меньшее значение, чем литература и архитектура, живопись и народное творчество той эпохи, он успешно справился с ней. По-

жалуй, впервые в отечественной литературе по истории научных знаний раннего периода мы встречаемся с исследованием, где моменты гражданской истории не только не опущены, но тесно сплетены с историко-научным материалом.

Тезис автора о том, что наука, будучи составной частью культуры, находится в неразрывной связи с другими ее компонентами, позволял ему проследить взаимовлияние и взаимосвязь различных элементов культуры тех времен. Рассматривая развитие целого комплекса естественнонаучных представлений в области астрономии, математики, физики, техники, механики, химии, географии, биологии и медицины, В. Кузаков показывает их связь с идеологией русской церкви, распространением «ересей», с произведениями как оригинальной, так и переводной литературы, развитием зодчества на Руси, с расцветом живописи и ремесла.

Прслеживая развитие рациональных представлений о характере явлений природы, автор вычленяет из окантовки христианского вероучения те правильные по сути своей наблюдения, которые не могли не найти отражения в русском летописании. Это относится прежде всего к описанию солнечных и лунных затмений, северных сияний, комет и метеоритов. Отдельные летописные записи позволяют судить о воззрениях на природу Солнца. Так, после полного солнечного затмения в 1124 году летописец отмечал, что «начя прибывати солнце и наполнися». Интересно, что здесь мы, очевидно, встречаем отголоски представления о Солнце как о чаше, где прибывают и убывают горючие вещества. По священному писанию, созданные творцом звезды неподвижны и не могут падать на землю. Однако та терминология, которую употребляли русские летописцы — «падоша с небеси», — в корне противоречила христианской апологетике о невозможности падения видимых звезд.

Повседневная практика была немислима без определенных знаний в области математики. Уже в Киевской Руси математические знания широко применялись в торговле, военном деле, при строительстве, в налоговой системе, при составлении календарей. Хотя математика древней Руси носила в основном прикладной характер, это не исключало знакомства определенного круга лиц с теоретическими изысканиями и философскими вопросами математики. Уже в «Изборнике Святослава» (1073) можно было ознакомиться с учением Аристотеля о количестве.

Изучение письменных и материальных источников (зарубок на бытовых предметах, на бревнах домов, граффити на стенах церквей, записей в берестяных грамотах) дает основание утверждать, что русские за много столетий до петровских преобразований «хорошо умели считать, и волшебством это не представлялось».

Биологические знания на Руси складывались в результате накопления векового

практического опыта земледельцев и скотоводов. В книге отмечается значение животноводства, огородничества, охоты, рыболовства и бортничества для хозяйства древней Руси и для формирования рациональных воззрений на природу.

В биологии как нигде сказалось своеобразие развития науки на Руси — оторванность официальной, богословской науки от народа. Литературные источники, содержащие сведения по биологии («Физиолог», «Толковая Палая», «Христианская топография» Козьмы Индикоплова), получив довольно широкое распространение, остались, в сущности, чуждыми народу. Гораздо большее влияние на формирование биологических знаний оказали географические открытия, путешествия русских купцов, освоение Сибири и Севера.

Естественнонаучные представления древней Руси явились той основой, на которой в XVIII—XIX веках смогла вырасти русская наука нового времени.

Е. Баглай,  
кандидат биологических наук.



**ДМ. МОЛДАВСКИЙ.** Михаил Зощенко. *Очерк творчества.* Л. «Советский писатель». 1977. 278 стр.

«Юмор ваш я ценю высоко, своеобразие его для меня — да и для множества грамотных людей — бесспорно, так же как бесспорна и его «социальная педагогика» — эта горьковская оценка творческой деятельности М. Зощенко не может не приниматься нами в расчет при определении места популярного писателя в истории советской литературы.

Рецензируемая книга Дм. Молдавского существенно дополняет наше представление о Зощенко (особо следует отметить страницы, рассказывающие о первых шагах писателя и о «Серапионовых братьях», наблюдения над тем, каким образом в творчестве Зощенко преломились традиции гоголевской прозы, характеристику литературных источников, которыми писатель так или иначе пользовался при работе над «Голубой книгой», и т. д.). В работе Дм. Молдавского подкупает искреннее стремление автора, не скрывая трудностей, возникавших на жизненном и творческом пути писателя, объяснить не просто неслабкую популярность Зощенко в 20—30-е годы, но и поиски им своей неповторимой художественной манеры, эволюцию зощенковского героя и образа повествователя.

В книге шесть глав, последовательно освещающих раннее творчество писателя (этап, завершившийся выходом в свет первой книги — «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова»), «сентиментальные повести», сатирические рассказы 20-х годов, «Возвра-

ценную молодость» и «Голубую книгу», документальные повести и сатирические рассказы 30-х годов, «Перед восходом солнца» и произведения последующих лет. Такая периодизация творчества Зоценко не вызывает, в общем-то, сомнений, хотя мне и кажется, что разговор о ранних сатирических рассказах естественнее выглядел бы до разговора о «сентиментальных повестях» хотя бы потому, что повести получили известность в широких читательских кругах позже коротких рассказов.

Уже в самом начале книги исследователь решительно подчеркивает: ни в искренности принятия «серапионами» — и Зоценко в их числе — Октября 1917 года, ни в том, что печально известные декларации группы «серапионов» весьма существенно расходились с их творческой практикой, сомневаться не приходится. Подобный смысловой акцент и верен и необходим в исследовании; он подсказан и подкреплен многочисленными признаниями бывших «серапионов» — К. Федина, М. Слонимского, В. Каверина и других; позволяет лучше уяснить всю последующую литературную работу Зоценко, активное неприятие им мещанства. Даже тогда, когда героем его рассказов наряду с откровенным, «принципиальным» обывателем оказывался просто недалекий и не очень грамотный человек, художник высмеивал в нем черты «мещанского болота», препятствующие проявлению естественных и здоровых человеческих чувств.

«Я не хочу сказать, — приводит Дм. Молдавский слова Зоценко, — что у нас все мещане и все жулики и все собственники. Я хочу сказать, что почти в каждом из нас имеется еще та или другая черта, тот или другой инстинкт мещанина и собственника. И в этом нет ничего удивительного, это совершенно естественно. Это накапливалось столетиями. Сразу не бывает перерождения...

...При помощи смеха перестроить читателя, заставить читателя отказаться от тех или иных мещанских и пошлых навыков — вот это будет правильное дело для писателя».

Задача перестройки читателя, его перевоспитания, понимание того, что это процесс и трудный и длительный, как показывает Дм. Молдавский, очень рано, практически уже к середине 20-х годов, определили пафос лучших произведений Зоценко.

Критик не скрывает, что далеко не все из созданного художником в равной степени удачно, и вместе с тем весь анализ творчества придает особую убедительность итоговому строку книги: «Михаил Михайлович Зоценко прожил в литературе трудную жизнь. Он был сыном Родины и всегда ощущал себя художником народным, всегда оставался русским советским писателем. Так он жил, так умер. И так пришел к будущему — к финишу, где раздают призы». Таким остался в истории русской и советской литературы».

**А. Старков.**



**ШАНДОР РАДО.** Под псевдонимом Дора. Воспоминания советского разведчика. М. Воениздат. 1976. 320 стр.

В плеяде блестящих советских разведчиков, таких, какими были Рихард Зорге, Ким Филби, Рудольф Абель, Шандор Радо занимает по праву видное место. Весьма впечатляюще и вместе с тем предельно лаконично описывает он деятельность созданной им в Швейцарии незадолго до начала Великой Отечественной войны разведывательной группы, работа которой была направлена против фашистской Германии и ее союзников. Результаты деятельности группы Радо были исключительно эффективными, они поразили воображение многих на Западе. Закономерно, что о ней, как и о группе Рихарда Зорге, теперь уже в ряде стран имеется целая литература. Многие важнейшие источники его абсолютно достоверной информации находились в высшем штабе вермахта и, занимая там ответственные посты, имели доступ к самым секретным военным и политическим решениям руководителей третьего рейха. Эти люди были истинными патриотами Германии, стремившимися всеми доступными им средствами помешать осуществлению преступных планов нацистов, приносивших неисчислимые беды и страдания немецкому народу.

Связь Радо с Германией была организована просто и вместе с тем очень надежно. Практически она состояла из двух ступеней. Используя свое положение и вытекавшие из него возможности, источники Радо обусловленным шифром передавали в Швейцарию глубоко закоспирированному члену группы свою информацию, которая затем через три рации, имевшиеся в распоряжении Радо, уже другим шифром передавалась в Москву.

Гитлеровская контрразведывательная служба СД, возглавлявшаяся бригаденфюрером СС Вальтером Шелленбергом, обнаружила систематическую работу нелегальных раций в Швейцарии. После года упорных усилий контрразведка СД сумела расшифровать несколько посланных в Москву сообщений. Но и этого оказалось достаточно, чтобы сделать единственный возможный вывод о том, что из высшего штаба вермахта происходит утечка секретнейшей военно-политической информации, через какие-то каналы поступающей к противнику. Все силы контрразведки СД были брошены на раскрытие этих таинственных, внушающих ужас гитлеровскому командованию источников. С этого времени над самим Радо и людьми его группы нависла смертельная опасность, но они остались на своих постах, мужественно и бесстрашно выполняя свой долг.

Деятельность группы Радо в Швейцарии в период Великой Отечественной войны — еще один пример преимуществ и непревзойденных успехов советской разведки. В чем же залог этих успехов? Прежде всего

в том, что советская разведка служит оружием борьбы за мир. Ее сотрудниками могут быть только наиболее честные, идейно высокочестные люди, ставящие перед собой благородные цели борьбы с фашизмом, против угрозы новой мировой войны. Этого, конечно, не могут понять или сознательно умалчивают авторы многочисленных книг о советской разведке, вышедших на Западе. Они не могут и не хотят также правильно оценить роль нашей разведки в прошедшей войне, приписывая ей решающую роль в победе над гитлеровской Германией. Так в своей книге пишет бывший агент абвера Флике и особенно два реакционно настроенных французских журналиста — Аккос и Кё, авторы книги «Война была выиграна в Швейцарии». Стоит привести высказывания по этому поводу самого Шандора Радо. «Мне ли, разведчику, — говорит он, — отрицать важную роль разведки, ее информаторов, работавших в глубоком тылу

врага. Но усматривать в их успехах причину нашей победы — значит ставить все с ног на голову. Подобные попытки буржуазных фальсификаторов по меньшей мере смешотворны. В самом деле, когда же это было такое, чтобы войну или крупные сражения выигрывала разведывательная служба того или иного государства? Исход войны всегда решался в конечном счете на поле брани. Побеждала та армия, которая имела более мощный экономический потенциал и людские резервы, была лучше вооружена и подготовлена, превосходила противника силой духа. Разведка же — только часть военной организации, хотя и немаловажная».

Книга Шандора Радо представляет ценный вклад в литературу о войне, ее с пользой прочтут люди разных поколений.

Л. Василевский.





# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О пропаганде и агитации. 240 стр. Цена 60 к.

**В. И. Ленин, КПСС о партийном руководстве комсомолом.** Сборник. 670 стр. Цена 1 р. 40 к.

**В. И. Ленин.** Избранные произведения. В 3-х тт. Т. 2. 826 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Л. И. Брежнев.** Советские профсоюзы в условиях развитого социализма. 575 стр. Цена 1 р. 10 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ю. Антропов.** Перевал. Роман.—Перед снегом. Повесть. 400 стр. Цена 1 р. 60 к.

**М. Жестев.** Сестры. Повести. 264 стр. Цена 1 р. 20 к.

**М. Лисянский.** Города, города... Новые стихи. 142 стр. Цена 35 к.

**В. Маканин.** Портрет и вокруг. Роман. 279 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. Талвир.** До войны, на войне, после войны. Повести. Перевод с чувашского. 432 стр. Цена 1 р. 60 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**И. Вергасов.** Крымские тетради. Роман-хроника. 445 стр. Цена 1 р. 20 к.

**К. Позднеев.** Продолжение жизни. Книга о Борисе Корнилове. 239 стр. Цена 50 к.

**А. Рогов.** Черная роза. Книги о русском народном искусстве. 303 стр. Цена 1 р. 50 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**К. Горбунов.** Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Ледолом. Роман. 382 стр. Цена 1 р. 60 к.; Т. 2. Семья. Повесть о крестьянском сыне.—Рассказы. 511 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Д. Кедрин.** Избранные произведения. Стихи и поэмы. 302 стр. Цена 1 р. 20 к.

**А. Малышкин.** Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Рассказы 1913—1915 годов.—

Падение Даира.— Севастополь. Повести. 511 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Г. Табидзе.** Стихотворения. Перевод с грузинского. («Библиотека советской поэзии») 383 стр. Цена 95 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Зайцев.** Светлынь. Стихи. («Молодые голоса») 31 стр. Цена 10 к.

**Зарубенный детектив.** 383 стр. Цена 3 р.

**А. Казанцев.** Стиранные вьюгами поля («Молодые голоса») 32 стр. Цена 15 к.

**А. Кешоков.** Сломанная подкова. Роман. Перевод с кабардинского. 512 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Э. Межелайтис.** Моя Итака. Стихи. Перевод с литовского. 222 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Г. Семенов.** Вольная натаска. Роман. 271 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «НАУКА»

**Го Жо-суй.** Записки о живописи: что видел и слышал. Перевод с китайского. 240 стр. Цена 95 к.

**Учение К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина о социалистическом государстве и праве.** История развития и современность. Авторы Г. Н. Манов и др. 431 стр. Цена 1 р. 70 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Б. Момыш-Улы.** Избранное. В 2-х тт. Т. 1. За нами Москва. Записки офицера. Алмата. «Жазушы». 248 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Торопыгин.** Стихотворения и поэмы. Лениздат. 270 стр. Цена 90 к.

**Н. Фаттах.** Итиль-река течет. Исторический роман. Перевод с татарского. Казань. Таткнигоиздат. 367 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Г. Фиш.** Встречи в Суоми. Повести, очерки и рассказы. Петрозаводск. «Карелия». («Библиотека северной прозы») 640 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Хафиз.** Газели. Перевод с фарси. 143 стр. Цена 25 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук,**

**А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Почтовый адрес: 103006. Москва, К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/IV 1978 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 12/VI 1978 г.  
Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 10993. Тираж 248.000 экз. Зак. 1400.

Отпечатано с матрицы ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 03005.

Цена 70 коп.

70636